ISSN 0012-6756

Дружба народов

12/2021

В номере:

Мерцание

«…Грибами пахло, листьями, сухой травой горелой, ветки заплескивались в приоткрытое окно, хлестали по стеклам. В окно впорхнула бабочка и заметалась по вагону. “А вы куда едете? — спросил меня пожилой господин в пиджаке на майку, неожиданно вынырнув из полумрака. — Там дальше нет ничего…” Марина МОСКВИНА — автор опубликованных в «ДН» романов «Крио», «Гений безответной любви», «Роман с Луной» — продолжает писать радостную, щемящую и ироничную, надежно заземленную, но всегда готовую воспарить в небеса историю любви к этому благословенному и абсурдному миру. Роман «Три стороны камня» — трагикомическое повествование о художнике, искавшем чистый свет в своих картинах и в итоге растворившемся в (на) белом свете, опыт противостояния забвению.

«Миграционный фон»

Конец 90-х — и дальше: «Мама не сдалась, она твердо решила эмигрировать. Бороться за мое светлое будущее». — «Thomas и David на каждой перемене орали мне вслед “дерьмовый русский”. Хамону они кричали “дерьмовый иранец”, пока тот не избил Thomas до крови. За это Хамона погнали из гимназии — чурка не должен избивать детей из домов с участками. А я молчал. Я остался в гимназии и подружился с Markus и Thomas (Thomas № 2)». — «Отец, ты знал, что этот твой друг трахал мою мать тогда в этом доме, в котором мы жили? Мать, ты знаешь, ради чего все это было, все эти годы в Германии? Нет?» Повесть «Унтерменш» Сергея СИМОНОВА. «Над пропастью во ржи» 70 лет спустя. Первая публикация в «ДН». Новое имя в ряду с Андреем Ивановым и Ольгой Брейнингер.

То, чего не бывает даже при пожаре и на войне

Кто ты такой, что у тебя за идентичность? Хорошо или плохо ее существование? Какой она бывает? И не бывает? Станет ли она общечеловеческой? Обо всем этом остроумно и не без вызова рассуждает в своем эссе ученый, публицист, писатель Алексей МАЛАШЕНКО. Непреднамеренный «комментарий» к повести Симонова.

Общее прошлое в личном настоящем

Декабрь 1991 года — конец СССР. Исторический рубеж. Спустя тридцать лет мы пригласили наших авторов к диалогу с прошлым.
Ксения ГОЛУБОВИЧ, опираясь на фундаментальный «Словарь трудных слов из богослужения» поэта, переводчика, филолога Ольги СЕДАКОВОЙ и беседуя с Павлом ПЕППЕРШТЕЙНОМ, одним из знаковых акторов арт- и литературного сообщества 90-х, размышляет о том, как менялся и меняется язык времени (в том числе художественный).
Участники «круглого стола» Валерий АЙРАПЕТЯН, Александр ГРИГОРЕНКО, Елена ДОЛГОПЯТ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Илья КОЧЕРГИН, Елена КРЮКОВА, Олеся НИКОЛАЕВА, Алексей ТОРК, Дмитрий ШЕВАРОВ размышляют о том, как мечтались тогда, как сбылись для каждого из них и как откликаются сегодня 90-е годы: «Куда мы шли эти тридцать лет? Куда пришли? Есть ли у кого ответ? Нет ответа. Как и Страны Советов, родины моего счастливого детства.» … «Мои 90-е были ужасны, но сейчас я понимаю, что это было время крупных людей, крупных событий.» … «Отца скрутило насмерть.» … «Девяностые для меня были годами первого публичного успеха.» … «Две тысячи двадцать первый. Я приезжаю рано утром, пью кофе, проверяю почту и берусь за старые бумаги. Дышу пылью. Хочется сказать: всё прах. Так и говорю…»

Дружба народов

12'2021

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария АНУФРИЕВА
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.10.2021.
Подписано в печать 29.11.2021.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 1235. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. В спокойном и беспрекословном свете. *Стихи* ***3***

Марина МОСКВИНА. Три стороны камня. *Роман* ***6***

Эля ШАРИФУЛЛИНА. Небо лежит ничком. *Стихи* ***83***

Сергей СИМОНОВ. Унтерменш. *Повесть* ***85***

Елена АЛБУЛ. Запах кофе. *Рассказ* ***125***

Александр ДИМИДОВ. Стервы. *Рассказ* ***134***

Михаил КАГАНОВИЧ. Так люблю. *Стихи* ***140***

Алексей ИВАНОВ. Рассказы из сванской тетради ***143***

Герман КАНАБЕЕВ. Неделя. *Рассказ* ***154***

Евгений СТЕПАНОВ. Как младший брат травы. *Стихи* ***166***

НАЦИЯ И МИР

Алексей МАЛАШЕНКО. Нелёгкое бремя идентичности. *Ненаучные заметки* ***168***

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Георгий ПАНКРАТОВ. Я хочу проснуться... *Два эссе* ***174***

ДИАЛОГИ С ПРОШЛЫМ

90-е и сегодня: прошлое в настоящем. *В заочном «круглом столе» участвуют: Валерий АЙРАПЕТЯН, Александр ГРИГОРЕНКО, Елена ДОЛГОПЯТ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Илья КОЧЕРГИН, Елена КРЮКОВА, Олеся НИКОЛАЕВА, Алексей ТОРК, Дмитрий ШЕВАРОВ* ***182***

КРИТИКА

Ксения ГОЛУБОВИЧ. Труд поэта. Словарь.
Ольга Седакова. Трудные места из богослужения ***212***

Павел ПЕППЕРШТЕЙН. Нежные пространства и сундучки Флинта.
Разговор ведет Ксения Голубович ***225***

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Александр ЧАНЦЕВ. Внутренняя алхимия *(Е.Головин. «Там»; Г.Джемаль. «Сады и пустоши»; Е.Торчинов. «Опыт запредельного: религии мира»)* ***237***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Дело привычное ***249***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Театр в эпоху революции ***253***

Содержание журнала «Дружба народов» за 2021 год *258*

Summary *272*

© «Дружба народов», 2021

Владимир Гандельсман

В спокойном и беспрекословном свете

* * *

Рождённый по тому прообразу,
невидимо-неколебимому,
в обозе Господа, по абрису,
ещё до Господа любимому
молчащим изначальным словом,
рождённый в человечий гомон,
я стал для крови жизни — кровом
и буквой замысла. Но в чём он?

Зачем моё дыханье считано
не с таборного и проворного —
с того, которым и молчит оно,
воистину — с нерукотворного?
Дыши, дыханье, не бессильных
удел, ты есть — о чём и речь вся —
затем, чтоб выветриться в синих
палатах неба и пресечься.

* * *

Он, читая, увидит: звезда,
и его удивит: жизнь её — на примете,
и уснёт, как умрёт, навсегда,
и проснётся, — едва на рассвете
заискр*и*тся роса,
он, послушник, невидимой цепью
приковав себя к тихому, как небеса,
неотступному великолепью
переливной реки, своё слово творит
и за Ним повторяет,
что сначала увидит, потом удивит,
но ни буквы не потеряет.

Гандельсман Владимир Аркадьевич — поэт, прозаик, эссеист, переводчик англо-американской поэзии. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт. Автор 15 сборников стихов и записных книжек «Чередования» (СПб., 2000). Лауреат «Русской премии» (2008), премии «Московский счёт» (2011) и других. Живет в Нью-Йорке.

* * *

Не прячься, говорю, не прячься,
не закрывай глаза,
с открытыми глазами плачься
в синеющие небеса.
Там трепетная жизнь не тонет
и тонки голоски
тех, кто усопших не хоронит
по-воровски,
лишь богу птичьему благие
благодарение поют
в своей небесной литургии,
как будто гнёзда мёртвым вьют.

* * *

Дрогнувшая ли свечой в затоне
звезда, задета веслом,
ночь ли, греющая свои ладони
моим теплом,
дерево ли, во мне негодуя
на ветер, кочующий по углам
сознания, — едва уйду я
по неотложным делам, —
смолкнут... Другой им ссудит
жизнь — что с того?
Для меня их созвучие будет
мертв*ы*м мертв*о*.
К этим хлеба краюхам
время прикасаться другим, свечу
зажигая и слыша всем слухом,
как я глухо молчу.

* * *

Получил, говорит, в столовой суп,
холодный борщ,
сел, ссутулясь, хлюп, хлюп
(мать — ребёнку: ты не топорщь
глаза), сижу, говорит, нищ,
и небрит, и тощ,
и в окне ещё луч из-за тёмных ниш,
звучащий точь-в-точь
как слово. Слово. Но то не я,
показалось, сижу, я не мог,
чтоб слеза в тарелку. Нет, не моя.
Это мною, думаю, плачет бог.
Это он от жалости и любя.
Луч в окне горит.
В избавлении нацело от себя
чистота безупречная есть, говорит.

Памятник

пел старьё берём старьёвщик
доносилось со двора эхо
почтальон втискивал в ящик
газету вздыхал эх-хо
шила стрекоча портниха
прачка бельё брала в стирку
становилось к вечеру так тихо
точно писано под копирку
человек отчаивался чего ради
вспыхивал в мозгу сварщик
за окном с тетрадью
переписчик возился сверщик
над колыбелью свои сети
раскидывал путь млечный
я не жил столько тысячелетий
и потом не буду жить вечно

Из аллеи

Виднелось вдалеке пустое поле,
на солнце детские ладоньки
листвы, как если бы в них что-то пело,
прозрачно зеленели и легонько
дрожали. Затевались эти строки
в спокойном и беспрекословном свете.
Ни грома, ни грозы, ни рифма «сроки»
ещё не шла стиху, ни рифма «сети».
Но если ты не слышал гула,
и тишина стояла, не затишье,
зачем, скажи, тебя к жилью тянуло
и краткому дымку над крышей,
туда, где длится вечное застолье
и — умное ли слово, вздор ли —
где вволю злы и рады поневоле,
и счастье смертное застряло в горле?

Марина Москвина

Три стороны камня

Роман

> Нет более соблазнительного дерзновения для человеческого сердца, чем попытка понять стершиеся человеческие следы, которые вдруг являются перед ним и обращаются к нему.
>
> *Эмилио Бетти*

У меня душа как-то некрепко держится за тело. Любой внезапный переполох может вытряхнуть из меня душу, и даже в мелочах — стоит мне споткнуться на бегу, глядь, она парит в вышине. Особенно этому способствуют любовь и алкоголь. При этом, как только бывает в кино или во сне, тело мягко и расслабленно опускается на землю.

Первый раз это случилось в Юрмале на детской площадке, среди медовых лип и корабельных сосен с зарослями черники у корней, наполнявших воздух запахами смолы и нагретой хвои. Крутилась карусель, и мой дорогой мальчик с ветерком летел по кругу да еще раскачивался, ибо это были качели-карусели. Солнце клонилось к закату, на тот момент оказавшись на уровне глаз, и всё было видно контражуром.

Карусель остановилась, а когда я потянулась к ребенку, она вдруг поехала с музыкой хрустальной. Меня ударило по лбу железной балкой, и я увидела себя лежащей лицом к небу, раскинув руки, крутились трубы, громыхая и скрипя, наверно, снизу напоминая адскую машину, а сверху — праздничную иллюминацию, кружащую под наигрыш волшебный.

Передо мной уж мерцали белые фигуры, исполненные любви. Они как будто совещались и были очень притягательны, из чего я заключила, что небесное притяжение, пожалуй, посильнее земного. Внизу мелькнуло испуганное лицо мальчика. И я мгновенно обнаружила себя сидящей на скамейке, на лбу вздувается здоровенная шишка, а Павел побежал играть дальше — подумаешь, только шишка и больше ничего.

Это был период, когда мир явно пребывал со мной в раздоре. Все время северный ветер какой-то злой, даже летом, нервы на пределе, люди представлялись мне сборищем отщепенцев и фриков, иногда утром я просыпалась в полнейшем отчаянии без всякой видимой причины.

Марина Москвина — прозаик, автор многих книг для детей и взрослых, в том числе романов «Гений безответной любви», «Роман с Луной», «Мусорная корзина для Алмазной сутры», «Крио», а также книг о путешествиях в Японию, Индию, Гималаи и Арктику. Лауреат и финалист многочисленных литературных премий. Постоянный автор «ДН».

Предыдущая публикация в нашем журнале — «Глория мунди» (2018, № 2; премия «ДН» за лучший рассказ года).

Журнальный вариант.

Роман Марины Москвиной «Три стороны камня» выходит в «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ в начале 2022 года.

Да и что тут веселиться-то, когда кругом наводнения, землетрясения, тайфуны, черная дыра поглощает материю, антивещество пожирает вещество, брахманы прекратили творить молитвы, народы впали в варварство, всю ночь над ухом зудят комары, по улицам стаями бродят сумасшедшие, в раздолбанных автомобильчиках — шудры. Всюду слышатся пьяные крики, мат-перемат, из окон доносится перебранка. Встанешь на трамвайной остановке — рядом бабуля в мини-юбке, в панаме, ярко накрашенная, с искусственной косой, бледный слепой с коломенскую версту нащупывает посохом сквозь толпу дорогу к трамваю...

Я даже затеяла окреститься, пошла в храм на Петровке, а там священником — отец Михаил, душа-человек, я ему рассказала про свою беду, а он вдруг так жарко зашептал:

— Вы счастливица в сравнении со мной. Мне надо принимать исповедь, причащать, благословлять, а на уме: «Да будьте вы неладны!» или, что еще хуже: «Чтоб вы сдохли все...» Хоть снимай ризу и меняй работу!

В смятении вернулась я домой. А мои окна выходят на Бутырскую тюрьму. Нет-нет и поглядываешь, не собрались ли семь Ангелов, имеющие семь труб, вострубить и не летит ли на землю звезда, которой был дан ключ от кладезя бездны?

Хотя мой приятель Флавий считал подобный вид из окна благословенным, ибо он развивает у квартиранта философское отношение к жизни.

— Еще лучше, если б твои окна выходили на крематорий, — заявлял он мечтательно, — что напоминало бы о бренности бытия...

Своим благозвучным именем друг мой обязан мамочке, та много лет заведовала сектором икон в Третьяковской галерее, Агнесса Шимановская, специалист по Страшному Суду.

— Я только запамятовала, — бормотала она, спустя много лет, уже старенькая, седая, всегда всем ужасно недовольная, — в честь кого именно я назвала сынулю? Флавия Иосифа? Флавия Аэция? Флавия Стилихона?.. Ромула?.. Филострата?.. Вегеция Рената? Флавия Клавдия Юлиана или Флавия Севера?

Верней всего — Иосифа, поскольку сестрица Флавия Сибилла тоже отхватила имечко дай боже, но эта уж, никаких сомнений, — наследовала незабвенной королеве Иерусалимской.

— Когда Амори, сын Фулька Анжуйского и Агнес де Куртенэ, взошел на трон Иерусалимского королевства, — говорила низким голосом, контральто, их царственная мать, — его брак объявлен был недействительным по причине кровного родства. Но Сибиллу и ее брата Балдуина, после долгих и нудных препирательств, с большой натяжкой и оговорками, объявили законными детьми...

Одна радость, Шимановская не одарила сына звучным именем Балдуин, чем обрекла бы его на пожизненное прозвище Балда. А Флавий — однокашники и так пытались вывернуть, и эдак, все головы сломали, — оно неприступно высилось как монолит, не поймешь из какого сплава, отполированный до блеска.

Притом Шимановская утверждала, что родом они из деревни Похолуево Рязанской области, и Флавий с годами стал вылитый дед Похолуев — такой же раздолбай, Царствие ему Небесное. А на меня порой неодобрительно косилась и спрашивала прямо в лоб:

— Райка, ты еврейка?

На что я сызмальства неизменно отвечаю:

— Уже да!

С намеком: с кем поведешься, от того и наберешься.

Однако Шимановская, глядя на меня как царь сами знаете на кого, не раз объявляла, что в жилах ее семьи течет исключительно славянская кровь без малейших примесей, и вся их компания от кончика носа до кончика хвоста — русские, а именно: бабушка Иовета, сама Агнес, два ее отпрыска Флавий и Сибилла вкупе с отцом

Амори Мануилом, предложившим руку любимой дочери графу Стефану Сансерскому, но Стефан — тот еще обалдуй, не хуже деда Похолуева, из-за какой-то вассальной клятвы, данной римскому императору, которую пришлось бы расторгнуть, стань он королем Иерусалимским, — отказался от своего счастья. О чем все, конечно, горевали, ибо Сибилла имела странную особенность, причем никто понятия не имел, что с этим делать, — бедняжка непрерывно росла, будучи уже совсем взрослой.

И кто это вынужден терпеть? Я, дочь Софьи Андреевны, дочери Екатерины Фёдоровны, дочери Аграфены Евдокимовны, потомок фабрикантов Абрикосовых, которым принадлежало пол-Москвы — особняки, богадельни, заводы и пароходы, а главное — прославленная кондитерская фабрика немыслимого масштаба деятельности: товарищество «Алексей Абрикосов и сыновья», оборудованное по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. Потом ее переименовали, и она стала фабрикой имени революционера Бабаева.

Да как она смеет так со мной разговаривать, эта Шимановская, если в зените славы мой прапрадед Алексей Иванович Абрикосов получил звание Поставщика двора Его Императорского Величества!

Нет, я ни в коей мере не умаляю величие деда Похолуева, всеми правдами и неправдами уберегшего чистоту славянских кровей, просто благодаря моему излишне длинному носу, а также непроходимой тоске во взоре, меня частенько принимают за представителя избранного народа, и, как Человеку Мира, это не то чтобы обидно, это злит как не знаю что!

И сны, сны одолевают меня, запоминаясь во всех подробностях, как правило, невесомые и бесплотные, а тут неожиданно — ярко так, реально привиделось облако, в котором бушевал пламень, а в пламени — колесница с крылатыми животными, имевшими каждое четыре лица: одно — человека, другое — льва, третье смахивало на орлиное, а четвертое — то ли агнец, то ли еще кто-то в этом роде.

— А перед лицами — колеса, усеянные очами? — спросила Агнес, когда я рассказала им с Флавием о своем видении. — Ты у нас просто пророк Иезекииль! Райка и внешне смахивает на Иезекииля, ты не находишь? — спросила она у Флавия.

— Конечно: у них, у русских, лицо капустой, нос картошкой, — сказала я, зарекаясь с ней обсуждать что-либо, касательное таких тонких материй.

К тому же Агнесс побаивалась, что Флавий женится на мне и я буду претендовать на ее жилплощадь. На кой мне сдалось их ласточкино гнездо под стрехой, блочная пятиэтажка в Марьино, когда я всю юность прожила в квартире, где до революции вольготно располагались мои родовитые предки.

Дом наш стоял на высоком берегу Яузы — священное место, Лыщикова гора, Николоямская улица, сколько там было купеческих домов, особнячки, дворцы и церкви, все сметено, уцелела одна церквушка Покрова Богородицы, единственная в Москве несмолкающая веками звонница; две колокольни звонили после злополучного октября: Ивана Великого в Кремле и наша, это примерно четыре остановки на троллейбусе до моей бабули Кати.

Дом Абрикосова — вычурной конструкции с излишками архитектуры: балясины, увенчанные гроздьями винограда, широченная парадная лестница, чугунные перила, пять с лишним метров потолки (практичные жильцы громоздили над головами второй этаж, прилаживая винтовую лесенку), анфилада комнат и коридор с шикарным дубовым паркетом ромбиками, уходящий в бесконечность.

Как это ни удивительно, пращур мой, Абрикосов, радостно приветствовал революционные бури. До октября семнадцатого года в его домашнем дневнике встречаются такие записи: «Послал Осипа за маслом, просто хлеб с черной икрой не так хорош...» После февральского восстания появятся вольнолюбивые строки: «А может, и славно, что нет никакого царя?» А после Октября из этого же дневничка

мы узнаём, что Ося, высунув язык и утирая пот со лба, сидел на кухне, выводил какие-то каракули. Старик хотел помочь, поскольку тот неграмотный.

— Пишите, барин, — сказал Осип. — «В совет рабочих и солдатских депутатов. Заявление. Семья Абрикосовых по адресу Николоямская дом 8 занимает слишком много комнат, их надобно прикатать...»

Домовладельца уплотнили, оставили одну гостиную, и ту разделили фанерой пополам, а благородное семейное гнездо превратили в пчелиные соты. Но папочка — правнук Абрикосова — Абрикосов Альберт Вениаминович, выдающийся физик и математик, — был благодушен, миролюбив, он мне говорил:

— Всегда надо разговаривать друг с другом вежливо. А в критических случаях — особенно вежливо: «Дорогой сэр, вы позволили себе в мой адрес... Когда будем стреляться, сэр?» — «В среду сэр...» — А не: «Ах ты, сволочь, мерзавец, подонок, свинья...» Кстати, «свинья», — объяснял он мне, — означало трусость и отсутствие воинской доблести — всего лишь!

И рассказывал, что у них в доме перед войной был жутко приставучий дворник, жильцы с ним ругались, посылали куда подальше, а он оказался осведомителем НКВД. Весь дом пересажал — кроме нашего папы, который с младых ногтей один ему говорил всегда:

— Здравствуйте, Кондрат Егорович, как поживаете?

Только папочка и остался, его не тронули.

Похоже, над нашим родом простер крыла ангел: о всех судить не берусь — у пращура было двадцать два ребенка. В лучшие свои времена фамильный клан насчитывал сотню, а то и больше, благоденствующих плодов раскидистого древа Абрикосовых. Кто-то вовремя покинул эту страну, как загоревшуюся одежду, кто-то раздал свои богатства, переменил имя и с котомкой двинулся по Руси.

Зато на нашем стволике с ближайшими ответвлениями старики во благовременье умирали в своей постели, что было недосягаемой роскошью по тем временам. Каждая личная история заканчивалась хеппи-эндом — если про человека можно было сказать: он много пережил невзгод, но умер в своей постели.

Справа на стенке висел общественный телефон. Перед телефоном — три комнаты с паркетом, элитные, где обитали я, мамочка и папа, те самые Абрикосовы, плоть от плоти, но это не афишировалось, тут же за фанерной кулисой (половинка двери наша, половинка — невестки Льва Толстого, неясно по какой линии) — Екатерина Васильевна Толстая, совершенно седая, прямая, худощавая в синем халате.

Дальше — надменная Лидия Петровна, интеллигентная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, вдова академика Магницкого, химика и металлурга, единственного, как говорила Лидия Петровна, «беспартийного друга Сталина». У той все отдельное: мраморный рукомойничек с белым эмалированным кувшином, личный телефон и светлая просторная комната с видом на проезжую часть. Перед ее окнами ездили троллейбусы, это считалось шиком, и там всегда было солнце!

К Лидии Петровне часто приходили серьезные люди в длинных габардиновых пальто и шляпах, она устраивала респектабельные приемы. На стенках фотографии: Магницкий с Папаниным, с академиком Павловым, Гербертом Уэллсом. Повсюду в комнате лежали памятные альбомы, стопки рукописных листов, испещренных химическими формулами.

По утрам Лидия Петровна и графиня Толстая оживленно беседовали на кухне по-французски, обсуждая что-то, не предназначенное для ушей советских обывателей вроде дремучего таксиста Гарри и его супруги Антонины, милиционерши, очень властной, фанатично преданной своей профессии, с лицом боярыни Морозовой, только художника Сурикова не хватало — запечатлеть ее суровые черты.

А впрочем, был у нас и художник. Если от входной двери шагать по «главной улице с оркестром» — увешанной лыжами, корытами и тазами, мимо великого и ужасного гардероба, хранителя никому не нужного барахла, на самом краю нашего перегруженного ковчега, на излете кормы, где в дощатом аппендиксе стрекотала пара сушеных кузнечиков, бывшая прислуга — столетние Надюша и Зинуля, считай, в бортовой щели, по оплошке не законопаченной Ноем, — с некоторых пор тулился живописец Илья Золотник, Илья свет Матвеевич, божий человек.

По причине крайне малогабаритного жилья свои картины Золотник ваял исключительно по вертикали. Вынужденная вертикаль формировала устойчивую тематику — это была мистерия, даже, я бы сказала, разгул вознесения. Размытые и неясные образы будто появлялись из влажной темноты сумерек, легко преодолевая гравитацию, устремлялись ввысь, решительно покончив с делами на Земле, отзываясь на властный зов Вселенной.

Что, в общем-то, удивительно, как я сейчас понимаю, ведь так или иначе художник на картине изображает себя самого, неважно, в букете, пейзаже или натюрморте. Я уж не говорю об автопортретах — Леонардо, Эль Греко, Ван-Гога с отхваченным ухом, — но даже близкий мне по местожительству «Тюремный дворик» или «Виноградники в Арле», вплоть до абстракций Пикассо!

Илья же Матвеич внешность имел рельефную, несколько даже пингвинью: неуклюжее тело при маленьком росте, круглая голова, курносый нос, вывернутые губы, крохотные глазки-незабудки, а над этой неизбывной голубизной нависал громадный покатый лоб, как омытая волнами скала над водоемом.

Сократовскую его оболочку никак не отражали вытянутые бесплотные сущности, которые на полотнах едва различал глаз, поскольку цветовая гамма Ильи Матвеича имела оттенки тонкой мути, серых берегов, тумана и слепой шири. Никто не мог сказать наверняка, долетал ли дотуда глас небес. Больше того, некоторые люди, видевшие многодельные творения Золотника, готовы были поклясться, что на холсте вообще ничего нет!

Вранье, вранье, там что-то проступало, сквозило и просвечивало, какой-то волновой энергетический узор, похожий на зубастое крыло, которое вцеплялось в грудь, тянуло вверх за фалды, а может, пару плотоядных крыльев, схвативших за спину... Толчок, удар, прорыв, распахнутая дверь в неведомое мглистое пространство, его непроницаемую мощь и одновременно полную прозрачность, беззащитность, выписывал Золотник с великим усердием.

Какая цепь событий привела его в наши палестины? О своих подвигах в миру Илья Матвеич рассказывал смачно, колоритно, приняв на грудь, как дополнение *к этой счастливой жизни* — в качестве гастрономического удовольствия. И не только! Выпивка в случае Ильи Матвеича несла духовную нагрузку, сулила теплое застолье, где провозглашают заздравные тосты, вспоминают прошлое, говорят друг другу приятные слова.

Собирались у нас за большим овальным столом с ореховой столешницей, будто бы вросшем резными львиными лапами в паркет, папа называл его обломком тихоокеанского лайнера *Абрикосов и Ко* (одна радость, — он добавлял, — хорошие соседи!), всем миром накрывали поляну, в центре которой по особо торжественным случаям красовалась малосольная скумбрия «кисти Золотника».

В ближайшем продовольственном Илья Матвеич покупал свежую рыбину, потрошил, обезглавливал, чистил, брал за хвост и двумя-тремя точными движениями срезал мякоть. Пахучую рыбную субстанцию Золотник укладывал в миску, туда сыпал соль, сахар, черный молотый перец, свежий зеленый лучок («В альянсе с зеленым луком серебристая скумбрия смотрится особенно живописно!»), поверх — тарелку с гнетом — круглым тяжеленьким голышом с озера Балхаш.

На Балхаше Илья Матвеич во времена оны проходил армейскую службу в секретнейшем городе Приозёрске, где и познакомился с Митей Осмёркиным, родственником того Осмёркина знаменитого из «Бубнового валета» (те же штаны, шутил Илья Матвеич, только наизнанку), взволнованным певцом родного подмосковного поселка Перхушково, точнее, сосны на его окраине.

Илья Матвеич служил завклубом, а Митя «фершелом», но рисовал как заведенный «Сосну в Перхушково». Он рисовал ее по памяти, под чистым небом, кроной в облаках, в лиловых сумерках, бурлящей жизнью, с грачами, галками, воронами, как Митя выражался, мелкой птичьей сволочью. Над ними проплывали солнце и луна, раскачивали ветки ветры, пронизывали звездные лучи.

— А тут Балхаш! — солировал Илья Матвеич. — И если, дорогие вы мои, не полениться и взглянуть на карту, вы все заплачете — такая там вокруг жаровня адова. Шаг в сторону — и по колено ты в пыли, второй — по пояс. Третий шаг — и ты в объятиях пустыни. Зима — всё та же пыль и сорок градусов мороза. Как только в этой преисподней водятся фаланги?! Проснешься утром — он, мохнатенький, пригрелся под бочком, стряхнешь его и думаешь: ну ладно, хрен с тобой. Они тут ядовитые, но не смертельные, не то что в Джезказгане...

— Да и зачем ему кусать Илюшу, — вступает в разговор Осмёркин, — если под мышкой у Ильи он, считай, у Христа за пазухой?

— Выйдешь к воде, озеро без берегов, штормит, волны — с пятиэтажку — вдребезги бьются о скалы, — когда Илья Матвеич выпивал, то изумительно держал компанию. — А ты стоишь на этих вот камнях — в горле ком, ты: «Мать перемать!!!» — орешь наперекор волнам. И только скалы, тучи, ветер и песок слышат твою песню.

Он был чистейшим гением и знал это. Ни выставок, ни славы, ни продаж, естественно, он постоянно где-нибудь работал.

— У меня трудовая книжка — трехтомная, — слегка фанфаронил Илья Матвеич. — Первая — на казахском языке. Три пухлые книжищи! С их потрепанных страниц встает во весь исполинский рост моя героическая биография. Я только в космосе не бывал, хотя на мне испытывали скафандр, потому что мы антропологически похожи с одним космонавтом, не буду разглашать его громкого имени. Серьезные люди из Института космических исследований предложили мне провести этот эксперимент, я с ними познакомился на шабашке: «Если выживешь, — они сказали прямо, — тогда он тоже вернется на Землю».

Мы всей квартирой думали да гадали, что за колобок такой выискался среди покорителей космоса, наверно, Алексей Леонов, тем более что в рассказе присутствовала одна нелицеприятная деталь: когда все завертелось, закрутилось и помчалось колесом, вышняя реальность оказалась не совсем такой, нежели соратники по шабашке смоделировали на Земле. В открытом космосе опробованный на Илье скафандр *на хрен* деформировался, и только чудом его космического дублера не поглотила клокочущая Вселенная.

— Понимаете, дорогие мои, воспоминания — это что-то феерическое, — говорил Золотник, опрокидывая стопочку, закусывая малосольным огурцом.

После чего обыкновенно следовал рассказ о сказочной удаче, которая сопровождала каждый шаг Ильи Матвеича, особенно подшофе.

Родился он в Барнауле, почти там не жил, а только впитал в себя бело-серые краски разлившейся Оби, серо-лиловую, болотную — наводнения на Барнаулке, ореховую — пустырей, искрасна-черноватые тени землянок — сараев, сложенных из досок, фанерных шкафов и панцирных сеток от кроватей, зеленую землю огородов, белильце привязанной к колышку козы, сизые клубы дыма, валившие из трубы спичечной фабрики.

Запомнил мотогонки по отвесной стене бродячего шапито, устроившего

представление в храме Дмитрия Ростовского, тощего клоуна Алекса и безрукого иллюзиониста, тот показывал фокусы ногами, это было потрясающе!

И в Барнауле, и в Камне-на-Оби, где Золотник провел детство, — да не в самом, а под Камнем, в Соснинской заимке в районе Острой сопки, станция Большая речка, — по улице на работу возили пленных японцев.

Мальчишки бежали за полуторками, бросали камни с комками грязи, кричали: «Япошки! Япошки!» А те — голодные, грязные, оборванные, ни живы ни мертвы — улыбались из мутных окон. Поверженные воины доблестной Квантунской армии валили лес, прокладывали железные дороги, строили поселки, гнули хребет на шахтах и заводах, болели, умирали — казалось, это лучше, чем лежать убитыми, как сотня тысяч их собратьев на сопках Маньчжурии.

Громче всех «япошки, япошки» кричали китайцы, дети эмигрантов, они потом дружно исчезли, когда образовалась Китайская Народная Республика во главе с Мао Цзедуном, уехали — и с концами.

— Откуда мне было знать, — вздыхал Золотник, служивший одно время развесчиком картин в Музее восточных искусств, — что у меня потом будет к японцам совсем другое, адекватное, отношение...

В Соснинке, чуть не под окном, грохотала горная речушка Улала, норовистый приток Маймы — очень холодная, он хорошо помнил, хотя ему не было и года, когда его отец брал на руки, входил и окунал Илью Матвеича в ее ледяные воды.

— Вся цивилизация пошла от нашей Улалушки, — с гордостью говорил Золотник, — а не из какой не из Африки. Хотя там у нас — дыра дырой! Но не в этом суть!

Суть же в том, что Илья Матвеич отвратительно учился в школе. Только рисование удавалось ему в кружке, больше ничего. И когда он в очередной раз остался на второй год, бросил школу и бродил с альбомом — рисовал озера, лес, холмы, высокую траву, орла-могильника на обточенных ветром камнях, — дядька Чебогатурин, хромой сосед, сказал:

— Что, парень, ходишь — рисуешь, ботинки снашиваешь? Кому это надо? Освоил бы лучше малярное мастерство! Я в юности мечтал стать маляром, да война, ранение, госпиталя... У тебя вся жизнь впереди! Научишься колера смешивать, это гарантированный рубль! А художник — куда ни глянь — ни с какой стороны не гарантированный. Знаю я в Алма-Ате одно училище, где на маляров учат, у меня там товарищ по стекольному делу — я ему черкану записку, не пропадешь!

Мамочка стояла на платформе в лимонном платье шелковом, из крепдешина с нечастыми голубыми васильками и рыжими веточками, зелеными листочками. А ее мальчик с рекомендательным письмом стекольщику — ту-дух, ту-дух, ту-дух! — во весь опор помчался из глухой провинции в столицу, словно молодой гасконский дворянин Д'Артаньян — в Париж к господину де Тревилю, капитану королевских мушкетеров.

Ночь он провел в вагоне с фонарем, внутри которого слабо мерцала свеча. Пассажиры завалились спать на лавках, заглушая слабый свист паровоза своим храпом.

В отличие от малоимущего гасконца, Илью приняли радушно, дали форму ФЗУ, койку в общежитии — учись, студент, грызи гранит науки! Он начал грызть — а там такая скукотень: всё штукатурка да грунтовка... А где же краски? Краски где — с манящим запахом олифы? Где маховые кисти, макловицы, филенки, ручники, торцовки??? Где охра, мумия, сиена, умбра, ультрамарин, железный сурик? Где желтый марс, — он спрашивал у мастеров, — лазурь и малахит?

— Какой ультрамарин?! Какие масловицы? Шпаклевка, парень, и затирка первый год. А красить — это на втором курсе...

Илья Матвеич приуныл, занервничал. И тут на горизонте появился Август Штро, бывший музыкант оркестра Ленинградской филармонии под управлением Мравинского.

Из-за болезни сердца врачи ему велели сменить климат, сырой воздух вреден был для него, там он умер бы через год-два, а в Алма-Ате расправил крылья, вострубил в Театре оперы и балета имени Абая — он играл на тромбоне. И всегда вспоминал, как до войны еще на Дворцовой площади собирался могучий сводный оркестр: сотни музыкантов, в основном, военные, исполняли лучшие свои номера, — ничего грандиозней Август в жизни не видывал и не слыхивал, чем когда они разом грянули Римского-Корсакова «Полёт шмеля»!

Вот он и решил собрать все духовые оркестры «Трудовых резервов» Казахстана. Да еще организовал коллектив под своим управлением из школяров: штукатуров, маляров, стекольщиков, каменщиков, бульдозеристов и водителей башенных кранов.

— Я начал с нуля и хотел играть на кларнете, — рассказывал Илья Матвеич, — а Штро: попробуй-ка тубу! Держи мундштук и дуй! Я подул. И поверите ли, друзья? У меня обнаружилась фантастическая мощь воздушного потока. Взгляните на эти губы! — Золотник вытягивал африканские губы, как шимпанзе для поцелуя. — Я только приближал к ним амбушюр, и огромный раструб тубы наполнялся рокотом, ослиным ревом, еще до наставлений маэстро мне были подвластны звуки, издаваемые омерзительными и чудовищными пресмыкающимися! Ребята из оркестра прозвали меня Губастым. Туба стала моей страстью. Это был настоящий медный инструмент, а не какой-нибудь дюралевый или латунный. Общага стояла на ушах, когда я осваивал ноты, долбил гаммы, пытался разгадать тайну вентилей!

Дебют состоялся через полгода в Оперном театре. Оркестры Экибастуза, Актюбинска, Павлодара, Кандыагаша, Темиртау — все были в гости к ним!

— Триста духопёров! И мы! — восклицал Илья Матвеич. — Мы вышли на сцену и сыграли два гимна: Гимн Советского Союза и Гимн Казахстана.

— И все? — разочарованно спрашивал отец Абрикосов.

— Мы же только начали, Альберт! Не все артисты знали ноты, а в гимне, это между нами, всегда можно сачкануть... Но только не тубе! Туба ведь — нечто среднее меж баритоном и трубой, в ней легкость звукоизвлечения корнета, мягкость валторны, величественность, роскошь, благородство, плюс уникальная густота тона. Туба звучит слишком выпукло, это колоссальная ответственность.

Через год репертуар расширился, оркестр наяривал «Марш танкистов», «Марш артиллеристов» и «Танец маленьких лебедей». (Причем идея была моя! — гордо говорил Илья Матвеич. — В Чапаевске мама водила меня на «Лебединое озеро» в Дом культуры. «Август Михайлович! А хорошо бы Чайковского сыграть? На следующую репетицию он пришел с нотами).

Август прочил ему большое будущее — с таким-то амбушюром. Когда в театре прямо перед началом «Ромео и Джульетты» заболел тубист и надо срочно было отыскать замену, Штро не раздумывая посоветовал дирижеру Илюшу.

За ним послали, Илья прибежал, трясясь от страха, обмирая, взошел по каменным ступеням Оперного театра, этого Парфенона с колоннадой и смеющимися и плачущими масками на фасаде, взял инструмент, и, как это ни удивительно, по знаку дирижера вовремя и к месту издал «рявкающий звук» в марше Монтекки и Капулетти.

В антракте все стали поздравлять его, хлопать по плечу и говорить: «Великолепно, приятель!» Опьяненный успехом, Илья выкарабкался из оркестровой ямы, пошел искать туалет, а за кулисами такая кутерьма, он заплутал среди гримерок, декораций, костюмерных, карманов, закоулков, лабиринтов, в конце концов увидел дверь на улицу, шагнул во двор и остолбенел: по пояс голый, в голубом плаще, накинутом на плечи, в широких желтых штанах с красными лампасами и в алой бескозырке, худой, как барнаульский клоун Алекс, посреди двора, будто в центре самого мира, — стоял Художник.

Илья сразу понял: вот этот человек, каким он сам хотел бы стать. Большой и всемогущий, с ведрами красок, гигантским полотном, раскинутым на земле, и великанской кистью, размером с дворницкую метлу, — тот окунал ее в ведро и щедро, от души бросал на полотно мазки — все это *на живую ногу*, как говорил дядька Чебогатурин, играючи, небрежно, можно сказать, не глядя.

То был ритуальный танец шамана, который нацелился в небесные чертоги, — так незнакомец взбегал по стремянке и с высоты оглядывал свое творение: хорошо ли? Потом спускался, и на разлинованную квадратами тряпицу шлепался новый густой мазок.

Илья застыл столбом.

— Что, обалдел? Видал, как надо красить? А не так, как ты, тык, тык!.. Как тебя зовут, малый? Илья? Илия — это бог грома, ты должен быть как гром, греметь везде, а не столбом стоять!

— А вы откуда знаете, что я на маляра учусь?

— Я, Илия, все знаю, все вижу, вижу, что ты художником мечтаешь быть, так ведь, Гермес-Трисмегист?

— Трисмегист — это кто?

— Это Гермес Трижды Величайший, друг мой! Хочешь помулевать? Вот там возьми флейц и присоединяйся. Мажь еловые стволы голубым, ветки крась лиловым из вон того ведра, я там уже колер намешал.

От слова «колер» у Ильи захолонуло в груди, он взял кисть, макнул ее в ведро и стал красить, удивляясь: почему стволы голубым? А из-за стволов и еловых лап выглядывали страшные коричневые хари, они гримасничали, пучили глаза, высовывали язык.

— Если режиссер скажет, что эти рожи ни к селу ни к городу, я их замажу. И превращу в камни. Но сквозь мои камни будут просвечивать лесные духи, поскольку они заодно с Сусаниным против поляков. Вот так, Илия! Только мы с тобой будем это знать, больше никто!

— Дядя Серёжа, — вдруг он повернулся к Илье и протянул ему заляпанную краской ладонь. — А если полностью — то Сергей Иванович Калмыков, гений Первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, слыхал о таком? Так вот — это я!

— Илья... Илья!!! — донеслось из-за угла, — где ты? Дирижер зовет, не начинают, тебя ждут!

— Мне пора, — сказал Илья, — я на тубе играю, в оркестре.

— «Ромео и Джульетту»? Чует мое сердце, ничем хорошим эта история не кончится! Ты вот что, Илия, приходи ко мне домой, в мой дворец муз, магистериум, на перекрестке Емелева и Советской, если встать лицом на восток, в шаге от Парка Федерации... Я тебе покажу свою новую картину... До свидания, дорогой друг!

Потрясенный вернулся Илья Матвеич в общежитие, сбросил одеяло с кровати, и на простыне синими чернилами нарисовал задник с лесом и луной над холмами, с лодочкой и лунною дорожкой, за что получил нагоняй от коменданта Галима Галимовича, который топал ногами, грозился выселить ко всем чертям, и так он всем осточертел своими кошачьими концертами.

С большим трудом Илья уговорил Галимыча повесить разрисованную простыню на стенку в прачечной или в каптерке у завхоза, как образец декоративного искусства.

Назавтра, только Штро отмахнул палочкой, показав, что репетиция окончена, с тубой на плече, Илья отправился по указанному адресу.

Зачем он взял с собой тубу? Во-первых, с ней он чувствовал себя уверенней — а то весь трепетал, как лист на ветру, что вновь увидит своего кумира. Ну и собрался вечерком подрепетировать, они разучивали марш из оперы «Аида». Бархатный и шелестящий *pianissimo* у него плохо получался, зато на *forte* к густому тембру он ловко

насобачился добавлять металлический блеск, звук будто не умещался в инструменте, и туба начинала мелко дрожать.

Это был какой-то всплеск радости, Август Михайлович называл Илью золотым самородком, предложил индивидуальные бесплатные занятия, обещал договориться с Мансуровым о стажировке в оркестре, минуя всякие училища, консерватории. Илья обещал подумать.

— Да что тут думать-то? — удивлялся Штро. — Это судьба твоя стучится в двери, как в «Пятой» у Бетховена: от мрака к свету и через борьбу к победе!

Илья шел, ликуя, напевая, и прекрасный город служил ему фоном и хором: ветлы в три обхвата, волнующиеся от налетевших горных ветров, — ветвей у ветлы целый лес, и нежная зелень весенняя, пока что не пыльная, еще не выжженная солнцем, шелестящая стена пирамидальных тополей, кроны красных дубов и вековых карагачей на улице Абая, предгорья Алатау в яблонях цветущих, облака и Небесные горы — пока не загустела листва, их сахарные головы просматривались вдоль и поперек — от лысых прилавков до ослепительных льдов на макушках.

Ведь недаром же с детских лет в каждом желал он найти удивление, солнце и щедрость, размах и, конечно, — Любовь! Потому что ему одному, Илюше Золотнику, дано в этой жизни хоть что-нибудь понять из никому не понятного явления — беззаветной любви, которая поднимет его в небеса. Тогда он оглядит с высоты этот город и горы, глубины океана, материки, мировое пространство и позовет туда всех, кто пока пешком, кто отстал и устал!

Илья шагал с пылающими ушами, сам не свой от сознания важности собственной миссии, своего земного предназначения. Кем я буду? Кем, кем? — думал он. И вообще, что я такое? И когда я об этом буду знать? Никто не замечал меня, никому я не был известен, никто не спрашивал, кто я, и откуда, и что мне надо на этой земле, как вдруг птицы высокого полета закружили над моей головой, и голова моя пошла кругом...

Журчание фонтанов, арыков, певучие дрозды, грохочущий трамвай «пятерка» и даже типовой, бетонный, крашенный под бронзу Ленин на паперти бывшего Вознесенского собора славили Золотника, держащего путь на Восток, по направлению к старому казарменному бараку, где жили работники оперного театра и где в самой узенькой комнатенке, заставленной декорациями, заваленной рукописями о собственных подвигах и деяниях, автопортретами, фотографиями, эскизами, лохматыми папками повестей и романов, царил магистр цветной геометрии, гроссмейстер волнистых линий и линейных искусств, великий, наивный и совершенный, так он себя сам называл, художник «дядя Серёжа».

— Быстрей заходи, дверь плотней закрывай, а то кошки набегут, прикормил тут бродяжек молоком, пускай возвращаются к своей богине Фрейе.

Художник усадил Илью на самодельное кресло из старых газет, склеенных костяным клеем, стянутых веревками. Кровать, на которой он спал, сработана была из того же материала.

— Угощайся! — радушно сказал Калмыков.

На кипах газет, прикрытые газетой, стояли кружка молока и тарелка с горбушкой хлеба.

— Газеты — универсальная вещь, скажу я тебе, — и для ума, и для быта. Мухи газет боятся!

Пожелтевшие газеты служили ему рабочим столом, на них он созидал макеты Вавилонских башен, уносящихся в небеса, чертил подземный коридор, ведущий из Алма-Аты в Москву, сочинял «Диссертацию о соединительных швах черепа», набрасывал эскизы красной юрты к постановке «Князя Игоря», смахивающей на межпланетный летательный аппарат.

Всюду валялись рисунки со звездными скоплениями и космическими кораблями на оберточной бумаге, сопровождаемые сложнейшими математическими расчетами. А главное — картины, картины на старых клеёнках, тарных тряпках, на холстах, уже кем-то использованных.

— Зачем покупать новый холст, когда этого добра в театре навалом, спектакль с репертуара сняли, декорации — на помойку, а я тут как тут, это ж все мои сокровища! Вот только не хватает натуры, да Я и есть — своя лучшая натура!

Как раз посреди комнаты, ближе к окну, прикрытому газетами от прямого солнца, стояла незаконченная картина, изображавшая длинноволосого старика с белой бородой в нахлобученной шапке и бедуинских сандалиях, приглашающего Калмыкова на ужин.

— Знакомься, Илия, это Леонардо да Винчи. Сюда ко мне и Тициан заглядывает, и Тинторетто, сидим вечерами, беседуем об искусстве. У каждого из нас внутри бирюзовых глубин живет бог и творит чудеса. И ты заходи, не стесняйся!

— Кстати, — сказал Калмыков, — мне приглянулась твоя туба, будь другом, одолжи мне ее до завтра? Я чувствую в ней частицу своей души. Я нарисую твою трубу в образе бесконечного тоннеля или рога изобилия!

— Знай, — говорил он, провожая Илью, который оставил ему, конечно, свой инструмент, но с каким неспокойным сердцем, — частицу моей души можно встретить среди родников и трав, деревьев и облаков, но суть ее — три стороны камня: это Земля, Огонь и Небо!

— Запомни, Гермес-Трисмегист! — рокотал он Илюше вослед. — Художник обязан предъявить собственную модель мироздания, иначе грош ему цена. Смотреть на божий мир глазами дикаря, пронизывать его насквозь, вывернуть к черту наизнанку, как вывернул я свое новое мышиное пальто, подаренное мне в месткоме, распорол по швам и вставил туда разноцветные клинья!..

Ночью Золотник не сомкнул глаз, день прожил как в тумане, еле дождался вечера, смятенно постучал в обшарпанную дверь барака, ему открыл художник, облаченный в золотой балахон, ярко-красно-желтые шаровары с золотистыми лампасами, пришитыми фиолетовыми, багровыми нитками, — весь его облик напоминал тропическую игуану с чешуйчатым драконьим гребнем.

За окном его катились то солнце, то луна, вспыхивали и гасли звезды. По стенам и потолку металась калмыковская тень. А на мольберте стояла уже совсем другая картина, втрое больше вчерашней — вместо белобородого Леонардо в центре красовалась туба, но совершенно плоская и, что странно, не потерявшая медного блеска, вокруг плясали цветные треугольники, овалы и квадраты. Картина звучала, сияла на солнце, прорвавшемся сквозь заклеенное газетой окно, извитые линии вихрились вокруг тубы, геометрические элементы отстукивали чечетку... Но туба на холсте не была нарисована. Расплющенная и прилепленная к подрамнику, она была самая настоящая — та, что Илья Матвеич имел несчастье оставить этому варвару.

Внизу голубела надпись танцующими прописными буквами: «АПОФЕОЗ СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА».

— Входи громовержец, мечи громы и молнии! — воскликнул Калмыков. — Ты должен отыскать Ключ к Мирозданию, взорвать и прорваться, это я тебе говорю, Человек с Орденом Мухи! Что, брат? Покруче Пикассо? Шедевр? — доносилось, как с неведомой планеты, откуда-то издалека-далека, со звездных бескрайних просторов.

Так у Ильи Золотника бесславно оборвалась карьера музыканта, зато распахнулась другая дверь — в изобразительное искусство, куда он шагнул не раздумывая — без малейших колебаний.

...И всю жизнь его тянуло в те места, где волшебная «линька» Заилийского Алатау от снега (снизу вверх — весной и сверху вниз — осенью) была для него лучше всякого

театра. А поджоги сухой прошлогодней травы — весенние палы, которые устраивали на склонах Кок-Тюбе мальчишки-пастухи, когда пламя огненными кольцами взбиралось по склонам вверх с такой яростью, что отбрасывало зловещий отблеск на город, и наутро Кок-Тюбе представал внушающим ужас обугленным «кара-тюбе», потом долго тревожили Золотника ночами.

Он любил болтаться на Зелёном рынке, любоваться кроваво-красным наливным апортом. О, эти яблоки, краса и гордость Казахстана! Как-то Илья, поднакопив деньжат, послал фанерный ящик с пятью огромными плодами — почти по килограмму каждый! — в Соснинку, порадовать сестрицу с мамой. И эти сказочные яблоки всю зиму наполняли мамин дом чудесным ароматом. Она их берегла, не ела, а только любовалась, да еще ими потчевала Илью, когда тот приехал на побывку!

С какой же радостью — спустя много-много лет — поехал в Алма-Ату Илья Матвеич показывать выставку японских гравюр.

— И сделал выставку — с блеском! — рассказывал он. — Пришлось обрушить на них водопад своего жизнелюбия, полностью не соразмерный моему официальному статусу развесчика картин. Я открыл выставку при полном аншлаге, зажег умы и сердца...

— Илюша — уникум! — подхватывал Осмёркин, глядя на Золотника влюбленными глазами. — Хотя я эту историю слышу в тысячный раз.

Армейскую дружбу они пронесли сквозь года, вообще, их изначально было трое, еще на Балхаше в стройбате служил Мишка Захаров, тонкий ценитель изобразительного искусства, в мирной жизни он подторговывал иконами за границу. В любое время дня и ночи Мишка способен был нагрянуть без звонка к Илюше или Мите — с ящиком шампанского и ананасами. Долг дружбы требовал забросить все дела и с ним гудеть, поскольку он толкнул иностранцам очередную икону и гуляет.

Потом его то ли посадили, то ли он эмигрировал, Илья Матвеич с Митей лишились боевого товарища, но и вдвоем столь упоенно приносили Бахусу дары колосьев, листьев лавров, миртов, что это не всегда благополучно заканчивалось.

— Вчера жена была в гостях, — сокрушался Митя, — ко мне пришел Илья, принес бутылку водки. Мы выпили, принялись вспоминать армию. Илюша побежал за второй. Когда она вернулась, мы лежали на полу, беседовали о том, что главное в творчестве — страдания души или ликование духа, предавались воспоминаниям и плакали. Так эта стерва сгребла его за шкирку и вытолкала за дверь!

С годами что-то пошло не так. Выпьешь, говорил Золотник, и никакой радости, только сонливость, хандра, ярко выраженная мерехлюндия. Он стал к себе прислушиваться, присматриваться, долго наблюдал и пришел к такому выводу:

— То ли водка стала дрянь, то ли я спиваюсь. А как я могу спиться? Я всю жизнь пью, это для меня норма.

Тогда Илья Матвеич вот что придумал: берет и завязывает ...до новогодних празднеств.

— Нет, я не буду пить, — говорил он, если кто-то его пытался искусить раньше времени. — Только если меня зазовут в подворотню и скажут: у нас тут «Наполеон» пятнадцатилетней выдержки. Будешь? Тогда.

Зато в новогоднюю ночь выпивает, что под руку попадется, и — уже начинает продолжать, совмещая вселенские просторы с земными пристрастиями.

Поблизости у нас был винный, весьма изобильный, где можно было разжиться не только «белой головкой», «Перцовкой», «Зубровкой», «Петром Смирновым», но и старым бургундским и черным английским ромом.

— После перерыва ты ощущаешь весь букет вин, тончайший аромат, и вкус, и послевкусие, — делился впечатлениями Золотник. — И на этом фоне очень благоприятно воздействует на организм швепс.

Но скоро Илья Матвеич опять погружался в меланхолию, сторонился мира, ничего не ел, был какой-то безвольный и совершенно подавленный.

— Сегодня я не мог ходить по делам. Сегодня сыро, — он перед кем-то оправдывался по телефону.

— Жизнь-то тяжела, тяжела жизнь, — бормотал он в такие дни. — Да, жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка...

Помню его пристальный взгляд, обращенный в никуда, в нем отражался приморский городок, ставший для него чудом, Евпатория, где обитала нежность бабушки и дедушки, их удивительно трогательная любовь, соединенная с теплом солнца, линией морской волны, чистотой песочных пляжей и волшебной архитектурой...

И снова подкрадывалась праздничная дата, и он завязывал — до Первомая или годовщины Октября. Благодаря такой методе Илья Матвеич продержался на плаву еще несколько лет, выставляя на пути вешки, бражничая с Митей, распевая песни родоначальника казахской литературы.

Он срывался с якорей, искал на свою голову приключений, осваивал новые сферы деятельности («Даже рутинная работа приносит мне и радость, и удовлетворение!»), пока не сменил решительно все, чем тешилась его душа, на самоуглубление и покой.

— ...И распроклятое «мулевание»! — с негодованием отзывались о священнодействии Золотника Зинуля с Надей, буквально со свету сживаемые терпким духом скипидара и масляных красок. При этом бойкие сушеные кузнечики из прерий Амазонки всегда подчеркивали, что не питают отвращения лично к Илюше, а только к роду его бессмысленных и даже зловредных занятий.

Весной и осенью Ильей Матвеичем овладевали демоны, они навеивали страхи и тревоги, какие-то особенно мрачные думы, однажды эти черти полосатые подсунули ему вместо портвейна скипидар, слава Богу, друг Осмёркин вовремя раскрыл их злые козни!

Тогда к нему приходила старшая сестра с племянником Вовкой, тощим пареньком, стриженным почти налысо, с челочкой по линейке, и начинались нехитрые сборы в психбольницу: из ванной в комнату переплывали мыло в мыльнице, зубная щетка, с кухни — ложка и кружка... В газету заворачивались тапки.

— Почему у меня всего один коричневый носок? — громогласно вопрошал Золотник. — Я пока не собираюсь лишаться ноги!

— А где моя обычная черная шапочка? — гремело на весь коридор. — А то в этой шапке у меня вид человека не от мира сего. Какого-то героя из Жюля Верна — жителя Луны...

И снова — по комнатам разносилось:

— Подай-ка мои брюки, цвета «зеленое золото»...

Главное, не бутылочный, не болотный, не еловый, не крыжовенный — вынь ему да положь «зеленое золото»! И, принарядившись, с фанерным чемоданчиком, хотелось бы сказать: *сопровождаемый многодневным пышным шествием с участием сотен храмовых слонов, горнистов, барабанщиков, факельщиков и знаменосцев*, — но увы! под приглядом своей малочисленной, бесцветной родни и сочувственные возгласы соседей, художник Золотник смиренно отправлялся в «Кащенку» — сдаваться.

Однажды я увидела его в книжном на Садовой, куда мы с Флавием заскочили глянуть, есть ли там моя книга, — на закате второго тысячелетия у меня вышел маленький роман о любви.

В эту вещицу Флавий внес колоссальный вклад. Каждый вечер он звонил и спрашивал:

— Роман-то пишешь? Ну, пиши-пиши...

Это был могучий стимул для поступательного движения.

Еще он говорил:

— Не забывай: где есть лучшие куски, обязательно должны быть и худшие. Иначе как поймешь, что вот эти лучшие — без худших? Даже если худших нет — их надо специально написать!

Бывало, прочитаешь ему кусочек, совсем короткий, чтобы не испытывать терпение.

А Флавий:

— Тебе нужно создать такого героя — поэта, возвышенную душу, у которого метеоризм. Он с гордостью объявляет об этом во всеуслышание, как о чем-то космическом. «У меня такой метеоризм, — говорит, — что я просто летаю. Я могу улететь в небо, как ракета, и вы все еще пожалеете обо мне, что был такой поэт, а вы его не ценили. И вот он улетел...» Капусты наелся.

Я говорю:

— Ты так тонко чувствуешь, зорко видишь...

А он:

— Просто есть банальности, как камешек обыкновенный, и все зависит — под каким освещением его подать. Есть необыкновенное, которое необыкновенно — при любом освещении. А есть обыкновенное серое — вот этого я очень не люблю. Его как откроешь — сразу видно.

Такая у меня была подбадривающая трость Гуй-Шаня.

Мне в апофеозе никак не удавалась любовная сцена, на что я пожаловалась Флавию.

— Запомни, — сказал он, — центр эпоса — это огромный вздыбленный хер. Остальное вертится вокруг и на него нанизывается: кино, цветы, взгляды, всплески. У тебя же — наоборот: всё вокруг, а центра нету! Не доходит до сердцевины. Да в тебе и самой сплошь лирическое начало, ни черта эпического!

— Господи, — я отвечала, — дай немного эпического начала взамен лирического...

— Эпическое — вот здесь, — и Флавий с достоинством указал на свое причинное место. — Учти, я готов тебя исцелить — из альтруизма, конечно, не пойми меня превратно.

А пока суд да дело, засучил рукава и самолично описал финальную сцену соития героини и ангела, по мне так — лучшую в истории мировой литературы...

— Ты самая незнаменитая писательница в мире, — констатировал Флавий. — Твоих книг тут нет. Зато целая полка про Гитлера, пять полок про Сталина. Полка Проханова, Лимонова собрание сочинений. Сплошь националистическая литература. Везде поучения — как быть русскими, «Русское превыше всего» и что следует предпринять, чтобы встать с колен. И это в таком магазине, уважаемом! Какие-то непонятные издательства с антиамериканскими настроениями, всех разоблачают, особенно либералов и западников... Кошмар. Видно, как идет планомерная пропаганда этого дела. Что тут стряслось? Сменилось руководство? Может, теперь в книжном магазине директор — фашист? Ладно, пойду в детский отдел, отдышусь над «Щедрым деревом» Шела Сильверстайна, немного успокоюсь...

Он спустился вниз, а я свернула в любимый «бук» и увидела там Золотника. Я как-то сразу его узнала — со спины, хотя мы давным-давно переехали с Николоямской и не виделись лет двадцать пять. Он стоял, ссутулившись, в старом — с тех еще времен — чесучовом пиджаке блошиного цвета, очень модных прежде штиблетах с длинными носами, немного приподнятыми кверху, — кто-то отдал ему свои, покрытые пылью дорог, на экваторе Золотника я обнаружила мешковатые, с детства знакомые брюки — бывшее «зеленое золото»! И хотя венчала все вышеописанное, черт побери, та самая шапочка, в которой — и только в ней! — он ощущал себя землянином, сомнений не оставалось, что этот человек свалился с Луны.

Вооружившись лупой, Илья Матвеич склонился над старинным фолиантом,

раскрытым на главе «Черепъ», сосредоточенно исследуя храм черепного свода — монолитный, словно капля воды, спаянный из обилия косточек и пластинок. О, эти названия швов Божественного Портного — *венечный, стреловидный...* Сложнейшая мозаика совокупности...

Золотник шевелил африканскими губами, чуть слышно артикулируя: *наружный затылочный гребень, крылонёбная ямка... Чешучайчатая, барабанная, скалистая доли височной кости...* — Микеланджело в анатомичке! Бедный Йорик... Зачем ему понадобился *скелет головы* — при его бесхребетных видениях?

Когда-то он считал себя реалистом, о чем свидетельствовало крупное многофигурное полотно «День рождения Иисуса Христа», написанное с космическим размахом, снятое с подрамника, свернутое в рулон, спрятанное за шкафом. Илья Матвеич называл его «пробой кисти» в византийском стиле.

А между книжными полками, затертая, словно корабль во льдах, обреталась жизненная картина «Элен падает в пропасть» — с преобладанием пламенеющего розового, фиолетового и зеленого, переходящего в изумруд, — красок его палитры, рожденных первой военной зимой.

Розовый открылся в Чапаевске, в эвакуации. Илье было два с половиной года, когда недалеко от дома, где они жили с мамой и сестрой, взорвался химический завод. Волной отбросило кроватку от окна к стене, и маленький Илья Матвеич, как ни странно, живой и невредимый, смотрел на зарево пожара, не чувствуя ни страха, ни угрозы, переживая торжество огненно-розовой стихии.

Фиолетовым было свечение сигнального фонарика, который подарил ему летчик-отец, отправляясь на фронт. Илья то зажигал фонарик, то гасил, пока не сломал рычажок. Отец рассердился, назвал его скверным мальчишкой. Обиженный, тот забрался под кровать и даже не вылез попрощаться, о чем жалел до конца своих дней.

А изумрудным — бархатное пальто соседской девочки, приехавшей в эвакуацию из Ленинграда, первой любви Ильи Матвеича, оставившей неизгладимый след в его душе.

Вспомнилась комната Золотника, поражавшая непритязательностью на фоне духовного богатства ее обитателя. Масляная краска стен в уборной абрикосовки, пыльная пирамида картонных коробок с изношенной в стельку обувью над унитазом, грозившая обрушиться на голову беззащитного визитера (да еще Гарри забрал с расформированной лыжной базы восемь ящиков старых бесхозных ботинок — вдруг пригодятся?).

Перед глазами поплыли обломки повседневности — мамины кофейные чашечки и тарелка для десерта, ее прозрачная фиалковая ваза, то, к чему она так часто прикасалась, птичье оперение синиц и снегирей. Сонечка сыпала им хлебные крошки на подоконник, а прилетали жирные голуби и все сметали, — того нашего обитания, где так естественно уживались коммунальный быт и Универсум.

— Как интересно... — говорю, разволновавшись, я стояла так близко, чуть не касаясь его плеча. — Что это за книга, Илья Матвеич?

— «Атлас описательной анатомии человека», — ответил он, как глухой барабан, и все же не очень медленно, и не очень уж тихо. — Знаете, что, считал Марк Аврелий, — находится вовне? Лишь немного крови, несколько костей, сплетенье нервов и сосудов, немного воздуха... — Золотник не то чтобы вовсе не взглянул на меня, но как-то мельком, а ведь я назвала его по имени. — А что находится внутри? — проговорил, не отрываясь от завораживающей архитектоники черепной коробки. — Чувства, образы туманные и не очерченные, душевная субстанция, сновиденья, призраки... — И он окончательно погрузился в свой уединенный мир.

Я постояла еще немного, потом повернулась и со смятенным сердцем побрела прочь, я шла по Садовой, окруженная воспоминаниями, всегда имевшими для меня первостепенное значение.

В голове вспыхивали какие-то картины прошлого, гасли и возникали другие, причем в мельчайших подробностях: наш старый двор, желуди, сережки, перья фазана (соседи иногда несли по двору с рынка, надо было выпросить), решетка ворот, дверные ручки подъездов (отполированная ладонями медь), парадная — там на втором этаже целовались влюбленные, страшная «черная лестница», Надя с Зинулей по привычке пользовались исключительно «черным» ходом, отправляясь в Покровский храм на утреню, обедню или просто вознести благодарение Господу за прожитую жизнь.

Это нахлынуло на меня, окатило, ударило, словно каруселью по башке, с*вирель моя скорбной голубкой тоскует на чуждых реках Вавилона...* послышалось невесть откуда или во мне самой, я не разобрала, да только душа моя вырвалась на свободу и понеслась догонять вчерашний день. Тот пятился, ускользал, отступал дальше и дальше, ни за какой его не ухватишь хвост, а тебе оставалось только оплакивание или воспевание того, что было.

— Ах, она дома, наконец-то??? — послышался в трубке трагический голос Флавия. — А я ей уже двадцать раз звонил! Что это было??? Ты как сквозь землю провалилась!!! Я облазил углы и закоулки! Просил объявить на весь магазин, что жду тебя под лестницей! Мне говорят: «Стойте и никуда не уходите!» Я встал и ждал ее целый час, бог знает что передумал! Мне стало с сердцем нехорошо! Я всегда верил в твой разум, а после того, как ты просто УШЛА, оставив меня *одного*, весь твой образ, веками создававшийся, рухнул в моих глазах! Да-да-да! Теперь я от тебя ожидаю чего угодно! Любого абсурда! Все вертятся, все мотаются. На меня уже стали коситься охранники. Потом я опять пошел тебя объявлять. Они тебя объявляли три раза!!! А я все ждал-ждал-ждал, я чуть с ума не сошел! Главное, по радио постоянно рекламировали роман Коэльо, как у одного человека пропала жена! Мне стали разные ужасы мерещиться, в голову полезли триллеры, я вдруг подумал, что я скажу ее мужу, когда он вылезет, наконец, из пещеры? Зашли в книжный магазин*, и она пропала?* Полумертвый от страха, я побежал, купил карточку телефонную. Позвонил маме: Райка не звонила? Не звонила. Вернулся обратно в книжный: «Нет?» «Нет». Я ждал еще час, не верил своим глазам, что ты исчезла. Чего я только не передумал за это время, я думал, что тебя похитили — за выкуп! (Это был единственный человек в моей жизни, который всерьез опасался, что меня похитят...)

Флавий свирепствовал, как тигр, и мне пришлось долго ждать, пока он сменил гнев на милость и сказал:

— Пора заводить мобильник...

Не знаю, что он во мне нашел? С виду я ничего особенного, а Флавий харизматик, Высший Путь Светоносного Совершенства, он в институте, где мы учились, педагогическом имени Крупской, специально в портфеле таскал кирпичи, чтобы стать семижильным бугаем (потом решил, что это фигня, куда лучше ходить налегке и быть атлетом духа). А там же сплошь девушки неземной красоты, готовые на все ради его одобрительной улыбки. Нет, именно ко мне взбрендило сыну Амори Первого и венценосной Агнес обратить свое благоволение: нагнувшись, попросить огонька в курилке под лестницей, после чего произнести серьезно и деловито:

— Надеюсь, ты мне дашь?

— А у меня нет, — ответила я, не вдаваясь.

— Дай *то, чего нет,* — сказал он и так на меня посмотрел... Клянусь, в этом взгляде не было ничего, кроме мягкости, сострадания и любви.

Мириады невидимых нитей были протянуты, чтобы мы встретились с ним в тот день и час под лестницей в курилке, хотя ни до ни после он не курил и не пил вина; те, кто очень любил его, а я была в их числе, помнят легкость его шагов,

расфокусированный взгляд и какие-то парадоксальные фразы, типа: «Я как раз тот человек, который вам не нужен...»

Он любил танцевать со стариками на танцплощадке, они его обожали, правда, многие из них совершенно выжили из ума, но он относился к ним по-доброму, щеки у Флавия были часто вымазаны губной помадой, это его осыпала поцелуями безумная Марго, которая подчаливала на танцы в полосатых трико и, отплясывая, кричала «...!!!» на все Сокольники.

— Только моя природная скромность мешает мне признать себя величайшим из живущих (да и умерших, что уж там!) танцоров, а также писателей, и вообще, — говорил Флавий.

— Танцору всегда скромность мешает...

Мы гуляли с ним в парке — выберем подходящую погодку и гуляем.

Февраль, золотой закат, потом сумерки, небо черное звездное, сверкающий месяц, Марс огромный и Сириус. Вдруг метеорит — очень быстрый, за ним второй — в полнеба рваная рана темноты, полыхание до верхушек сосен.

Флавий — с надеждой:

— Сейчас где-нибудь — бум! — совсем рядом...

Или апрель, чистые деревья, грязные дороги, снег еще меж стволами, темный лед. («Весной мы уже погуляли, теперь погуляем летом, таким людям, как мы с тобой, надо встречаться четыре раза в год — летом, осенью, зимой и весной».)

У него была привычка согревать пломбир в кармане брюк до мягкой консистенции. Он боялся охладить горло.

— Ты не забыл о мороженом? — я спрашивала, когда мы стояли, обнявшись под сенью цветущих лип.

— Когда я обнимаю тебя, то обо всем забываю. Ты ко мне приходи, — говорил он. — Посмотришь, где я сплю на балконе в тени тополя, мама говорит, его надо спилить, а то темно. А я против.

— Тебе что-нибудь принести? — я спрашивала.

— Принеси мне *ничего*.

В окне раскачиваются тополиные ветки, стучат по стеклу. Агнесса права, это не тополь, а баобаб, еще немного и он заполонит всю квартиру. На вешалке клетчатые рубашки. Тонкий жесткий матрасик на полу. Миска черешни из холодильника. Тарелка смородины. Проигрыватель и виниловые пластинки в конвертах. («Давно хотел завести тебе Пьявко, люблю ему подпевать... Когда-а я на почте служи-ил ямщикоом...»)

— Иногда я думаю, — говорил Флавий, — чего у меня в жизни нет? Все есть, чего ни пожелай. Вот — музыка. Зачем мне куда-то идти? Тратить деньги, искать-выбирать, когда радио включил — и вот она музыка — ЛЮБАЯ! Все есть, просто все! ТЫ ХОТЬ ПОНИМАЕШЬ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ???

Флавий — близнец и, что интересно, явился на свет не сразу после Сибиллы, а только на следующий день. («Думал, обойдется...» — он мне потом говорил.) Наутро его обнаружили: «Да там еще один!» — и в принудительном порядке попросили на выход.

Институт он бросил. Дождавшись момента, когда его отец Амори Первый занялся укреплением связей Иерусалима с Византией, и оба государства начали совместное вторжение в Египет, с виду показавшийся им легкой добычей, Флавий забрал документы из деканата и стал с наслаждением околачивать груши. Но тут же загремел в армию.

Агнес, к тому моменту покинутая Амори по требованию Иерусалимского патриарха, протоптала дорожку в военкомат, кланялась, обивала пороги, осыпала военкома фамильными драгоценностями — лишь бы ее сына, официального наследника престола, оставили служить в Москве или Московской области.

— Капитан Кочерга, — она рассказывала певуче, — вполне вменяемый человек, умный, доброжелательный, даже интеллигентный, только после каждого слова добавляет: «Понял-нет?»

А она ему — билеты на выставку Филонова—Кандинского—Репина («Чтобы вам, Иван Иванович, с супругой — при вашем плотном графике — не простаивать в очередях!»), долгие беседы вела с военкомом о Страшном суде в эсхатологии авраамических религий, военком терпеливо выслушивал ее библейские пророчества, что — недалек тот час, когда Христос явится во славе своей и спящие в прахе земли пробудятся... Причем творящие беззаконие, — Агнес устремляла на капитана красноречивый взгляд, — услышат такие слова: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!» Все эти страсти господни она произносила профессиональным, хорошо поставленным голосом, десятилетия работы экскурсоводом в Третьяковской галерее не пропали даром.

Видимо, ее старания возымели действие. По уралам да казахстанам стремно трястись, кого там волнует, что ты с краю и вывалишься... В поезде то холодно, то жарко, неделя, вторая в пути, ту-дух, ту-дух — Флавия послали на самую крайнюю точку ойкумены, где ни людей, ни зверей, ни травы...

— И наверняка это время для него было самое счастливое, — говорил мой муж Федя. — Там он сформировался как человек, там друзья, товарищи, там он женился в первый раз, там было главное. А теперь — так, ничего особенного. Все уже не то.

Фёдор дневал и ночевал в подмосковных каменоломнях, где я его и встретила, по воле случая за кем-то увязавшись. Это было убежище даосских подвижников, они философствовали, пили, курили и предавались грезам.

Все были пьяные, веселые, Федя разливал по кружкам глинтвейн, сочиненный им в алюминиевой кастрюле из «Солнцедара» с гвоздикой, мускатным орехом, корицей, лавровым листом, перцем и яблоком — на керогазе. Вытащил из рюкзака рыбную нарезку домашнего приготовления — красную кету и ослепительный плод лимона.

В памяти всплыла скумбрия Золотника, да и сам Илья Матвеич, кроткий, полноводный и не управляемый мирской суетой, даже, на мой взгляд, хвативший через край в своем отречении от личных уз и честолюбивых замыслов, на тот момент он работал макетчиком.

— Счастье, друзья, в этом лучшем из миров быть макетчиком, простым макетчиком! — восклицал он. — Вольной птицей, неподвластной министерству культуры! Кстати, это редкая профессия, все равно что — скрипичные мастера. Втиснуться туда невозможно, но я-то все-таки шишка! Тебя можно назвать куратором, можно скульптором цеха, и ты весь под колпаком у министерства. А с макетчика никакого спросу, но вершит он великие дела. Я вам расскажу кульминацию: когда на Новодевичьем кладбище хоронили Шаляпина, я ему сделал на могилу портрет.

Это производило ошеломляющий эффект — у всех шарики за ролики: как так? Шаляпину! На могилу! Сколько ж лет ему? И когда Шаляпин-то умер?

— Я получил маленькую старинную фотографию, — продолжал Золотник, не опускаясь до объяснений, — увеличил, отреставрировал, напечатал, сделал рамку. Вдруг выяснилось, что, кроме этой фотографии, нечего нести перед гробом. Ее несли как хоругвь перед похоронной процессией, я по телевизору видел. Я такую сделал пуленепробиваемую и водонепроницаемую вещь! Мир рухнет — она и с места не сдвинется!

Словом, режет Федя лимон, и какое-то странное амбре сопровождает каждое его движение.

— А рыбка-то с душком! — сказала я.

— Не то слово! — ответил Фёдор. — Кета засолена в анчоусном соусе, он издает

черёмуховый запах. Так солят рыбу ханты. Иногда они обходятся без анчоусов, а просто в землю закапывают, чтобы сопрела. Раньше я у них за бутылку выменивал красную рыбу и ел. Теперь они дружно поклоняются мамоне. А тогда просто спрашивали: бутылка есть?

Мы разговорились. Федя поведал мне, что собрался каталогизировать все на свете штреки, сифоны, штольни, подземные города, каменные коридоры — продольные и поперечные, особенно бездонные колодцы, пронизывающие насквозь Землю.

— Если нырнешь в тот колодец, — он показал на соседний грот, — вылезешь из черных провалов Техаса или из шкуродеров горы Фавор в Галилее... Типа того.

Он чертил схемы и лабиринты, развертки-сечения; залы, развилки, пролеты и горние своды Федя прикидывал на глаз, у него был хороший глазомер. Малые — распознавал частями собственного тела: он знал свой рост с поднятой рукой, «локоть», расстояние между растопыренными большим пальцем и мизинцем, не будем продолжать, а то перечисление инструментария Фёдора дойдет до абсурда.

Все у него было задокументировано на листах-пикетах, утрамбовано в картонные папки, завязано тесемками и заброшено на антресоли. Ибо суть его странствий была в другом. Он искал исключительно сердцевину мира, пуп земли.

Это обстоятельство да еще моя слабость к аргументам из области иррационального совершенно вскружили мне голову и укрепили в мысли, что Федька — достойный предмет для моего поклонения, что в нем заключена стихия сверхчеловеческой силы и красоты.

Фёдор мной тоже заинтересовался, так мне по простоте сердечной показалось, хотя в этом пылком взоре трезвый человек углядел бы, как бегут, разветвляясь, шахты и тоннели, канализационные люки оборачиваются озерными пещерами, хранящими древние артефакты, секреты канувшей Атлантиды, останки неопознанного моллюска, индейские мумии, кости рысей и гиен... Словом, наша встреча положила начало дружбе, стремительно переросшей в совместное бытье.

Пришлось мне унять свой нюх, ибо когда Федя приступал к обработке полевых материалов, на всю квартиру неумолимо распространялся смрадный запах анчоусного соуса.

— Ты прям как Иоганн Вольфганг Гёте, — я говорила, густо перемешивая зловоние анчоусов с терпким ароматом индийских благовоний — сандала, мирры и пачулей, — он мог сочинять стихи, только если пахло гнилыми яблоками!

— Во-во! — отзывался Федька.

Дело докатилось до районного ЗАГСа, куда мой жених — неуемный исследователь подземных глубин, хтонических миров, обратной стороны луны — явился в комбинезоне, перемазанном глиной, и в каске с велосипедным фонарем, в луче которого металась летучая мышь, остроухая ночница.

Все были ошарашены моим избранником, особенно отец Абрикосов.

— Дорогой друг, — он говорил Фёдору, — Земля вам не червивый плод, внутри у него непробиваемое ядро, окутанное кипящей оболочкой, и три тысячи километров раскаленной мантии, пышущей жаром, лишь на макушке — тоненькая земная корка.

— Это неопровержимо и недоказуемо! — благодушно замечал Фёдор.

Спорам положил конец Павел, явившись на свет в одно прекрасное утро, и, как говорится, обычная дорога за забором, которая ведет в провинцию Теань, пути птиц в воздухе, и пути птиц в воде, и пути мыслей в наших головах, вели теперь не к центру Земли, а совсем в другом направлении.

И только Фёдор упрямо не сворачивал со своей каменистой тропы, он шел, шел и шел, словно в этих лишенных дневного света коридорах нельзя остановиться дольше чем на минуту, двигаясь к цели, которая находится за пределами человеческого воображения.

Я написала Флавию о бурных событиях моей жизни, думала, он будет рвать и метать и осыпать меня упреками. Однако на мое длинное сбивчивое послание он ответил фотографией безбрежной морской глади и единственной фразой: *Сегодня Средиземное море было таким.*

Когда Флавий возвратился из армии, сиятельный отец Амори данной ему небесами державой восстановил его в пединституте. Тем временем я устроилась училкой младших классов в районную школу.

В первый день прохожу мимо первого «А» — слышу смех, шум — открываю дверь, а там первоклашки окружили паренька, тычут пальцами и хохочут.

— Что?

— Обкакался!!!

Я его хвать — и в туалет. Все с него постирала, надела брюки без трусов. И твердо говорю:

— Ты не обкакался, ты просто пукнул! Понял?

И то же объявила в классе. Иначе до выпускного бала он им запомнится как «тот, который...». Так творится история. Из тысячи возможных вариантов отбирается один, касательно жизни одного человека или целого народа, как правило, не имеющий отношения к истине, и внедряется в сознание человечества.

Ребята:

— Ха-ха-ха!!!

— И что такого? — я грозно говорю. — А ну-ка поднимите руки, кто никогда в жизни не пукал?

Все смолкли и расселись по местам. Так началась моя педагогическая поэма.

Я вздумала внести свежую струю в учебный процесс.

К черту муштру и показуху, в которой я росла, двойки по математике, дневник, испещренный восточной каллиграфией (нажим должен быть легким, движение точным, при этом кончик пера слегка поворачивается, так что след оставляют две его грани): «смеялась», «болтала», «орала на физкультуре нечеловеческими голосами», «бегала, взмыленная, на перемене»...

Мне же хотелось, чтобы мои ученики расцветали под моим теплым любящим взглядом. Мы любовались бы мирозданием, пели, как птицы, читали стихи (только не «Белую берёзу» Есенина, прости господи, и не «Мороз Красный нос»).

Третье тысячелетие на дворе, пора понять, наконец: не для того, чему нас учили, рожден человек! Он рожден быть свободным от земного тяготения, от условностей, логики, от законов мироздания, боли, страха, старости и смерти. Чтобы разгадывать тайны Бытия, пробуждать спящих, вселять надежду в отчаявшихся — вот это все, что мне взбрело на ум после эпохального удара каруселью!

Не знаю, почему, но никто не оказался в восторге от моей методики. Народ, почуяв свободу, мгновенно отбился от рук, давай беситься, ходить на голове, такой учинили бедлам и тарарам! Меня просто уволили с треском, вот и весь сказ.

Флавий предположил, что это был провал на уровне медитации:

— Вектор, в сущности, верный, но у тебя не хватило силы разогнать мрак.

И рассказал про китайского императора, который три года сидел и что-то бубнил себе под нос. При этом Поднебесная процветала, и его влияние простиралось далеко за ее пределы.

Сам он по распределению угодил в деревню Дальний Мамон — преподавателем химии, физики, биологии, литературы, математики, русского языка, истории, географии, физкультуры, пения и рисования. Только законченному отшельнику было подвластно там не спиться. При том что Флавий не имел ни малейшей склонности к охоте и рыболовству, хотя грибник он, считай, от бога. Фёдор ходил с ним в Шатуре по грибы, вернулся потрясенный, вокруг — ни единой шляпки, а Флавий корзину

насобирал, и не какую-нибудь шелуху — и белый, и подберезовики, и еловый груздь, — сплошь благородный гриб к нему шел косяком.

Разочаровавшись в педагогике («Я никогда ничего не встречал такого, в чем бы не разочаровался!»), он стал натурщиком в Суриковском институте, потом грузчиком в молочном магазине, где моего друга заприметил Союз православных хоругвеносцев. Его мобилизовали на Крестный ход — нести хоругвь как символ победы над смертью и дьяволом.

Увы, на поприще святом Флавию не суждено было закрепиться, хотя его торжественно благословили и облачили в диаконский стихарь поверх подрясника, поскольку эти самые хоругви на гулливеровских шестах — чего там только нет — металл и древесина, серебро и злато, бархат и парча, обильно отороченная бахромой с кистями!

— Их не каждый от земли-то оторвет, — он жаловался. — А уж тащить часами поперед благоговейного шествия — и вовсе считанные богатыри остались на свете!

Ладно, мы сочиняли сценарии детских праздников, продавали воздушные шары, попутно Флавий стал уборщиком в кинотеатре «Повторного фильма», а параллельно музыкант Голопогосов, с которым Флавий в 90-х концертировал на Арбате, позвал его исполнить основную партию в его балете «Сотворение мира».

На протяжении долгих лет, внося поправки и раздувая кадило, он созидал симфонию в шести частях для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, двух труб, альт-саксофона, рояля, пяти скрипок, трех виолончелей, контрабасов и литавр.

— Это будет подлинное священнодействие, — говорил он Флавию, попыхивая трубочкой, — только музыка и свободный танец, повествующий о первой на свете трагической любви! Прикинь: идет увертюра, занавес открывается — на сцене лежит Адам, пока что вялый и безынициативный. Из-за кулис к нему тянется божественная длань из папье-маше. Вступают медные духовые — и меж протянутых друг к другу рук свершается чудо: под гром литавр Адам получает искру жизни. Он пробуждается телом и духом, после чего начинается вся эта канитель. В роли Адама я вижу тебя, старик. А в роли Евы...

— ...у нас будет вот эта Райка, — сказал Флавий, худой, коротко остриженный, в красной клетчатой рубашке, средний палец в чернилах, — прима Парижской Оперы Матьё Ганьо, не терпящий возражений.

Повисло унылое молчание. Голопогосов, поначалу и не взглянувший в мою сторону, пристально воззрился на меня черепаховым взглядом.

— А может быть... — начал композитор, когда вновь обрел дар речи, — попробовать на эту партию пригласить...

— Ни в коем случае. Я могу отвечать только за себя и за Райку. Но ей надо задать жесткие рамки.

— Понимаешь, какая штука, — признался Голопогосов, не сводя с меня смущенного взора, — я еще не знаю, как изобразить хаос бытия до сотворения мира...

— Я знаю, — ответил Флавий.

— Я даже не знаю, как Бог Саваоф сотворит мужчину...

— Я знаю, — сказал Флавий.

— И просто понятия не имею, как показать секс!!! — выдал Голопогосов свой последний козырь.

— Если все идет верно, финал станцуется сам собой, — сказал как отрезал Флавий, выразив хоть и туманную, но весомую мысль.

...В конце концов, никому не известна тайна своего предназначения. Зато наша деятельность была направлена, как солнце Махаяны, встающее на небесах, — исключительно на радость, счастье и благополучие всех живущих.

От отца он не получал ни полушки. Летописцы отмечали, что Амори был скуп, горд, честолюбив, угрюм, легко поддавался влиянию и слегка заикался. Когда-то он приложил немало сил, чтобы его признали королем. А тайное притязание на иерусалимский престол злопыхателей, которые нарочно раздували слухи о непотребных занятиях наследника трона, довело Амори до белого каления, вследствие чего финансы Флавия и вовсе запели романсы.

Не то чтобы, как говорится, нагота и босота, но, скажем, во время киносеанса в буфете, убирая со столов посуду, он подъедал за кинозрителями.

— Ты только не думай, — говорил он мне с владетельным видом, которого не терял даже в периоды самого глубокого падения. — Я всегда смотрю, что за человек не доел. Для меня это важно!

Он так исхудал — рубаха навыпуск, сядет на газоне в позе лотоса и повторяет установки от какого-то экстремала, задумавшего проверить: может ли человек так себя накачать, чтобы пересечь Атлантический океан на байдарке. Переплыл, выжил, выдюжил, неделю не спал, прорвался сквозь галлюцинации, всю задницу себе отсидел, и его ответ был такой:

— НЕ МОЖЕТ!!!

Примчишься к нему на свидание, опоздаешь минут на сорок, русским языком объясняешь, что поезд в метро шел очень медленно.

— ...Даже иногда ехал в обратную сторону?! — сурово спрашивает Флавий, и вся его аутогенка со свистом летит коту под хвост. А в чем причина? Жди, радуйся грядущей встрече, дари внутреннюю улыбку печени, селезенке, почкам, поджелудочной железе, мочевому пузырю... А он злой, угрюмый.

Я спрашиваю:

— Ты что, мне совсем не рад? — упавшим голосом.

— Не то что не рад, — орет Флавий, — я просто в ярости! Вот бабушек вижу на танцплощадке — и чувствую радость. Я улыбаюсь им естественно. А когда тебя вижу — вообще нет никакой радости, только бессильная злоба! Ну не могу ж я искусственно улыбаться. Я пришел вовремя, купил тебе орехов, шиповника, изюма, баночку меда, вот жду тебя сорок пять минут — для меня это сверхвнимание к женщине!

А станем расставаться, вытащит из рюкзака свои дары и скажет:

— На, пока будут орешки, будешь помнить меня, а уж как закончатся...

Флавий был стопроцентной истинной совой. В двенадцать он видит предпоследний сон, в семнадцать — начинает отдаленно походить на человека, в восемнадцать — постепенно воцаряется гармония из хаоса, в двадцать ноль-ноль — он уже цветущий куст роз.

Спать он ложился не раньше пяти утра. Это было его заветное время, когда он сочинял сюжеты полнометражных боевиков и обреченно рассылал их по киностудиям. Однажды случилось невероятное — Флавию позвонил директор частной киностудии Б.И.Тефтелин из Одессы: «Я покупаю у вас три сценария». (Флавий отправлял сочинения пакетом.)

Дальше все как-то затуманилось, телефон Б.И. был наглухо занят, наконец, он взял трубку и ответил: «Берем два», — Тефтелин ехал в машине. Потом: «Один». И вдруг добавил: «Можете приезжать за авансом».

Он это слышал собственными ушами.

Мы возликовали. Слава и деньги — вот что всегда ускользало от нас с моим другом, моей негасимой и вечной любовью, и, даже забрезжив на горизонте, таяло как мираж. Но мы были молоды и не собирались сливать конденсат. Одно только слово «Одесса» рождало в нас безрассудную надежду. Как говорил воздухоплаватель Уточкин, Одесса — пиратское место, где всегда есть презренный металл. А Шолом Алейхем, сочинявший свои рассказы в том же доме под номером двадцать восемь с колоннами,

с арочными окнами от пола до потолка на улице Канатной неподалеку от пересечения ее с Еврейской, на той же лестничной клетке, куда мой родной двоюродный дедушка Толя в семейных трусах по колено выходил подымить беломориной, гордясь, пускай не во времени, а хотя бы в пространстве, таким потрясающим соседством, — писатель Шолом Алейхем предполагал, что *в Одессе деньги черпают лопатами, а золото валяется прямо под ногами.*

Флавий никогда не бывал в Одессе, в отличие от меня, исходившей Одессу вдоль и поперек с нашим Толей, буйно помешанным краеведом и мемуаристом. Бывало, заглянем в какой-нибудь дворик — тишина, под окнами вишни, в серёдке — орех вековой, под ним высохший колодец, дикий виноград всюду вьется, парусят на веревках пододеяльники с простынями... Двор как двор, такой же, как все одесские дворы, вроде ничего особенного, — однако тут же, не сходя с места — гипсовый монумент не пойми кому. Толя вздохнет блаженно, таинственная улыбка заиграет на его губах — и понеслось:

— Людвик Лазарь Заменгоф, доктор Эсперанто, создавший язык дружбы и любви для нашего обреченного на цеховщину Вавилона! Еврей, конечно, кому больше всех надо? — И Анатолий Авенирович нежно обнимет за плечи бюст, прошедший огонь и воду (насчет медных труб сомневаюсь).

— Реальный крендель, — откликнется толстенький лысый мужичишка совершенно русской национальности, выйдя покурить на балкон и заслышав Толины речи. — Эк чего вздумал: чтобы на идиш говорил весь мир, а не только Брайтон, Жмеринка и Крыжополь.

— Я вас умоляю, — махнет рукой Толя, увлекая меня на эти залитые медовым светом улицы, в переулки и дворы.

Жаль, я нечасто встречалась с ним, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что со мной бы он поделился чем угодно, даже просто из желания удивить меня. Его так и звали одесситы — зейделе[1] Толя, нашего Анатолия Авенировича Яковлева, наследника всех эпох, помнившего наизусть каждый камешек, трещинку, стоптанное крылечко, арочку и балкончик, слуховые окошки, печные трубы с флюгерами, пожарные лестницы... Он слагал о них поэмы.

Толя умер, когда вел экскурсию по Приморскому бульвару, так ему дорога была старая Одесса, видимо, захлестнули эмоции.

— Кстати, Одесса утопает в акациях, — говорила я Флавию. — Ведь ты так любишь акацию...

Как раз недавно он закатил мне чудовищный скандал:

— Мы такие разные люди! — кричал. — Я больше и больше в этом убеждаюсь. Я не понимаю, как так? Я ей говорю: зацвела белая акация. Я думал, она весь год ждет этого момента, спит и видит. А она: «Да? А у нас во дворе тоже зацвела — желтая...» Желтая! Как ты могла! Это все надо забыть, чтобы такое ляпнуть! Все хорошее, что было в жизни, перечеркнуть!!!

Я хотела его проводить на поезд, махнуть платком.

— Не суетись, — сказал Флавий, — все равно опоздаешь.

— Если и опоздаю — минут на десять, не больше...

— Ну да! Небось на все полчаса!

Стояла поздняя весна. Утро было пасмурное, слегка моросило, но гигантские платаны смыкались над головой нашего героя, образуя густой зеленый шатер, обнимали крыши, заслоняли прохожих от дождя. Временами из-за облаков проглядывало солнце, ветер шевелил листву, солнечные блики то вспыхивали, то гасли на стенах и на асфальте. Пахло скошенной травой, морем, откуда-то из минувших дней приносило

[1] Дедушка (*ид.*).

ароматы фиников и орехов, апельсинов, ямайского перца, кофе, ванили и корицы — стойкий дух колониальных специй, некогда царивший на Греческой улице, по нечетной стороне которой шагал мой бесценный друг, распахнутый черноморским ветрам, красивый и кучерявый, чтоб он был счастлив! — ну просто представитель кинобизнеса!

Девушки смотрели на него зачарованно, юноши провожали ревнивым взглядом — ибо каждому встречному было ясно: это чемпион — и флаг ему в руки.

Местная фабрика грез располагалась на углу Пушкинской в здании бывшего Одесского учетного банка. Над окнами с тех еще времен сохранился покоцанный барельеф Гермеса в крылатом шлеме и крылатых сандалиях, с волшебным жезлом, посылающего путнику удачное стечение обстоятельств и одновременно столь же продуктивно содействующего жуликам и пройдохам! — одно лишь его появление неминуемо предвещало выгодную сделку.

— Но когда я вступил в дирекцию, предвкушая звон литавр, пение труб и залпы салюта, меня форменным образом послали на хер! — сообщил Флавий, как только вновь, уже совсем в другом настроении, оказался под лукавым Меркурием.

— Как же они это объяснили?

— Сказали: им сразу ничего не подошло и не понравилось, но Борис Израилевич не любит никого огорчать, поэтому ответил уклончиво. САМ, говорят, в Каннах — *возглавляет жюри.*

— Я тебе звоню в суицидальном настроении, — докладывал Флавий — уже над Польским спуском на Строгановском «мосту самоубийц», — если б не высокая ограда, — бросился бы вниз головой на мостовую. Кстати, где Потёмкинская лестница, не знаешь? Видел бы Сергей Эйзенштейн, который ее восславил, как обмельчали коллеги!

Ночью прилетела весть, что он в порту нашел приют в кают-компании какой-то разъезженной ржавой посудины. Флавий думал, она «Гении» называется, а она — «Генуя», но и эта сойдет, надо ж где-то уронить усталую голову.

— Скорешился тут с одним Изей, — он рапортовал на рассвете. — Вышли в море на окунька. — В трубку задувал ветер, и слышался плеск волны, охаживающей бока их потрепанной шаланды. — Изя знает уловистые места! На крючок насаживает репейник и колеблет мормышку. Триста пятьдесят колебаний в минуту — и окунь на крючке!

Спустя несколько дней мой товарищ, заядлый вегетарианец, отправился с Изей на охоту.

— Я сообщил о своей позиции Изе, — отвечал Флавий уже с ласкающей слух одесской интонацией. — Я говорю ему: Изя! Если б ты охотился на тигров, львов — барабан тебе на горло! А убивать трусливого зайца — это, я тебе скажу, не по мне!

— А Изя?

— Обозвал меня ПОЦифистом. Но я такой, каким меня мама родила. А убеждать Изю переметнуться в мой стан, как я понимаю, голый вассер...

Впрочем, Изя, парень не промах, научил обездоленного хоругвеносца подворовывать на Привозе и питаться в универсаме:

— Дырку проковырял, — поучал он Флавия, — печенинку за щеку положил и ходишь — как будто продукты выбираешь... Ты только посмотри на эту селедку! — шептал он Флавию. — Это ж не селедка, а самый цимес, если не сказать нахыс!..

Месяц под покровительством Изи друг мой ошивался в Одессе, часами валялся на пляже, почитывая «Дао дэ цзин», ночевал под звездами Ланжерона или в Александровском парке на скамейке, засыпая под шелест платанов с тополями. До поздней ночи танцевал возле ротонды, под куполом которой, залитый огнями, наяривал маленький оркестрик — в отличие от танцплощадки в Сокольниках, где врубали фонограмму, и дело с концом. А тут живая жизнь — труба и флейта, даже

саксофон и веселый барабанщик с кленовыми палочками. Как они играли «Киевский трамвай», «Рио-Риту», «Брызги шампанского»...

Флавий кружил, кружил среди танцующих пар, он всегда один танцует или с воображаемым партнером, кружил в этом влажном воздухе, напоенном цветущими катальпами, ночной фиалкой и львиным зевом, жасмин цветет, расцветает липа... Кружил себе, никого не трогал. Но, видимо, все же спутал карты кому-то, испортил обедню, наступил на чью-то тень, — однажды его повстречали на узкой дорожке ночные колобродники, забубенные головы, велели убираться подобру-поздорову.

Может, как-то оно бы и обошлось, но это же Флавий! Он распахнул объятия:

— Ну, здравствуй, простой народ! Рассказывай: чем дышишь, о чем мечтаешь, на что надеешься?

Вернулся с заплывшим глазом, еще и сгорел на пляже, спина облезла, чешется, скинул рубашку, попросил намазать его кефиром.

— Взгляни-ка, — сказал он, — у меня там крылья растут? Или плавник?

Минули те времена, когда Флавий меня обучал воодушевляющей медитации на свое тело, как на труп в разной степени разложения, — отныне я в этом не испытывала потребности.

С тех пор, как чела моего коснулась карусель, во мне свирепствовал сокрушительный восторг, целиком и полностью беспричинный! То были все козлы, а теперь сплошные будды. Хмурые будды, угрюмые, исполненные печали, это свойственно нашей российской действительности: шторм ломает бизань-мачту, ужасающая обстановка в стране, эпидемии, гнев, апатия, разобщенность, бряцание оружием, железные тиски кармы, ханжество, фарисейство, безалаберщина и бестолковщина.

Даже Фёдор, в кои-то веки исполнив супружеский долг, молча лежит неподвижно, уставившись в потолок, вдруг вздохнет и скажет:

— Куда катится мир?!!

А я сияю как ненормальная, у меня голова в темноте засветилась фосфорическим светом. И постоянно улыбаюсь. Иду и улыбаюсь, на кладбище у бабули убираюсь — улыбаюсь, даже сейчас, когда пишу эти строки, сижу и улыбаюсь.

А ведь некоторых это раздражает! Хотя я не понимаю, почему?

Соня решила, что я сбрендила и записала меня на МРТ головы.

Сонечка — это песня, однажды смотрю из окна — моя крошка тащится с работы, как водится у докторов по вызову — «без ног», и что-то огромное и бесформенное белеет у нее на плече. Оказывается, пациент, желая отблагодарить за чудесное исцеление, привез ей с северов шкуру белой лошади. Она ее, бедная, приволокла, а что оставалось делать? И эта шкура на долгие годы распласталась в доме, теперь она, слава Аллаху, куда-то подевалась.

Меня поместили внутрь магнитной капсулы (белый саркофаг с закругленными краями) — уложили на плоский стол, скользивший, словно язык в пустом цилиндре. Руки, ноги пристегнуты, голова зажата со всех сторон, во рту — натуральная боксерская капа, чтоб не лязгать зубами, в вену в*о*ткнут катетер с контрастным веществом.

Лежу в трубе, залитая светом, а то складывалось бы впечатление, что тебя живьем заглотил Левиафан. Хриплый устрашающий рев белых раковин, хор ночной цикад, пилящие, режущие, сверлящие звуки пробирают до костей. По спине разливается жар, елки-палки, меня тут не поджарят, как карася?

Застрекотал пулемет, его подхватил второй, и ответил с другого берега третий, завязался свирепый бой. Кончились патроны, пулемет замолчал. «Петька! — кричит Анка, скидывая шапку. — Что делать будем?!»

Глядь, Чапай — на белой нашей лошади ожившей! Ураааааааааа!!!

Тут и душа покрепче не вытерпела бы, а уж моей сам бог велел — взмыла и полетела, подтверждая этой выходкой безумной радужный прогноз, что все развеется и разлетится, даже невидимые атомы, протоны неделимые, а я останусь тем же самым — никем, ничем, живой субстанцией веселой, чистейшим бытием!

Леса, поля, дорога петляет через лес, и среди вековых елей тянется тропинка к церковной колокольне и тусклым куполам Николо-Берлюковского монастыря, куда я в детстве с Соней ездила навещать художника Золотника в шестнадцатую психбольницу.

От Щёлковского автовокзала на автобусе, мимо заброшенных деревень, лесом, лесом, до остановки Громкое, потом пешком, вот этой вот дорожкой, пока вдали не замаячит колокольня, остатки обвалившейся стены и храмовые купола, проросшие деревцами.

За железными воротами — два храма обветшалых: в одном — кухня, в другом лечебно-трудовые мастерские, а уж за ними корпуса, где раньше обитали монахи, теперь их кельи переделали в больничные палаты.

Дверь наглухо заперта, на звонок в белом халате отзывалась медсестра преклонных лет Ярослава Николаевна, которую Илья Матвеич по-свойски величал Ярославной и всякий раз при встрече что-нибудь да прочитает ей из «Слова о полку Игореве». А поскольку встречи между ними происходили буквально каждые полчаса: то укол, то клизма, то успокоительные таблетки... — всякий раз ей, бедной, приходилось выслушивать, что Ярослава Николаевна *полетит кукушкою к реке Дунаю и омоет князю раны на его кровавом теле.*

И развеявшая по ковыль-траве свое веселье Ярославна провожала нас в гостевую комнату, там два стола и скамеечки, мы скидывали пальто, усаживались за стол, раскладывали дары и гостинцы, глядишь, в больничной рубахе к нам явится наш светозарный художник.

Увидит нас — разулыбается, он всегда радовался нашему приезду и обязательно спрашивал, кто именно что передал и при каких обстоятельствах?

Мы с удовольствием перечисляли — намного более подробно, чем это было, додумывая жаркие приветы и нежные слова любви. Илья Матвеич всплескивал руками, охал, все принимал за чистую монету. Потом обнюхивал гостинцы, блаженно прикрывал глаза и принимался за бутерброды, курицу и тепленькие пирожки. Соня ему знай подкладывала капусту, огурец, а когда с пищеблока приносили баланду-суп, Илья Матвеич уже терял интерес к местной кухне, но мать моя убеждала его, что всухомятку есть вредно. Наблюдать, как пирует Илья Матвеич с гостьями из иных миров, подтягивались и другие затворники в темно-синих больничных куртках. Они с любопытством рассматривали меня и Соню, тянули к нам руки, заглядывали в глаза.

— Да вы не бойтесь, они у нас тихие, — говорила Ярославна, прогоняя их из комнаты полотенцем.

Один — с подбритыми усиками и зализанными назад волосами, смахивающий на крестного отца в исполнении Роберта Де Ниро без зубов, длинным ногтем на указательном пальце потрогал Сонечку, чтобы понять — это реальность или продукт его воображения. Я просто икать начинала от ужаса, когда они приближались. Соня же и бровью не поведет, только угостит главу мафиозного клана яблочком.

— Яблоки становятся жестче с каждым годом, — скажет могущественнейший Дон Вито, решительно отклонивший предложение мафии инвестировать свои грязные миллионы в наркобизнес.

— Зубные протезы не нужно лениться надевать, дорогой, — ласково ответит ему Илья Матвеич, листая «Системы дифференциального исчисления» Фихтенгольца, которые папочка заботливо передаст соседу, памятуя о его страсти к учебникам высшей математики.

— Илья переживает эти формулы, как переступание предела, как вхождение

в бездну, куда никто до него не входил, — объяснял этот странный феномен Абрикосов. — Он своей живописью постиг, что свет — волна и основа вселенной!

— Ну? Что вам еще не хватает для счастья? — спросит Соня.

— Красок и кисточек! — ответит Илья Матвеич виноватым тоном. — В остальном для счастья у меня много лишнего. — Обнимет нас и пойдет в палату, прижимая к груди остатки пиршества.

В этой рубахе с прямоугольной синей печатью на плече и отчетливой надписью «больница № 16», в широченных пижамных штанах не по росту, он казался мне самым бесприютным существом на белом свете.

Странно, что спустя годы и годы — в своем блуждании души, — я оказалась над куполами Берлюковских храмов и тут же увидала его мешковатую фигурку со спины. Он стоял на фоне монастыря и что-то рисовал, какое-то лицо и точки, точки по лицу. На молчаливый мой вопрос, что он рисует, Илья Матвеич внятно мне ответил: «Это ветер... лицо человека, которого уносит ветер».

О, моя абрикосовка, навсегда утраченная, дом, затерянный в ночи, занесенный снегом, ты только и ждешь момента, чтобы ожить во мне, — с такой готовностью и яркостью мои воспоминания всплывают из глубин прошлого, выступают из тьмы, пробуждая незримые силы, вороша таинственные знаки.

В юности мы грезим об идеальной любви, хотя понятно, я не эталон красоты — поверхностный взгляд не приметит, какие сокровища таятся за этим неброским фасадом.

Сколько горечи пришлось мне испить, пока я осознала, до чего божественно все, что мне подарила природа, а также какое благо — с юных лет развивать мудрость, успокоить ум и с ясным сердцем нацелиться не на какие-то там шуры-муры, а на здоровую и крепкую семью!

Муж мой казался мне человеком, с которым я буду неразлучна и в этом мире, и в ином.

Но Федька заранее предупредил:

— И речи быть не может! Ну, в этом еще туда-сюда, но в том... я тебя попрошу...

Блуждание в потемках по залитым водой извилистым коридорам в недрах земли казалось Фёдору возвращением в материнскую утробу, где он находил покой, пищу, нежность и тепло, а главное — изначальное одиночество, которое освобождало от его личной истории, имени и фамилии.

Впрочем, ускользая, он возбуждал мое творческое воображение. В нем таилась какая-то загадка, мне даже казалось, что, если бы он укоренился в доме, она бы исчезла, оставив только пустоту и легкое разочарование.

Ладно, думаю, я буду бежать, бежать по перрону в клетчатом зеленом пальто, ничто не может сравниться с этим моментом, что я сейчас встречу любимого мужчину. А он шагает навстречу — обветренный, загорелый — и несет мне в подарок... череп неандертальца!

Притом от Федьки исходила шальная сексуальная сила, которую он сублимировал, погружаясь в лоно земли. Его привлекало сочетание твердой оболочки и ее содержимого, полного мягкой и влажной органической жизни. По логике вещей, с ним давно бы стоило развестись, но Флавий, как это ни парадоксально, не одобрял столь решительного шага.

— Учти, — говорил он, — если ты бросишь Фёдора, то я на тебе не женюсь. Твой муж Фёдор — последний романтик на этой Земле.

А Фёдору он говорил в те редкие минуты, когда, например, Федьку вынесло во время половодья мощным потоком грунтовых вод через органную трубу из Метеорного грота Кунгурки на реке Сылве:

— Ты ищешь центр мира, но это неоднозначное понятие: аборигены Австралии

в своих скитаниях таскали за собой священный столб, соединяющий землю и небо. Ты, Фёдор, кочевник, поэтому пуп Земли обязан быть при тебе, быть при тебе, если, конечно, не ты этот пуп.

— Что касается меня, — сообщал нам Флавий на голубом глазу, — я пуп. Я Пуп Вселенной и Большой Взрыв, Рождение Миров, Последний День Помпеи, и, чтобы мне этим быть, никуда не надо ехать и идти! Вот я тебе расскажу, как это прекрасно всю жизнь сидеть дома. Всю жизнь — абсолютно безвылазно!

— А что, Флавий — пенсионер? — спрашивал Фёдор.

— Чегой-то он пенсионер?

— Ну, он же, наверно, инвалид... — заявляет мой муж, мощный телом и несгибаемый духом.

— С чего ты взял???

— По крайней мере, — отвечает, — он не производит впечатление процветающего человека!

И это после того, как Фёдор спустился к нам с Алтайских гор, где прожил в каком-то гроте чуть не полгода. Выбравшись из пещеры, он обнаружил заброшенную баньку охотничью на берегу, истопил ее по-черному, камни, бочка внутри — прокопченные, покрытые толстым слоем сажи, ни стать ни сесть, кое-как помылся, согнувшись в три погибели, — тронул стенку — опять весь в саже.

Выполз оттуда, как праведник Иона из чрева кита, и голышом стал плескаться в горной Катуни, которая несет хрустальные воды с ледников Белухи. А по бережку нетвердой походкой идет алтаец с ведром воды и бутылкой водки — распашная шуба до пят, даром что на дворе лето, в круглой шапке, подбитой барашком да еще с меховым околышем.

Присел на камешек, хлебнул горькую, залил жар в груди ледяной водой из ведра да и говорит:

— Сегодня Каспа сбивает ведьму со следа, обмывает в Катуни покойника.

А в этой Каспе, деревне, три километра вверх по течению — у всех поголовно сифилис, причем наследственный.

Федька выпрыгнул из воды как ошпаренный:

— Сам видел?

— Видел... приготовления, — отвечал мужик, грея душу поллитрой.

— *Окропи меня иссопом, убели белее снега...* — забормотал Федька, и в чем его мать родила стал рассчитывать гидрологическим способом — время, скорость реки, расстояние до Каспы... Успел или не успел? Угодил или нет в воды ритуального омовения?

— Знаешь, чего я боялся больше всего? — он потом признавался. — Вернись я домой сифилитиком, ты бы в жизни не поверила в мою невинную версию!

— Конечно, я бы решила, что ты переспал с телеуткой... Вернее, с теленгиткой...

— Не смей путать теленгитку с телеуткой! — вскричал тут Фёдор. — Это большое оскорбление для них обеих. Телеутка — это ТЕЛЕУТКА. А теленгитка — это ТЕЛЕНГИТКА!

Не понимает, что я давно ощущаю себя человеком не от мира сего! Кстати, на снимке головного мозга у меня обнаружилась какая-то странная картина. Соня показывала и травматологу, и нейрохирургу, оба в один голос:

— У вашей дочери, — говорят, — открылся сознательный доступ к таким частям мозга, которого люди обычно не имеют. Префронтальная кора, ответственная за мыслительные функции, недоразвита. А вот лобные доли, распознающие бессмысленные поступки, в результате травмы оказались увеличены, умеренно деформированы и просветлены, при этом гипоталамус вырабатывает усиленную дозу эндорфина, дофамина и серотонина. Поэтому на снимке мы видим психотип восторженного холерика, оторванного от жизни, зависшего между небом и землей!

В свете возникшей аномалии я пыталась разрешить не только собственные проблемы, но всего человечества. Мне казалось, мир катится к лучшему — и это на фоне оскудения всего и вся! Мир барахтался в моей любви. Буйный восторг беспричинный разгорался с годами, ну, прямо грудь не выдерживала, ей-богу! Проснешься утром и дуреешь от нахлынувшей радости. Что бы жизнь ни преподносила, я приветствовала, я наслаждалась ее дарами.

Кроме того, обнаружилось, что моя зрительная кора в момент удара о карусель закоротила с той частью мозга, которая производит математические вычисления. Отныне меня зачаровывали самые простые вещи, например, капли дождя в луже. Я вдруг увидела, что во время дождя обычная лужа на дороге превращается в сложный зыбучий узор, один наплывает на другой, его перекрывает третий, создавая божественные фракталы — вроде снежинок или звезд.

И так повсюду — в морских волнах, листве, траве, дуновении ветра, в далеком телодвижении — все было только вибрацией, рисующей осколки орнаментов. Все представало немного призрачным и прозрачным, изображения слегка двоились, а то и троились, что мне как раз пришлось по душе, меня давно удивляло: отчего мы так четко нарисованы в пространстве, это казалось профанацией.

Сонечка не успокоилась и записала меня к психиатру.

Я пришла на прием и без обиняков спросила:

— Это сумасшествие?

— ...Но самая лучшая из всех возможных форм, — ответил он.

— Я хочу донести до тебя очень важную мысль, чтобы еще один человек ее имел в голове, а не только я, — говорил Флавий, стоя на холме над обмелевшим прудиком, заросшим листьями кувшинок. — Вот шекспировский Отелло — это же полнейший мудак. Его надуманные монологи, ужимки, вытаращенные глаза — все такое ничтожное — муха, раздутая до слона! И король Лир то же самое! С той и другой ролью справится только актер, который бы с серьезным видом все это нес, а сам лично не был бы задействован в этой дребедени.

— То есть ты! — говорю я.

— Да! Я понял — как небо открылось, — гуляя в Сокольниках: я могу быть Фальстафом, Ричардом, Скупым Рыцарем, Гамлета я играю как никто. Я никогда не был ревнив, но я такой Отелло, каких нет и не будет! Он душит Дездемону, а его душит смех! То же — и в писательстве: о жизни, о любви, о смерти должна идти речь, только о вечном, больше ни о чем! А иллюстрировать дикими какими-то сценами, безумными. Моя рожа. Или наши с тобой.

Как раз незадолго до этого ему позвонили и сказали, что к нему с предложением собирается обратиться знаменитый продюсер Бекмамбетов.

— Я даже стал скорее бежать отовсюду домой, — говорит Флавий. — И, когда приходил, спрашивал у мамы: «Бекмамбетов не звонил?»

— Ты знаешь, — сказал он мне через несколько месяцев, — я уже начал волноваться: все-таки богатый человек. Вдруг телохранители зазевались, или какой-то завистник... Прямо хочется позвонить и спросить — все ли с ним в порядке?

Но когда он совсем отчаялся и решил махнуть на кинематограф рукой, вдруг позвонили с «Мосфильма»! Его бросило в жар, подумал, там крышу всей студии снес его синопсис.

А они спрашивают:

— Вы не хотели бы сняться в массовке «похороны Гоголя»?

Флавий был разочарован, но взял себя в руки и ответил, что придет, причем не один, а с партнершей.

Взволнованные предстоящей церемонией прощания, мы ехали на студию в троллейбусе, как вдруг на Бережковской набережной — с трудом взобравшись по

ступенькам — вошел и прямо напротив нас грузно опустился на сиденье Илья Матвеич Золотник.

О, как она тянется, тонкая нить, прошивая тьму времен, не позволяющая нам исчезнуть в полосе неразличимости, напрочь позабыв друг о друге. Куда легче было бы разминуться, зазеваться или заглядеться на что-нибудь, попросту не узнать в сильно постаревшем человеке давнего соседа по квартире!

Что нам пытаются сказать этой магией совпадений, какую посылают весть из той неведомой точки мироздания, где вершатся судьбы, если, несмотря на метаморфозы и хитросплетения орбит, в тридцать четвертом троллейбусе, идущем от Киевского вокзала на «Мосфильм», я снова повстречала Илью Матвеича.

За время, что мы не виделись, он изрядно обветшал, вместо пиджака на нем обосновалась меховая душегрейка с растянутыми вязаными рукавами, даже заплатки на локтях он проносил до дыр, на трикотажные штаны нельзя было смотреть без слез, дырявые носы матерчатых туфель обнажали большие пальцы ног с отполированными до блеска крупными, круглыми ногтями.

Но это не все. В руках Илья Матвеич держал темно-коричневого медведя, почти что черного, траченного молью, в котором я узнала старого друга Золотника, до боли знакомого по моей прошлой жизни в доме на Николоямской, подаренного бабушкой Илье Матвеичу на день рождения в Евпатории, хотя она подарила и верблюда, но верблюд подевался куда-то, а медведя, Илья Матвеич рассказывал Сонечке на кухне, поджаривая свою знаменитую картошку, пытался забрать себе во время войны один фашист, когда они вошли в Евпаторию...

Я не говорила? Не только за мольбертом — и на коммунальной кухне, завешанной простынями с пододеяльниками, пропахшей кипяченым бельем и гречкой с котлетами, — было у Золотника тайное могущество: Илья Матвеич практически без масла жарил потрясающе вкусную картошку! Это происходило редко и, как правило, в новогоднюю ночь, но такие ломтики — хрустящие снаружи, мягкие и сочные внутри — я больше никогда нигде не ела.

Художник щедро приоткрывал завесу над рецептом картофельного шедевра Екатерине Васильевне Толстой, Соне и Берте Эммануиловне, супруге Вульфа Борисовича, интеллигентного хромого эсквайра (тридцать человек соседей — только бы не перепутать!). Даже надменная Лидия Петровна Магницкая пыталась разгадать тайну его картофельного дарования.

— Девочки мои! — отвечал он, не таясь на этой нашей многолюдной кухне. — Перед жаркой — не сочтите, курочки, за труд — погрузите тщательно промытые плоды... le pomme de terre[1], — переходил он вдруг на французский, адресуя всплывший в голове галлицизм Толстой и Магницкой, — в ледяную воду и с полчаса помурыжьте!

Погружали! И мурыжили! Но рецепт Золотника не поддавался объяснению средствами обыденной логики. Ибо одно его появление меняло вид самых простых вещей, а в глазах отражались не замусоленные обои, комод с тараканами, половники и кастрюли, но что-то далекое и невидимое никому из насельников, возможно, бабушкин сад в Евпатории, огромный для маленького города, окруженный густыми кустами роз, из их лепестков бабушка варила щербет!

— Наш цудрейтер, — ласково звала его Берта, что значило на языке ее предков — «полоумный».

Хотя Илья Матвеич не был ни придурковат, ни глуп, наоборот, он поражал своим удивительно здравым суждением, наклонностью к мечтательности и непостижимым смиренномудрием.

Короче, история гласит: в апреле тысяча девятьсот сорокового года на день рождения бабушка подарила Илье Матвеичу плюшевого медведя.

---

[1] Земляное яблоко — картошка (*фр.*).

— Представьте, Сонечка, он был почти с меня ростом, — рассказывал Золотник.

А мы с его племянником Вовкой и тогда уже одноглазым топтыгиным ошивались у них под ногами. Медведь был такой уютный — из рук выпускать не хотелось, я с ним спала, когда болела: отит, воспаление легких, ангина — медведь Ильи Матвеича, хлебнувший и сам в жизни невзгод, перекочевывал в нашу светелку и подставлял свое мозолистое дружеское плечо.

— Когда я обнимал его, — продолжал Илья Матвеич, — я ощущал тепло, идущее из другого мира, оттуда, где медведи становятся друзьями мальчикам, сопутствуя их судьбам...

Далее следовала история, которая почему-то навсегда врезалась мне в память, как это бывает в раннем детстве, может, благодаря своей зримой убедительности, граничащей с невероятностью во всех своих формах и проявлениях.

В июне сорок первого года они отдыхали у бабушки в Евпатории. Оттуда с мамой и сестрой отправились на Урал, а в изумрудную Евпаторию, где остались бабушка и дедушка, вошли немцы. Однажды к ним явился немецкий солдат и, увидев медведя, хотел забрать его себе. Но Илюшина еврейская бабушка, которую перед войной, наверно, по ошибке, записали украинкой и тем спасли ей жизнь, объяснила, хотя немецкий оккупант грозился их расстрелять, что медведь принадлежит ее внуку, и он отказался от своего намерения.

Прошло бог знает сколько лет с той поры, когда — под скворчание картошки в чугунной сковороде — я прижимала к себе набитого опилками ветерана, пережившего оккупацию, но не сдавшегося в плен немецкому захватчику. И вот в троллейбусе, идущем в никуда из ниоткуда, сидит передо мной и смотрит пристально в окно Илья свет Матвеич, старый мой сосед, ангельский художник!

Что видел он в этом окне? Чёрное море, евпаторийские пляжи, изогнутую линию домов, построенных караимами в мавританском стиле кудрявых дворцов Севильи и Гренады? Мечеть Абдуррахмана из Кордовы, где пряталась таинственная ниша под куполом морской раковины, вырубленной из цельного камня, похожей на ту, что стояла у бабушки на буфете, — ракушку рапаны, величиной с чайную чашку! Илья Матвеич прикладывал к ней ухо — и шум моря наполнял его, поселяясь в памяти, как нарисованные тушью парусники отца, белевшие на стенах.

Или буфет орехово-дубовый с большим старинным зеркалом туманным (кто это движется в нем, боже правый? так это ж ты и есть!), за дверцами резными с какими-то гербами-вензелями хранила бабушка сухие ветки чабреца, полынь и чистотел, их запах одурманивал Илью Матвеича, а сам буфет завораживал — своими шпилями и столбиками, блестящими латунными замочками, золотыми ключиками, а главное — вместительными выдвижными ящиками с бельем, куда Илья Матвеич лег однажды и уснул. Как его звали, бегали, искали, приказывали не валять дурака и выходить, да он и сам не мог понять сквозь сон, куда он подевался...

Давно истаяли, пропали, казались абсолютно призрачными льющиеся в окно потоки солнца и тепла, башенка буфета, улетающая ввысь, выбеленные стены с лермонтовскими парусами, парящими в тумане, тот простор и свет, всё, кроме этого медведя, существа живого и реального.

Утратив нос и ухо, он сопровождал Илью Матвеича по жизни, деля с ним космическое одиночество, тайно приоткрывая отсутствующий глаз и указывая им на город Евпаторию, такой же магический для них обоих, как Буэнос-Айрес для Борхеса или Макондо для Маркеса. ...Кстати, если мне не изменяет память, этот медведь рычал когда-то, и довольно громко!

— Он еще рычит, Илья Матвеич? — спросила я.

Но Золотник то ли не услышал, то ли не был готов со своих небес опускаться на землю.

— Ничего не ответил Илья Матвеич, — вздохнул Флавий. — Зато медведь повернулся к Райке и произнес абсолютно человеческим голосом: «Р-Р-Р-Р-Р-Р...»

Белый пластиковый пакет парил у меня перед окном, к нему подлетали вороны и удивленно разглядывали: не белая ли ворона, о которой они столько слышали, да никогда не видели? Обычно меня угнетала подобная картина. Мне казалась она признаком упадка цивилизации. А тут я даже залюбовалась ею.

Ведь мир вечен, сказано в буддийской космологии, которую я иногда почитываю в транспорте, — меня это настраивает на философский лад и немного приподнимает над обыденностью, — хотя в какой-то момент неизбежно его дежурное разрушение огнем.

И каждые восемь Великих Кальп после семи разрушений огнем наступает разрушение мира водой. В конце концов, от яростного ветра все регулярно разрушается, опустошается и распадается на составные элементы. А в заключении — благостный прогноз: что высшие миры не уничтожаются никогда!

Однако и у нас, на цокольных этажах встречаются храбрецы, готовые противостоять подобному развитию событий.

— Знаешь, — говорит Пашка, — что надо делать, если загорится пожар? Бежать и сразу ложиться в ванну, поскольку над водой всегда три миллиметра кислорода! Дым, пламя, а тебе — нипочем!

Или:

— Знаешь, в какой вагон лучше садиться, чтоб отлично чувствовать себя при железнодорожной катастрофе?

Теперь мы и насчет Всемирного Потопа имеем рекомендации, и ураган, сметающий род людской с лица Земли, не застанет нас под раскидистыми деревьями и шаткими конструкциями. Цунами с тайфунами тоже, как выяснилось, имеют слабые звенья.

Всю эту бездну премудрости в умы учащихся начальной школы закладывал эксперт по выживанию Игнат Печорин, тщедушный такой человечек в потрепанном пиджаке, чей блеклый и лысоватый облик никак не вязался с масштабной задачей, которую он поставил перед собой: спасти обреченный на гибель мир.

Академик всемирной академии сохранения жизни на планете, почетный член Союза физического и нравственного возрождения человечества, летние каникулы Игнат Савельевич великолепно провел в сельве Амазонии с первобытным племенем каннибалов, которых накануне отправились изучать американские ученые-антропологи, бесследно исчезнувшие, словом — одно неверное движение, и Печорина там съели бы или пронзили бы сердце отравленной стрелой, такие дела.

Хотя наш учитель застенчиво уточнял, что они не каннибалы, а некроканнибалы: сжигают почивших, пепел смешивают с банановой кашей и едят. А каннибалы — в Новой Гвинее, у них он тоже бывал. И в доказательство демонстрировал фото, где он с копьем среди чернокожих людоедов, весь разрисованный, голый, а на пенисе Игната Савельевича возвышается бутылковидная тыква-горлянка.

— Чем больше футляр — тем выше твой социальный статус, — с гордостью объяснял самобытный учитель.

— И представляешь, эта штука, — потрясенно рассказывал Пашка, — упиралась ему прям в подбородок!

Правильно сказала благочестивая старушка, почему-то именно меня выбрав из толпы, чтобы сообщить о неуклонном приближении рокового часа, когда будет изъята святая церковь, и человечество оскудеет добром, и на седьмой день не останется никого, кроме ста восьмидесяти четырех праведников...

— Правда, все они будут евреи, — добавила с грустинкой.

Не знаю, лично я каждое творение этого мира считаю верхом совершенства, с

одной лишь оговоркой: свое огульное признание человека венцом природы я по-хозяйски бы снабдила молитвой о нашем омовении, вразумлении и удобрении.

Раньше я как? Была угрюмой теткой, готовой поносить всех и каждого, зато теперь с утра до вечера у меня сплошь курбан-байрам. Смотрю в окно на майский дождь — не налюбуюсь! Хмурая осень? Загляденье! Снегопады, листопады, звездопады... Господи, давно хотела спросить: все ли Ты явил или что-то прячешь от меня?

Это же и в творчестве — полная утрата самоконтроля. Когда я пишу свои опусы или выступаю, неважно, перед взрослыми или детьми, мне лень облекать мысли в слова, да у меня и мыслей-то никаких, — я просто выхожу и даю мощный эмоциональный всплеск. Мне стали хорошо удаваться тосты в кавказском застолье.

Опьяненная восторгом, я не вписываюсь в социум. Когда по телефону спрашивают, как дела, задыхаясь от счастья, я ору в трубку: «Замечательно!!!» А ведь обычно абоненты откликаются панихидным голосом: «Да. Алё». А тут такие вопли.

Даже Флавий, который понимает меня как никто, и тот мне поставил на вид:

— Ты так не ори, не надо, а то, знаешь, бывают счастливцы — что бы ни случилось — кораблекрушение, ревматизм, тропическая лихорадка, проказа, чума, слоновая болезнь, — они всегда в прекрасном расположении духа. Это ужасно действует на нервы! Что тебя распирает?

Мир представлялся мне громадной абрикосовкой, раздутой до вселенских размеров, где больше не было чужих и незнакомых лиц, куда ни бросишь взор — везде родные очертания, дружеские связи и любовные узы.

Скажем, вон в том особнячке на Китай-городе ютился литературный журнал, куда я отнесла тройку глав. Целую вечность от них не было ни слуху ни духу. На мои робкие вылазки они отвечали дружелюбно:

— Читаем!

Через полтора года я спросила:

— И докуда дочитали?

Они оценили мою солдатскую смекалку:

— Мы так не любим все это читать, если б вы знали! Нам без конца звонят и спрашивают: «Ну, вы прочитали?» Мы говорим: «Читаем». Обычно все удовлетворяются этим ответом. А что им остается?

От редакции было рукой подать до Николоямской, мне вдруг захотелось взглянуть на мой старый двор, на дом, на улочки, по которым ходила в школу и обратно, как птицы, которые улетят осенью куда-то, а там тепло, светло, есть чем поживиться, а вот приходит время — и возвращаются обратно. Зачем? Такой громадный путь преодолен, останься здесь, где вечное лето, коротай припеваючи птичий век, расти желторотых птенцов! Нет, устремляются к своим сиротским пенатам.

И я пошла, не стала садиться на трамвай, — по Солянке, мимо Троицкой церкви в Серебряническом переулке, по мосту через Яузу. А вот и Николоямская, когда я тут родилась, она именовалась Ульяновская. Во дворе встретил меня чуть осевший, выцветший дом под крышей заката, дом, который прячется в моем голосе и живет внутри ветра, оберегаемый зимами и веснами, голубоватый, с балясинами, увенчанными поредевшими гроздьями винограда.

В детстве мне нравилось стоять на том балкончике с чугунной, завитушками, оградой и наблюдать за дворничихой Таней, крикуньей, она постоянно бормотала себе под нос, а иногда выкрикивала: «Все будет вовремя и очень вкусно...»

Однажды маленький Вовка Золотник не выдержал и крикнул:

— Бабушка Таня, что вы все время так оёте? Если вы больная, то вам надо лечиться!

— Эт-то мы еще посмотрим, — задиристо отвечала Таня, — кому надо лечиться!!!

Сквозь кроны высоченных лип просвечивал роддом, который тоже построил

Абрикосов по завещанию моей прабабушки, это было ее последнее желание. И мы с Вованом по очереди смотрели в бинокль, особенно летом, как мамочки высовывались из окон, внизу отцы кричали что-то, махали руками, разные глупости писали мелом на асфальте.

Вспомнились наши с Володькой снеговики с носами-морковками. Как мы катались на санках — дом-то на горе! Березовые сережки, тополиные почки, настурции в клумбах из выброшенных автомобильных шин, зеленая беседка и стол для пинг-понга, кусты сирени и голубятня — там всегда голуби на жердочке — белые — в каких-то веерообразных хвостах.

Мариванна, мать таксиста Гарри, пьянчужка, выходила голубей покормить, картошки вареной наломает, положит в карман передника — и на улицу к голубям. Она говорила, если их не кормить, они ей окно разобьют клювами, будут стучать. И засрут карниз. Они ведь, эти голуби, *бесцеремонные*...

Вспомнила пахучие мешки с воблой во дворе — у нас воблу продавали холщовыми мешками! А неподалеку пивной ларек. Там здоровенные страшные мужики, Вовка говорил, пили «пиво с ёблой».

И эти вечно погрызенные Володькой уголки пионерского галстука...

Он был чужак у нас во дворе, к тому же хлюпик, в футбол не играл, с качелей не прыгал, по крышам не лазил, на турнике ни разу не мог подтянуться. В карты я научила его с грехом пополам, в «дурака» и «пьяницу», так он всем проигрывал напропалую. И в школе с двойки на тройку перебивался — Абрикосыч с ним несколько лет разучивал таблицу умножения!

Соня водила нас с Вовкой на «Аленький цветочек» в театр Пушкина. Я безутешно плакала в середине, в голос рыдала, когда купеческая дочь не успела вернуться к своему чудищу, чуть его не уморила, дуреха, он уже бездыханный лежал на пригорке, где раньше рос цветочек. Она кинулась к нему, обхватила его страшную голову руками... До сих пор стоит в ушах ее истошный крик:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!

Мне казалось, что и у меня будет такая же судьба. Что я полюблю такое же чудище, и не факт, что оно потом превратится в кого-нибудь путного, ох, не факт! Но я его еще больше от этого буду любить, еще сильнее, потому что прекрасного принца каждый дурак полюбит, а ты полюби вот такую образину, тогда я на тебя посмотрю.

Илья Матвеич, в свою очередь, водил нас на экскурсию в Музей Востока, где мы стояли с Вовкой, взявшись за руки, перед лицом каменного Будды, пытаясь разгадать секрет его таинственной улыбки.

А когда Вовкина классная Голда Моисеевна вызывала родителей в школу, то всегда ходил дядя защищать племяша от наскоков.

— Я вам на съедение Владимира не отдам! — храбро говорил он.

— У него очень плохие способности по географии! — бросалась в наступление Голда.

— Нет, лучше скажите мне, — парировал Илья Матвеич, — как вы, женщина, человек еврейского происхождения по имени Голда, заслужили прозвище Гитлер?

Снег заносит следы, стирает краски, и теплый домашний мир обретает формы, а туман рассеивается и пропадает в череде картин, пронизывающих нашу память.

Я помню все, связанное с моим детством, даже проходные реплики, услышанные краем уха, навсегда запечатлелись в памяти, хотя их смысл ускользал от меня, к примеру, непостижимый разговор мамы с Бертой, когда той на юбилей подарили телевизор.

Соня спрашивает:

— Ну как — спектакль интересный?

Берта отвечает:

— Сначала он хочет — она не хочет. Потом она хочет — он не хочет. Потом они оба захотели, но уже наступил конец.

В комнате у Берты вязанные крючком салфеточки, вязаная скатерть, вязаное покрывало на железной кровати. Кресло тоже украшено вязаной накидкой. Периодически к ним приезжали дочь Гита и внучка Мирочка. Муж Берты за свою глухоту снискал прозвище Тугоухий Вольф. Общаясь с ним, Берте приходилось форсировать голос.

По коридору гулко разносилось:

— Во-ольф! Слушай сюда! Гита сегодня сделала аборт!

— Что-о???

— «Что-что», ты слышишь или нет? Гита...

Гита, когда узнала, — такой скандал ей закатила. А та отвечала невозмутимо:

— Так все свои же люди!

В их семье женщины славились выдающимся бюстом, который они передавали из поколения в поколение. И только Гита, единственная в роду, кому подфартило с умеренным номером.

— Поскольку она пошла не в маму, а в папу! — шутил Илья Матвеич.

Господи, а веселая модница Ленка из нашего двора, она работала в морге, замораживала покойников. Бабушки на скамейке боготворили ее, совали в карман подтаявшие барбариски:

— Лена — только ты!

Она отвечала:

— Бабулечки, не волнуйтесь, все будете красавицы!

— ...Пысанные! — не преминет добавить Зинуля.

Призраки моих незабвенных соседей вереницей поплыли передо мной: Падкины, Черналюбкины, Ханины, Закатовы...

Не знаю, обычная ипохондрия, которая доканывала меня до благословенного удара каруселью, — имела ли она отношение к тем годам, когда мой дед сидел на чемоданчике и ждал неотвратимого стука в дверь, или это неясная тоска космического порядка, воспоминание об утраченном блаженстве, о какой-то неописуемой любви, недостижимой в этом мире?

Многие из них разлетелись кто куда — кто в небо, кто в другие локации, лишь остался незыблемым великий ученый македонский орех посреди двора, тополь, с которого летел пух, забивался во все щели, две одичавшие яблони (папа говорил: «Это яблони, посаженные в тридцать седьмом году!» «Ой, — удивлялась мама, — как это невероятно звучит: *яблони, посаженные в тридцать седьмом году...*») и знакомая водосточная труба с пожарной лестницей. Да еще болотного цвета мусорка, где в свои лучшие времена пировали кошки и вороны.

На сей раз к облезлому, ветхому днями мусорному баку были приставлены какие-то вытянутые прямоугольники. Я подошла поближе, взяла один за уголок, отодвинула и даже наощупь мне стало ясно, что это холсты.

Они показались мне знакомы еле заметными переходами тонов, похоже, без всякого вмешательства художника проступавшие в нужном месте, наподобие редкостного мха или плесени, несущие в себе и живопись, и живописца, и серо-фиолетовое небо над нашим домом. А главное — полностью нереальные бледные фигуры, грезящие и плачущие в полутьме.

Я стала перебирать подрамники, их было не меньше двух десятков. И вдруг узнала картины Золотника, да, это его картины, первая мысль — он что, их выбросил? На обороте виднелась подпись — тоненькой линией прерывистой — еле проглядывало: «Золот...»

Я заглянула внутрь контейнера и обнаружила большой бумажный рулон скатанных

рисунков, обрывки, наброски... А рядом, среди бытового мусора, пластиковых пакетов, наполненных всякой дрянью, лежала потрепанная сумка с выжатыми тюбиками краски, палитра, высохшие кисти и старый плюшевый медведь.

Тут я поняла, что мой художник умер, его больше нет на белом свете, потому что не смог бы Илья Матвеич так вот запросто разлучиться с этим медведем.

Мишка посмотрел на меня своим единственным глазом — с тех пор, как мы с ним не виделись, его лицо очень повзрослело — и все рассказал, как было: умер, умер неделю назад, в больнице, куда его увезли с сердечным приступом. Там быстро в морге простились, потом в крематорий, куда-то поставили урну, куда, не сказали.

Он ждал, понимал — ничего не вернуть, но надеялся, думал, вот-вот откроется дверь и придет Илюша, ан нет. Явились какие-то люди, собрали вещи и вынесли из комнаты. Оставили только его и картины. Наутро Володя, племянник, позвал дворника Айпека, велел ему «все это», и показал на картины, рисунки и сумку с красками, вынести на помойку.

— Вот он и вынес, как видишь.

Стало темнеть, в доме зажигались окна. Завешенные пыльным тюлем, как театральным занавесом, окна моей квартиры были слепы. Судя по старым оконным рамам, ее все еще держали за коммуналку, но кто там живет и живет ли кто-нибудь?

Вдруг одно окно загорелось. Свет зажгли в нашей «гостиной», той, что мы делили с графиней Толстой. Мне было девять лет, когда хоронили Екатерину Васильевну. Прибыло толстовское племя, дамы в шляпах с вуалями. Тогда мы с Вовкой впервые увидели живого попа. Он ходил с паникадилом, махал, дымил...

А через окно в крошечной каморке гнездовала Наночка с какой-то птичьей фамилией. Синичкина? Снегирёва? Очень маленького роста, шустренькая. Она дала нам овсяного печенья и усадила пить чай, чтобы немного развлечь.

...Редкие тени прохожих выплывали из-за угла, освещенного желтым фонарем. От деревьев тянуло прохладой, бесшумно вспрыгнула на контейнер кошка. В пальтишке, в сапогах, со скрипкой вышел из подъезда незнакомый парень и медленно побрел, пиная рыжие листья клена.

Ясно, что все эфемерно и мимолетно, даже великие озарения — всего лишь сны и давно бы растаяли без следа — «Мона Лиза» опять же или «Весна» Ботичелли, «Купание красного коня», на худой конец, «Чёрный квадрат», если бы не излучали какое-то сияющее присутствие, неподвластное тленью.

Но и приснопамятная «Сосна» Осмёркина, и эти брошенные на помойке холсты Золотника, перепачканные голубиным пометом, политые дождем, где ночь и день одного цвета, а мир пребывает без различий, словно рисунок на доске Бытия, как ни крути, излучают это сияние.

Где Митино мировое древо, исправно соединявшее земную и небесную твердь? При солнечном свете сосна у него была цвета золотистой охры, в тени — вишневая, зимой — ветки в белом снегу, а ствол темный до черноты. Зато осенью, когда прохлада усиливает зелень, резче очерчивает иглы, она стояла в пейзаже, будто обведенная тушью. Митя говорил, это сосна его детства в Перхушково, когда он был счастлив и родители были живы.

И так он пытался, и эдак подманить покупателя, приглашал друзей и случайных знакомых. Сосну за сосной достает, ставит у окна, подсвечивает, чтобы усилить колорит, а те глядят и не понимают: на что она им, эта одинокая сосна, о чем будет шелестеть ветвями в изголовье, какие всколыхнет мысли, заронит искру, навеет сны?

Жена Мите плешь проела: смени да смени проблематику!

— Как я могу? — он ей отвечал, белильцами подмалевывая облака, гонимые ветром над густой зеленью сосны.

— А ты взгляни на свои дырявые штаны, — ворчала жена, — носки заштопанные, — и пойдет как по маслу!

— Задница у меня протирается, потому что много сижу, — смиренно объяснял Митя. — А пятки у меня протираются, потому что много хожу.

Но та не успокаивалась, решила прощупать почву в Измайловском парке, потопталась среди художников и углядела, что одна баба десятками продает картины с полевыми ромашками. И до того они бойко разлетались, что никаких сомнений: долой сосну, даешь ромашки!

После череды бессонных ночей Митя капитулировал. В целях экономии замазал свою сосну и поверх набросал — что б они провалились! — ромашки в граненом стакане. Жена выставила букет на продажу, а та баба, почуяв конкуренцию, подняла тарарам:

— Ты с ромашками сюда не лезь, ромашки все мои, мотай отсюда или рисуй другие цветы, у меня на ромашки монополия.

Митя взялся изображать васильки да незабудки, жена снова ропщет:

— Запечатлевай, — говорит, — георгины с гладиолусами, на полевую шелуху потребитель не клюнет.

Митя нарисовал гладиолус, потом еще один, вставил в рамку. Лед тронулся, сосна померкла и потерялась меж полотен с пышными георгинами. А душа-то не на месте, тоскует Митина живая душа. Возьмет бутылку портвейна, придет к Золотнику.

— Яичницу разбить? — спросит Илья Матвеич.

Славная у него получалась яичница-болтунья! Посыпанная солью, перцем, она лоснилась горкой в сковороде, он то снимет ее с огня, то поставит, бросит помидорчик, петрушку... И с пылу с жару несет Мите.

А тот уж пригубил, сидит, горюет о своей погубленной жизни, подперев кулаком щеку.

— Упорный ты, Илюша, гнешь свою линию, а я сосну предал, гандон штопаный, променял на георгины с гладиолусами. Но ведь продаются они, понемногу, а продаются, значит, нужно мое искусство народу, так ведь? Хотя гложет вот здесь, — и Осмёркин стучал себя где-то в области желудка, — не то это, не мое!

— Твое, Митя, это — сосна в лучах закатного солнца, — отвечал Илья Золотник, — но ты оставил ее, ибо не было у тебя коммерческого успеха, и ты изменил направление. Но я тебе не судия, кто я такой, чтобы тебя сосной попрекать, мне семью не кормить, я сам по себе, мне много не надо. Я свои картины для себя пишу, ищу собственную гармонию, не купят — и ладно. А для денег — товарный знак рисую: заказ пивоваренного завода, обещали двести рублей!

— Баста! — ударит Осмёркин кулаком по столу. — Плевать на коммерцию, уеду в Перхушково, буду рисовать сирень, ведь сирень — она и цветы, и дерево в то же самое время, а рядышком с сиренью — сосна. Может, выйдет у меня соединить эти две темы?

Но Илье Матвеичу нравилась именно та Митина сосна, одинокая, прямая, на фоне коричневой зелени, окутанная золотистым свечением уходящего солнца, грубоватая, неброская, но такая душевная. Обнимет Осмёркина и молчит, размышляя, как же быть, чем утешить друга? Да так и не придумает. А только скажет:

— Ты как соберешься, позови меня, может, и я с тобой поеду, там хорошо, наверное, я давно не был нигде, сижу тут в четырех стенах как узник. Один бы я теперь не решился в Перхушково поехать.

Напоследок Митя оглядит «сокровища» Золотника, всю эту смесь гремучую тревоги и надежды:

— Знаешь, что меня страшит, Илюша? Вот умру — и мои сосны выкинут в мусорный бак. Моя жена и выбросит, что не продаст!

— Никто не знает, Митенька, что нам уготовано, — отвечал Илья Матвеич. — Вот Калмыков — умер в нищете. Его творения вынесли во двор. Казалось бы — ничего

ценного: измалеванные с двух сторон холсты и пожелтевшие бумаги, исписанные непонятными знаками. А его картины и картоны подобрал музей, рукописи приняли в архив, даже ветошь и рухлядь спасли от костра! Народ о нем слагает песни, а самого его официально причислили к лику святых. Вот как бывает, друг мой. И не нам об этом судить.

— А может быть, взять все и сжечь? — твердил свое Митя.

— Ну что ты заладил, — скажет Золотник. — Это жизнь наша. Как я могу собственную жизнь сжечь?

И ни друзей у него, ни родных, кто станет беречь этот невечерний свет, который ложился слой за слоем на чистый холст.

Семьей он не обзавелся («Чтобы не зачать детей с дурными наклонностями!»). Было время, его навещала гостья — он познакомился с ней в доме отдыха за Вышним Волочком. Они тогда с Митей работали оформителями на художественном комбинате, путевки от профсоюза стоили дешево, за десять рублей можно было съездить.

Только сели в автобус, вошли две женщины, и сходу поделили их с Митей: этот — мой, этот — твой. Ну, познакомились, начали встречаться, ночные прогулки на лодке по реке Мсте, — раньше в дом отдыха ездили, чтобы с кем-то сблизиться, рассуждал Илья Матвеич, а когда познакомишься с человеком поближе, всегда хочется нарисовать его погрудный портрет или целиком, тем более что им дали с Митей отдельный домик.

Тогда Золотник еще искал свой стиль, и образы на холсте имели хотя бы какое-то сходство с оригиналом. Раз уж его выбрала Галя из Твери, он велел ей застыть у окна на восходе солнца часов в пять утра и взялся за кисть.

Увы, она не годилась в натурщицы: одна-две минуты — предел, ее захлестывал темперамент. Увидев, как это огорчает Илюшу, она сделала неимоверное усилие и продержалась в оцепенении полчаса. Это был подвиг любви — у нее онемели руки-ноги, заболела спина, заурчало в животе, она опустилась на стул и уснула от изнеможения.

К тому же она была слишком резко очерчена: шея, ключицы, грудь, мускулистые бедра. Такой рельефной натуре лучше позировать скульпторам. Поэтому Митя по-дружески предложил Илье сменить Галю на Лену, они ее звали Элен, куда более обтекаемую и меланхоличную — час, два будет сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. А Галя — крепкая и порывистая, как сосна в Перхушково, она Мите больше нравилась.

С тех пор Элен чуть не каждый день позировала для Ильи Матвеича, что-то он углядел в ней, создав галерею портретов, не считая рисунков, набросков и эскизов, где он изображал себя голым с пастушеским посохом в руке, своей плотностью и приземистостью напоминая пухлого сатира, а легкую воздушную Элен с развевающимися волосами — немного растерянной рядом с этим ярыжником.

Именно в Вышнем Волочке он стал все дальше уходить от реализма и обращаться к абстрактным формам живописи, но все-таки пока угадывалось ее лицо, сияющее нагое тело, а главное, безупречно чистая душа, особенно это видно было в работе «Элен падает в пропасть», которая долго висела у него в комнате между книжными шкафами.

Жизнь в абрикосовке замирала, когда загадочная незнакомка звонила в парадную дверь (*И.М.Золотник — 5 звонков*). Он суетливо бежал открывать, и она вплывала в своем шелестящем просторном плаще с капюшоном — папочка звал ее «мадам Бонасье» — или в шелковом платье с незабудками, шляпа, сумочка, перчатки, это производило на обитателей нашей квартиры неизгладимое впечатление.

На расспросы Илья Матвеич, обычно такой открытый, дружелюбный, коротко отвечал:

— Это моя натурщица, я ее рисую.

Стоило двери в комнату за Илюшей и его музой закрыться, только ленивый не вылезал на свет божий из своей норы, чтоб ощутить в коридоре шлейф ее присутствия, вдохнуть аромат «Ландыша серебристого», а таксист Гарри порой до того докатывался, что в отсутствие супруги-милиционерши приникал к замочной скважине. Это не одобрялось общественностью, но встречалось с пониманием.

— Ну, что там? — спрашивала его Зинуля, как бы походя.

— Раздевается, — шепотом отвечал наблюдатель.

— А??? — Зинуля была глуховата.

— Тс! — Гарри прикладывал к губам палец. — Усаживается на стул.

— Голая??? — интересовалась Надюля.

— В чем ее мать родила!

— А Илюша???

— Выдавливает на палитру краску.

— Одетый?

— Как есть, одетый.

— Кремень, а не мужик!

— Гарька, а теперь? — трясла его за плечо мамаша.

— Рисует, мам...

— А она?

— ...Не пошелохнется.

— Чудеса в решете! — удивлялись старухи.

А надо сказать, Илья Матвеич имел обыкновение поставить чайник и тотчас же о нем позабыть.

— Илья Матвеич, вы хотите, чтоб мы угорели к чертям собачьим? — кричала ему Берта с кухни.

— И-иду, — отзывался Золотник и в заляпанном краской фартуке шествовал неторопливо по коридору с таким достоинством, будто этот человек был самим Творцом Вселенной.

— Мамочка моя, царствие небесное, чтобы ей на том свете достались одни только сушки маковые в меду, — оправдывался он перед соседями, — всегда меня называла идиотом. Но так любовно, даже изумленно, сделаешь что-нибудь, она — восхищенно: «Идиот»!..»

Так вот лукавые старушки, которым очень уж хотелось глянуть, что там такое у Ильи творится, придумали поставить на огонь Илюшин обгорелый чайник и закричать, как бы издалека:

— Илю-уша-а-а! Ча-айни-и-ик!

Он выскочит и побежит, оставив дверь распахнутой, и тут они увидят...

И тут они увидели, вернее, мы, хотя я — вряд ли, но вышло так, никто не понял, почему, а тридцать человек соседей столпились у его двери, завороженные великим таинством искусства.

Глазам открылась вот какая картина — накинув шарф прозрачный цвета южной ночи, сидит на стуле обнаженная Элен, глядя сквозь них в какие-то такие дали, куда, как говорил потом беспутный Гарри, Макар телят не гонял.

А Илья свет Матвеич уж возвращался с чайником, в другой руке — банка варенья, на шее — связка сушек.

— Элен, Элен, — он окликал ее, как лебедь Леду, — вот, чёрт, поставил чайник на плиту и напрочь позабыл. Что бы я делал без моих соседей!!!

Как же Илюша горевал, рассказывал мне Абрикосов, когда заснеженным январским днем она пришла к нему:

— Я вышла замуж, — говорит, — больше позировать не буду.

— Но мы же не закончили картину...

— Всё-всё, — произнесла Элен, такая румяная, в кроличьей шубке, штампованной под леопарда. — А то меня муж прибьет.

«Кончились краски...» называлась эта картина. Она в самом деле была незаконченной: что-то детально прописано, а что-то неясно, туманно, верхний правый угол вообще не затронут.

Илья напился! Три дня и ночи лежал лицом к стене. Митя звонил на комбинат, хотел заказать натурщицу, на комбинате их две тетки...

Илья Матвеич хохотал, как Мефистофиль в исполнении Шаляпина, когда об этом услыхал.

— Да ты с ума сошел, — стонал он, утирая слезы, — кожа Элен так чувственна и светоносна, она играет красками... Я буду рисовать ее с закрытыми глазами...

Вот он и рисовал ее всю свою жизнь, по памяти, силуэт постепенно таял, растворялся в его полотнах, пока через несколько лет не слился с пейзажем, стал мерцанием, а потом и вовсе пропал за красочным слоем.

Люди поворачиваются, открывают невидимую дверь и уходят, а мы стоим и смотрим им вслед, не понимая, как это возможно? Мы так ярко и отчетливо их помним, а вокруг столько живых свидетельств пребывания этого человека на земле!

Что делать с картинами? Забрать? Картин-то много! А если оставить — утром приедет мусорка и вывезет на свалку в Одинцово, свалят и утрамбуют.

Флавию звонить бесполезно, он как-то отрешился. Раньше говорил: «Я буду любить тебя *до твоего* последнего вздоха!» А сейчас — как ни позвонишь, отвечает рассеянно: «Завтра и послезавтра, и послепослезавтра у меня танцы, а дальше посмотрим...»

Да еще с некоторых пор его всецело поглощали вопросы оздоровления.

Он и прежде был ипохондриком, тщательно изучал ранние симптомы разных эсхатологических недугов, стоило ему заподозрить у собеседника что-нибудь не то, он разглядывал тебя чуть ли не в лупу: не вскочило ли где чего, не зашелушилось ли?

Как-то он и сам явился ко мне на свидание с обметанными губами.

Бабье лето стоит золотое, в воздухе летают паутинки, дует теплый ветерок, парк полон шорохов и шелеста. В самом что ни на есть благодушном настроении Флавий меня обнял и собрался поцеловать (ибо как говорил Авиценна, поцелуй ускоряет сердцебиение, стимулирует кровообращение, укрепляет иммунитет...).

Тут я и спрашиваю:

— Это что у тебя на губах — простуда?

Он как закричит:

— У меня никогда не бывает простуды!

И вдруг подозрительно:

— А у тебя что, бывает?

Я твердо:

— У меня не бывает.

— Это я ананас ел!!! — вознегодовал Флавий. — Ананас купил на рынке... зеленый! Ты когда-нибудь ела ананас? Ананас в кожуре??? Небось только вылавливала в компоте!!! А ты поешь его в кожуре! Он, знаешь, как губы разъедает!!! Мне их так щипало!!! А тут еще ты со своими гнусными подозрениями! Ну и ладно! — кричал он на весь Ботанический сад Российской Академии Наук. — Не хочешь целоваться — не надо!

И зашагал прочь не разбирая дороги. Я догнала его, ухватила за рукав, но он оттолкнул меня в страшной ярости:

— Главное, кому ты это посмела заявить? Человеку, который столь тщательно

следит за своим здоровьем, что гигиена давно стала для него превыше всего! Да я за здоровье жизнь готов отдать! Тебе и не снилась такая гигиена, какую я развожу! Запомни: умирать буду, а тебя больше не поцелую, на коленях будешь молить, в ногах валяться, песок целовать, по которому я ходил...

В то время Флавий еще балансировал между сплином и страстью, а тут уже явный обозначился перекос. Только в страшном сне Флавию могло привидеться, что мы с ним дружно плечом к плечу копаемся в мусорном баке. И где? В самом центре Москвы!

Надо звать Фёдора, он как раз вынырнул со дна провальной воронки массива Ай-Петри и пока не углубился в сарматские известняки Прикаспия у озера Баскунчак.

Я набрала его номер:

— Слушай, Федя, тут такое дело... надо приехать — забрать кое-какие вещи, откуда-откуда... из помойки! Не просто вещи, это картины художника Ильи Матвеича, моего соседа, я тебе про него рассказывала. Пойми, это очень важно, его картины выбросили, а сам он умер... да нет, он сначала умер, а потом выбросили! Да не его, а картины! Мы должны их спасти!

— О боги! — стонал Фёдор. — Муж из пещеры вылез на божий свет, не мылся, не брился, хотел выпить пива, возвыситься духом. Нет отдыха измученной душе, только в подземных казематах — только ширк-ширк, летучие мыши нарушают блаженную тишину. И что там над нами долбают без остановки, колесный пароход!

— Наверно, они хотят сделать ванну вместе...

— ...с нашей? — подхватил Федя.

Но через полчаса был уже во дворе, примчался на грузовой «газели», косматый, бородатый, с насохшей глиной на комбинезоне, в громадных туристических ботинках сорок пятого размера, в каске с налобным фонарем. Ярким лучом электрического света Федя прорезал тьму и высветил меня с плюшевым медведем.

Он поднял с земли картину и принялся мрачно рассматривать.

— Ну не знаю. Ты уверена?

Мы стали собирать живописные полотна по три-по две — в стопки, носить в машину.

Водитель, увидев, что явные барахольщики тащат какой-то хлам, поглядывал беспокойно, не замарают ли этим хурды-мурды его грузовой отсек. Напоследок я закинула рулон и сумку, рядком уселись в кабину, мишку на колени, и машина тронулась.

Зайти взглянуть на картины Флавий был еще в состоянии. Хотя последнее время о людях искусства отзывался неодобрительно. Иногда мы ходили вместе в кино. Обычно его хватало минут на десять, после чего он вскакивал и покидал зрительный зал.

— Это такая плохая актриса, — говорил Флавий про героиню, — ее надо было снимать скрытой камерой в трех позициях: на унитазе — когда у нее запор, там же, когда у нее понос, и третья — когда туалет занят, а у нее болит живот. Была бы такая радость!

О фильме, где нам удалось засветиться — меня, правда, не показали, а Флавий разок промелькнул в похоронной процессии, — он отозвался так:

— Им бы еще хорошего сценариста. Хорошего режиссера. И хороших актеров.

Я любила театр, выставочные залы, концерты, чего Флавий на дух не переносил.

— Не любите ли вы театр, как не люблю его я? — спрашивал он задумчиво, ни к кому не обращаясь.

Писателей он называл заполнителями пространства и признавал только сочинителей крылатых афоризмов. Однажды на пике вдохновения я произвела на свет афоризм: *Она была готова дать каждому, так она любила людей!*

— Некоторые горе-писатели думают, что сочинить афоризм легко, — сказал на это Флавий. — Все равно что повестушку или романчик накатать. Им невдомек, что в Настоящем Афоризме не должно быть ни одного лишнего слова и даже звука! *Она была готова дать каждому — так ~~она~~ любила людей!* Почувствуйте, как говорится, разницу! — закончил он торжествующе.

Флавий вытащил из штабеля один холст, перенес поближе к окну. Краски, мутные в полумраке, вспыхнули, заярчились, и с полотна хлынула масса света, в которой угадывались размытые женские очертания, странные животные, пальмы, молнии, дождь, край окна и какие-то далекие лица, полузабытые, живущие в моем сердце. Они задавали неуловимый ритм, идеально вписываясь в пространство, текучее и бездонное, как наваждение.

— Ну, напустил туману, — сказал Флавий. — Надо матери показать, возможно, здесь мутной дымкой подернуты сюжеты Страшного суда. Пусть глянет, специалистка.

Тут же, не сходя с места, решили устроить квартирник — выставку художника Золотника у нас дома. Неделю забивали гвозди в стенки, развешивали картины, расставляли на диван, телевизор, на кровать, даже над унитазом повесили. Фёдор написал гуашью и кисточкой плакат: «Илья Золотник. Живопись».

Подумал и спросил:

— Может, написать: «Андерграунд»?

— Нет, — сказала я. — Надо: «Спасённый андерграунд».

Флавий предложил: «Спасённый из помойки...»

— Лучше «Спасённые шедевры...»

— Не будем опережать события! — сказал Фёдор. — Затем мы и зовем публику, чтобы дорыться-докопаться, шедевры это или «горний хрусталь»?

Оставили только имя автора и слово «живопись», в чем мы не сомневались.

Открытие нацелили на шесть вечера, в пятницу.

— Флавий пускай собирает народ, — предложил Федька. — Он такой живчик!

Сетуя на судьбу, Флавий поплелся на фабрику «Красный Октябрь» — там открылась выставка художников-авангардистов. У него был друг, абстракционист Ваня Колышкин, которого Флавий чтил за бестелесность творений. С помощью кисти и туши Колышкин испещрял мир вокруг себя какими-то знаками, вроде китайских иероглифов. Ничто не повторялось, заранее не готовилось, хрупкие Ванины видения всплывали из глубин его подсознания и вихрем нисходили буквально на все что ни попадя, чтобы исчезнуть в тот же миг. Ибо холстами служили ему плывущие в небе облака, озерная гладь, прибрежный песок и снежные поля Подмосковья.

Свои вензеля Колышкин выписывал и на конкретном теле Флавия, для которого расхаживать перед почтеннейшей публикой с открытым забралом было так же органично, как для папуасов Новой Гвинеи.

Нобелевской премией Флавий, будь его воля, награждал бы писателей, которые никогда ничего не написали, и превозносил до небес гобоиста, исполнявшего «Бранденбургские концерты» Баха для дуба, которому исполнилось сто лет.

— Есть такое выражение: зарыть талант в землю. Это самое правильное, — заявлял Флавий. — Не можешь не творить — твори, позабыв о рейтинге и коммерции! Цветок просто цветет, а заметят его или нет, ему по барабану.

Он вывесил при входе на выставку плакат, но когда зашел в галерею и начал раздавать приглашения, в углу стало надуваться нечто вроде огромной красной сардельки с ложноножками, оно вздувалось и вырастало из-за угла, стремясь заполнить все пространство, а посетителя, возбудившего спрятанный в «Красном Большом» фотоэлемент, решительно вытолкать наружу.

Больше Флавий не стал трубить о нашем квартирнике, боялся надолго уходить из дома: столько лет он ждал чуда — вдруг позвонят с какой-нибудь киностудии и он

услышит в трубке: «Яп-понский городовой! Мы потрясены вашим сценарием! Договор — на любых условиях!»

Правда, с недавнего времени у него появился мобильный телефон, но ведь не каждый об этом знает. А пока он будет болтаться по выставкам и втюхивать флаеры, раздастся звонок на домашний, мама подойдет или бабушка:

— А? Что? Из Голливуда? На двадцать миллионов??? А Флавика нету дома...

Впрочем, если б он вообще не произвел никаких телодвижений, а только осчастливил нашу стихийную выставку явлением своей драгоценной мамочки, я и тогда благодарила бы небеса за то, что встретила на своем пути этого самобытного человека.

Без десяти явились Флавий и Агнесса. Флавий, как обычно — в свитере под байковой малиновой ковбойкой, вытянутых на коленках брюках, в неизменных белых носках с красными пятками.

Зато сиятельная дочь короля Эдессы — первого оплота крестоносцев за голубым Евфратом, увы, завоеванного эмиром Алеппо Занги, — мечтавшего прибрать к рукам Дамаск, а там и всю Большую Месопотамию в зоне Плодородного полумесяца, Агнес де Куртенэ оделась явно на вечерний выход. Томная и женственная, в сапфической хламиде из черно-красного плюша, от которого чуть веяло заветным сундуком бабушки Иоветы, с ярко-синим индийским шарфом на шее, — Федька просто охренел, когда ее увидел.

Презрев застолье, она пустилась обозревать картины — в лорнет.

— Любопытно, — услышала я ее величаво-певучий голос. — Что-то в этом есть... Какая-то лучезарная сила, которая лепит мир на свой лад. Поэзия на холсте, авангард, напоминает Вейсберга по живописной манере. Это же один московский круг! Белое на белом... Только у того были банки, шары и белые кубы... А тут, часом, не раввин Симеон, по слову которого содрогалась земля и слетались ангелы?

— Вот мы и просим дать нам консультацию, — сказал Фёдор. — Но только точно, ясно, авторитетно — нетленка это или безнадежная мазня?

В дверь позвонили. На пороге стояли два человека в почтенных летах. Слегка полинялый субъект с можжевеловой тростью галантно представился:

— Мечислав Иванович Бредихин.

— Если Мечик явился на вернисаж, — ожидайте отличных продаж! — возвестил его спутник с белой круглой бородой, в двух рубашках — снизу желтая, сверху синяя в черный рубчик: Георгий Самоквасов.

— Надеюсь, мы не опоздали? — поинтересовался вальяжный Мечислав Иванович, наметанным глазом просекая уголок с фуршетом.

Чинной походкой, не отвлекаясь и не сворачивая, они направили стопы к праздничному столу. На локоток Самоквасов набросил пиджак, безрукавку, под мышкой зажал твидовую кепку, но это не помешало ему наполнить «бокалы» себе и мэтру.

— Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных пачкать розы и лилии красным вином, никогда не забыться в мечтах голубых сном любви, этим вечным, чарующим сном... — продекламировал Мечислав перед тем, как пригубить вино.

— За искусство! — подхватил Самоквасов.

— За наше вечное, безграничное, высокое и святое русское искусство! — добавил его велеречивый друг.

Они осушили чарки и тут же наполнили вновь.

— За мастеров кисти! — провозглашал один. — За наших прославленных и непризнанных, маститых и только-только вступающих на сей тернистый путь...

— Да не оскудеет земля русская талантами! — отзывался второй, опрокидывая стаканчик за стаканчиком.

Ясно было, что оба они пользуются в Союзе художников большим влиянием.

Мое застолье показалось им не вполне обильным.

— Любезная моя! У вас в доме есть колбаса? — поинтересовался Бредихин. — А то я с утра не емши, пришлось присутствовать на заседании в Академии художеств, забегался, не успел пообедать.

Пашка сгонял на кухню, притащил старику бутерброд с колбасой,

— Мальчик, слушай, а можно еще один сэндвич для моего закадычного друга? — попросил Бредихин. — Георгий Самоквасов баллотируется в президенты Академии художеств, ему надлежит усиленное питание.

— Ладно, — сказал Пашка и сварганил еще один — для будущего президента.

Все были при деле. Фёдор, как заправский хозяин салона, сопровождал Агнессу, брал картины переносил их поближе к лампе, подставляя пустую раму, выданную нам отцом Абрикосовым, видимо, когда-то в этой раме было заключено единственное произведение искусства в нашей семье. Впрочем, была ли в ней картина, никто не помнил.

Возможно, она полвека ждала этой минуты, чтобы обрамить работы Золотника, хотя не очень-то подходила по форме и по размеру, но все равно придавала какую-то значимость живописцу, которому явно было до лампочки, станут вешать на стенку его картины или не станут, главное — обрисовать эту силу беспредельности, встроить в окружающий космос прямоугольник личного космоса, потеснив реальность, набросить заплату на ветхую и самопальную ткань вселенской материи, залатать — куском своего добротного полотна — и довольно. А рама — это тлен и суета.

— ...Как преображается в раме картина! — изумлялся бывший Степа Жульдиков, а ныне абстракционист Бляблякс. Его дедушка, грек, носил эту благородную фамилию, внук ее себе присвоил. Решил вырваться из нашего рабства хаоса, гнета и печали в царство грез и галлюцинаций — на Пелопоннес, поближе к святилищу Зевса в Олимпии, жениться на гречанке и начать жизнь сначала, получая питание прямо из мирового пространства.

— И прежняя фамилия была благозвучной, — сказала я, — и нынешняя ласкает слух!

— Так что шило на мыло, — простодушно заметил Фёдор.

Пашка без устали курсировал между холодильником и плотоядными академиками, я то и дело бежала на звонок — встречала гостей. В полном составе явились участники выставки «Большой и Красный», а также наивный художник Орлов, чтобы выучиться на примитивиста, он окончил Строгановку.

Буквально из воздуха материализовался изысканный Жан-Луи, уроженец Парижа, его голову украшала засаленная бандитская шляпа с высокой тульей и фазаньим пером.

Пара безумцев — Клава Ёнчик с искусственным членом в кармане и Гога Молодяков, неформал с дурной репутацией — две косички на бритом темени, в старушечьей вязаной кофте — несли какую-то заумь: «объективация духа», «бинарность», «герменевтика», «органон»...

Явился — не запылился Бренер, автор поэмы «Хламидиоз», известный скандальными выходками: то он уселся какать под Рафаэлем, то извозил краской «Белый квадрат» Малевича, отмотал срок в Голландии и ознаменовал свой выход на свободу, заглянув к нам на огонек.

Виноградов пришел беременный. Следом — импозантные представители армянской диаспоры в пиджаках и галстуках, фотограф Никлас Мраз, по-нашему, Коля Мороз, рыжий австриец, он снимал кремлёвский кубок по теннису, черноглазый

Сикейрос — подбритые виски, взбитый чуб — с барабаном пау-вау, он заранее в него начал колотить на лестничной клетке, призывая род людской прорываться сквозь скорлупу обыденности, после чего примостился на кухне у батареи и деловито забил косячок.

— Абстракция требует границ, — философствовал Жульдиков. — Казалось, все разлетается, растворяется в воздухе, зато в раме — оно обретает завершенность и гармонию, в раме — это уже не плоскость, но — тоннель в другую реальность. За рамой — банальность, внутри — гениальность, верно, Агнесса Львовна?

По углам разносилась беседа академиков, причем с каждым стаканом их пленум становился громогласней.

— Пока могу сказать определенно, это живопись масляными красками на... — вещала несравненная Агнес, переворачивая картину и внимательно осматривая изнанку, — на холсте, холст «репинский», отличается грубой тканой структурой, что дало художнику сосредоточиться на фактуре, а не на изображении. Красочный слой не тонок, а даже, я бы сказала, увесист. Художник применяет технику многократной лессировки, чем добивается... добивался удивительной светоносности. По-своему, интересный, но достоин ли он Третьяковской галереи, это вопрос, пожалуй — нет, у нас же музей, там только избранные. Хотя художник нескучный, это важно в наше время, когда все зациклены на этом, как его... концептуализме, господи прости.

— В салон с ним тоже нечего соваться. Нонконформист этот Золотник, неформал, как и я, — утаптывал стежки Орлов. — Агнесса Львовна, вы должны увидеть мой новый цикл — «Танец холодного огня с переворотом на четыреста пятьдесят градусов», буду его показывать на днях в галерее на Полянке. Я передам приглашение.

— А что вообще нарисовано на этих невнятных белесых картинах? — спросил Самоквасов, как только они с Мечиславом выцедили последние капли из винных пакетов. — Пейзажи? Натюрморты? Форма чего? Чего форма? Кто он такой, этот Золотник? Он вообще учился? У кого-то уроки брал?

— Он говорил про какого-то художника из Алма-Аты, — сказала я. — Кажется, Колмаков...

— Может, Калмыков?! Сергей Иванович? — воскликнула Шимановская. — Да это же последний авангардист Серебряного века, в Третьяковке есть его работы. Значит, Золотник учился у Калмыкова? Тут вырисовывается интересная история, даже преемственность!

— Учитель — нищий сумасброд, закончил дни в психбольнице, — не унимался Самоквасов. — И ученик покатился по той же дорожке!

— Они видели иные миры, а это не каждому дано, — заметила Агнес и опорожнила стакан «саперави», который я заначила для нее на подоконнике за шторой.

— Жлобы! Это сама первоматерия творения! — вознегодовал Орлов. — Дух вещей, которые нас окружают, их нематериальные формулы, а не формы! Автор срывает шелуху с реальности! А на отважных первопроходцев, вроде меня и Золотника, из академических подворотен всегда слышится лай академических шавок!

— Я вашу молодежь уничтожу! — рвался в бой Самоквасов. — Растопчу и разнесу! Я напишу разгромную статью в газете «Южные горизонты», что вы все педики и лесбиянцы, а это ваше так называемое искусство — фуфло!

— ...И мертвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся, как сказано в Первом Послании Коринфянам... — чему-то своему радовалась Шимановская, немного даже приплясывая.

Ей богу, она мне нравилась все больше и больше.

Мечик отвечал на эскапады собутыльника легкой ироничной улыбкой.

— Друзья, не будем ссориться! Маэстро так говорит, чтобы не было зазнайства и панибратства, проще сказать, фанаберии и амикошонства, как принято выражаться

в нашей среде академиков. А сам Георгий Самоквасов — поклонник пре-ра-фа-э-ли-тов, — не без труда произнес он, подыскивая термин позаковыристее. — Неудивительно, что бессюжетная картина не трогает его душу.

— С чего ты взял, что я люблю прерафаэлитов? — воскликнул Георгий с таким видом, с каким Победоносец укокошивал гремучего Змия. — И теперь этими прерафаэлитами мне в морду тычешь! Я предпочитаю классическую живопись, и моя позиция как критика такова, что нужно оставаться на прежних позициях! Я при своей жизни пронаблюдал развитие искусства с 1805 года и понял, что Венецианов намного сильнее производил впечатление, чем все вместе взятые импрессионисты!

Внезапно Бренер схватил мою махровую герань и с криком: «жирная свинья, прохиндей, подонок, ублюдок!» принялся хлестать ею Самоквасова по мордасам, но тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, выбив из рук горшок.

— Перформанс не удался, — вздохнул Гога Молодяков. — Нет должной рефлексии, беспорядочная импровизация.

— Врррубитесь! — ликовал Ёнчик, сморщенный как гриб, сухой, как шелуха от семечки. — Этот тип еще с импрессионистами боролся!

— Вы русский человек, у вас русское лицо! — исхлестанный Победоносец обнял Ёнчика за плечо. — А все импрессионисты — евреи!

— Мне очень жаль, — ответил Ёнчик, — я чистокровный одессит и в некотором роде тоже... импрессионист.

— ...Как вы меня огорчили! — сказал сокрушитель Змия. — Пойдемте, Мечислав, нам здесь делать нечего.

— Надо закрывать лавочку, — сказал Фёдор. — А то я за себя не ручаюсь.

Народ намек понял и потянулся к выходу.

И тут гнетущую атмосферу развеял неожиданный гость. В стеганой телогрейке и шапке из нутрии пожаловал еще один чудодей — Бубенцов, излучавший тонкие ароматы роз и экзотических смол, которые просачивались даже сквозь дым и чад нашего квартирника.

Гриша значился арт-дилером, хотя окончил архитектурный, а по призванию был поэт.

— Посмотришь на небо — там звезды одне. Мне солнце на небе напомнят оне... — так он приветствовал не готовых к тяготам этого мира, хорошо ему известных по вернисажам Москвы, хрупких созданий, с грустью покидавших учиненный ими бардак.

— Кстати, в подъезде я встретил Бредихина и его приятеля, — сказал Бубенцов. — Ишь, проныры! Я знаю их как облупленных, они совсем не те, за кого себя выдают. Представляются академиками, едят и выпивают за счет заведения, мимо этих самозванцев не просвистит ни один фуршет! Что, все съели?! В другой раз гоните их взашей!

— В другой раз??? — переспросил Фёдор.

Под ногами у нас лежала земля с черепками, герань расколошматили, в горшке с амариллисом — окурки, скатерть белая залита вином, стульчак обоссан, из кухни несет коноплей... И среди этого бедлама Ваня Колышкин с небесным взором, китайской тушницей и кисточкой в руке знай покрывал таинственными иероглифами нашу мебель, окна, двери и обои, крышку холодильника, унитаз, эмалированную ванну...

— Не-ет, — сказал Фёдор, — в первый и последний раз я устраиваю квартирник, это просто чума, и ради чего? Ради какого такого искусства???

— Ну-ну, не будем судить слишком строго, — сказал Бубенцов. Под телогрейкой у него оказался элегантный серый костюм — двубортный пиджак и розовый галстук в полоску, отутюженные брюки были заправлены в черные яловые офицерские

сапоги. — В этой компании есть своя перчинка, аттическая соль, если хотите, фокус-покус... И одновременно — засада. Они дают деньги шарманщику, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев. Но для того мы и пришли в этот мир, чтобы удивляться и удивлять! — и он указал на Сикейроса, который, пока еще на своих двоих, в состоянии наркотической полукомы нарисовался на пороге кухни.

— Как маленького крокодильчика пускают в ванну, сю-сю с ним, а потом не знают, куда девать, так и Сикейрос — курит марихуану, в Юго-восточной Азии болтается постоянно, его кто-то спросит: «Тебя зовут Сикейрос?» — он с ним останется на пару лет. Недавно выучился тибетской медицине и стал практиковать как тибетский... хотел сказать «терьер». Он вам уже дул в диджериду? — спросил Гриша. — Возвещал о конце мира? Только бил в барабан? Тогда трубный глас еще впереди!

— А регулярно дудеть — не вредно? — поинтересовался Бляблях уже из прихожей. — У меня знакомый трубач страдает варикозом. Ему это, правда, помогает знакомиться с девушками на пляже: «Видите, у меня вены вздутые на ногах — вот, вот и вот... Я музыкант — артист — трубач...» От баб отбою нет!

— Так же и писатель, — меланхолично заметил Флавий. — «Видите, у меня гемор, я — писатель, инженер человеческих душ...»

— А вот и наша птица Феникс! — воскликнул Гриша, обнимая и троекратно целуя Виноградова. — Этот человек прекрасен, как древнегреческая скульптура. Под его разноцветными одеждами и гладкой белой кожей течет горячая алая кровь и бьется любящее сердце. Им можно любоваться, но лучше на него молиться! Сейчас он на девятом месяце, вьет гнездо, а видели бы вы его огненное шоу, когда вокруг вспыхивает всепожирающее пламя и Гарик сгорает дотла, после чего восстает из пепла!

Бубенцов был в отличном, просто превосходном настроении. Асс общения, он обладал россыпью возможностей привлечь к себе сердца художников, а также их правообладателей, показать, что он точно такой, как и ты. На самом же деле этому редчайшему симбиозу арт-дилера и поэта были свойственны надмирность, и полет, и одновременно связанность с этим миром прочнейшими стропами, которые крепко удерживали его на околоземной орбите.

По ходу своего монолога он так и шарил глазами по стенам, будто напал на след похищенного шедевра из Лувра, взгляд его ярче и ярче загорался охотничьим огнем.

Он потрясенно двигался от картины к картине, то приближаясь, то отдаляясь от полотна, прищуриваясь и бормоча себе под нос — вроде: «Черт-те что!» или «Гениально!» — не разберешь.

— Положа руку на сердце, — наконец заявил Бубенцов, — это золотая жила. Готов на реализацию взять любую работу из вашего собрания. А поскольку они мало чем отличаются друг от друга...

Тут одна картина с грохотом свалилась со стены.

— О! — сказал он. — Давайте ее сюда, это хороший симптом, значит, продастся, я вам говорю! Отличный натюрморт или что это? Похоже на баклажаны...

— Это Юдифь с головой Олоферна, — поспешила ему на выручку Агнес. — Вы разве не видите, Бубенцов? Приглядитесь...

— Да что мне приглядываться, за его картинами стоит вселенная, целая жизнь художника здесь отображена, судьба творца, трагический рок, преследующий живописца, вот что важно и повышает капитализацию... Самое главное, что нету его, это хорошо, что он умер, то есть, плохо, что умер, но для продажи — хорошо. Значит, картин больше не будет, путь художника окончен — можно продавать. Я возьму «Юдифь с баклажаном» и покажу эксперту одного аукциончика в Лондоне, у него как раз рейд по московским мастерским. Окей? — спросил он Фёдора. — Кем он вам приходится, этот Золотник?

— Бывшим соседом, — сказала я. — Мы нашли его картины возле мусорки.

— То есть как — возле мусорки? — удивилась Агнес.

— А что такого? — не растерялся Бубенцов. — Слышали, картина Рубенса провалялась в сарае сорок лет, никому не нужная: эка невидаль, голая баба нарисована! Теперь ее реставрировали, и она стоит пятьдесят миллионов! Кто знает, может, мал Золотник, а дорог?

— Рубенс — это несколько веков, — возразила Агнес, — а Золотник — даже века нет... Но, знаете, Бубенцов, я с вами согласна: словно зефир повеял над лугом — такой эти холсты излучают покой, такую тишину и, в конечном итоге, спасение, вы не находите? Ей же ей, я поговорю с завотделом новейшего искусства. Почему бы музею — в дар — не принять парочку полотен?

— Короче, беру половину с продажи, — сказал Бубенцов. — Как в песне поется: «Тебе половина, и мне половина! Луна, словно репа, а звёзды — фасоль! Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль!» ...Всё, всё, ресторан закрыт, пора по домам.

Ушли Флавий с Агнессой, откланялся Жан-Луи. Покинул охотничьи угодья Григорий Бубенцов, словно подстреленного вальдшнепа, унося под мышкой завернутую в полотенце картину Ильи Матвеича с изображением то ли ангелов, то ли облаков, то ли бледных баклажанов на бледно-голубом поле.

Крепко обнявшись, спали Павел и медведь, пропахший до печенок табаком. Глядя счастливые сны, в нашей супружеской постели мирно посапывал подкумаренный Сикейрос. Рядышком вздыхал его неразлучный жестяной пау-вау, обтянутый бизоньей кожей. А на зеркале в туалете красовалась особо замысловатая закорючка, начертанная Колышкиным, одному ему понятная, означающая Путь или Огонь, снедающий все на своем пути, я не знаю.

Так мы и зажили среди полотен Ильи Матвеича, в этой белизне, от яичной скорлупы до серой дымки, осененные бело-розовым колыханьем крыла, отраженного в зеленоватой реке, вроде того узора, что наносят на заиндевевшее стекло солнечные лучи.

Это возвратило меня в детство, в наш пчелиный улей, абрикосовку. Я там вечно околачивалась в коридорном тупичке. Дверь Ильи Матвеича приоткрыта, встану и смотрю, подпирая плечом дверной косяк, как ложатся краски на свежий холст. Вот что сводило меня с ума — миг приближения к бесцветному холсту, он будто подкрадывался, боясь спугнуть, я бы сказала даже, *расплескать* зыбкий образ, который намеревался запечатлеть.

Утратив несравненную Элен Илья Матвеич больше никогда не рисовал с натуры, но воплощал текучее неуловимое существо, внутренний призрак человека ли, предмета, зверя, дерева, цветка или горы. Слой за слоем наносил неторопливо и задумчиво, час за часом, день за днем, сквозь второй слой просвечивал первый, через третий просачивался второй и слегка сквозил первый, и так до бесконечности, оттого всем мерещилось таинственное мерцание, но никто не знал, откуда оно берется, кроме Золотника и его стойкого созерцателя, который бывал щедро вознагражден.

Художник Золотник доверял мне мыть кисти — с мылом теплой водой («Это колонок, Райка. Если ты испортишь кисточки, я тебе уши надеру!»). И допускал такого шпингалета в святая прям-таки святых: раскрашивать небо — альфу и омегу на его полотнах, бледную голубизну, где растворяется мир и откуда приходит Великое Молчание.

А ведь, по сути, он мне позволял на пару с ним живописать картину: вот кисть, вот краски, будешь рисовать? Держи!

И сразу вспыхивали синь небес, оранжевые облака — закатные, рассветные — неважно! Ярчайшая небесная дуга и огненный дракон, утоляющий жажду в море. Я упивалась своим могуществом, бросаясь на приступ крепости, используя каждую

выбоинку, сжимая кривую саблю в руке, а в зубах ятаган, яростно карабкаясь на вершину вершин, рискуя вызвать обвалы и быть погребенной под ними.

«Пьяное солнце» называл Илья Матвеич мое варварское вторжение.

— Не надо прямого цвета! — роптал он. — Ищи полутона, оттенки, смешивай! Ну, ладно, красный ты слегка обуздала, но желтый-то — вырви глаз! Стоп-стоп-стоп! Вот к желтому добавлять черный — это последнее дело...

А мне хотелось киновари, лимонной и лазури! Правда же, небо должно быть напоено солнцем, а облака — это небесные слоны?

В палитру мастера я пылко и безбожно вносила хаос и раздрай, но он приветствовал эти пиратские набеги и даже, может быть, не сплошь огульно замазывал мои прорывы к цвету, по свежей краске полыхающей прохаживаясь сереньким, голубоватым, тушил пожар, потом давал подсохнуть и тлеющие угли потихоньку лессировал аквамарином с кобальтом, пытаясь впрячь в одну телегу коня и трепетную лань.

— Я мечтаю о таких учениках, — говорил он, — которые могли бы докрашивать мои картины лучше, чем я!

Это была открытая система, излучавшая его жизнелюбие, прихотливость характера, широту его натуры.

— Какого цвета воздух, Райка? — он спрашивал меня. — Цвет — он рождается из света. Все, что ни есть на свете — это свет! — он сколько раз мне говорил, но что я тогда смыслила в жизни? — Свет льется с высоты небес, он создает иллюзию предметов и сам же отражается ото всего. ...А от угла падения луча, — он вдруг мог заявить, — зависит зелень трав и пурпур бугенвиллий!

Свет картин Ильи Матвеича пронизывал и озарял нас с Фёдором и Павлом, будто негасимый огонь далекой погасшей звезды, который я с детства считала непостижимым.

Увы, энергетические токи и небесные сферы Золотника, столь мощно одушевлявшие меня своей стихией, довольно угнетающе действовали на Фёдора. Особенно по ночам.

— Светятся, как гнилушки в чаще леса! — жаловался Федька. — Спать не дают. Что ты будешь делать с этими картинами? Вернется Бубенцов, притащит обратно «баклажаны», скажет, никому они не нужны, вешайте у себя на кухне и сами любуйтесь. Или мы вообще его больше никогда не увидим, тот еще жук! А ты развесила уши и уже готова отдать ему... самое дорогое, что у нас есть!

Федя рвался в Каракалпакию, там нашли вход в затерянную пещеру со стоянкой древнего человека, подледной рекой, костями пещерной гиены и пером птицы, которое «точно не принадлежит пингвину».

Чтобы развеять Федькину хандру, мы с Павликом водили его в музей камней на Моховой. Вместе крутили глобус чуть ли не в натуральную величину, важно разгуливали среди вулканических бомб Камчатки и Курильских островов, аммонитов и белемнитов, и всяких там отложений Девонского периода... Вместе лизали столб соляной, в который явно кто-то превратился, ослушавшись ангельского запрета.

Лишь среди метеоритов, горного хрусталя и дымчатого кварца ощущали мы единение и семейное счастье. В музее камней Пашка был готов дневать и ночевать. Это свидетельствовало о том, что сын у меня все-таки от Фёдора, а не от Флавия, как думали некоторые.

Но муж мой томился, словно орел в неволе. Милый, бедный, великий отец нашего семейства! Для такой героической натуры, такой отважной и пылкой души, бредившей безлюдными подземными дворцами, шумные квартирники и дружные воскресные походы в музей геологии и горного дела — это слишком мелко... Ну как тут было не зачахнуть с тоски!

Его манила окраина мира, дремучий провал, где прятался ужасный змей Ёрмунганд, кусающий собственный хвост, который встречался в подводный пещерах Большого Солёного озера в штате Юта, в черных провалах пустынных районов Техаса и Юкатана и вроде бы в шкуродерах горы Фавор в Галилее...

Будто бы существуют места, которые можно покинуть и куда можно вернуться, и что-то может закончиться, и есть хоть какая-то отделенность, а не одно только сердце присутствия, изливающее себя, ну, и так далее, и тому подобное.

Единственное, что откладывало отъезд Фёдора, — это финансы, вернее, их отсутствие. Институт, где числился Федя лаборантом, переживал, как все маргинальные академические институты, нелегкие времена, зарплату сократили, про полевые работы речь не заводили, они и вовсе не оплачивались, даже на дорогу не могли наскрести.

— Ты только подумай, какие меня ждут сюрпризы в ущелье Салакташ, я уж не говорю про северо-восточный склон Ходжа-Мумына, — шептал мне Фёдор ночами в минуты особой душевной близости. — А в Саянах и на левобережье Ангары, в Байкальской, Забайкальской областях и в Южно-Сихотэ-Алинской спелеологической провинции!.. Ой, не могу, душа горит!

Как я старалась его удержать на Земле, всячески налаживала быт, бросила Соню поднимать хозяйство, какие-то деликатесы экзотические покупала в магазине «Путь к себе».

— Хватит идти по пути к себе, никуда не сворачивая, — ярился Фёдор. — Если ты еще хоть что-то принесешь из магазина «Путь к себе» — какого-нибудь сушеного индейца на строганину, я тебя домой не пущу! Там нужно только амулеты покупать.

Ладно, я притащила с базара куриные пупки.

— Ах, Раечка, никогда не покупай пупки, я с ними столько возилась! — стенала Соня.

— Какая гадость, этот ваш бефстроганов из пупков! — удивлялся Фёдор.

— Да-а, — сочувствовал мне Пашка, — не хотел бы я быть таким, как ты: маленькое тельце суетливое, всем готовое угодить, большая умная голова с набором разных физиономий, любую готова скорчить — и всегда наготове улыбка!

Как-то мой Федя вышел на балкон, поднял голову, а там огромный клин журавлей. Все курлычут, летят, и никто не ждет командировочных.

Ни слова не говоря, он оделся, пошел на работу, хотя был неприсутственный день, явился к завлабу и сказал:

— Мое терпение лопнуло, — сказал Федя, протиснувшись между шкафами. — Я еду в Каракалпакию автостопом. А вы продолжайте ждать и надеяться, что ваша гора придет к Магомету.

Завлаб встал из-за стола, открыл книжный шкаф, раздвинул трехтомник «Карстовые пещеры нашей Родины» и вытащил конверт.

— Вот, — вздохнул он, — касса взаимопомощи, бери и поезжай. Не на самолет, но на поезд, не купе — но плацкарта, до Нукуса доберешься — пересядешь на арбу. Да полегче на поворотах, Федя! Шкуродеры, провалы, обвалы — наобум Лазаря не суйся. Я ведь тоже, когда молодой был, рвался в поля.

Два ворона сидели у него на плечах и шептали на ухо обо всем, что видят и слышат, завлаб слал их на рассвете летать над миром, к завтраку они возвращались, от них-то он и узнавал, что творится на свете. Но сам знал одно: вещи безупречны. Они перетекают из формы в форму. Мы не можем ни хвалить их ни порицать.

Пока я на пристани, утирая слезы, махала вслед Фёдору белой хризантемой, а мой благородный муж громоздил паруса и стремился прочь от берега, мне позвонил Бубенцов.

— Слушай, Рая, надо с тобой переговорить. Приходи в отель «Рэдиссон» на Яузе, намечается аукциончик, благотворительный, будут продавать коров.

— Дойных? — спросила я деловито.

— Ну ты святая простота! Это проект международный. Раздают художникам пластмассовых коров, а те их разрисовывают, превращают в объект искусства. Попса, конечно, но имеет успех, народ любит такое, их в ГУМе выставляли на первой линии,

ты там давно не шопилась, как я посмотрю. Встретимся в пять часов, увидишь, как проходят аукционы, кстати, на них можно иногда недорого приобрести шедевр и толкнуть завалящую картинку за приличную сумму.

Лобби полно было странных и примечательных людей — звезды эстрады, артисты, светские львы, толстосумы, тусовщики, аристократы, художники и разукрашенные коровы в натуральную величину.

Певец Сюткин своей корове нацепил маску, ласты и дыхательную трубку, а туловище разрисовал пузырями — корова-дайвер; Молодяков и Ёнчик вкрутили лампочку в коровий глаз, второй — завязали черной лентой, жалко, ей не хватало флага «Весёлый Роджер» и деревянной ноги, была бы корова — джентльмен удачи! Макаревич изрисовал корову котами, Башмет — скрипичными ключами, кто-то изобразил пейзаж: бездонное небо широким синим мазком, зеленую землю, а на задней ноге — цветок. Еще была корова-Вселенная, усыпанная ночными звездами, а на рогах у нее — лайт-бокс в виде ясного месяца Леонида Тишкова.

Мартини, белое и красное французское вино, коньяк Шато де Монтифо, на тележке торт приехал — с коровой из суфле. Такого изобилия я отродясь не видывала.

В ожидании аукциона вели неспешные беседы, потягивая шампанское и Хенесси. Бубенцов подвел меня к одной компании и представил:

— Это Райка — начинающий дилер. А это — Сергей Шутов, видела, в фильме «Асса» его картины — самолетики, самолетики и черточки?

Шутов — во фраке с длинными фалдами, в ослепительной рубашке с накрахмаленным воротником, уже разомлевший, лоснящийся, хмурый Файбисович, вальяжный Юликов, Бартенев, наряженный гвардейцем, с игрушечным барашком, сумрачный Карпов и грустный, молчаливый Берштейн — слушали Алису Дегтярёву, вчера по телевизору она комментировала заварушку в Японии: на выставке обнаружили подделки Шагала и Филонова, чьей-то набитой рукой — размашистыми мазками, при том что Филонов своей тонкой кисточкой — тюк-тюк — месяцами — одно и то же. А тут раскованно, привольно...

— У Васи в музее половина подделок. А Филонов — только подделки, — говорила Алиса. — Шагала настругали — играючи, грубо, *нелетяще*... А уж «Чёрного квадрата» Малевича только ленивый не подделывал.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Ёнчик, — копия «Чёрного квадрата» — ха-ха-ха!

— ...Японцы сделали экспертизу, они дотошные, — продолжала Алиса. — Внучка Шагала из Парижа прилетела — ни в каталоге этой картины нет, нигде. Отыскали Васю в Венеции. Он идет — щеки красные: «Какая ерунда, — говорит, — у этой картины давняя история, во время Второй мировой войны ее кто-то купил у кого-то в Средней Азии, в эвакуации, потом Зураб Константинович приобрел ее у одного грузинского директора винзавода, картина полвека болталась не пойми где, про нее и думать забыли!» А сам в камеру не смотрит, глаза отводит.

— Подделывать они горазды, придумать ничего не могут, а накалякать фальсификат — раз и готово! — воскликнул художник Лепин, певец трав и насекомых. — Мне говорят, Жека, это твоя трава, мы купили. А я смотрю — не моя трава, души в ней нет, ведь я в каждую травинку вкладываю кусок своего сердца!

— Теперь этот бедный японец, — сказал Шутов, — подаст в отставку, если не решится на харакири, у них там другой кодекс чести, не как у нас. Кстати, на этой выставке две мои картины.

— Подлинники, надеюсь? — спросила я простодушно.

— И это легко проверить, — ответил Шутов. — Я незаметно пишу на холсте день и час моего рождения. Кстати, подделка — это большой геморрой: влезть в шкуру художника, найти родной холст, добыть родные краски, а тут тебе и рентген, и химический анализ, а главное — интуиция эксперта...

— А вот и Зураб Константинович! — сказала Алиса. — Никто ему ничего не заказывал, все — по зову души...

Мы обернулись и увидели, как в распахнутые двери «Рэдиссон-отеля» дядюшка Зураб при помощи двух дюжих молодцов затаскивает свою корову.

— И правильно делает, — одобрил Бубенцов, — сам купил, сам принес и сам купит! Мизерные траты, а имя капитализируется.

Тут начался аукцион, и публика устремилась на стук молотка ведущего: всех волновал один вопрос: чью и за сколько продадут первую корову.

— «Корова в траве»! — выкрикнул лорд Балтиморд.

— Свинство какое, опять с меня начали! — возмутился Жека. — Первые лоты — для разогрева, на первых никто не западает.

— Пять тысяч! Шесть тысяч! Восемь! Девять! Продано!

— А я что говорил?! — с облегчением вздохнул Лепин. — Трава — она не подведет! Самое лучшее, что есть на Земле — трава. Она растет себе на лугах и полях, я всю жизнь ее рисую, образ донника и зверобоя, горечавки с мятликом, чертополох, я запечатлеваю прекрасное! А лорды-балтиморды, — он снова нахмурился, — как косой полоснули под корешок, продали мою кормилицу, отдали безвозмездно ненасытным пастухам. Доят нас, художников, со всех сторон. Все эти аукционы — полная надуваловка!

Лепин допил виски, засунул стакан в карман полосатого пиджака и отправился восвояси. Навстречу впорхнула Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея, искусствовед и красавица, примчалась на «мерсе» с каким-то олигархом.

— Вы опоздали, дорогая, — сказал ей Жека, целуя ручку. — Мою корову уже продали!

И ломанулся в ночь пешком через мосты, под звездами, в сторону Третьяковки.

Застыв на гранитном пьедестале, художник Репин с кисточками долго глядел вослед собрату, который нетвердой походкой, сутулясь, шагал к Новокузнецкой, где у входа в метро гужевалась совсем другая публика, не такая пафосная, как на аукционе Сотбис.

— Нет, вы видали? — воскликнул Бубенцов. — А просочиться в каталог, привлечь к своей пожухлой траве журналистов?! Этого мало? Единственный художник на Земле — Венецианов — не нуждался в пиаре! Его картинки были на папиросах «Казбек» и «Беломор». «Что мне выставки? — он смеялся над славой этого мира. — Любая мусорная урна — мои выставки!» Вот я тебе скажу про твоего Золотника: Макдугаллс выставляет на аукцион «баклажаны», но с ними надо поделиться. Тебе бы досталась четвертинка...

— Уже неплохо!

— Но! Четвертинка не получается, только осьмушка. Ополовинили на всем скаку: так, мол, и так, берем на усеченных условиях. — И он достал из кармана пиджака бумагу с логотипом лондонского аукционного дома.

Я шла к метро по горящим следам Жеки Лепина, потрясенная увиденным, втянутая в поток необъяснимых явлений, который течет из тайных источников и стремится к неведомым целям, тебе же остается только зачерпнуть с поверхности, ухватить какой-то призрачный образ, то, что ничем не истолковать и ничем не поверить... кроме как «законом Золотника».

На Балхаше Митя Осмёркин, ознакомившись с краткой тогда еще биографией друга, был ошарашен.

— Смотри, — сказал он (а Митя — человек умнейший и остроумнейший!), — где бы ты ни появлялся, обязательно что-то происходит, как скоротечная чахотка.

— И правда: полностью меняется картина! — удивлялся Илья Матвеич. — Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Стоит мне познакомиться с человеком — жди больших перемен в его судьбе.

В юности, как известно, он подменил заболевшего тубиста в оркестре Алма-Атинского оперного театра, после чего дирижер Фуат Мансуров двинул на повышение и достиг таких заоблачных вершин, что возглавил оркестр Большого театра в Москве и занимал эту должность, пока при восхождении не отморозил ноги, он был альпинистом.

История со скрипкой Страдивари, поднесенной в дар Ойстраху бельгийской королевой, тоже имела продолжение. После того, как Илья Матвеич в кипенно белых перчатках торжественно установил скрипку в музейной витрине, хранительница под аплодисменты Ойстрахов крошечным ключиком замкнула стеклянную дверцу.

Золотник ей сказал:

— Дорогая, пока нас не грабят, как на Западе, не заменить ли оригинал на копию? У тебя фигня, а не ключик! И не витрина, а сплошная фикция.

— В музее??? — воскликнула она. — Муляж?!! Ни за что!

Через девять лет скрипку Ойстраха украли. «Закон Золотника» порой выстреливает не сразу, крайний срок — двадцать лет, это уже доказано.

Боюсь, в моем случае тоже сработал «З.З.», ибо с той минуты, как я обнаружила во дворе картины, жизнь моя поменяла привычное русло, раздвинула берега, покатила пенистым валом, угодив на стрежень, и пошла блуждать по широкой пойме, перенося огромные массы песка и тонкого ила, отражая дубовые рощи, срываясь со скал.

Причем ни логики в этом не было, ни правил, которые позволяют отступающему возвратиться к своему истоку, — лишь один закон прозрачности, которую так тщательно искал Илья Матвеич, бросая краски на поверхность холста. А уж из этого хаоса рождалась у него гармония белизны, и, если картина не становилась белой, он не считал ее завершенной.

Бабье лето кончилось, зарядили дожди, редко, очень редко мы виделись с Флавием.

— Я как парусник, — он говорил, — в меня надо вдувать энергию. Хотите — вдувайте, не хотите — я и пальцем не пошевелю.

Поддерживать интерес Флавия к жизни можно было только беспрерывно его нахваливая, осыпая благодарностями, очерчивая манящие лично его горизонты, которые стремительно сужались, пока не превратились в точку, а если ты остановился, чтобы перевести дух, голос его становился все безжизненней, и довольно быстро он утрачивал к тебе всякий интерес.

Фёдор в отъезде, мы с Пашкой не могли решить примеры по математике.

Я позвонила Флавию.

— У вас что, — он спросил, — нет поближе кого-нибудь, кто бы в этом соображал?

— Ближе тебя у нас нет никого, — смиренно отвечала я.

Просто не верилось, что этот человек мне говорил: «Я буду всегда тобой любоваться. Даже когда ты станешь старенькая — ...если буду жив».

Раньше мы пели с ним, обнимались, ели горячие пончики, друг другу в рожу сдували сахарную пудру, вёснами нюхали черемуху, лазили через забор в японский садик, слушали пенье лягушек, любовались цветущими вишнями, липа когда цвела, нам вообще сносило крышу...

И когда Земля летела сквозь Персеиды, а листья — по дорожкам: орешины, осины? И канадские клены стояли совсем малиновые. Как я любила этот день между блаженным летом и назревающими дождями, подрисованной краплачком рябиной, густо намалеванным боярышником и шиповником.

Зимами босиком бегали по снегу. Как-то раз Флавий искупался в проруби — главное, не собирался, вдруг видит — кто-то голый вылезает из заледенелого пруда поздно вечером, он разделся и — в прорубь, полотенца у него не было — выбрался, побегал, обсох, оделся, пошел домой... и больше никогда этого не делал.

— Какая женщина! — говорил Флавий, глядя на меня влюбленными глазами. — Ни денег не надо давать, ни жениться — просто подарок.

В любой, самый не подходящий для этого момент, он мог запеть самозабвенно арию Брунгильды из оперы «Валькирии» («Я чё-то Вагнера полюбил последнее время...») На мой вопрос, откуда он знает слова, Флавий застенчиво отвечал:

— Я только свирель, на которой играет Бог.

Вдруг решил, что мне надо срочно купить коньки!

— У Фёдора сейчас нет денег на коньки, — я отвечала.

— Я ему одолжу, — предлагал Флавий. — Он потом отдаст, когда будут.

— Следующий кадр, — говорю, — я, сухонькая старушка, лежу в гробу, и вы, два убеленных старца, склонились надо мной. Фёдор тебе протягивает деньги: «Возьми, за коньки». «Не надо, — говоришь ты. — Это подарок». «Бери, бери, еще пригодятся». — «Ну, пополам...»

— Камера опускается, — говорит Флавий, — а на ногах у тебя вместо белых тапочек — фигурные коньки.

На выставке достижений народного хозяйства он тоннами затоваривался БАДами и витаминами, в результате чего в павильоне «Здоровье» у него образовался дисконт. Я хотела купить там бутылочку масла зародышей пшеницы. Так Флавий меня по-хозяйски представил продавщице:

— Вот Райка, — сказал он, — это баба моя.

И мне сделали скидку в половину.

На закате солнца он бегал трусцой, пил собственную пропаренную мочу и сбрызгивал ею голову, чтобы волос гуще рос.

— Главное, не надо хлеба дрожжевого есть, это яд. И пить кваса, — рассуждал Флавий. — Чувствуешь, у меня одна ноздря заложена? Значит, щелочной перевес в крови.

— А если две? — я спрашивала с грустью.

— Если две — то тебе крышка.

Или он спрашивал:

— У тебя как желудок работает? Хорошо? А у меня не очень.

— Слабит или крепит? — приходилось поддерживать этот насущный разговор.

— Крепит, — серьезно отвечал Флавий.

Вдруг стал жаловаться, что при виде меня у него закладывает иную ноздрю — не ту, что заложена обычно. Вероятно, какая-то утечка энергии. Пришли в гомеопатическую аптеку, там был аппарат, замеряющий энергетику, Флавий предупредил:

— Если у тебя будет низкий энергетический уровень, я тебя брошу.

Смерили: у него — пятьдесят четыре, у меня — четырнадцать.

— Молодец, Райка! — Он даже опешил. — Никакой лишней энергии!

— Ты же говорил...

— Ну, я не думал, что*настолько* низкий. Только последний подлец может бросить женщину с таким низким энергетическим зарядом.

Мы сидели на лавочке у пруда, я и Флавий, за нами наблюдали боги с небес.

Листья на дубах не опали, но как-то застыли на ветру, большие столетние дубы, полупрозрачные; под мостками скопились утки, а на бережке совершенно по-летнему зеленела трава.

Обретший чистоту и мир, Флавий говорил:

— Вот приду сюда стариком. Подумаю: здесь мы сидели с тобой. Так и жизнь прошла.

В конце ноября деревья стояли голые, ожидая зимы. Но что-то в природе не заладилось, солнце стало припекать, проснулись мухи, на сирени набухли почки!

— Весна пришла, — заявил Пашка, собираясь в школу, — шапку не надеваю, иду без куртки!

Близился Новый год, в школе творилась неразбериха, мама, папа и я дружно запасались новогодними подарками. Теперь детям трудно угодить, Сонечке в «Детском мире» посоветовали шпионский набор: черные очки, фотоаппарат, которым можно делать тайные снимки, также в комплект входили лупа и наручники. Отцу Абрикосову аспирант привез из Берлина коллекцию мусороуборочных машин (одна из них говновозка), подробные модельки, выполненные со знанием дела, потом было много насмешек по этому поводу.

Я на книжной ярмарке накупила специальных развивающих книг, роскошно изданных, с цветными иллюстрациями, две даже с автографами известной шведской писательницы. Сама Пернилла Стафельт надписала Павлушке нежные слова и нарисовала на одной книжке алое сердце, пронзенное стрелой, а на другой череп со скрещенными костями. Я уже предвкушала, как мой дорогой мальчик станет их почитывать, оказалось, одна — про смерть, а другая про половую любовь.

При моих широких взглядах на жизнь и абсолютном ее приятии во всем чарующем многообразии, меня бы это ничуть не смутило, но на полосной иллюстрации члена с яйцами в разрезе и на двух беззаботных лесбиянках, которым явно по требованию российского издательства — в разделе, где автор приоткрывает завесу тайны для аудитории «0 +», что любовь в этом мире принимает самые что ни на есть причудливые формы, подрисовали лифчики с трусами, — даже я слегка забуксовала.

В общем, выдалось спокойное утро, когда я, пропев мантры и попробовав свои силы в сердечной йоге, двигаясь грациозно и величаво, поощущала себя Царём терпения, попревращала копья в цветы, поразгоняла тьму, прониклась безмолвием небес и с чистой совестью собралась выпить чашечку кофе... И тут *мой двор уединённый твой колокольчик огласил!* То несся ко мне Григорий Бубенцов, сметая версты.

Ах, как ладно сидел на нем купленный в модном магазине «Харродс» на Трафальгарской площади новый гороховый кардиган знаменитой британской марки для занятых людей, которым важно себя ощущать на коне с утра до ночи!

— Принес благую весть, пляши! — сказал он и вытащил из-за пазухи разивший типографской краской свежий номер «Российской газеты». Он развернул ее, и на четвертой полосе вспыхнул заголовок, напечатанный жирным шрифтом:

Картины продаются, родина — никогда!

Внизу помельче:

Рекордные продажи отечественной живописи за рубежом!

А посередине — фотография картины, и картина эта была нашего Ильи Матвеича. Именно его, а не Оскара Рабина или Немухина, и не раскрученного гения всех времен и народов Анатолия Зверева!

В тексте говорилось, что работа мастера продана за двадцать тысяч фунтов стерлингов после восьми минут торгов неизвестному покупателю по телефону, подозревают, это японский воротила, превративший свою дискаунтовую сеть Fast Retailing по продаже одежд Uniqlo в главного мирового ритейлера.

— Урра!!! — закричали мы с Пашкой.

Затем — пунш, рукопожатия, объятия, факельное шествие!

— Я могу заниматься куплей-продажей ловко и обтяписто! — ликовал Бубенец. — Держу пари, это проделка японского магната. На аукционах публика сидит с закрытыми ушами, зажмуренными глазами, запечатанными устами, а для японского нувориша борьба за обладание истинным шедевром авангардного искусства 60-х становится вызовом и великим приключением, потому что сердце японца распахнуто миру!

— Наши со стула упадут, когда увидят! — потирал он руки. — Купил Золотника

за такие бабки! А сам небось Хокусая от Хитомаро не может отличить! Хотя, черт их знает, японцев. Может, он и Ивлина Во читал, и не любит Глазунова...

Гриша то превращался из дилера в поэта, то из поэта — обратно в дилера:

— А кто еще? Англичане — спесивые, самодовольные, заносчивые, одно слово — островитяне, видите ли, они собрались насадить католичество в Индии! Но их миссионеры не смогли пройти сквозь огонь!

Правда, на все мои вопросы — когда можно получить деньги и сколько, Григорий отвечал уклончиво. Но я уже слёту начала строить радужные планы: только откроются золотые закрома, начну работать над каталогом персональной выставки, арендую зал. В центре Москвы будет подороже, но по деньгам. Приглашу великого искусствоведа Виталия Пацюкова, он воспоет Илью Матвеича, проанализирует его творчество. Чтобы все было, как принято в академических кругах.

Биография Золотника таит в себе много белых пятен: видимо, биографам задним числом придется додумывать поздние годы мастера и сцену его кончины.

— Ладно, пока бери газету, у меня еще есть! — великодушно сказал Григорий. — И составляй опись картин, я договорюсь с фотографом, он отщелкает. Будем подходить с умом к наследию мэтра! — И Бубенец растворился в тумане.

Первый, кому я, светясь от счастья, показала газету, — это одноглазый медведь, больше было некому. От Фёдора уже второй месяц — никаких вестей, хотя бы разок позвонил, но для этого надо выбраться на свет божий, вскарабкаться на пригорок, найти сигнал сотовой вышки, которых, скорей всего, в Каракалпакии нет в помине...

С Флавием тоже особо не поделишься ни земной радостью, ни печалью.

— Не отвлекай меня от моего Ничто, — откликался он на мои звонки слабым голосом.

Не то чтобы я тосковала по человеческому становью, нет, в конце концов, вся наша жизнь — это плод воображения и в итоге растает без следа...

Вдруг звонок в дверь. Лицо человека, стоявшего передо мной, казалось отдаленно знакомым, как будто давным-давно, совсем в другой жизни, я с ним встречалась — убей, не помню, где. Чем-то веяло родным от этих белесых бровей и оттопыренных ушей, белых ресниц и бесцветных глаз, почти не тронутых голубизной. Но для законченного образа, похоже, не хватало детали...

— Привет! — сказал он. — Не узнаешь? А я бы тебя и на улице встретил — узнал: все тот же длинный нос, который ты вечно суешь, куда не надо. Я что, сильно изменился?

— Вовка! — Я кинулась его обнимать. — Сколько зим, сколько лет!!! Ты откуда взялся? — А сама знай стаскиваю с него пальто, в голове закрутилось: нажарим котлет, наварим макарон, винегрет и бутылка «перцовки» в холодильнике, устроим пир горой! *Матаафа пришел к Туситале с той единственной целью, с какой один друг приходит к другому: отразиться в его глазах!* Это ли не повод напиться?

А он так серьезно — не улыбнулся, ничего, ботинки скинул и в комнату.

— Ах, во-от они где, картины моего любимого дяди Ильи! И чегой-то они тут делают?

...Челочки не хватает, реденькой челки под линейку на стриженой голове — Вовка полысел, такая бледная гладкая лысина венчала Вовкину тыкву. А в остальном — как в детстве: тощий, лопоухий и белобрысый, Сонечка звала Вовку Иван Царевич.

— Все было на помойке свалено, — говорю. — Я их спасла...

— А кто их туда поставил? — произнес он с видом владетельного принца. — Они же не из-под земли выросли! Стопочкой сложил, а наутро хотел забрать.

Врет и не краснеет, подумала я, глядя на него сквозь пелену любви.

— Ну ты и выдумщик, — говорю. — Кто велел дворнику Айпеку выбросить холсты в мусорку, дал ему пятьсот рублей... Дал?

— Дал, чтобы он дядины картины аккуратно вынес на двор и сторожил до утра, а ты, значит, воспользовалась его отлучкой и уволокла к себе в конуру. Картины мне по наследству достались, дядька мой — как отец родной. А не отдашь, пойду в полицию и напишу заявление, что ты нас обокрала, да еще продала ворованное за границу, — и достает из кармана газету!

Исполненный решимости, непоколебимый, Вован застыл передо мной, раздувая ноздри. Прямо не верилось, что это мой Вовка-морковка, простая душа — блефует, угрожает... А я смотрю на него — и у меня такое чувство, будто у меня в бане украли одежду. И я не знаю — то ли мне у банщика просить лишнюю простыню, то ли звонить родственникам, то ли самой у кого-нибудь украсть.

— Картину продала, — продолжает он с видом Ангела Возмездия, пришедшего исполнить волю Вселенной, — а где мои деньги?

Тут, как в «Ревизоре», появляется Фёдор — заросший, в грязном комбинезоне, в каске, с огромным рюкзаком, обветренный, морда красная — и застает вышеописанную картину.

— А это еще кто? — спрашивает он хриплым голосом простуженным.

— Друг моего детства — Вован. А это муж мой, спелеолог Федя, еще немного и он соорудит кадастр всех пещер планеты, — с гордостью говорю я. — Знаешь, Вов, что такое «кадастр»?

— Нет, — признался Вовка. — Зато я знаю, что такое *отчуждение собственности*, статья 158 «в»: срок лишения свободы до двух лет. В лучшем случае! — обратился он к Фёдору. — Я человек принципа и никогда никому ничего не спускаю. И, знаете, что еще? Я напишу в прокуратуру, что у моего дяди Илюши там были не только картины.

— Приехали! — Фёдор скинул рюкзак.

Кому как не мне прекрасно знать, что Федька порою бывает дик и порывист: я испугалась, что он сейчас спустит моего друга с лестницы, поэтому заслонила его, как это обычно делала в детстве. Он был тихоня с вечным насморком, рос без отца, родился восьмимесячный и, Берта говорила Сонечке, что «*мамэ* Илюшиного племянника — женщина с трудной судьбой». Он и теперь шмыгал носом, меча громы и молнии, а носоглотка по-прежнему неспокойная, наверняка и горло красное...

Однако я плохо знала Фёдора.

— Снова на те же грабли? — с укором сказал он. — Вспомни, как на Арбате какой-то хрен уронил кошелек, ты подхватила и бросилась за ним. Тот: «Ой, спасибо, спасибо! ...А деньги где?» — «Я не открывала...» — «Ах, не открывала! Тут было сто долларов и двадцать тысяч рублей!..» Он тебя хвать за шкирку и давай трясти, как Карабас Барабас Буратино! Пришлось мне дать ему денег, чтоб отвязался... А как ты стояла горой за насильника и убийцу, зарезавшего товарища?!! Теперь твой Вовец накропает на нас донос, мол, его голоштанный дядюшка был подпольный миллиардер, в туловище мишки зашиты золотые червонцы и облигации трехпроцентного займа, тюбики с красками набиты брильянтами его покойной бабушки...

— Я должен получить то, что мне причитается! — выкрикнул Вовка.

— Хорош качать права, Владимир, вызывай газель, — скомандовал Фёдор. — Я тебя погружу, и до свидания! Сколько вы не виделись, добрые друзья? Чтоб еще столько же, а то я за себя не ручаюсь.

— Решим дело миром, — говорю. — Может, по стопарику и по котлете? Больно уж повод хорош!

— Лучше не придумаешь, — мрачно заметил Фёдор.

А пока он грузил холсты, ругаясь и чертыхаясь на чем свет стоит: муж только с поезда, с Казанского вокзала, еще не смыл с себя дорожную пыль, а тут опять таскать, вот оно, чем заканчивается странствие Гильгамеша — к обиталищу богов, Улисса в Землю обетованную, Геракла — к Саду Гесперид на Яблоневый остров Авалон, чтоб завладеть волшебными плодами, которые караулит стоглавый дракон, — на лестничной

клетке нарисовался Бубенец с фотографом-австрияком. Где он его только откопал? Кремлёвский кубок по теннису давно закончился, а Коля застрял в России, ни туда ни сюда.

Они приходят, а мы все в происшествии. Боже правый! Какой у них был растерянный вид, когда они угодили в эту чехарду!

— Оставил картины у контейнера. Вернулся, а там — прикинь? Ни кола, ни двора, ни куриного пера, как говорил мой гениальный дядя, — охотно объяснял им Вова. — Все Райка утащила.

— Выкинул, а теперь спохватился, — подначивала я товарища по детским играм, при этом ощущая себя самым счастливым существом на земле. Ведь окружающая реальность просто волшебна! Я поняла, что мы не должны ссориться между собой. Это мелочи, надо быть выше этого. Скажите: я вся эта жизнь в целом, — оставаясь спокойным и безмятежным!

— Что ты заладила как попугай? — огрызался Вовка. — Я положил их на временное хранение. Да, что-то нарочно припрятал в бак, чтобы сохранней было. Мне эти картины достались по наследству, я — наследник Илюши! Единственный! Я!!!

Он, бедолага, настолько загрузился этим бредом, невозможно его было ухватить ни за какие яйца. Но Бубенец не был бы Бубенцом, если бы виртуозно не сориентировался в этом изменчивом мире:

— Владимир, возьмите мой телефончик, я к вам наведаюсь... Мы с вашим дядей еще заварим кашу... У меня на мази одно дельце, которое принесет большой барыш! Впереди «Сотбис», турецкий султан обещал пожаловать в скором времени, индийский паша начал собирать современное искусство... Чтобы он не залег у вас мертвым грузом!

А мне он зашептал:

— Отдала и молодец, а то будет, как с художником Рихтером: он выбросил свою картину, какой-то мужик нашел и продал, так суд вытряс все, что он за нее получил. Да еще обложили штрафом! Тот им: «Братки! Я ж на помойке нашел!» А ему: «Не твое — не трожь, закон на стороне частной собственности, мало ли что там лежит!» Чуть не посадили. Увы, твою восьмушку придется пилить пополам. Но это будет крупный куш, не волнуйся!

А мне — когда кто-то говорит «не волнуйся», я сразу начинаю волноваться. У нас было планов громадье, а теперь прости-прощай — таков бесславный конец? Прям так и хотелось спросить у Вовки: благородное ли вы дело затеяли, сеньор? Вон он какой надутый, гордый как папа римский, что положил нас на лопатки, да еще и шапками закидал.

— Трогай, брат, на Кустанайскую, — важно сказал племянник рекордсмена Макдугаллс, усевшись в кабину водителя.

— ...И не забудь про фунты стерлингов, ворованное нехорошо продавать... — крикнул он мне из машины.

— А мишку, набитого самоцветами, забыл???

— Оставь себе, на память о нас с дядей! — откуда-то издалека принес ветер, как будто перекатывался вечно удаляющийся гул морского прибоя.

Конечно, в жизни все следует предусматривать, но есть вещи до того непредвиденные — как хочешь их предусматривай, хоть всю жизнь о них думай, они и тогда не утратят характер непредвиденности. Не знаю, что толкнуло Володьку на этот шаг: божественная глупость или великая игра, но — как нас учит отец Абрикосов: что бы не случилось, улыбайся — и все.

Со смятенным сердцем я возвратилась домой. Звенящая пустота окружила меня. Быстро же я привыкла слоняться среди трепетавших полотен, под светлым плеском

небес и парусов, с холодным паром утреннего тумана, легкой землей, мягкими тенями и солнечными бликами, у подземных вод, в гуще колдовских превращений.

— Вот оно, как дело обернулось, — сказала я Фёдору. — Какое буйство жизни! А что? Это даже любопытно.

— Ничего тут любопытного! — с места в карьер кинулся возмущаться Федька, увидев мое изумленно-приветливое выражение лица. Он уже рассупонился, сбросил башмаки, вылез из комбинезона и фланировал по квартире в кальсонах, проношенных не то что до дыр, а до состояния капронового чулка. — Я хочу разоблачить твоего негодяя и сутягу! Это же — жлобы! Жлобы, мещане, мелкие людишки. У меня просто тектоническая плита уходит из-под ног при виде подобного хмыря — понимаете ли, он приехал и уехал на белом скакуне, а ты чувствуешь себя говном в проруби!

— Не стоит сгущать краски! — сказала я. — Исходя из того, что мы не можем контролировать Вселенную...

— Хватит прекраснодушествовать!!! — заорал Фёдор, мало-помалу теряя и сдержанность, и последние остатки рассудительности. — Ты бы хоть на хер послала кого-нибудь, что ли!

Но я уже никогда никому не скажу ничего плохого. Люди так напереживались за свою жизнь, все такие ранимые — ужас, особенно те, кто набрали общественный вес. Единственное, иной раз ляпнешь чего-нибудь по глупости, как водится, — в самый неподходящий момент, самому неподходящему человеку, с самыми для себя непредсказуемыми, по большей части, катастрофическими последствиями.

Федька прав, я постоянно выдаю желаемое за действительное, вдохновенно золочу пилюлю, ибо реальность давно стала для меня чем-то эфемерным и проигрывает в сравнении с мечтой. К тому же, я такая замотанная, что не способна воспринимать жизнь как она есть. Моя гедонистическая натура надстраивает ее вширь и вглубь, я приукрашиваю этот мир — и догадываюсь, зачем: чтобы сделать его приемлемым!

— Все у нее чики-брики! — не унимался Фёдор. — Кругом ангелы летают. Вылез таракан? «Не смей его дави-ить! Это же жу-ук, а не таракан! Жук-бронзовка, просто худоо-ой, его не докормили, скорей несите ему куша-ать..., — он меня передразнивал. — Это прекрасная кассета... Тянет? Гудит? ...Так это же Артемьев, что ты хочешь...»

Фёдор бушевал. А я вдруг вспомнила, как мы в детстве с Вовкой вместе хоронили умершего кота. Вспомнила точильщика ножей с потертой сумкой на ремешке через плечо, в сапогах, фуражке и длинном фартуке брезентовом, его станок с двумя серыми каменными кругами — шероховатым и гладким. Круг вращался, из-под ножей, ножичков и ножищ сыпались оранжевые искры, камень свистел, сталь шипела, а мы с Вовкой стоим и балдеем.

И сама абрикосовка, растянутая на бесконечные пространства, в ее сердце рождались ветры, из окон вылетали чайки. Там, где все имело четкие контуры, наш дом попирал законы геометрии: в моей детской памяти он почти уже не здание — комнаты, ничем не связанные, парят в вышине, легкие, как воздух, пролеты лестницы, площадка и кусочек коридора, где стоял знаменитый гардероб. Нам всегда казалось с Вовкой, что из его черной замочной скважины слышится невнятный говор. Вспомнились оранжевые абажуры, мамина котиковая шуба и папин парусиновый портфель, ширма с цаплями Берты, чернильница ее мужа Вольфа с тремя отделениями — для зеленых, лиловых и красных чернил...

Бобби Макферрен наяривал на виолончели Моцарта, Бетховена и Баха. Под этот угарный трэш Федя с Пашкой наряжали елку. С балкона принесли коробку с игрушками — старыми-добрыми, еще из абрикосовки — стеклянный пионер, красноармеец, авиатор в шлеме на самолетике, еловые шишки, заяц в воротнике Пьеро, белочка, цепеллин с надписью СССР, ватный лыжник, Нильс, летящий верхом на гусе, лыжник из папье-маше, картонный верблюд. А главное, гирлянда огоньков и шары в серебре, они меня завораживали в детстве.

— Ой, Раечка, — восхищалась Соня, — если б ты видела, какие наступили времена в смысле елочных игрушек! Мы в ГУМ зашли с папой — а там и три мушкетера в обнимку, король Людовик Четырнадцатый, маска Тутанхамона — по нескольку таких вот диковин в коробке, дорогие — ужасно. Это тебе не орешки, сосульки и колокольчики.

Для встречи Нового года у нее уже были наготове два салата: один — оливье, другой — «коктейль с морскими гадами».

— А ты что делаешь? — спрашивала Соня.

Да ничего. Не надо никуда бежать, суетиться, о чем-то договариваться... Я просто сижу и думаю: как прекрасна жизнь, когда понимаешь в ней толк.

— Вот так и надо начинать новый год — с горящим на верхушке мачты фонарем в шторм! — тостировал отец Абрикосов. — Вы только представьте: миллионы лет живет на земле человек, и по сей день проявлена ничтожнейшая толика его способностей! Тебе, Райка, следует воплотить свое полнолуние и прожить жизнь, для которой тебя предназначила судьба. Тебе, Фёдор, необязательно измерять саму стопу, мучаясь с линейкой, чтобы определить метраж тоннелей и глубину провалов своими частями тела. Достаточно замерить расстояние между запястьем и локтевым сгибом: оно будет равно длине твоей ступни. Об этом в своих трудах писал еще Леонардо да Винчи, когда работал над «Витрувианским человеком». Тебе, Сонька, пора на пенсию, хватит бегать по вызовам высунув язык, пора и честь знать. Тебе, Павел, в новом году купим новый аквариум...

— Ура!!! — обрадовался Пашка. — А то я посадил макропода к петуху, а тот стал такой Тристан-отшельник, набросился на макропода — сразу началась крутая разборка. И хотя там находился сачок, а они все испытывают благоговейный трепет перед сачком, петух ни на что не посмотрел, и, если бы я макропода скорей не забрал обратно, он просто бы его загрыз!

— Девочку ему надо, твоему петуху, — заметил умудренный жизнью Фёдор.

— Он сам девушка, — отвечал Павел.

А пока мои пили чай, ели торт и говорили о том, как устроен мир, я позвонила Флавию поздравить с Новым годом. Всегда *я* звоню в подобных случаях, даже в свой день рождения, не хочется ставить его в неудобное положение, что он мне не позвонил — не поздравил.

Подошла Иовета.

— Господи! — воскликнула она. — У нас был такой хороший год. Пусть новый год будет еще лучше!

— Что?! — услышала я крик Флавия. — Скажи спасибо и втайне помолись, чтобы следующий год не был хуже! Как ты смеешь, неблагодарная, требовать у Бога все новых и новых благ?!!

— Жопе слово не давали, — отмахнулась Иовета. — Слушай, Рай, я сварила холодец — положила на тарелочки, салатик всем разложила, собираемся обедать. Вдруг звонок — приходит соседка — с Новым годом — приносит плетёночку, в ней три конфетки (она у меня иногда деньги занимает, выпивает немного). Я: «Спасибо, спасибо, вот вам кексик абрикосовый». Она: «Ну, нет, я кексик не люблю. Можно мне вместо кекса кусочек холодца?» А я ей говорю: «Почему вместо, вот я тебе его в фольгу заверну». А она отвечает: «Не надо заворачивать, я его сейчас съем». Потом пожаловала Марина Александровна — старушка, она была главным режиссером театра Моссовета. Туркевич ее фамилия, еврейка, хорошая такая женщина, все стены у нее заклеены фотографиями артистов. «Ой, — она мне жаловалась, — не могу дойти на похороны Миши Ульянова, — все переживала. — Мне так неудобно, возьмите мне в магазине творожка? Там одна женщина приносит — домашний. Вот и будет что-нибудь покушать...» Я это когда слышу, сразу говорю: «Марина Александровна, вы не стесняйтесь, только скажите, я вам схожу и все куплю». «Ну, мне очень

неудобно...» — она все время повторяет. А ей восемьдесят восемь лет! Представляешь? Куда ж она? Так вот заходит и показывает мне четыре платка: душа моя, выбирайте! Я говорю: «Марина Александровна, у меня этих платков — завались и больше! Не знаю, куда девать». Она: «Нет-нет, вы меня так выручаете, пожалуйста, выберите, а то вы меня обидите». Ну, я один взяла и говорю ей: «Будете салатик и кусочек холодца?» Она отвечает: «Большей радости вы мне даже не могли доставить!» «А помайонезить?» — «Сделайте, как вы считаете нужным...» Она интеллигентная, главный режиссер, понимаешь? Туркевич! У нее артисты раньше собирались. Теперь забыли, конечно! Восемьдесят восемь лет! Вот так, Рай, я тебе кусочек оставлю, не сомневайся. А капустку сделать тебе? Клюковка понравилась? Папе привет передай, с Новым годом, здоровья, счастья, мамочку капустой угостила? Ты их не обижай! Ну, здоровья, счастья, работа-то есть у вас с Флавиком? Целую, с Новым годом!

И передала трубку Шимановской.

— Рая, — сказала Агнес, — у нас в Третьяковке собирают выставку нонконформистов, твой Золотник ведь не был конформистом? И «нон» тоже не был, как я понимаю, нигде не засветился. Как раз им нужны такие маргиналы, чтобы оттенить знаменитостей. Я посоветовала куратору, он говорит: пускай принесет, посмотрим. Уверена, его возьмут, единственное, могут испугаться, что он получше гениев подпольных. Выбери парочку, из тех небесных существ, разнофигурные, с жемчужными отливами.

— Благодарю вас, — ответила я, не вдаваясь в подробности, зачем ей морочить голову в новогоднюю ночь? Вован привезет картины, куда скажет Бубенец, в его интересах пожинать лавры дяди и умножать свои доходы.

— Я все-таки склоняюсь к мысли, — добавила Агнес, — что его творчество каким-то боком касается Послания Павла к Коринфянам, ибо сказано: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — каждого дело обнаружится, ибо в огне открывается, каково оно есть. И огонь испытывает дело каждого...»

Эхо нашей беседы разносилось по всей квартире. Так что моя семья с интересом прислушивалась к этому разговору. Пашка, перед тем как заснуть, даже спросил у Абрикосыча:

— Дед, а Христос — был кто? Бог или человек?

— Твой вопрос не так прост, — начал обстоятельно Альберт Вениаминович. — Он требует всестороннего рассмотрения, поскольку является краеугольным камнем христианства и вообще всех религий. С таким же точно успехом можно спросить: дед, а фотон — волна или элементарная частица? Хочешь верь, хочешь не верь, — это зависит от того, кто на него смотрит! Один и тот же фотон тебе, Павел, покажется волной, а мне продемонстрирует незыблемые свойства элементарной частицы. Каков же он, когда ни ты, ни я не обращаем на него внимания? Един в двух лицах, частица и волна — в одном флаконе...

Альберт Вениаминович вдохновенно излагал Пашке квантовую теорию. Увидев, что внук уснул, Абрикосов улыбнулся, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь, оставив ребенка наедине со сторонами света — Югом, Востоком, Западом, Севером, Надиром и Зенитом.

Под утро Нового года, когда человек принимается заново творить свою историю, мне приснилась наша квартира, только пол земляной с серебристой ковыль-травой. Дверь к Илье Матвеичу приоткрыта, он в глубине комнаты: нарядный в кепке — поставил на мольберт свежий холст и карандашиком набрасывает силуэты, а сам сияет и слегка просвечивает, он меня даже напугал, мне показалось, что это какой-то инопланетянин.

— Рай, — говорит, — у тебя скоро день рождения, хочу тебе картину подарить.

— Только вы поскорей, — говорю. — А то мы уезжаем.

— К твоему возвращению, — сказал он, — точно будет готова.

— Я совсем уезжаю, — сказала я. — Навсегда.

— Напишу и поставлю на антресоли, — он продолжал. — Будет тебя ждать.

Тут какой-то ветер пронесся по коридору, всколыхнул траву. И я проснулась.

Проводив Павлика на елку, я возвращалась домой. В утренних сумерках гасли фонари, небо опоясывали белые радуги, снег скрипел под ногами, близкое уносилось вдаль, а то, что казалось у черта на куличках, — вот оно, только руку протяни. Город уже вырисовывался во мгле, но пока сливался с небом и, едва проступив, расплылся в воздухе. Рыхло написанные облака, легкие мазки солнечных бликов по контрасту с глубокими синими тенями на земле придавали пейзажу ту зыбкую слоистость, которой Золотник утверждал иллюзорность бытия.

Года три назад он вдруг позвонил. Подошел Абрикосов.

— У меня вообще к телефону идиосинкразия, — произнес Илья Матвеич, не размениваясь на приветствия. — Годами никому не звоню. Даже десятилетиями. Жду, что мне кто-нибудь позвонит. Но — нет. И вот решил всех обзвонить.

— А ты не боишься, что все уже умерли? — спросил отец.

— Нет. Я должен умереть первее всех, — сказал Илья Матвеич. — Как моя тетка Нюся чуть не столетняя, всё хочет умереть. А я ей говорю: не смей. Во-первых, мне тебя не на что хоронить. Сейчас на это надо полтора миллиона, не меньше, а у меня пока только шестьсот.

— Как ты живешь, Илья? — спросил Абрикосов.

— Меня уже нет, — ответил Золотник.

Никто не в состоянии прочесть тайный свиток судьбы, для каждого он написан особым почерком. Исследование моей непутевой головы показало явное увеличение височной доли и хвостатого ядра, отчего у меня такая цепкая память. Не то что слету удалось бы выучить словарь Брокгауза и Эфрона, но, когда я ложусь и закрываю глаза, передо мной проплывают людские толпы, которые двигались мне навстречу, пока я спускалась по Тверской — по Каменному мосту, по Ордынке... Образы повторяются или воскресают во всех подробностях, краски, запахи и звуки вспыхивают и тут же улетучиваются.

Следом начинают оживать, шуметь и куролесить прожитые Землей минуты, дни, века и тысячелетия, ты прикасаешься к этой мистерии в центре вращающихся миров, — и тут уж не до сна. Тут можно и, того, слететь с катушек.

Кстати, Илья Матвеич помнил, как появился на свет. Как его мама кормила грудью, и грудь помнил, и молоко. Она: «Не может быть!» Потом ее осенило: когда Иле было четыре года, он зашел в комнату, где ее сестра Нюся кормила дочку и брызнула в него молоком.

— У тебя все лицо было в молоке...

— А я и это отлично помню, — говорил Золотник, ленивый и теплый, в семейных трусах, с папироской в зубах, влипая кисточкой в мольберт.

Когда его одолевала хандра, Илья Матвеич сутками простаивал у открытого окна.

— Вот я смотрю в окно, — он говорил — себе, а может, мне, бессменному часовому, маячившему на пороге, — и читаю: «Продукты, продукты, продукты...»

Такие картины — словно старые фотографии, все на них сметено временем и при этом откуда-то сбоку проливается нестерпимый свет, вновь возносятся ввысь фасады, вонзаются в облака шпили. Ты уже начинаешь сомневаться, что жил там, где ты жил, в этом странном доме, пустившем корни, ветви его колышутся от ветра, на чердаке шелестит листва, над крышей, где Золотник собирал синь небес, распевают птицы. Ты оказываешься за гранью бытия и спрашиваешь себя: неужели все это было на самом деле?

Я живу, как Пифия, вдыхающая дельфийские пары и жующая листья лавра, — грудь разрывается от пыла и влечения, в горле клокочет песня, — каждый раз как последняя, глаза горят, если я попытаюсь сдержаться, я просто лопну...

Мать моя Соня характеризует это состояние как обсессивное мозговое расстройство. Поэтому мне постоянно приходится читать что-то отрезвляющее и внимательно смотреть, что ум делает с другими неуравновешенными людьми.

Ибо с того момента, как приборы зафиксировали у меня в извилинах чуть не на пятьсот процентов больше всплесков радости, чем у нормального человека, жизнь представлялась мне беспроигрышной лотерей, я могла вытащить все что угодно: принца Монако, путешествие, о котором можно только мечтать, или вечность, когда люди, вещи и события приобретают божественное свойство никуда не исчезать.

Я взбежала по ступенькам, стряхнула снег, вошла в квартиру и обнаружила, что у нас гости. В столь ранний час за столом сидела святая троица: Фёдор, Флавий и Бубенцов. Они смотрели на меня и молчали, а на столе у них стояла бутылка виски.

Федька-то ладно, с Бубенцом, но чтобы поднять ни свет ни заря Флавия и перенести ко мне через неодолимые горы и долины — это уж совсем медведь в берлоге сдох.

Они так на меня уставились, черти, я даже испугалась.

— Рай, — сказал Бубенец. — Ты только не волнуйся... У меня для тебя одна хорошая новость, другая плохая. С какой начинать?

— С хорошей, — ответила я малодушно.

— Вчера пришли деньги из Лондона, держи! — Он протянул мне конверт. — Отличное начало, что совсем неожиданно для никому неизвестного творца! Аукциону двадцать процентов, четверть взял следопыт Чарли — перевозка, такси, пятое-десятое... Твоя доля от продажи — восьмушка. А этому долбоклюву — ни пфенинга. Тоже мне, родственничек!

— Но... — говорю.

— ...Но это и конец, — вздохнул он, — потому что теперь плохая новость.

— Стоп! Нельзя же так — с бухты-барахты. — Федька налил виски и протянул мне стакан. — Рай, ты сделала все, что могла. Даже больше. Причем намного. Но жизнь такая штука...

— ...Где все бегают туда-сюда в полной уверенности, что существуют. И это самая большая глупость, какую можно вообразить! — вступил в разговор Флавий. — Рай, ты знаешь мое глубочайшее равнодушие ко всему, что не касается меня самого или кто выиграл в теннис — Мария Шарапова или Серена Уильямс, но тут даже я тебе соболезную. Давай, Бубенец, не томи.

— Я позвонил Володьке, — решительно начал Бубенцов, — узнать, как его наследие? В первых числах мне на голову свалился фанат русского авангарда из Новой Зеландии. А Вова не берет. Звоню во все колокола, пишу: дело на миллион!!! Насилу отозвался. Владимир, говорю, давай дядю продвигать. Покупатель хочет глянуть на картины. А тот сопит, как барсук, и что-то невнятное бормочет. Я: старик, ты артикулируй четче! А он: послушай-ка, брат, — и голос у него сиплый и надломленный, — ...сгорело всё у меня. Всё сгорело.

Бубенец выдержал паузу и добавил:

— Такова судьба гениев. Как говорил Роден: «Художник должен высечь искру и сгореть в пламени своих творений», за что я и предлагаю выпить.

Что я почувствовала? Сама не знаю. Головокружение какое-то. Глядь, я уже под потолком, вижу три макушки, столешницу, горлышко бутылки... И никчемные вопросы оранжевым снопом искр сыпались от моего избыточного хвостатого ядра: как? Почему? Неужели — ВСЁ?

Форточка была открыта, и меня потянуло в эту форточку. Федька еле успел ее

захлопнуть. А Флавий, встревоженный, приложил ухо к моей груди, чтобы услышать стук сердца и слабое дыхание: как добрый знак того, что я еще смогу восстановить из пепла — уж если не пол*о*тна, то хотя бы память о великом живописце, добром соседе и наставнике, дабы он не исчез среди звезд и не покрылся пеленой забвения.

Вот оно какое оказалось еврейское Вовкино счастье, божий перст, проделки небесной канцелярии: в Мытищах, в развалюхе на отлете, куда мой друг свез картины художника Золотника, в новогоднюю ночь случился пожар, и склад сгорел со всеми потрохами.

— Ну, мы с ним встретились в рюмочной как мужик с мужиком, — излагал Бубенцов. — Я ему говорю: Вольдемар, какого хрена ты все отобрал у Райки? Оставил бы парочку на развод. «А зачем она все отдала?! — он спрашивает на голубом глазу. — Спрятала бы что-нибудь, заначила... Райке дядечка тоже не чужой, вечно путалась у него под ногами». Ну, я не стал развивать эту тему, гну свое: ты поехал домой! почему холсты оказались в Мытищах?

— Думал, дело пойдет как по маслу, — говорит. — Но жена встала на дыбы. Она дантист, любит чистоту и порядок, хотя много лет я терплю ее амазонского попугая в свободном полете. Знаешь, как это противно, когда попугай, хлопая крыльями — кругом пух, перо! подлетает и садится к тебе на плечо?

— Куда ты это старье волочешь?! — она — Вове. — Там яйца тараканов за деревяшками!

А Вова:

— Какие такие яйца, о чем ты? Это наше культурное наследие, Надя, мы будем им приторговывать, умножать капитал, поскольку имеем на него законные юридические права! Кстати, нам скоро деньги пришлют из Лондона, когда англичанам переведет японский воротила!

И достает из кармана газету: «Искусство продается, родина никогда!» Но даже столь веский аргумент не возымел на супругу никакого действия.

— Ах, из Лондона! Японский воротила!! За сумасшедшего дядьку!!!

Пришлось Вове сматывать удочки. Обратился к друзьям — они склад держали в Мытищах: Вован, не вопрос, найдется для тебя уголок...

— Вот он и привез, карась мытищинский! — сказал Бубенец.

В ангаре холодно, сквозило, металлические стены кое-где разошлись, но сверху не капало. Сторож Нурик, тихий узбек, поселился в ангаре — выгородил себе закуток с лежанкой, молитвенным ковриком и вместительным казаном. Когда приезжали хозяева, он готовил отменный плов на электроплитке, а в холодные зимние вечера использовал ее как обогреватель. Антикварная плитка с открытой спиралью, сто лет в обед, ее следовало сдать в утиль, да пока гром не грянет, узбек тоже не станет Аллаху поклоны бить.

Это и сыграло роковую роль в новогоднюю ночь — плитка перегрелась, полыхнула огнем, Нурик успел выскочить из своего закутка, и пока метался туда-сюда, звонил пожарным, огонь добрался до мешков с неизвестным содержимым.

На беду, в мешках были остатки новогодней пиротехники — бенгальские огни, хлопушки, салюты с белым и цветным пламенем, фонтаны и ракеты, римские свечи, петарды и фейерверки, от которых лучше держаться поодаль, прикрыв ладонями глаза, и просто ждать, когда догорит последняя хлопушка.

Поэтому примчавшиеся пожарные стали свидетелями, как единственное окно ангара озарялось разноцветными всполохами, оранжевыми, фиолетовыми, зелеными мазками, будто за ним стоял гениальный живописец с огненными кистями и писал какую-то феерическую картину, смешивая краски.

Потом стекла лопнули, и на свободу вырвались снопы искр, иногда из проема

вылетали ракеты, падали в снег и с шипением гасли. Почти час длилось это светопреставление.

Володе позвонили в пять утра, он вскочил, заметался: вдруг еще что-то можно спасти... Но ангар стоял пустой и страшный, как Рейхстаг в мае сорок пятого. Он прошел внутрь по угольной земле и пепелищу, обходя лужи, куски металлических перегородок, балансируя на обгоревших балках.

Прямо перед ним возникли голые железные прямоугольники, там еще вчера лежали доски, а на них, выстроившись в ряд, ожидали своей участи полотна, которые холодными январями и знойными июлями писал художник Илья Золотник.

Землю устилал серый пепел, чернели головешки. Вова взял металлический прут и стал копаться в золе, но, кроме гвоздей и пустой консервной банки, ничего не нашел. Руки стали черными, ботинки покрылись толстым слоем сажи.

«Сажа газовая, сажа газовая...» — вспомнил Вовка. Это дядя Иля называл ему имена красок. Он стоял у мольберта, а Володька рядом перебирал холодные увесистые тюбики.

— Это кадмий оранжевый, это охра, это церулеум, это — кобальт голубой, им можно написать небо, а это белила — для облаков, и не только, для всего они годятся, — говорил Илья Матвеич. — А это — сажа газовая, я ее не люблю, мазнешь чуток — пропадет прозрачность, свет уйдет, мазнешь погуще — пиши пропало!

Сажа всколыхнулась от порыва ветра, закружила вокруг, в глазах потемнело, небо стало грязным, тяжело навалилось на плечи. Зато в сквозящем на все четыре стороны обгорелом каркасе, цепляясь за столбы и стропила, открылись в точности такие же пейзажи, какие рисовал дядя Иля. Они как будто излучались в мир — волна за волной.

Вдруг запахло картошкой в мундире, которую они однажды запекли во дворе с Абрикосовой, за что им влетело по первое число, маминым запеченными яблоками, дымом дядечкиных папирос, пережаренными котлетами Берты и Зинулиной гречкой «с дымком», эти родные горелые запахи вспомнились Вовке. И еще почему-то — как его Райка на свой день рождения угощала арбузом, сахарным, с черными косточками. Они, Абрикосовы, жили как будто в особом сияющем мире, где всегда стоит елка, то на ней ягоды, то яблоки, то новогодние игрушки.

«Прости меня, Иля, накосячил твой Вовка, семь бед один ответ...» — сказал он и побрел не оборачиваясь, с сокрушенным сердцем, по угольной земле, выбрался наружу, отряхивая брюки.

— Я ему твержу, что он баклан, — уже основательно бухой рассказывал Бубенец. — Думаешь, он спорил? Соглашался. «Я вообще-то предприимчивый, — говорил, — но невезучий, больше того, я тебе как другу скажу: я — хронический неудачник. Все у меня, Бубенец, через пень колоду! В кои-то веки счастье привалило. Подумал, если так пойдет, — сколько же я заработаю на дядькиных картинах! Но от судьбы не уйдешь, не уберег сокровища...» И он заплакал. Представляешь?

— Кстати, — сказал Бубенец и закурил. — Вольдемар после этого случая разошелся с Надеждой. У него есть женщина, африканка, преподает в Университете Патриса Лумумбы зулусский язык, сразу после пожара он сделал ей предложение.

Сохрани своим немерцающим светом, Царица Преблагая, сирых и странных заступница, ничего не осталось на свете, что бы напоминало миру о художнике Золотнике, кроме сорвавшихся со стены «баклажанов», купленных шальным уроженцем Хоккайдо и увезенных с неведомой целью в Страну Восходящего Солнца.

— Ну и что? Жил человек, занимался любимым делом, — говорил Флавий. — Даже в тюрьме не сидел ни разу, только в желтом доме. Люди живут без имени, без памяти, проживают на земле свое время и улетают, не оставляя следов. Просто быть, вдыхать и выдыхать через открытое сердце — этого достаточно.

Отец Абрикосов тоже пытался умиротворить ситуацию, хотя был вне себя от ярости. Он так радовался, что нам с Федькой удалось спасти картины, да еще каким-то чудом Илюша прогремел на аукционе в Лондоне, — теперь он рвал и метал, что все это обратилось в пепел!

Но Абрикосов не был бы Абрикосовым, если не взглянул бы на ситуацию с космических высот и не продемонстрировал фирменного философского к ней отношения.

— Что есть крошечная углеродная форма жизни — человек — и махонький отрезок времени — наша жизнь, в сравнении с ВРЕМЕНЕМ! — размышлял папочка, пытаясь меня окрылить и ободрить. — Всякое разрушение — основа созидания. Если бы не умирали солнца, у нас бы не было жизни на Земле. В общем, одно из двух, — говорил он, — или все вокруг превратится в пепел и развеется по Вселенной, или снова произойдет Большое Сжатие, а потом Большой Взрыв, поживем — увидим! Непоколебим же, за исключением закона Золотника, один только принцип Тетриса, который гласит: все совершенное сгорает.

Ладно, я затеяла в квартире перестановку. Соня моя всю жизнь передвигала мебель туда-сюда. У ней прямо бзик был — где стол стоял, там царит диван, где был буфет — стали лагерем кресло-качалка и телевизор, необъятный стеллаж они с Абрикосовым только так переволакивали от стенки к стенке. Сонечка объясняла свое безумие тем, что перестановка ей освежала пространство и прогоняла тоску-печаль.

Неудивительно, что я пустилась по этому призрачному пути: вертела письменный стол и так и сяк — раньше он боком стоял к окну, а я развернула лицом: а что? Сяду и буду смотреть, как шевелятся в окне деревья. Зато шкаф полупустой, который нам приглянулся когда-то своею бесприютностью и безысходностью, отправился к противоположной стенке.

Только он тронулся в путь, как из-за него выпал подрамник, затянутый белым холстом, шестьдесят на сорок, с легким карандашным эскизом. Видимо, Илья Матвеич собрался написать новую картину и уже нанес едва различимые линии... А мы впопыхах сунули его за шкаф, и он пылился там, ожидая своего часа.

Я ощутила мягкое реликтовое излучение, которое всегда возникало от первого прикосновения Ильи Матвеича к белому холсту, по ходу дела усиливаясь, пока не заливало художника ликующим светом до такой степени, что тот не выдерживал, прятался в гардероб и там сидел, зажмурившись, так уставали его глаза от белизны и прозрачности и от неразличимой близости цветов, которые он смешивал на своей палитре.

Вдруг мне показалось, что картина уже написана, и эти образы, что он собирался запечатлеть, отразились на холсте, как мираж. Стоит подправить вот тут и там, и готово: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод раздвигала горизонт, знакомые сущности спиралью закручивались в голубую сферу, и эти нагроможденья без имен и форм покачивало из бывшего в будущее и обратно, а в них, вокруг и над ними происходило что-то, чего Илья Матвеич не мог объяснить, он и сам не понимал.

Глубокая синева накрыла меня, живая и наполненная. Одна вытянутая фигура приблизилась ко мне и указала на холст, в руке ее была колонковая острая кисть, я так поняла, вроде бы она велит дописать картину.

Я говорю:

— Ты что, какой из меня живописец, я и писатель-то никудышный, а тут — картину, в своем ли ты уме, фигура?

А она тычет кистью в мое сердце, проткнула мне грудную клетку и кисточкой по сердцу водит, как будто пишет на нем что-то.

Я трезво смотрю на галлюцинацию, как на галлюцинацию, но все-таки достала из сумки палитру со следами красок, высохших, но ярких. Нашла его любимые тюбики с оттенками лиловых сумерек, пламени, песка и океана. Что удивительно, крышки

легко открылись, я выдавила понемногу на палитру, а рядом посадила медведя — ведь он всю жизнь прожил с Золотником, наблюдал, как тот из ничего сотворяет миры.

Льняное масло и маленько скипидара (вот, кстати, баночка!), размешиваем, взбалтываем, добавляем в краску... Начнем, и станет ясной вся нелепость этой затеи!

Волнующий запах скипидара и масляных красок ударил в меня и распространился по дому. Сначала кисточка двигалась прерывисто и скованно, неискушенная рука медленно и аккуратно охрой закрашивала силуэты, намеченные карандашом.

— Когда ты смотришь вон на ту березу, — я вспомнила, он говорил, — ты видишь дерево с обратной стороны? Изнанку листьев? А другую сторону луны? Добавь прозрачности в тенях! Мир никакой не плотный, понимаешь? И все пронизывает свет. Свет движется волнами и ложится слой за слоем. Свет в голове преображается и превращается в пигмент. А мы, художники, имеем дело с красками, — он говорил, — но цветом, Райка, — мы показываем свет!

Что-то давно забытое стало оживать во мне, вокруг силуэтов я нанесла осторожно немного белил с каплей церулиума, фигуры закрасила аквамарином, кобальтом, прошлась по очертаниям охрой с белилами, отчего силуэты погасли, стали почти невидимы. Но стоило покрыть их желтой охрой и английской красной, они вновь воссияли, выделяясь в пространстве светом, но не цветом.

Пружина разжалась, чтобы свести универсум к двум измерениям холста. Все решалось по отношению к Небу. Как сумасшедшая я покрывала холст тысячей мазков — с размашистых и скользящих переходя на мелкие, густо положенные, так и не достигая тех, которые год за годом с невероятной легкостью художник Золотник выводил в своем воображении.

Кроме того, я боялась сбиться с темпа.

Яркость я набирала наощупь, сама картина диктовала мне, какой цвет взять и куда положить. Я запела! Но это не было пением в привычном смысле, скорее странствием от самых высоких октав до утробного рычания, когда звук — всеохватывающая пустота, где вселенная плавает облаком в синем небе.

Так продолжалось, пока дневной свет не растаял в сумерках, как кубик сахара, и прямоугольник холста померк, отодвигаясь от меня, погружаясь в прошлое, а старый медведь одобрительно произнес:

— Всё, останавливай, картина готова. Мой кисти, чисти палитру, иди ложись спать. Ты справилась. Больше не подходи.

Николоямской тупик, загроможденный сваленным отовсюду снегом, грелся на солнце, близилась весна, пока без грачей, но с колокольнями в ультрамариновом небе.

От водосточной трубы первое окно, откуда я учила Вовку плеваться из трубочек жеваной промокашкой, и мы с ним плечом к плечу бросали на головы прохожим «бомбочки» — шарики с водой, а потом быстро прятались, боялись высунуть нос, — было завешено серой портьерой.

Из-под арки выглянула руина соседнего дома, целиком сохранилась единственная стена, в пустых рамах окон росли деревья. Там на балконе когда-то по утрам тягал гантели молодой человек, потом борода его поседела, я обнаружила его уже с тростью и в берете. Прихрамывая, он выносил на прогулку во двор кадку с розой, ставил ее на скамью, беседовал с ней, опрыскивал водой из пульверизатора. Она ему, видимо, что-то отвечала.

Мелочи жизни, которые с детства привлекали меня. Ухватишь за кончик нитку, торчащую из клубка, потянешь, и вот уж разматывается клубок... Ты просто придумал, вообразил, а вдруг оказывается, что именно так и было, — то ли потому, что жизнь материализуется из нашей фантазии, то ли оттого, что, глядя на человека, мы читаем книгу судьбы, и нет уже ни секретов, ни тайн, ведь если смотреть в корень — так мало вариантов, разве что в пустяках.

Возле подъезда пришлось подождать: парадный вход обзавелся секретным кодом. Вскоре вышла девочка, у нее на плече сидела живая сова и вертела головой, высматривая добычу.

Я поднялась и позвонила в дверь. Открыла мне старушка Пелагея, я ее напрочь позабыла, но она позволила мне войти, сказала, что живет здесь с сорок восьмого года и прекрасно помнит нашу семью, особенно Софочку, врачиху, та лечила ее от радикулита.

— А твоя бабка-покойница знатный варила холодец из свиных ножек, — весело сказала Поля. — Сколько раз я ей говорила: добавь индюшатины, будет понажористей! Нет, только луковицу бросит в шелухе, две петрушки и лаврушку с сельдерюшкой!

Мы сели на кухне и давай гонять чаи с моим зефиром в шоколаде. Я озиралась, словно давешняя сова, узнавая и не узнавая некогда клокочущее жерло этого уснувшего вулкана. Кухня опустела, куда-то улетучились запахи горячих блинов, квашеной капусты, гречки, жареного лука с морковкой, кислых щей, кипяченого белья...

Полю норовили выселить на окраину, забабахать евроремонт и открыть в нашей квартире турфирму, но она не сдавала позиций, вела партизанскую борьбу, представлялась ветераном Отечественной войны, добиралась до высших инстанций, качала права.

— Да никакой вы не ветеран войны! — заявили ей прямым текстом.

— Как?! — удивлялась. — Я же траншеи копала, окопы рыла!

— Это не считается, — ответила строгая начальница.

— Нет? Не считается? ...А так комары кусались! — сказала ей Поля с виноватой улыбкой.

Но из квартиры не выезжала, держала оборону.

Я стала бродить по абрикосовке, куда привел меня вещий сон, и всюду мерещились мне призраки моих соседей, тени забытых предков следовали за мной по опустевшим комнатам, клетушкам и каморкам, по коридору, увешанному когда-то лыжами, корытами и тазами, и где по-прежнему высился незыблемой скалой над морем, великий и ужасный гардероб.

Меня ведь все любили, и мама меня любила, и папа любил, и дедушки с бабушками души во мне не чаяли, плюс уйма тетушек, дядьёв, двоюродных, троюродных, четвероюродных сородичей, и все они с того конца Москвы перлись к нам в гости с гитарой — попеть-погулять, сдвинуть рюмки, — со своей кастрюлей селедки под шубой...

Однажды эту кастрюлю тетки оставили на автобусной остановке, заболтались и забыли на скамейке! Потом спохватились, долго ехали обратно, и — что удивительно, селедка под шубой так и стояла, никто на нее не покусился.

Это казалось навечно установившимся бытием. А теперь все осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Я не удивилась бы, если под ногами у меня действительно колыхалась ковыль-трава, а себя обнаружила бы я на тихом берегу Нила в лунном свете, внимающей арфе, со взором, устремленным в пустоту меж Сатурном и неподвижными звездами.

— Художника-то вспоминаешь? Илюшу? Еще у него винтика в голове не хватало? — И Поля махнула рукой на комнату, откуда в осеннюю пору сердечный приступ похитил ее хозяина.

Из-под двери лился голубоватый свет, все оставалось зыбким, неопределенным, и слышался шелест голосов под приглушенные гаммы пианино.

Старое и раздолбанное, оно долго стояло в коридоре, все на нем играли кто во что горазд. Потом вынесли на улицу, там его разломали соседские дети, вырвали клавиши, струны, и оно пропало.

— А ты чего пришла-то? — спросила Поля, когда я засобиралась домой.

— Да вот, соскучилась по родным местам.

— Это я понимаю. Сама скучаю по Шпицбергену. Хотя там погодка, скажу я тебе...

— Я забегу на дорожку? — говорю.

О, неизменный антураж старинной московской уборной со ржавой вспотевшей трубой и чугунным бачком, венчающим собой историческое сооружение, *сработанное еще рабами Рима.* О, металлическая цепочка, потускневшая от времени, но все еще поблескивающая в лучах голой лампочки без всякого плафона, берущая начало от могучего рычага, который еще немного и перевернет этот мир, с ее до боли знакомой фаянсовой белой ручкой, свисающей над унитазом! А вдрызг исшарканный, там-сям отбитый кафель на полу, облупленные стены, и, наконец, вместительная антресоль, где ковбой Гарри как зеницу ока берег уйму кирзовых лыжных башмаков, окантованных рантами, а что? Шерстяной носок натянул и вперед!

Целую вечность никто не открывал эти дверцы, не заглядывал в ее темные своды, с незапамятных времен пылились там откипевший чайник, отгоревший утюг, обгрызенный веник, лыжный ботинок на шнурке с подошвой из твердой резины с тремя дырочками под носком, замусоленные учебники для начальных классов, стопка журналов «Работница», ватный Дед Мороз в полиэтиленовом пакете...

И когда последняя надежда, которую я питала вопреки здравому смыслу, готова была растаять, на верхней полке, где скучали эмалированный бидон с цветочками на боку и трехлитровые банки, из-за куска линолеума и паркетных досок вдруг выглянул край подрамника, обитый холстом, аккуратно пришпиленный на край рейки черными гвоздиками.

Я влезла на унитаз, потянулась и осторожно, придерживая доски, вытащила подрамник.

«Три стороны камня» было написано на обороте тоненькой кисточкой — ламповой копотью. «Раечке Абрикосовой на память в день рождения».

— Моя Матильда корку отмочила, — говорил Федька, вернувшись из экспедиции к нашему с Павликом счастью. — Могу себе представить эту сцену! Стоит на унитазе Райка, страшно довольная, прижимая к груди последнее на этой Земле полотно великого мастера, размером шестьдесят на сорок, явившееся ей во сне!

Да, это была она: бескрайняя кромка вдоль сияющих вод, раздвинувшая горизонт. Сквозь толщу белого тумана смутно проступали крылатые фигуры, едва определяясь, но не выплывая до конца: ребус не должен быть разгадан! — любил говорить Золотник. Чудился только тихий подъем этих существ в вышину, лучащуюся в начале, середине и конце и не имеющую ни того, ни другого, ни третьего.

Издалека она казалась сплошь пространством света, но, если присмотреться, этот свет разливался над холмами и водами, покрывал землю — плавными шажками, создавая неуловимый ритм.

Все перепуталось, смешалось, что это было: греза ли, реальность — я и сама не разберу.

Придется излагать, как запомнилось, пускай с пробелами, кто-кто, а ты, со своей ненормальной памятью, в мельчайших деталях восстановишь цепь событий. А что останется за бортом, восполнит твой беспечный ум, отстроив недостающие звенья, как он это обычно и делает.

Я даже не поручусь за то, что в одно апрельское утро к нам явился Флавий — с видом загадочно-торжественным вручил Фёдору «Камасутру», мне — «Кулинарию Вед» в твердом переплете, я ее открыла, я всегда сразу открываю книгу, если она попадает мне в руки, на любой странице и читаю навскидку пару фраз, иногда этого бывает достаточно, например, прошлым летом на скамейке в парке Царицыно кто-то оставил «Страсти души» Декарта.

«В нашем сердце, — там было сказано, — постоянно присутствует теплота — вид пламени. Это пламя и является материальным принципом движения наших членов. Первым действием этой теплоты является...»

Тут из кустов бузины, застегивая ширинку, вышел обладатель «Страстей души»,

ни слова не говоря, забрал своего Декарта и гордо удалился, поэтому сей перечень так и остался для меня загадкой. В отличие от «Кулинарии Вед», где я на всем скаку получила исчерпывающее наставление: «Пури, пресная лепешка, поджаривается на масле».

— Пришел проститься, — сказал Флавий. Коротко и ясно.

— То есть? — не понял Фёдор.

Он уже не мыслил нашей жизни без Флавия.

Я же давным-давно, возможно, с той самой минуты, когда он подошел ко мне стрельнуть сигарету и попросить огонька под лестницей в курилке, поняла, что кроме божественной встречи в этом мире нам еще предстоит бездонная разлука, увы, ей, видимо, наступила золотая пора. Ибо такие связи, как наша с Флавием, предопределенные на небесах, не могут оставаться вечными на этой земле, в какой-то момент они должны перекочевать к иным планам бытия.

— Я знал, я давно подозревал, что должен был родиться в более мягком климате, — сказал Флавий. — Читайте! — И протянул нам письмо, начертанное каллиграфическим почерком золотыми латинскими буквами с круглыми верхушками, которое принес ему почтальон, велел расписаться и вручил лично в руки крафтовый конверт с маркой ужасающе далеких и несбыточных стран, за которую мы бы с Вовкой в детстве не раздумывая продали бы душу хоть ангелу, хоть черту лысому, из какого-то, мать честная, королевства Челбахеб.

На обратной стороне конверта — сургучная печать с узкой ленточкой. И таким оно прибыло потрепанным, будто послание Флавию из Челбахеба пересекло на джонке бушующий океан, потом по горам, по долам, по разъезженным колеям неслось на почтовом дилижансе, мчало сквозь вьюгу на тройке с бубенцами, или его всю дорогу нес в клюве почтовый голубь, я не знаю. Вид у всего этого был довольно допотопный.

— Там у них, в Челбахебе, умер король, — доверительно сообщил мой друг. — А преемника не оставил. Они проследили генеалогическое древо и поняли, что во главе Челбахеба должен стоять крутой пацан вроде меня.

— Разве реально существует такое местечко? — удивился Фёдор. — А это не что-то вроде Лисса с Зурбаганом?

— Челбахеб — крошечное государство в Филиппинском море на острове Балбедаоб, такое же отсталое, как Россия, но меньше и добрее. Там очень добрые и наивные люди, бесконечно темные. Живут они бедно, но счастливо. У них есть гимн, герб и флаг, абсолютная свобода слова и космическая программа.

— Да ты им всю экономику развалишь! — воскликнул Федька. — На чем она у них зиждется?

— На птичьем помёте и минералах морского дна, — с гордостью произнес Флавий. — И правильно, я считаю, — рассуждал он, усаживаясь за стол, я ему налила кислых щей. — Не должно быть роста экономического, понимаете? Это ошибка, в погоне за наживой уходит качество, а из-за мусора и падения уровня жизни увеличивается нагрузка на окружающую среду. Вещи производят и выбрасывают, а люди несчастны. Челбахебяне же, — и он прислушался к новому всеобъемлющему слову, столь много говорящему его сердцу с недавних пор, — желают исключительно спасения души, надеясь на бога единого Нгирчалмкуука. ...И на меня.

— Так ты же ничего не умеешь, — удивлялся Фёдор.

— Почему? Я умею лежать, гулять и танцевать, этого достаточно для абсолютного монарха, — сказал Флавий. — В случае чего мне придет на помощь совет вождей. А нет — так буду сам колупаться! Главное, — добавил он, — что я не знаю их языка. И никогда не узнаю. Выучить его невозможно, у них нет письменности, а священные предания от поколения к поколению передаются барабанным боем.

— Зачем тебе все это нужно? — встревожился не на шутку Федя. — Туда небось оформляться — от одних прививок можно умереть. Ладно, я — стреляный воробей.

А ты, брат, соломинка на ветру, колосс на глиняных ногах, гигант исключительно духа...

— Пора валить отсюда, тухлое место — периферия, вся движуха в центре галактики, — убежденно говорил Флавий, налегая на щи. — Тонкое дело, конечно, — куда входить, куда не входить: сначала я как-то застремался, потом подумал: раз мне пришло приглашение, как я могу не ехать, вы соображаете? Ваня мой Колышкин отбыл на Кёльнщину, потому что в России не ценят его иероглифов на небе и на воде, Бубенец подался в Лос-Анджелес, решил основать музей в Силиконовой долине...

Видно было, что друг мой — на пороге большого выбора: если уж он решил перейти от созерцания к решительным действиям, то остановить его не могли никакие силы. А я гляжу на него с замиранием сердца, как будто мы только встретились, — и не могу наглядеться. Казалось, что взгляд его умиротворял Вселенную, а также способен был укрощать град и гром. Покой и блаженство исходили от него, как будто Флавий уже стоял у Престола и в руке держал ключ от Небес.

Лишь одно могло бы его остановить — балет «Сотворение мира». Но Голопогосов еще работал над партитурой.

— Я буду слушать шум океана, — сказала я. — Включу, закрою глаза, и мне будет казаться, что мы сидим с тобой рядом на берегу и смотрим вдаль.

— Только слушай Тихий, а не Атлантический, — озабоченно сказал Флавий. — А то все будет не то — другая плотность, другая соленость, — не перепутай.

— Что ж, — сказал Фёдор. — Пиши нам, звони. Кстати, узнай, какие там есть пещеры! Я к тебе наведаюсь.

— Я буду ждать тебя, как царь Соломон царицу Савскую, — ответил он Феде.

Мы обнялись, как родные братья, и Флавий крепко прижал меня на прощание к нагрудному карману с очками.

На майские праздники Соня отправила меня в Евпаторию. Решительно забрала деньги, которые принес Бубенцов от продажи «Юдифи и баклажана», папочка добавил, и совместными усилиями приобрели мне путевку в санаторий «Планета» — три звезды.

— Рае надо отдохнуть, — произнесла Соня тоном, не терпящим возражений, — к ужасу Фёдора, который задолбался со своим кадастром и как раз паковал рюкзак, намереваясь пуститься в очередное странствие.

Но Соня и слышать ничего не хотела.

— У Раечки усталый вид, — нагнетала она обстановку. — Эти ее непроизвольные взлеты и свечение головы в темноте — нельзя не придавать значения таким аномалиям!

— Полетает и вернется, — успокаивал тещу Фёдор, пытаясь увильнуть от роли оседлого домохозяина и отца-одиночки. — Никто тут ничего не имеет против Райкиного сияющего скворечника!

Федька врал. Его дико нервировало все, испускающее свет во мраке. Он обладал тончайшей чувствительностью к любым эманациям. В царстве Плутона беспробудная темень, а дома — и картины светятся, и голова на соседней подушке. В такой обстановке тревожные снятся сны, мелатонин ни хрена не вырабатывается, снижается концентрация внимания, и вообще можно стать лунатиком! Но Софа таки настояла на своем, несмотря на его отчаянную демонстрацию протеста.

В купе расположились мои попутчики: Гарник Гамлетович лет пятидесяти, с пузцом, бывший работник армянской железной дороги, служитель пищевой промышленности. Чей-то неясный контур на верхней полке — семьдесят девятого года рождения. И женщина по фамилии Родина, которая, не дожидаясь отправки поезда, с эпическим размахом раскинула перед нами полотно своей биографии в реальном времени.

Главным действующим лицом ее жестокого романса был муж — красавец-хохол, глаза во-от такие, голубые, *как полтинники*... При живой жене и сыновьях все ими

вместе нажитое он завещал своим сестрам-ехиднам, которые, стоило этому бедолаге покинуть земные пределы, ободрали Родину как липку: захватили автомобиль «Оку», оккупировали домик в деревне и оттяпали полквартиры в придачу с окнами во двор, правда, она мечтала, чтобы окна выходили на шоссе, поскольку шум машин ее не беспокоит, а вопли разных психов достают и даже очень. Прошлую ночь она вообще не спала.

До того наша Родина ожесточенно костерила своего героя, что я, не в силах вынести накала ее страстей, покинула купе. Хотя как инженеру человеческих душ мне стоило бы смиренно внимать рассказам о путях мирских. Ведь я совсем не знаю жизни: Флавий подтягивал мне за веревочку небо, Фёдор — хтонические глуби, а жизнь земная вечно ускользала от меня.

Эх, распадается наш симбиоз гриба и водоросли. Писателем трудно подзаработать, даже если отдаться всем сердцем писательскому ремеслу.

— Делаешь что-нибудь? — иногда спрашивал Флавий.

— Да, пишу одну штуку.

— О чем?

— Об одном человеке...

— ...Я понял! — Флавий целиком и полностью удовлетворялся этим ответом.

Но я всегда рассказывала ему о своих безрассудных идеях, он их называл «придумками антилопы». И благородно подбрасывал мне сюжетные повороты, когда я буксовала на финише.

Боюсь, мне теперь суждено до последних дней тянуть нескончаемую канитель, которая так и останется незавершенной. Вроде заветного предания нашей попутчицы: когда я вернулась в купе, отмахав немало верст и прошвырнувшись по платформе в Рязани, тема коварного завещания продолжала оставаться в первых строках таблоидов.

Однако терпеливых слушателей ожидала феерическая развязка. Оставшись при пиковом интересе, Родина дала себе клятву ни при каких обстоятельствах не выходить замуж за *хохла*. А год назад сошлась с одним мужчиной... Уже они задудели в одну дуду, дело покатилось к свадьбе. И вдруг выясняется, что его фамилия Порошенко!!!

Теперь она не знает: выходить за него или нет.

— А сколько вам лет? — поинтересовался Гарник.

— Шестьдесят пять, — скромно ответила Родина.

— У-у-у, — махнул он рукой, — рано. Замуж надо выходить в семьдесят, чтобы скорую помощь было кому вызвать.

Тут у него зазвонил телефон, это звонил аксакал Гамлет. Гарник встал и стоя разговаривал с папой, у него аж лоб вспотел.

— Папа, — говорил он взволнованно. — Я еду, в купе, соседи какие попались? Хорошие, все в порядке. Ты сам как? Папа, ты как? Давай я скайп включу, будем с тобой по скайпу переговариваться.

Наверно, хотел нам папу своего показать, какой он — в папахе барашковой, с тростью сидит на фоне Арарата.

— Так вы Гарик? — спросила Родина. Ей показалось, что его папа так ласково назвал.

— Я — Гарник!!! Гар-ник — запомните это имя! А никакой вам не Гарик.

— ...А то сейчас, — продолжала Родина, — все киргизы, узбеки, казахи — берут русские имена. Он там Ахмет какой-нибудь, а представляется Алексей.

— Я никогда такого не делал, — ответствовал гордый армянин. — У меня бизнес повсюду. Я пищевик. Занимаюсь кондитерскими изделиями. Стараюсь по-честному, но и мое тоже рыльце в пушку, что говорить о других отраслях??? В советское время у колбасы было двадцать составляющих, а сейчас в ней нет главного! Соки вообще пить нельзя, одна дребедень! А если вам доведется увидеть, чем кормят тиляпию в рыбных хозяйствах, вы навсегда забудете дорогу в магазин!

Он сдвинул грозные брови, вышел из купе и лязгнул дверью.

Мы похолодели с попутчиком семьдесят девятого года рождения, так за весь путь и не вымолвившим ни слова.

А Родина — как ни в чем не бывало:

— Я так боялась ехать в поезде, вдруг попался бы пердун? Или пьяница, сидел бы пиво пил всю дорогу, в майке. Ну, этот вроде ничего, нормальный.

И все жалела, что мы будем с ней в разных санаториях. Я в «Планете», а она в «Мечте».

— Ты, Рая, не храпишь, только зря ночник не гасишь, — сказала она утром. — Какой сосед по комнате пропадает!

Солнце, цветущие сады, ну просто все цвело, что может и не может: каштаны, розовый миндаль, гранаты, родные бузина с боярышником, дружно взялась сирень около помойки пансионата. Под балконом айва на глазах распускала цветы, точь-в точь яблоневые, но размер! Эх, не суждено мне увидеть, как эти гиганты превратятся в каменные плоды, из которых Иовета по осени варила любимое наше с Флавием айвовое варенье и всегда мне давала с собой в баночке из-под майонеза — угостить Пашку.

Море здесь потеплее, чем в других местах Крыма. Многие уже купались, но жаловались на обилие медуз. Медузам тоже нравилось теплое море.

— Их тут бывает ооооочень много, — предупредила Родина. — Это даже не медузы. Это огромные скользкие жалящие арбузы.

Точнехонько в четыре двадцать утра, невзирая на погоду, за окном певчий дрозд выдавал свою начальную протяжно-звонкую флейту. Минут пять он солировал, а я уже предвкушала, как грянут каменки и трясогузки, жаворонки, коноплянки, пеночки-трещотки, зеленушки, камышовки, нет-нет и вклинится в этот щебет с посвистом и чириканьем невиданный мной никогда чернолобый сорокопут, подаст голос козодой.

Где чья ария не разобрать, лишь кольчатую горлицу я выделяла из общего хора по хрипловатому: *ра-и-са! ра-и-са!* в наступившей тишине, ну и горихвостку с ее *фить-фить, тик-тик-фьюю* и пламенными перьями на попе.

Вообще, я к птицам неравнодушна. В стране Челбахеб, например, куда навострил лыжи Флавий, росли деревья, плоды у которых — зеленые птицы. Да и у нас над Москвой обычная стая ворон, парящая в безнадежно сером, бетонного цвета небе — такая красотища!

Летели упоительные дни, часы, минуты, буквально каждый миг я впитывала всеми фибрами души, болтаясь по Евпатории, о которой тосковал Золотник, но никогда туда не возвращался, боясь увидеть не такой, какой она снилась ему ночами.

Он вроде не произносил названия улицы, где жила бабушка. А только вспоминал, что в окнах веранды ветки покачивались от легкого дуновения вечернего ветерка. Да и сохранился ли дом с крыльцом и окнами, в которые Илья любил смотреть, как в грустное зеркало, говорил он, где отражался уходящий день?

Все было облупленное, запущенное, ничего не работало. Территория дома отдыха поросла бурьяном, ни обещанного теннисного корта, ни проката ракеток и мячей. В составе «хвойно-жемчужных ванн» не доставало жемчуга и хвои. Электрочайник не грел, холодильник не морозил, вентилятор пора сдавать в музей, жаловался сосед по столу, упругий мачо, когда он его включал, боялся, что железными лопастями ему отхватит его естество.

Грязелечебницу Мойнаки, некогда всесоюзного значения, попросту звали «Маньяки». И в этом есть правда жизни, дело доведено до такой ручки, что маньякам там самое место. Зато им удались на славу «пешие прогулки», «солнечные ванны» и «купание в море», в перечне услуг пансионата это называлось по-научному — *талассотерапия*.

И пустыри сплошь усеяны желтым адонисом. Сиреневый репейник и кровавый

пион царили среди разнотравья, огненного жару поддавал алый с черной отметиной опиумный мак, над буйством ароматов гудели шмели и пчелы. Майские жуки-бомбовозы так и норовили врезаться тебе в лоб, стрижи и ласточки подхватывали их на лету. Воздушный бой вскипал над головами на закате. И бесконечные аллеи акаций вечерами оглашались трелями соловьев.

— Дерево моего детства — белая акация, воздух, напоенный ее запахом, — говорил Илья Матвеич, блаженно прикрыв глаза, — и нет другого дерева в саду, которое могло бы вызвать столь же трогательные воспоминания в душе, чем абрикосовое. Самую большую любовь и счастье, какие можно вообразить, несу я корням этих деревьев, чтобы они подняли мои дары в голубое небо...

Из ночи в ночь ему снились тихие уголки Евпатории, море, степь, виноградники — город, погруженный в безвременье. Каждый арочный свод узнавал он во сне, каждый портик и балюстраду, аркаду и колоннаду, каждый камень Гезлевских ворот, разрушенных турецких бань, синагоги, мечетей и каждую рытвину на дороге.

— Но почему-то совсем без людей, — удивлялся Илья Матвеич. — Хотя казалось бы: портовый город — турки, греки, румыны, цыгане, евреи, даже корейцы, вся южная окраина России бурлила в этом котле, — народищу полным-полно! Нет, снятся полностью безлюдные улицы в мельчайших подробностях, а ведь по молодости лет я их и запомнить-то не мог!

И всегда в этих снах проезжал трамвай. Старый трамвай, «единичка», он ехал через центр к Лиману, когда-то бабушка возила их с сестрой на нем в парк Фрунзе.

Все говорило о подлинности этого трамвая, он был такой же настоящий, как военный виллис с немецким офицером в кинохронике зимы 1942 года, который медленно двигался по тем же улицам, наблюдая гибель советского военно-морского десанта.

Образы рождались в тишине под покровом тьмы и не пропадали, когда Илья Матвеич просыпался, а проявлялись на потолке и даже на стенах, завешанных картинами, как в многослойном палимпсесте, сквозь небесные реки просвечивали старинные городские пейзажи.

Особенно вольготно сновидения располагались на полу, наполненные перезвоном колоколов, шумом прибоя, запахами глициний, плюща, обвившего стены дома, орешника... Они вспыхивали так ярко, что окружающая действительность бледнела, уподобляясь миражу, — Илья даже терял ориентацию в пространстве.

Отец Абрикосов, которому он поверял свои сны, считал его фата-моргану классической белой горячкой, что было бы логично, учитывая склонность нашего героя к возлиянию, если б однажды, заглянув к нему в комнату, я не увидела собственными глазами медленно ехавший прямо на меня трамвай. Нормальный такой трамвай, как я теперь понимаю, старого образца, в натуральную величину.

— Берегись!!! — закричал Золотник, так что я отлетела к стене от желтой металлической морды вагона.

Взвизгнули тормоза, с потолка посыпались осколки разбитого плафона.

Словно из моего далекого детства — выплыл тот самый трамвай и остановился, открыв передо мной двери. Кто-то вышел, кто-то зашел, я поднялась по ступенькам, подумала: проедусь-ка до моей «Планеты» пару остановок.

Трамвай тронулся, заскрипел своими железными суставами. Я села на деревянную скамейку возле окна. Мимо проплывал город, одноэтажные желтые каменные дома, корявые стволы акаций, светофоры. Пассажиров было немного. Папаша с подростком, хмуро глядевшим в немытое окно, он ему что-то втемяшивал, а тот и слушать не хотел.

— Человек может освоить все, — говорил отец. — Даже рыбную ловлю. Ты видел хотя бы раз, чтобы я пошел на попятный?

Моряк с букетом роз — на набережной под часами его ждала вечная весна Боттичелли. Благостная старушка в футболке, на спине у нее печатными буквами

написано FUCK. Небось внук отдал. А что? Чистый хлопок, в жару хорошо, тело дышит...

— Остановка «Гостиница "Крым"», следующая «Гортеатр», осторожно, двери закрываются...

Я ехала и улыбалась, что кругом так хорошо, что мне так повезло со всем на свете. В окнах отражались последние цвета гаснущего неба, те же потемневшие ветки акаций и абрикосовых деревьев. Какая-то беспредельная радость разлита была в тот вечер. Я бы хотела задержать его, остаться в нем жить. Запах водорослей, соли, синий воздух, синяя вода, белый песок и корзина черешни — больше ничего не надо для счастья.

Следующей весной мы с Пашкой приедем сюда дикарями, может, и Фёдор сподобится, почему нет? Посетим все молельни, зажжем благовония, будем пить кофе в татарском городе, горький турецкий — с пахлавой. Закажем «У Йозефа» местный цимес («Девочки мои! Нет ничего проще цимеса, — проповедовал теткам на кухне Илья Золотник. — Нарезаем кружочками морковь, нанизываем на нитку и варим с вишневым вареньем...»)

Купим свежих карасей размером с Федькину ладонь и барабульку — с мой мизинец. Возьмем на рынке перцев, чеснока, сахарных помидоров, рожденных благодатной черноземной почвой, — здесь от нее самой шел аппетитный дух, не говоря об ароматах булочных, турецких, греческих, еврейских, дорожной пыли, немощеных улиц, добудем красного домашнего вина, устроим пир горой!

Кроны шелестели от свежести, ветра, голубизны, водяной взвеси у фонтанов. Трамвай не спеша продвигался по улице, позванивая зазевавшимся прохожим, потом покатил веселей вдоль приморского бульвара. На аллеях застыли живые скульптуры в клоунских трико и рыцарских доспехах. Чихнув или, к примеру, почесавшись, они пугали случайного прохожего из глубинки, решившего по простоте душевной, что это в точности такие истуканы, как голый бронзовый Геракл посреди колоннады набережной Горького, похищенный во времена оны коварной богиней Апой.

— И лишь родив троих сыновей, — рассказывала гид нашего пансионата Кася, — эта змея, а она была натуральная женщина-змея (!), *оторвала от сердца тужившего за родными краями Геракла...*

Поздним вечером придут к морю жонглеры — бить в барабаны, вращая огненные факелы, наполняя воздух керосинным смрадом.

Трамвай побежал веселей, миновал причал, старинную морскую аптеку, лодочную станцию, ротонду ресторана с осыпавшейся кафельной мозаикой, из чрева его изливался мощный лягушачий хор...

На выезде из города показался дворец, навеянный воспоминанием об Альгамбре, ввысь уносящийся лепниной: листвой, стручками и плодами ананаса, пролеты арок, сталактиты сводов с отбитыми цветными изразцами...

На диком пляже паслись кони, подбирали у кромки прибоя водоросли...

Сгущались сумерки. Трамвай опустел и мчался без остановок не пойми куда. Со скрежетом и лязгом он дал резко вправо, едва не опрокинувшись, хотя его одноколейка — прямая как стрела, и ездил он по краткому маршруту — от моря до вокзала и обратно.

Я стала дико озираться: люди! Живые есть кто-нибудь?

Грибами пахло, листьями, сухой травой горелой, ветки заплескивались в приоткрытое окно, хлестали по стеклам. В окно впорхнула бабочка и заметалась по вагону.

— А вы куда едете? — спросил меня пожилой господин в пиджаке на майку, неожиданно вынырнув из полумрака. — Там дальше нет ничего.

— А где «Планета»? Мне нужна «Планета»!

— Планета? Какая? Марс? Плутон? Не знаю, не могу сказать, хотя я крымский

татарин. На «Спутнике» живу, моя остановка по требованию, — он вытянул указательный палец и нажал кнопку.

Ураганный ветер пронесся по вагону, огни фонарей слились в сплошной поток и погасли. Смазанной полосой, проложенной уверенной широкой кистью, тянулась бесконечная промзона, летели редкие домишки и заборы, написанные сильными короткими мазками. Что-то желтело в сумерках лиловых, вода поблекла, но красен был горизонт. Облачными клубами вздымались на море небесном волны, по ним скользила тоненькая лодочка луны, будто театральный задник для распахнутых крыльев бабочки с золотым узором на стекле, она то складывала их, пропадая из виду, то вновь появлялась.

Все в этой композиции решалось по отношению к небу, верхней части картины, а сквозь поверхностный слой просвечивали иные небеса, где в ореоле света угадывались очертания падающей в пропасть Элен и проступали бессловесные геометрические модули, видимо, художник только что отложил кисть и отошел от мольберта.

Над лесом звезд голубой ангел дул в длиннющую трубу. Это Сикейрос, наконец, поднес к губам диджериду и возвестил о невещественности бытия на грани ускользающего мира.

А за стеклом смутно обозначилась фигура вагоновожатого, который вел этот звездолет уже за пределами нашей галактики. Бабочка металась по вагону, оставляя на стеклах золотую пыльцу, трамвай качало из стороны в сторону, яркие вспышки света сменялись угольной темнотой, Цепляясь за ремни, я стала пробираться вперед, каждый шаг давался с трудом, но когда я вплотную приблизилась к двери кабины и прижалась лбом к стеклу, то увидела бурую горбатую спину и меховую башку с волосатым ухом.

Это был плюшевый медведь художника Золотника. Он смотрел по-человечески вдаль, положив на руль звериную лапу, потом обернулся, глянул на меня исподлобья единственным черным глазом, бесшумно остановил трамвай, двери открылись. И бабочка вылетела наружу.

— Картина «Три стороны камня» перед вашими глазами, друзья, рождающая глубокое душевное волнение, — разносился по залам певучий голос Агнес, ее богатый сочный тембр, — написана художником Ильей Матвеевичем Золотником, не самым известным, но достойным участником движения нонконформизма в СССР, характеризующая его как новатора и тонкого живописца. Он жил затворником, картины его не покупали, не выставляли, из творческого наследия осталась только эта работа...

Могу себе представить, какого труда Шимановской стоило водворить ее в Третьяковку!

Приемная комиссия артачилась:

— Музей не резиновый! А эти художники толпами ходят — «подарю да подарю»! Один до того дошел, что подбросил стопку холстов под музейную дверь, пришлось полицию вызывать, проверять, нет ли бомбы.

Однако сиятельной Агнес удалось убедить уважаемую коллегию, что «фигуры» Золотника являются классическим образцом неофициального искусства. Налицо все признаки: коммуналка, пьющий творец с сезонными обострениями, неустроенная жизнь, отданная без остатка служению Аполлону. А когда художник покинул этот мир, полотна перекочевали на помойку, где были случайно обнаружены. Последовала выставка-квартирник, сулившая мировую славу... Однако наследие художника погибло в огне пожара, за исключением «Трёх сторон камня» — трех бесформенных фигур, белых на белом, практически невидимых глазу, где он достиг вершины своего творчества.

— Ах, значит, на помойке? Эт-то интересно, — сказали важные эксперты в один

голос. — Эт-то серьезно, ровно так, как и должно быть у них, нонконформистов. Из грязи — в князи! — И благосклонно приняли «Три стороны...» в дар.

— Открытие, маленькое, но открытие! — с гордостью говорила Шимановская своим внимательным слушателям. — Причем, заметьте, что картина не случайно оказалась рядом с Вейсбергом, который близок Илье Золотнику в стремлении к тайной гармонии, где растворяется предметный мир, поскольку именно такая живопись дает возможность изведать то, что недоступно нашим пяти чувствам.

С тех пор, как сын взошел на трон Челбахеба, эта картина какой-то невидимой нитью связывала ее с ним. От Флавия была одна весточка, очень краткая, прилетевшая невесть откуда:

Я здесь
недалеко
всего 20 световых лет...

Но, как ни старалась Агнес обнаружить на карте Юго-Восточной Азии остров Балбедаоб, все напрасно. Не помогала даже лупа двадцатикратного увеличения!

Мы перелопачивали горы географической литературы, карты, схемы, дневники мореплавателей и землепроходцев — нигде, ничего.

Федя был как всегда в отлучке, он напал на какой-то след, по которому счел своим долгом идти, хотя знать не знал и не ведал, куда он ведет и ведет ли вообще куда-либо.

Поэтому Пашка подключил к розыскам своего учителя Игната Печорина, из семи тысяч пятисот островов Филиппинского архипелага побывавшего на пяти тысячах ста пятидесяти шести и знавшего островной район как свои пять пальцев.

— Балбедаоб, — твердо сказал Игнат, — это остров-призрак, обозначенный на карте Южных морей исключительно с 1560-х по 1660-е годы, как Земля Санникова или остров Святого Брендана. Так что вашему другу (а я думаю, он был в курсе, когда пускался в путь!) предстояло преодолеть не только Пространство, но и Время.

— ...Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а эти фигуры, кто они? — продолжала рассказ Шимановская. — То ли три грации, то ли три ангела, то ли три грешника, ожидающие Страшного Суда. ...Или три солдата, идущие с караула, — добавила Агнесса, оглядывая группу зрителей — курсантов Суворовского училища.

Галерея шефствовала над училищем, и раз в месяц автобус к ним привозил суворовцев, чтобы ребята приобщались к искусству. Подростки, одетые в черную строгую форму с алыми погонами и золотыми пуговицами, ходили по выставке молча и строем, не шумели, экспонаты руками не трогали — идеальные посетители музея! После экскурсии чинно сидели в буфете — ели мороженое «пломбир», впитывая очередную порцию прекрасного.

Солнечный свет едва пробивался сквозь пыльный застекленный потолок Третьяковской галереи, залы музея опустели, одинокие зрители проходили мимо рядов картин, растворяясь в анфиладах. Вдруг одна картина вспыхнула, будто загорелась, — закатный луч пронзил потолочное стекло и упал на картину Ильи Золотника.

Задрожал, замерцал золотой свет, фигуры на картине ожили, бесплотные тени зашевелились, взмахнуло крыло, зашелестели одежды.

Солнце кануло за дома на той стороне Москвы-реки, и наступил вечер.

Эля Шарифуллина

Небо лежит ничком

* * *

не осталось ни одной железной истины
чтобы в голове навек прижиться
мало жизни дописать страницу
но довольно для коротких писем
в никуда в безадресную местность
где лишённая волненья встречи
брошу пригоршню мыслей в землю
ради одинокого цветенья речи
оступлюсь на строчке горизонта
преступлю черту листа в паденье
и назад к своим живым и мёртвым
в вихрь холодной ойкумены
где разбита немотой гортанной
ухвачу несущееся тело жизни
на бумаге слабо обретая
равновесие за неименьем истин

* * *

куда опаздывают муравьи
бегут, выпрастывая крылья
незримые, а день стоит
подёрнутый зелёной зыбью
зачем не спится им в тени
под трав унылое камланье
как язва, вспыхнувшая с краю
на влажном языке земли
чернеет дом их, и содом
казалось бы, творится в доме
но каждый муравей доволен
своим рутинным ремеслом

Эля Шарифуллина — поэт, переводчик. Родилась в 1999 году в Москве. Студентка Литературного института им. А.М.Горького (поэтический семинар О.А.Николаевой). Публиковалась в журнале «Юность». Финалист поэтического конкурса «Новые имена» (2020, Литературный институт). Живет в Москве.

В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

закончит землю бороздить
взберётся по руке корявой
к реке небесно-кучерявой
натруженную душу мыть
блажен бегущий муравей
не плача о худой юдоли
не зная воли меланхолий
несёт домой зелёный день

* * *

По парку, липкому от раздражённого покоя,
пройти пешком и оказаться всех бедней —
свидетелем брачующихся голубей,
кирпичных женщин, утонувших в зное,
велосипедствующих, нервных ходоков,
святош, гуляк, нимфеток, дураков
и прочих, акварелью дня преображённых,
весёлых, мокрых, пьяных и влюблённых;
узрев капризы детства, перепалок тьму,
прыжок воланчика над радужной листвою,
проворство тел, взволнованных весною,
вино, и дым костра, и музыку в дыму...
Пройти тишком, скрывая судорогу сердца
в блаженной изумрудной чехарде,
вздыхая как разбуженный мертвец
над красотой, над лёгкостью бессмертья.

* * *

подержи тело моё на весу
удержи душу мою на ветру
лопнет сосуд в солнечном глазу
побежит радуга по бедру
научи гордость мою уходить
научи ничего не беречь
чтобы тело не мучило научи
чтобы смерть давалась как речь
загремим грому наперекор
рассечём ливень наперерез
нам что наговор что приговор
что с крестом и что без
бога много найдёшь тайком
в изувеченном червяке
даже небо лежит ничком
чтобы видеть себя в зрачке

Сергей Симонов

Унтерменш

Повесть

> Недочеловек — это биологическое существо, созданное природой, имеющее руки, ноги, подобие мозга, с глазами и ртом. Тем не менее, это ужасное существо является человеком лишь частично. Оно носит черты лица подобные человеческим — однако духовно и психологически недочеловек стоит ниже, чем любое животное. Внутри этого существа — хаос диких, необузданных страстей: безымянная потребность разрушать, самые примитивные желания и неприкрытая подлость.
>
> *Гиммлер, 1942*

Часть I

* * *

Серёжа сидел на газонном ограждении возле аккуратных гаражей, у ровной пешеходной дорожки в городе Дюссельдорфе. Городе с одним из самых высоких уровнем жизни в Европе. Рядом с гаражами стояли ухоженные белые дома, в которых жили бюргеры со своими семьями. Наверное, на их каминах стояли фотографии дедов и прадедов, проживших свою жизнь в этом же городе.

Серёжа сплюнул и принялся стучать по кованому ограждению палкой. Когда придет Армян? Мимо проходили местные пенсионеры и отводили взгляд: «Откуда появились здесь эти уроды? Одетые хуже бомжей, даже в Красном кресте таких вещей не раздают. Наши наркоманы с привокзальной площади и те куда нормальнее».

Так для кого, вы думаете, старые гансы, я нацепил на себя этот кислотный адидасовский костюм? Чтобы баб в нем кадрить? Я надел его, чтобы вы, уберменши, отводили взгляд. Проходите мимо. Extra для вас! — выгляжу так, словно меня вам уже не спасти.

* * *

Я помню, как учитель истории пытался учить меня жизни. Sergej, почему Вы пропустили в этом году так много занятий? Sergej, история всегда была Вашим любимым предметом.

Сергей Симонов родился в 1985 году в Москве, с 1997 по 2005 г. жил в Германии, окончил там гимназию. Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Да мне насрать, что ты думаешь. Вот я смотрю, ты уже не пытаешься втирать мне свои истины. С тех пор, как ко мне в школу начали приходить русаки наши — в спортивных костюмах, а не в модных толстовках и с гелем в волосах. Списал меня со счетов, видать. Мол, я скорешился со своими соплеменниками из «главной школы». У нас же тут гимназия, у нас тут дети из бюргерских домов с участками. Ты мог дружить с нормальными местными ребятами, но сошелся с детьми этих козлов понаехавших. Да не смогут они интегрироваться, понимаешь? Так и будут пахать на заводах, как их собратья из Турции и Марокко. Тебе это надо? Вкалывать на нас с выходцами из Казахстана и Турции?

А мне насрать, что он думает. Что ты предлагаешь мне, учитель? Играть два раза в неделю в футбол с Thomas и Markus? Обсуждать бундеслигу и одноклассника Павла из Польши, который ведет себя как придурок? «Павел такой тормоз».

«Вот ты, Sergej, нормальный, я вообще не могу представить, что ты три года назад не говорил ни слова по-немецки. Вот как, Sergej, такое может быть? Ты приехал три года назад из России и дружишь с нами, играешь с нами в футбол, GTA. А посмотри на турок. Они живут тут уже второе поколение». — «Если не четвертое». — «Да, если не четвертое. А ведут себя как ушлёпки с марса».

«Да, Thomas, мне тоже это непонятно».

Да всё мне понятно, учитель. Всё. Хочешь, я расскажу тебе, как я пошел в школу, в эту гимназию, когда мы только переехали в Германию? Да ты и так знаешь. Как дети из ухоженных домов подкладывали мне тамагочи в портфель и говорили «русский нас обворовал», а классный руководитель вызывал моих родителей? Пытался ли он разобраться, увел ли я их тамагочи или же все эти тамагочи, дебильные компьютерные игры мне никогда не были нужны? Потому что я никогда не играл с этими пидорскими игрушками. Никогда. Нет, он не пытался разобраться. Это Sergej, из нищей России, еле выучивший Guten Tag и Auf Wiedersehen. Он украл, да. Ему не по себе, что у всех его одноклассников дома компьютеры, их родители живут в отдельных домах с садами. Он позавидовал, это естественное чувство, но воровать нехорошо. Вы понимаете?

Thomas и David на каждой перемене орали мне вслед «дерьмовый русский». Хамону они кричали «дерьмовый иранец», пока тот не саданул Thomas до крови. За это Хамона погнали из гимназии: чурка не должен избивать детей из домов с участками. А я молчал. Я остался в гимназии и подружился с Markus и Thomas (Thomas № 2). И обсуждал с ними после школы одноклассников — Павла, Хамона, которого вышвырнули. «Ну, он реально перегнул палку. Все-таки надо уметь себя контролировать, я никогда еще не видел такой драки. Хоть этот Thomas и козел, конечно», — сказал Thomas-2. Да, драк у нас в школе практически не было. Дрались, в основном, в «главной школе», где учились почти одни русаки и чурки. Вот и Хамон теперь там, дерется, наверное, часто.

«Sergej, у тебя когда-нибудь была девушка?» — спрашивает Markus. Ты знаешь, Markus, пока вы тут играли в компьютерные игры и тайком мечтали подрочить на родительское порно, я уже сосался с девочками в московских дворах. Когда мне было одиннадцать. У меня была любовь — Света, мы играли с ней в «насилки» дома у моей бабушки: я должен был засунуть ей в рот язык, а Света как бы сопротивлялась. Мы целый день проводили во дворе, мы были вместе, мы дрались, влюблялись и учились человеческим взаимоотношениям. Да-да, Markus, мы влюблялись и любили. Когда нам было по одиннадцать лет. Мы курили с Саней тайком на гаражах, потом Саня и его друзья избили меня, потому что Санин друг считал меня недостойным. Я бессчетные вечера подряд пропадал во дворах со Светой и ее подругой Ксюшей: Ксюше я нравился, но мне нравилась Света. Во дворе мы часто играли в футбол, Markus, но помимо футбола мы играли еще в десяток других игр каждый божий день. Потому что вместе мы проводили с двух часов дня до одиннадцати вечера. Не веришь, Markus? Сколько времени ты проводишь со своими друзьями? Четыре часа в неделю?

А тогда, в одиннадцать лет, моя жизнь была в десятки, в сотни раз интенсивнее, чем сейчас. И да, Markus, у меня уже была девушка — в то время, в том возрасте, когда ты даже не трогал еще свой член. И буря эмоций, неподдельные страсти были, дружба, любовь. Всё это было. И закончилось в феврале девяносто седьмого, когда я переехал к вам, в Германию, Markus. Когда меня вырвали из России и привезли в вашу сраную, ненавистную, гнидную Германию.

«Sergej, так у тебя когда-нибудь была девушка?» — спрашивает Markus. «Ты знаешь, Markus, я недавно познакомился с Dorothea из Дерендорфа. Она наполовину мексиканка. Мы с ней целовались». — «Ничего себе. Она красивая?»

* * *

«Что, Серёга, давно тут зависаешь?» Армян. «Да, час уже тут херней страдаю. Гансы проходили старые, уставились на меня, короче. А я палкой долблю по железяке, они втопили».

С Markus и Thomas я продружил недолго. Мы с матерью переехали в другой район, где жили практически одни выходцы из бывшего Союза и Румынии. Еще там жили асоциальные немцы, так называемые Asi. Сравнительно молодые, с четырьмя и пятью детьми, хотя в среднем немцы рожают в лучшем случае одного-двух к сорока годам. Все должно быть продумано и вовремя. Сначала учеба, университет, потом карьера, а потом — и семья с детьми. Правильное западноевропейское взросление. Сейчас меня вырвет.

Я давно приметил этих ребят, непохожих на моих одноклассников из гимназии. Да я их знал прекрасно, я помнил Москву девяностых, только что закончившихся. Миллениум на Красной площади, недолгие минуты счастья в родной Москве, чтобы через неделю опять улететь туда, откуда я так мечтал сбежать. «Я устал, я ухожу». Они вели себя как русские, как лысый Саня из моего двора на Анадырском в девяносто седьмом. Они вели себя так посреди этих вылизанных улиц, посреди германского благополучия девяностых, когда в Германии еще не начали сокращать пособия по безработице и на довольном Западе еще не воевали с международным терроризмом.

Как же это штырило. Markus с гелем в волосах, играющий в компьютерные игры, еще недавно с тамагочи на шее (как последний пидарас!). Я пытаюсь смириться, сдружиться с теми, кого бы немедленно променял при возможности еще раз прожить то лето девяносто шестого или девяносто седьмого, на Анадырском, со своими московскими друзьями. Со Светой, с Ксюшей. Хотя бы одно лето.

И вот — они. Которые, казалось, жили здесь, в этой чудовищной Германии, так же, как жили у себя в Казахстане, Москве, Петербурге или Новосибирске. Никаких реверансов в сторону «новой родины», никаких компромиссов, «интеграции в общество». Я искал близости с их компанией.

Наворачивал круги вокруг детской площадки, где они каждый вечер собирались. По пять раз на дню выносил мусор, чтобы их случайно встретить. Конечно, они меня заметили. Как-то один из них подозвал к себе, я только выбросил очередную порцию мусора. Макс. «Как тебя звать? Сергей? Вон его тоже Сергей звать. Приходи сегодня на Spielplatz».

«Косяки куришь? Вообще не куришь? Ну, давай курнём, у меня деньги есть». Макс зарабатывал на карманные расходы разноской рекламных газет. Мы часто ему в этом помогали, но чаще сваливали бо́льшую часть тиража в канаву у железной дороги. У этой канавы, взобравшись на семафор, мы и раскурили мой первый косяк. Сидели на семафоре, в нашу сторону ехали поезда, и было ощущение, что поезд сейчас влетит прямо в нас. Невероятно страшно. Искренние эмоции.

* * *

Понимаешь, мать? Искренние эмоции. Ты всегда хотела для меня только лучшего. В Москве в девяносто шестом отменили несколько предметов в школе — некому было преподавать. Нищенские зарплаты учителей довели их до ручки, и некоторые забили на педагогику. Кто куда. А ты снова решила, что надо ехать в Германию. «Нельзя лишать ребенка образования и будущего». В девяносто первом мы уже переезжали на полгода в Дюссельдорф, жили в бараках из железных листов, убогое жилище. Как фавелы из фильмов про третий мир. И жили мы (родители — вчерашние инженеры, кооператоры, педагоги, сплошь образованные советские люди) вместе с нигерийцами, албанцами и марокканцами, которые, наверное, на родине никогда не посещали школу. Вот так оно, поколение моих родителей, верило в священный Запад. Так верило, что готово было делить барачную общагу с беженцами из самых убогих углов земли. Албанец назад не вернулся. Мать сказала в девяносто первом, что мы здесь жить не будем, и увезла меня назад в Москву.

В девяносто седьмом опять. Въехали по Fremdenpass, дословно — «паспорт чужого», или «негражданина», который позже ввели прибалты для русскоговорящих. Германские власти его нам выдали еще в прошлый приезд. Оказалось, эти «паспорта негров» в ФРГ отменили, и они уже недействительны. Отец этого не знал. Их можно было бы поменять на новые документы, если бы в прошлый раз мы не вернулись обратно в Москву, что было запрещено. Беженцам нельзя уезжать обратно на родину, иначе какие же это беженцы? Так что нас с матерью посадили в каталажку при аэропорте для нелегально въехавших, вместе с неграми буквальными. На следующий день депортировали в Россию.

Но мама не сдалась, она твердо решила эмигрировать. Бороться за мое светлое будущее. Въехали повторно, теперь уже осознанно нелегально, на туристическом автобусе. И просто остались у друга отца, вновь подали документы на получение статуса беженцев.

Отец, ты знал, что этот твой друг трахал мою мать тогда в этом доме, в котором мы жили?

Мать, ты знаешь, ради чего все это было, все эти годы в Германии? Нет?

* * *

«Салам, пацаны». Рыжий. Видишь, сидим на перилах, как обычно. Как каждый вечер. Собираемся вместе, в кепках «хулиган». Вокруг благополучный Запад и аккуратные вымощенные дорожки. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вокруг сверстники-немцы в рубашках поло, немцы в рэпперских толстовках с капюшонами. Так, как мы, не одевается никто. Не выглядит никто. Нас от этого прёт.

Пойдемте к Люде, пацаны. У Люды мы прогуливаем школу. Старая немецкая алкоголичка лет пятидесяти, живущая в соседнем доме. Макс давал ей в рот, она пекла для нас булочки и дарила мне шоколадки. Она была в меня влюблена. Я ей в рот не давал, мы курили у нее дома из ведра, потом она сидела на низенькой табуретке-подставке для ног и дурашливо хихикала. Мы плевались в нее испеченными ею булочками, дрочили на ее шубу. До нас у Люды зависали поляки-наркоманы, те ширялись, а однажды разгромили всю хату, побили стекла. С тех пор она предпочитала полякам нашу компанию, русаков по тринадцать-четырнадцать лет. Мы бухали у нее дешевое пиво и курили, да. Lydia. Я до сих пор помню ее фамилию.

Рыжий был из казахстанского колхоза. До приезда в Германию Рыжий скакал с односельчанами на лошадях по степи, он едва ли выезжал из своих сельских мест. Он смешно коверкал русские слова. *Побройся*. *Заместо*. Тут он ходил в «главную школу» вместе с Олежкой — Щеглом. Олег Лисицын, родом из-под Алма-Аты,

при переезде в Германию знавший на немецком, может быть, несколько фраз. Приехал с родителями как «этнический немец».

Мой отец попал в Германию еще в восемьдесят девятом — закупал компьютеры в ФРГ и Польше, чтобы в Союзе их перепродавать. Позже машины гнал из Германии, ширпотреб из Китая, открывал и закрывал фирмы в Москве. Зарабатывал по меркам тех лет баснословные деньги. Перевозил купюры с собой в спортивной сумке, пару раз его чуть не грохнули. Летал за вещами в Сингапур, поработал на заводе в Австралии, вкладывал заработанное «импорт-экспортом» в зарождающиеся бизнесы московских товарищей. В девяностом в Западную Германию приехал «по работе» — прознал, что, вступив в еврейскую общину, можно сделаться евреем и получить вид на жительство. За небольшую взяточку получил у советского райчиновника новое свидетельство о рождении, в графе «национальность матери» — «еврейка». Всё официально, с советскими печатями, серпом и молотом. «Тогда чечены приезжали и в евреев превращались, представляешь?»

Но сам папа в Германии жить не собирался. Какая Германия, сказал он мне недавно, когда в Союзе бабло тогда валялось под ногами? Просто отец, как и многие тогдашние нэпманы, не верил, что период экономической вольности продлится долго. Они были уверены, что вскоре вновь придет Контора и закрутит гайки. И тогда можно будет «высадиться» в Германии. Как говорится, «запасной аэродром». Но это для него, а нам с мамой — лучше сразу перебраться на Запад. Ради Светлого Будущего.

* * *

И вот, мы в бараке в девяносто первом. Notwohnung — в соответствии с германскими порядками, первое пристанище для всех беженцев и мигрантов, въехавших в ФРГ. От немецкого Not — «нужда», «крайность», «беда». В общем, да. Была одна дама в бараке, откуда-то с Украины. Она очень хотела сэкономить деньги во время проживания тут, чтобы потом, уже в своей съемной квартире, купить себе *новую мебельную гарнитуру*. Закупала собачьи консервы, они дешевле были, и жрала. Готовила их, и вонь от этого дерьма стояла на весь барак. Была другая. Под пятьдесят, по-немецки не говорила, конечно. Но нашла себе какого-то местного алкаша, переселилась к нему. А свою комнату в бараке использовала как кладовку. Набила ее до отказа разным хламом, принесенным с немецких помоек. Немцы тогда могли выкинуть и почти новую мебель, и продукты аккуратно порезанные, не испорченные еще. Халява европейской социал-демократии в ее лучшие годы. Сейчас уже попроще, в экономике дела похуже стали, безработных много появилось. А тогда баба эта хорошо устроилась — тащила с помоек хлам, кормилась за счет алкаша. Потом, как рассказывал отец, обставила себе хату будь здоров, из пособия для беженцев почти ничего не тратила. Из местечковых евреев была, откуда-то с черты оседлости.

Я в детский сад пошел тогда — детсад для детей беженцев, — прямо в бараках. Раскрашивали меня прикольно, фотки сохранились у мамы. Наряжали в костюмы в дни рейнского карнавала и раскрашивали. Короче, я, сын перестроечного спекулянта, дочь албанского оборванца и сын иранского политического — мы в карнавальных костюмах рейнских. Праздник. Не «иранского», а «персидского». Иранские беженцы тогда говорили, типа, мы персы, мы не иранцы. Бежали от Аятоллы — иранцы персов не любят. А мы, персы, сторонники старого персидского строя. А я вот евреем был. Батя меня научил, если посторонние спросят в бараке: «Кто ты?» — говори: «Я еврей». Я говорил. Когда мать решила уехать от персов обратно в Москву, я все еще им оставался. Любимая история бабушки: выхожу я во двор на Анадырском, кто-то спрашивает: «Кто ты, мальчик, откуда?» Не знаю, по какому поводу и как прозвучал точно вопрос. «Я еврей», — сказал я. Бабушка заливалась хохотом.

* * *

Пошел в первый класс в Москве, в школу у метро «Отрадное». Во второй. В третий. С мамой отпраздновали мое десятилетие уже на Ленинском проспекте, окна на площадь Гагарина. Я вспоминал свои эмоции впоследствии — как счастливый сон наяву. Я помню, что было счастливое детство в Москве. Шарики, а внутри — пестрая жвачка, мы протыкали шарики иголкой, доставали трофеи. Гуляли с мамой в Нескучном саду, катались на санках, скакали по оврагам. Я смотрел на одноклассницу, отличницу (лучшую в классе после меня). Я читал стихи Есенина на школьном конкурсе, занял третье место, а участвовали все классы вплоть до десятого, — я был в третьем. Рынок напротив Гагарина-титана, там несметное количество картриджей «Денди» (дух захватывает!), я их собирал, как и все мои друзья. Мама покупала мне «Лего» в ГУМе, мы ехали потом обратно на метро, и я не мог дождаться, когда начну играть в конструктор дома, на ковре в зале. Какое-то соревнование тогда было недалеко от метро «Октябрьская»: кто быстрее построит замок из заветных деталек «Лего». Я очень хотел участвовать. Наверное, я был одним из самых счастливых детей России. Вскоре — у бабушки на Анадырском: Света, весна. Лето, первые сигареты, поцелуи.

* * *

Затем февраль девяносто седьмого — приезд в Дюссельдорф. Это шок — я уже в осознанном возрасте — после шумного, вечно живого Ленинского проспекта. Я не понимал, куда деваются люди, чем они занимаются, почему после десяти вечера за окном ни души? Лишь малюсенькие игрушечные домики в квартале приятеля отца. Я ходил по улицам в разное время, но и днем как минимум раз в десять меньше людей, чем в недавней Москве. Это всё мираж, — плыли мысли, — этого ничего нет, это какой-то муляж. На самом деле здесь не живут люди, *люди* не могут жить *вот так!* Я попал на другую планету. Чисто, правильно, вылизано. Но не для людей. Это какая-то дешевая разводка, реклама по ОРТ, где показывают персонажей, не имеющих никакого отношения к реальности. Это кукольный театр с куклами и сказочными декорациями. Но самих людей нет, их не видно. Редкие куклы-роботы ходят по улицам, фальшиво улыбаются, кто-то дергает за нити, и они тянут лыбу. Но ближе к десяти исчезают и эти — спектакль окончен! Только я все еще тут, меня закрыли в опустевшем театре, и я не могу выйти. Я заперт посреди *задников* и не могу общаться с людьми. Нормальными, знакомыми, родными. Чувствовал, что меня заносит. На чистую, но кривую дорожку. И перспективы пока не видать.

Навсегда, на всю жизнь в память врезалось такси по ночной Москве, в аэропорт, в феврале девяносто седьмого. По радио играл какой-то русский рок, заунывный, как обычно. Про то, что кто-то уезжает навсегда. В сердце защемило, закралось предчувствие, что все изменится прямо сейчас, и не в лучшую сторону.

* * *

«Петушки, чего расселися»? Щегол всегда задирался, рычал на гансов, то бишь коренных (а не «русских») немцев, давал им смачных шлепков. На всех залупался стабильно. Хотя победителем всегда был Макс. В масштабных драках он эффектнее всех выключал гансов, турок с арабами. Мы сидели на перилах у гаражей, возле ровных белехоньких домов с цветами в придомовых садиках, вспоминали, наверное, что-то. Каждый свои эпизоды из недавней детской и подростковой жизни. Московской, Алма-Атинской, Кустанайской, Питерской. Макса выгнали из гимназии за то же, что и Хамона. Вырубил какого-то фрица в школе, который обзывал его «русской свиньей». Руссише швайне. Коренные немцы и их родители были в праве, а мы — так, дикари понаехавшие.

Олежку сразу загнали в «главную». Его родители не стали морочиться, по старинке не верили и не стали обивать пороги власть имущих. А система такая — если твои родичи не пойдут по городским комитетам доказывать, что ребенок не дебил: нате, смотрите его аттестат, дневник, — то ребенка иностранцев автоматом зачисляют в низшую образовательную ступень. В Германии так: начальная школа, а потом, в зависимости от оценок, либо гимназия (как бы для самых умных), «реальная школа» — это середняк, и низшая ступень — «главная». А гордо звучит, слушай! *Главная!* В общем, если родители твои ни «бэ» ни «мэ» и бегать по чиновничьим кабинетам не стали, то тебя определят к двоечникам, будешь за «главного». Мигрантских детей школьного возраста с ходу туда определяли.

Я к тринадцати годам стал таким лохом. Забитым, плакучим. Думал, что со мной? Отчего такой лишний? Рос, играл, искал дружбы со сверстниками. Но оказалось — что чурка. Так сказать, паразит на арийском теле. Коренные сверстники меня не принимали, и вскоре я стал платить им той же монетой. Я не нравился никому: не говорил по-немецки, был чуждо одет, с дебильной причей, как с фотографий защитников и противников Белого дома в девяносто третьем. Периодически слыша за своей спиной «ScheiB-Russe». Но прошла пара лет, одеваться и выглядеть я стал так же, как немецкие сверстники, — тем больше грязи накопилось внутри.

Вы думаете, я приезжее быдло? Пусть так. Да будет так.

* * *

Сергей пришел в своем привычном пуховике, черно-белом. Немного стеснительный, но с крутыми братьями, как мне сразу сообщили. «Крыша». Старшие Сергея всех крошат. «Зульцбахские». На улице, где они зависали, в сквере недалеко от нотвонунга, куда их поселили по прибытии в Германию. Парни были крутого нрава, мы смотрели на них как на криминальных богов из свирепых гангстерских фильмов. Они приехали в Германию будучи подростками, многие уже курили, уже пили, уже пробовали девочек — там, в Союзе. Дворовые компании целиком переселялись в Дюссельдорф. Собирались стаями, тучами, «кидали лохов», находя их, как правило, среди своих же русаков. Если же попадался чуждый элемент — немец коренной, турок, — такого разбирали нещадно. Конечно, мы их уважали. В первую очередь, именно за то, что их боялись местные, обходили их дугой. Да что, даже дюссельские менты с ними не справлялись. Не привыкшие к делам второго и третьего миров, сытые немецкие полицаи имели дело в лучшем случае с обдолбышами-наркоманами у главного вокзала, неспособными даже стоять ровно, не то что устроить кипиш. У вокзала собирались героинщики Дюссельдорфа — так, видимо, повелось задолго до нашего прибытия в Дойчланд.

Старший с погонялом «Белый» как-то вломил менту и пустился через поле. Полицаи его так и не догнали — легендарная история в наших русскоязычных тинейджерских кругах. «Казах», тоже «зульцбахский», через два года сторчался на героине, и мы стали всё чаще встречать его у того же главвокзала. «Дидя» (вспомнить бы, почему «Дидя»? — наверное, фамилию носил Диттрих или подобную). Славный Дидя из какого-нибудь древнего швабского рода, насильно переселенного Сталиным из Автономной Советской Республики Немцев Поволжья в пустынные казахские степи. В этих степях немецкие традиции в большинстве семей начали погибать, из немцев все превращались в homo soveticus или обычных русскоязычных жителей Казахской ССР. Дидя наколол себе на пальцы три буквы — СЭР, еще до того, как его первый раз посадили за кражу. Свобода — это рай.

Старшие гуляли еще более заманчиво, чем мы. Каждая совместная с ними пьянка запоминалась особенно. Киногерои, да, «Брат-2», прямо по фильму, который пересматривал по многу раз уже здесь, в Германии. После двух лет одиночества в немецкой гимназии в роли пятого колеса. Прийти в пятницу вечером на место, чтобы

увидеть в дюссельдорфском тихом ухоженном парке пятьдесят-шестьдесят отморозков в кожаных куртках и спорткостюмах, подвыпивших. Это была эйфория, экстаз. Мы вам покажем, суки. Мы вам всем еще покажем.

Мы идем бандой по старому Дюссельдорфу, человек пятьдесят нас, из разных нотвонунгов города. Страшные, сука. В самый разгар выходного веселья. Местные вокруг пытаются хохлиться, типа, мы у себя дома, нам бояться нечего. Но видно, что ссут, особенно молодые. Смотрят в асфальт или, наоборот, сверкают дерзким глазком, чтобы затем быстро отвернуться. Один такой мимо проходил, Щегол лишил его кепки. «Парни, я чех, славянин, отдайте бейсболку». Ступай отсюда, чех, славянин. Таких «чехов» деланных. Каждый второй вдруг вспоминает о своих польско-чешских корнях, если жареным пахнет. А там, где не пахнет, — вы арийцы, хозяева. Позволь и нам почувствовать свое маленькое превосходство. В виде твоей сраной никому не упершейся кепки. Тебе жалко, чех?

* * *

Мы ждали еще одного. Назира, афганца. Назир два года проработал на московском рынке, там научился вполне gut говорить по-русски. Нашел русскую девушку, которая, как говорил, была готова выйти за него замуж. Менты, когда его останавливали без документов, всегда получали на лапу. Эти истории завораживали. Немецкому «полицисту» не то что на лапу... Этот правильный парень держался так, будто любое, самое малое нарушение для него невозможно. Polizei не может нарушить свой устав, ни на шаг, а мы не можем даже отлить без штрафа, ни на шаг. Недавно нас такой «зеленый» (по цвету их формы) как раз и поймал в кустах, мы мочились. Сказал, что мы *не должны* вести себя *так*, отливаем в приличном (читай, любом) месте, *в новых обстоятельствах* мы должны научиться вести себя *ци-ви-ли-зо-ван-но*. Ариец, одним словом. У него все правильно, а у нас, чурок, все *не так*.

Возможно, Назир устал платить дань коррумпированным российским блюстителям или, что вероятнее, он так же, как мои родители, свято верил в благополучный Запад. Он сумел накопить в Москве две тысячи долларов, чтобы заплатить провозчикам нелегальных тел. Назира утрамбовали вместе с каким-то грузом, древесиной или бумагой, в грузовик, следующий по маршруту Москва—Лондон. Афганская община британской столицы должна была встретить груз, чтобы извлечь Назира из коробки вместе с бумагой. Но Назир устал торчать в темноте, решил вылезти из грузовика купить сигарет и быстро залезть обратно. Не получилось. Его остановили немецкие правильные менты. Кто, откуда? «Я — бежавший из Индии от погромов, притесняемый в Индии мусульманин», — сообразил Назир и подал прошение на получение статуса беженца. Сказать, что он на самом деле собирался в грузовике в Британию, уже не мог.

Вот так Назир, сброд, нелегальный мигрант из Москвы, оказался в нашей компании. Ему уже двадцать лет, он старше нас. Такой же маргинал, чурка, как и мы. Мы гордимся им, настоящим отморозком, кравшим замки в строймаркетах, чтобы подзаработать на жизнь. Ведь официально работать соискателям статуса беженца нельзя. Группа марокканцев, посылавшая его на мелкие кражи, брала в расчет, что его могут поймать, да им это было неважно. В общем-то, его и ловили постоянно. Назир рассказал, что у него «натикало» уже 250 социальных часов, которые он должен отработать в качестве осужденного. *Заместо* времени в камере. Однако Назир не парился на этот счет, благо терять ему было нечего. Только статус соискателя беженца.

Вроде бы он и не рассчитывает остаться. Так, развлекается. Хотя, может, просто дебил.

* * *

Я не читал Пушкина. И не читал Тургенева — их не проходят в немецкой школе, а в начальной московской еще рано было. Свою русскость я черпаю из других источников; вместо Пушкина у меня водка, водка Puschkin. В Германии все дешевые водки местного производства почему-то называют русскими фамилиями. Puschkin, Rachmaninoff, Gorbatschow. Произведено в Германии, блевота, какую поискать.

Вместо стихов Фета наизусть у меня мат. *Заместо* Серебряного века — «Красная плесень», а *заместо* Лермонтова — Данила Багров. Я его знаю. Мне говорят, что я russisches schwein, а я не читал русскую классику, не прочел еще к шестнадцати годам. Мне говорят немцы про водку, они знают, что в России много бухают. Я это тоже знаю, помню по Москве. Поэтому я много пью, чтобы соответствовать их и своим представлениям. Я хочу быть русским. А Пушкина потом прочту. Наверное. Puschkin ведь уже изучаю.

А вообще мне ближе американский рэп и немецкий гангста-рэпер Bushido, даром что наполовину араб. Мы тут, как я уже говорил, все чурки. Да, с арабами и турками мы чаще деремся, но бэкграунд у нас, можно сказать, единый. Нахлобучим бюргеров в темном углу, например. В отместку за их язвительные комментарии в нашу сторону — сбросить обиду. А почему нет? А потом нахлобучиваем друг друга, русак на русака, «нотвонунг» на «нотвонунг».

Один раз Анатолия встретили, он старшак. Анатолий вышел погулять из тюрьмы неподалеку от нашего места встреч. Его осудили за кражу или разбой, в общем, что-то такое. На выходных и по праздникам он сидел, полгода ему дали. А на буднях работал электриком, его отпускали на волю, в Германии можно. Толик шутил, хвастался, что гансов в тюрьме за лохов держат, русаки и марокканцы дают жару. Я не сомневался. Анатолий с водкой Gorbatschow был, угостил.

Komm lass quatschen, was willst du machen?
Sonny, ich hab immer weiBe Steine in den Taschen
Geh, mach dein Business, Rap, es ist Fitness
Ich schick dich Keck in den Sarg, weil du Shit bist
Jetzt ist Party, nimm mich beim Wort
Ich ficke deine Mutter, dein' Rap und dein Dorf

Да, в сущности, отличный текст, Bushido. «Я трахну твою мать, твой рэп и твою деревню». Это *заместо* Тургенева.

* * *

В тринадцать лет, в те два года между Москвой и русаками в Дюссельдорфе — я хотел быть негром. Я выпрашивал у мамы деньги на самые гарлемские наряды, которые только можно было достать на западе Германии, например, джинсовый костюм, на два размера больше, джинсы в буквах. И платок, как у Тупака повязанный. Ходил так по городу, побаивался, честно говоря, что отхвачу от проходящего турка или настоящего афронемца. Но ходил. В конце концов, с коренными меня связывает еще меньше. Ведь это они, дети коренных бюргеров, шептали мне вслед гадости в школе, они пытались выставить меня вором перед одноклассниками и учителями. Поэтому я хотел быть негром, я им завидовал. Их брутальности, жесткости в клипах на MTV. Нет, они бы не позволили своим белым сверстникам над собой так издеваться.

Купил все альбомы от Wu-Tang Clan, Nas, Master P.

* * *

Еще блатняк мы слушаем, Сергея Наговицына. Мы с отцом, когда я еще жил в Москве, и сейчас, — каждое лето ездим на машине на Урал. Умёт в Мордовии,

возможно, кто знает. Там, где «МордДональдс», где харчевни «У Маши», «У Кати», «У Василисы» и так далее. Каждый год мы ездили. И отец любил включать блатняк, Славу Медяника, Петлюру и вот Сергея Наговицына. Песни последнего мне особенно запомнились, и я как-то, в пятнадцать лет, привез его кассету в Дюссельдорф, к пацанам. Мы увлеклись.

Я с пелёнок знал понятия в делах.
И с ворами я законными дружил.
Меня мама на этапе родила,
Когда батю в хате опер уложил.

Вот это русский гангста-рэп. Даже Bushido нервно шмалит в углу. Где он, а где — Наговицын? Бушидо, как и все тут, — чуть разбогатеет, бабло появится, забудет весь свой «гангста» и свой «гетто» — и растворится в глянцевых сводках телеканала RTL, Promi Nachrichten, «новости про звезд и звездочек». Станет таким, типа, уважаемым членом капиталистического общества. А Наговицын, разве он предаст понятия свои? Наговицын — это всегда ghetto, это true до конца. Так он и прожил, и умер, не опопсев. Вот это мы уважаем.

* * *

Макс подошел, можно выдвигаться. Можно к Люде опять, в рот ей надавать. Только чего-нибудь сладенького взять заранее, для нее. Не, отстой. Опять не пустит ведь, пацаны. Вы забыли, что ли, как Борис ей под дверь нагадил в прошлый раз?

Борис из Санкт-Петербурга, он немного другой породы парень. Из еврейской миграции, тогда как все остальные — русские немцы. Этнические евреев не любили, тоже били их постоянно. Помню, как Борис своего друга привел, еврейчика такого явного. Щегол почуял кровь. Помню, вторник был, да, такое не забудешь. Ничего, веселый был день. Мы пришвартовались к какому-то кружку «молодых христиан». Церковь у нас в квартале, и старый пастор-евангелик нас, похоже, жалел не по-детски, нам даже свой гараж для зависалова предоставлял. Типа, дети уродов. Они же не виноваты, что оно так. Что дети варваров из ~~черной дыры~~ — бывшего эсэсэсэр.

И вот там кружок христиан был, неподалеку как раз от гаража этого. То есть в буквальном смысле какие-то мудаки, гансы, в круг сели и что-то про свои трудности какому-то молодому наставнику затирали. «Мне так трудно». Да ты упал, кретин. Трудно тебе. Ты из дома этого частного вон напротив, я тебя что, не видел, что ли, тут? Какие у тебя трудности, немчик? Что тебе заместо двухсот дойчмарок — сто восемьдесят дают карманными? Или что к тебе в гимназический класс очередного чурку вроде кого-нибудь из нас перевели? Некомфортно, скажи, с чужаками. Появилась проблемка.

Короче, мы решили от нечего делать присоединиться к этому празднику жизни. И еврейчик тот от Бориса, типа, с нами. Посидели, послушали бакланов. И Щегол такой шепчет еврею: «Покажи кукан». Покажи, тебе что, жалко? Давил на то, что у нас крутая туса. Ну да, с нами так-то все хотели зависать, нас боялись. Зацени, говорит, обрезанный или нет. «Что, прямо здесь?» А почему нет? Реально смело будет, нетривиально. Тогда с нами будешь по-любому. Мы покатывались от смеха, да и, честно сказать, Борис тоже. Мы-то знали, что Щегол его на понт берет. Если реально свой член покажет, то всё, пропнём моментально. Впрочем, и так уже пропнём, видно, что парень прямо, бедолага, в сомнения впал. Показать или нет. Может, стоит того? Улёт!

Христиане начинают коситься, мы всё громче про себя разговариваем. А это действо прямо на улице разворачивается. Возле какого-то, ну, культурного центра при церкви. То есть прогнать вроде тоже не по-христиански, тем более на улице мы. Да и терпеть нас боле нет мочи. Мы-то нарочно испытываем их терпение. Всё громче

разговариваем, вот уже Щегол почти орет: «Покажи хер, бля, покажи! Ты чо, не с нами? Это “проверка” такая на вступление к нам, ты что, не знаешь эту тему?!» А парень, бедный, вроде и жалко его. Но, сука, смешно. Живот лопается! Он говорит: «Да не обрезанный я, пацаны, реально. Ну...» «Чо “ну”?! Сука!! Чо “ну”?» «Покажу, мужики, давайте только отсюда выйдем, а то на нас косятся уже».

Вроде и сборщик кружка заметил, что мы над чуваком глумимся. Начал взывать нас к соблюдению порядка. Щегол и вызвался: «У меня проблема, пастор. Ich habe ein Problem. Я думаю, что вот он еврей, а он не признается. Я ему говорю — покажи свой член, Junge». Ну всё, тут мы просто выпали. Мы ползали от смеха по этому бетону, на котором сидели в кружке. Угарали! Наставник-христианин заорал: «Вон отсюда! Это немыслимо!» Но нам какая разница? Мы ушли.

Бедолага-еврейчик подрагивал, ему было, видно, совсем худо. Борис уже тоже насупился, типа, что за ад вы творите. А будто ты его не творишь. Постоянно.

Борис — парень лихой, но с комплексами. Докажу, дескать, вам, что свой, тем, что буду святее Папы Римского. Буду такой разгром творить, что вы сами выпадете в осадок. Все шутили про «жидов» постоянно, вроде как Борис и конфузился, а вроде как и угарал со всеми. «Я только на четверть жид». Борис срал под дверь Люде, Борис гасил первых встречных гансов «с вертушки». Мимо какой-нибудь проходит, а Борух, как мы его за глаза звали, ему пяткой в челюсть. За спасибо. Отчаянный.

А бедолага в тот вечер свой член таки достал. Мы уже почти не могли больше угарать.

Можно к Армяну выдвинуться поиграть в игры, родаков нет у него. Шляпа. Сергей косяк достает. Это ближе к делу, нормуль.

* * *

Сергей забивает, из Blättchen. Замену этому слову на русском мы не знаем, Blättchen они и в Африке. Это, в общем, такие длинные тонкие листки бумаги под косяки. В Германии хоть и не лигалайз, но такие штуки в каждом киоске продают. Все же понимают, что Голландия отсюда в нескольких десятках километров, а границы открыты. Тоже не дураки навариться на товаре.

Сергуня умело забивает, конкретно руку набил. Изящно получается, иначе не скажешь. Побольше травы напихал, поменьше табака, благо только купил пакетик зеленый. Упаковочку. А трава тут отличная, опять-таки прямиком из Голландии. Убойная, русская никак не конкурирует. Я вот прошлым летом как раз раскурил в России — даже глазом не моргнул, после нашей вообще не вставило.

Мы убились. На «ха-ха» пробило. «Едет старый казах на ишаке, упал. Старый стал, говорит, говно стал. Да, впрочем, и молодой был — говно был». Есть у нас один Казах, позавчера его встретил в электричке — «эсбане». Не решился к нему подойти, Казах был обколотый в кончину.

Давайте сходим за сушняком, горло засохло уже. Как раз пройдем мимо той степи, где Штефан со своими друзьями тусует. Может, подеремся. Штефан — это тот обсосок, которого на самом деле зовут Сергей, из Караганды он. Как-то он сказал нам однажды при встрече: «Больше не зовите меня Сергеем, я — Штефан». Я, говорит, затусил с дюссельскими ультраправыми фанатами-хулиганами. С хулиганами самой позорной команды на свете. «Фортуна Дюссельдорф». Тусить с фанатами Гитлера с именем Сергей неудобно, и Серёжа решил стать Штефаном. Естественно, став бесконечным ходячим призывом надавать ему и его гитлеровским хулиганам по роже. Пропнуть Серёжку-Адольфа — святое дело, еще лучше, чем над евреями постебаться.

Итак, где ты, наш юный фюрер? Опять фрицам поддакиваешь сидишь, когда они про геноцид шутят? Ну так мы тоже это, вполне себе про геноцид. Тоже какбэ не самая

милая и приветливая нация. И мы идем. Русские идут. Сейчас второй косяк только докурим.

* * *

Вон нацики, пацаны. «Я одного только вижу». И вправду, один. Штефана не видать, ну и этот подойдет. «Зиг хайль, майн фюрер». Чел сконфузился, понял, что мы не просто так к нему мило пообщаться. Бодрится. «Sergej, я же тебя знаю, знаю, в какую школу ты ходишь. Идите дальше, Freunde». Армян с ходу заряжает ему по физиономии. Тот орать давай на всю улицу, пытается кого-то ударить, ему подножку, оперативно попинали лежачего, слегонца так. Быстро, пару десятков секунд, и побежали, чтобы менты не забрали.

Купили сушняк, стоим на мостике через речку Дюссель, уже стемнело. Крутим еще один косяк, смеемся. Тут нам прямо в лицо фонарик. Пацаны успели через кусты, а нас с Максом так на мостике и приняли. Только что траву успели в говнотечку скинуть. Заломали руки, на капот положили, наручники. Будто мы самые опасные преступники на районе. Подростки по пятнадцать лет. Повезли в участок. Останетесь, говорят, до утра, утром вас родители заберут. Хана. Переглядываемся с Максом, мигом трава отпустила, главное, чтобы мусора не спалили, что шары красные у нас. Вот тебе и фюрер-нацист. Ментам настучал как обычный самый немецкий стукач. Гансы всегда чуть что своих полицаев зовут, все тихо-анонимно, без предупреждения. Чуть музыку громче сделал после десяти вечера — всё, полицай тут как тут. И не узнаешь никогда, кто их вызвал. Фрау слева, или Херр сверху.

В участке нас познакомили с обвинением, мы подумали, что все-таки не отпустило. «Группа молодых людей, иностранцы, напали на меня без объяснений во столько-то, там-то. Очень сильно били, но мне, имеющему черный пояс по карате, удалось отразить наиболее существенные удары. Серьезных ушибов не осталось». И Anzeige, т.е. заявление за сильное избиение. Еще грабеж приплел, мол, ограбить пытались, но крутой нацистский каратист не дался. На полном серьезе. То ли перед полицаями своими хотел себя крутым выставить, то ли просто дебил-сказочник. Улёт. Что вы, — менты говорят, — на это скажете, Herr Smirnow? Я могу только сказать, что это бред сивой кобылы, господа. Мне пятнадцать лет, посмотрите на меня. А ему сколько, девятнадцать? двадцать? И я ему ребра сломал, да он все удары отбил? В карман ему залез, да он меня за лапу — хвать? Даже полицай ухмыльнулся. А за что меня судить тогда, социальные часы присуждать? За то, что нацик-каратист такой чудесный? Мне полегчало, понял, что пронесло.

За Максом приехали часов в пять утра, за мной — мама — чуть попозже, наверное, в шесть.

* * *

День выдался на славу, воодушевление. Рассказываем всё в подробностях пацанам: про заяву «каратиста», про смешки полицейских, которые вместе с нами улыбнулись скудоумию автора Anzeige... Хотя, кто их знает, на что они улыбнулись, в голову немецким ментам не залезть. Сегодня уже не так весело, завтра нам всем в школу. Немецкие будни. Расскажу ли я в своей гимназии одноклассникам про этот случай?

Раздвоение личности такое небольшое: подстроиться под окружающие тебя реалии или — «интеграционный процесс». У нотвонунга на Катариненштрассе, или на «Катьке», как мы зовем нашу общагу, — одно, в школе — другой коленкор. Там нужно учиться, несмотря даже на прогулы огромные, обязательно нужно, иначе как нечего делать оставят на второй год или вышвырнут из гимназии. В Германии с этим вообще все просто, «палочной системы» в школах нет, никто учителей не судит по количеству двоечников в классе. И учителя кто во что горазд отрываются. Некоторым на второй

год оставить — хлебом не корми. В год двух-трех-четырех человек из класса стабильно оставляют повторять программу. Два раза в девятом классе, да хоть три. Не получил свои оценки — будешь сидеть в девятом.

Гуманитарные предметы: история, немецкий (который в Германии совмещен с литературой), политика. Люблю эти предметы, даются мне. А вот технарь-математик из меня, мягко говоря, никакой. Помнится, когда только переехали в Германию, с математикой проще было, мы в Москве в пятом классе проходили то, что немцы еле-еле в шестом. Потом забросил, было, видимо, ощущение — выпади хоть на полгода, а они все равно еще будут проходить мою московскую программу.

Бараны здесь, конечно. Литературу не читают практически, да десятой части от российской программы нет. Стихи наизусть учить — это уже совсем смешно. Какие стихи? Поэзия здесь вообще никому не сдалась. Ее здесь не существует просто ни в школьной программе, ни вне. Стихи не всплывали за почти пятилетнюю мою здесь жизнь ни разу. Хотя, может, опять на контрасте с Москвой. Я-то помню прекрасно, как мы до дыр зачитывали, разучивали в российской школе стихотворения. Как мама цитировала любимых поэтов. Мама, куда это ушло? Спасительница, ты ведь привезла меня сюда ради образования? А я тут тупой стал. Ты не знаешь, но в прошлом году я курил траву каждый грёбаный день. Чаще, чем ссал, наверно.

Обрыдлая дюссельдорфская школа. Еще недавно, когда только переехали, — ревел навзрыд, как пятилетний, приходя со школьным портфелем домой. Клялся, что больше туда ни ногой. Жаловался маме — все эти бесконечно повторявшиеся истории про то, как меня оскорбляли, про то, как одноклассники со мной не здороваются. Почти весь класс поначалу (на самом деле — долгие месяцы, маленькую вечность) делал вид, что меня не существует. Пока более-менее сносно не научился говорить на их языке и хоть как-то отвечать, иногда огрызаться в ответ.

Сейчас я уже не реву. И, кажется, даже маме легче так, как сейчас. Зная, что у меня есть хоть какие-то друзья. Хотя прекрасно знает, что я связался со шпаной.

* * *

Thomas, кстати, так уже, как прежде, со мной не общается. Мне кажется, тут два в одном — смесь страха и брезгливости. Побаивается и не хочет. Он один из первых в классе, но до крутизны моей компании ему как до луны. Решил, видимо, немного отстраниться — мол, знаю тебя, всё хорошо, но я со своими немчиками пойду. Понятно, что в компании Sergej'я ему ничего не светит. Да и родители по головке не погладят. «С такими, Thomas, отморозками свяжешься — kann es zum Schlimmsten kommen»[1].

Недавно ясно уловил такой его взгляд, брезгливый. Я прекратил носить рэпперские толстовки, ходил в трениках — да в чем попало. Что-то доказывать через ваши шмотки? Уже неактуально. Выгляжу для одноклассников как лунатик. По сути, ровно так, как в 97-м. Помнится, задумался тогда: интересно, что говорят в семьях одноклассников про меня? В его семье. Дед его воевал на восточном фронте, Thomas сам мне рассказывал. Хотя тут же хвастался своими польскими корнями. Кто-то там был у него поляк, потому и фамилия такая. Но было это, похоже, задолго до Гитлера, а при нем его дедуля с польской фамилией отправился-таки в страну своих предков. Захватчиком и уничтожителем. А потом и дальше на восток, к нам. Что мог сказать его дед про меня? «Не связывайся», — это понятно. Но как именно наставлял? Вспоминал что-то? Эти русские такие-то и такие-то, послушай, Thomas. Я-то знаю, помню их.

[1] «...может обернуться худшим».

* * *

А я знаю еще кое-что из новостей, знаю кое-что от сверстников. Нескончаемые репортажи про нищую, утонувшую в алкоголизме и криминале Россию по ТВ и в газетах. Вроде бы нейтральные, просто информация; или нотку сочувствия и «понимания сложности трансформационного процесса» примешивают. В потоке видеокадров: бомжи, пьяницы, бабы, развязно улыбающиеся в камеру. Облупившиеся здания, нищета и разруха. Сельские туалеты еще они очень любят показывать. Проскальзывают надменность, брезгливость. Я ненавижу эти «информационные» репортажи.

И я понимаю, что они думают про нас, про семьи моих друзей. Вижу по рожам, и слышал не раз, хотя и в дипломатичной форме. Бедное семейство Smirnow, ах, какие у вас там были, наверное, проблемы. Мы смотрим ТВ, мы читаем. Про бедность, про криминал. Это правда, что у вас всю власть захватила мафия? Хорошо, очень хорошо, что вам удалось уехать.

Но про себя они думают: теперь эти бандиты и дешевые восточные проститутки ломанулись к нам. Я знаю, что они так думают.

* * *

Неожиданно наткнулся у себя в «коробке далекого прошлого» на несколько аудиокассет. В Москве я любил русский рок, тратил все карманные деньги на кассеты, скупал всё без разбору. Ну, почти без разбору, довольно скоро понял, что не любитель металла, «Арии» в особенности. А так хватал многое «на завтра». Но «завтра» не случилось, пришла Германия. Сейчас же, когда вновь постоянно с русаками, слушаем «Сектор газа», «Плесень» пацаны ставят, «Агату Кристи» (ее очень люблю). Захотелось порыться в собственной коробке, сколько уже не доставал? Протирал кассеты, диски рэперов у меня не пылятся.

Никогда не слушал из накупленного «Гражданскую оборону». Господи, как же это легло. Надо обязательно поставить Максу.

* * *

У Макса неприятности — сегодня старый немец из пункта доставки газет настучал в фирму и даже написал в своем доносе про русаков. Типа, не успели приехать, а уже свои русские порядки насаждают, ищут любые способы, чтобы закосить от работы и получить все на халяву. Раньше, типа, все лучше было, приличные люди разносили, не менее приличные люди их вовремя получали. А сейчас ни газеты, ни людей приличных. Herrgott weiB[1] кто понаехал с востока и юга, и капут пришел порядку.

Про «понаехали» — это мы сами домыслили, но Максу бумажку показали в конторе, и про русаков с «их нравами» там реально было. Это было уже второе «письмо счастья», и оба раза этот старый козел стучал. Даже вынюхал место, куда мы газеты сваливали вместо разноса, — ров у ж/д-путей. Хорошо хоть, в то время, когда вынюхивал, мы там косяк не раскуривали.

Всё, финиш, уволили. Да еще с черной меткой, мол, мы коллег предупредим, как ты у нас «работал». О твоих порядках русских расскажем. Что делать? Без понятия, что делать. Сидим с Максом, обсуждаем ситуацию, с ним вдвоем, как нередко в последнее время. Анализируем, планируем. Мы с Максом видимся теперь каждый день, много о жизни говорим. Макс из Казахстана, его отец русский немец, мать русская. У Макса есть свои жесткие принципы, за что его очень ценю. Не давать себя унижать, ни себя, ни своих друзей. Всегда заступаться за своих кентов. Никому не позволять бить девушек и даже орать на баб. Стараться вести себя при них чуть культурнее. Вот, наверное, и

[1] Бог знает.

всё. Но это уже немало. Попробуй, предотврати любое унижение, когда ты чурка-мигрант и унижение может поджидать тебя за каждым углом. Ухмылка, фразочка вдогонку, поносилово за спиной. Leichter gesagt als getan[1]. Поверьте. Но Макс в этом плане — эталон.

Ну а тут такое. Что делать? Новая нехилая проверка на *унижениеустойчивость.* Родаки сказали, что ему теперь ни копейки не подкинут, хотя раньше и от них перепадало вдобавок к бабкам от фирмы. Ежедневные раскуры анаши, понятно, закончились, да и не в траве суть — как вообще отдыхать? — Макс общим нашим кормильцем был. И этот ганс взбесил. Конечно, этой своло́те только дай волю на Россию нагнать, причем тут вообще русские? Ему нужно было не просто настучать, а настучать подло, обгадить. Но, конечно, не в лицо — гансы любят гадить исподтишка, желательно, чтобы никто не узнал, кто именно поднасрал.

Но не повезло, урод, спалили тебя. Кляузу твою показали. И мы сейчас что-нибудь придумаем, спланируем. Обязательно.

Каждый может в меня насрать
Каждый может в меня нассать
Я набит говном по горло
Я общественный унитаз

Мне велели, я ответил — есть
Мне велели, я ответил — есть.

Но не сегодня, суки. Не сегодня. Сегодня — уже стемнело, а я не в школе и не в Ausländeramt'е, госведомстве по делам иностранцев, чтобы вам мило улыбаться при плохой игре. Ведь я отщепенец, приехавший к вам на хлеба, выпрашивать у вас, при любом к себе отношении, — социальные блага. Не сегодня. Сейчас темно, и мы бухаем в парке с пацанами.

«Серый, давай задержимся, мафон у тебя с собой, прогуляемся под "Оборону" к домику стукача. У меня есть одна идея».

Поганая жизнь, поганая нить,
Козырная харя картавой толпы.
Я лезу на стену — меня не убить! –
Но я протыкаюсь на ваши пупы.
О-о-о, пошли вы все на х*й!
А-а-а, пошли вы все на х*й!
Во имя недужных, во имя ненужных,
Во имя незваных, во имя Джа вощще!
ХОЙ!

Полетели стекла у дятла. Ну, как тебе такой подарок от «русского порядка», а? Камешками домик оприходовали, нашими камнями Молотова. И всё, погнали, Макс. Пока нас опять «зеленые друзья» не загребли. В этот раз так легко точно не отделаемся, если поймают.

* * *

Les Misérables. Отверженные. *Основой для формирования психологического синдрома О. часто служит социальная дезориентация. Для психологического профиля при О. характерно представление о несправедливом устройстве мира и самосознание изгоя, отвергаемого обществом.* Прикольно, да? Только это не мое «самосознание», а ваша печальная реальность. Мой отец любит говорить про Германию, что это «страна

[1] Легко сказать, да тяжело сделать.

непуганых идиотов». Что люди здесь зачастую ведут себя развязно, нагло, не осознавая, какие могут быть в случае такого поведения последствия. И что с ними бы случилось, веди они себя так в Москве или на Урале. Но ничего, батя, времена меняются и здесь, говорю я ему. Теперь, и с нашей помощью тоже, награды будут находить своих героев в Дойчланде. Времена меняются, теперь мы здесь уже не одиноки и не забиты. Про стукача ему не рассказал, но подумал.

* * *

В гимназии дела мои плохи, притормозиться на второй год уже реальная перспектива. И так невыносимо, если придется второй год в десятом классе мотать, с щеглами, — что тогда? Даже со сверстниками общения почти нет, я все меньше понимаю, о чем с ними можно говорить. Мы проживаем целую жизнь за день, вновь каждый день на улице, за сутки с нами случается больше, чем за их месяц.

Понятно, что я провожу вне школы с Thomas и вообще немецкими одноклассниками не в десять раз меньше, а просто ноль времени с тех пор, как я на «Катьке» зависаю. Хотя в школе с Markus общаюсь немного, ради прикола. Он лоховатый, можно с ним угареть, зазвать как-нибудь в компанию. Щегол постебается. Завтра у нас короткий день, так и сделаю, в натуре. Позову пацанов на Spielplatz возле гимназии. «Sergej, что Вы можете сказать про конец биполярной эпохи, Вы сделали домашнее задание?» Да, про конец биполярной эпохи я знаю всё. Больше, чем хотелось бы, поверьте.

А вот еще тема из школьной программы десятого: «Проблемы и успехи экономической и общественной интеграции в объединенной Германии после 1990 года». «А по данной теме, Sergej, что Вы имеете сказать?» По данной теме я тоже имею, что сказать, вполне. Ведь я — «интегрируемое меньшинство». Имею, но не знаю, куда это все катится и зачем я здесь, и почему я стал «объектом интеграции». Я потерялся, Вы же и так видите.

* * *

Невероятно, но мама уезжает на целый месяц в Москву, у нее там появились дела. Она была уже до Нового года в России, несколько недель, как же это круто. Может, мы переедем скоро обратно? Вроде бы шансы есть, не зря же она все чаще туда летает. И я тут буду пока один, кто знает, может быть, напоследок! Бабушка, говорит, будет заходить иногда, но так-то я один остаюсь, мне шестнадцать, могу сам за собой присмотреть.

С другой стороны, а как же пацаны? Как все мои друзья? В Москве связь с бывшими одноклассниками оборвалась, да и страшновато малость. Что там вообще происходит сейчас? Вернусь, придется, небось, опять доказывать, кто я и что я. А тут вроде бы уже и понятно; да, в Deutsche Gesellschaft[1] не пришей кобыле хвост, но у нас тут есть свое маленькое общество. И в нем я в доску свой. Черт знает, что там, в этой России? Да, в Москве была другая жизнь, не такая, как здесь, с русаками. Помню, что даже во дворе на московской окраине мы матерились куда меньше, помню, что мои сверстники тогда, еще в 97-м, слушали крутые группы — Lacrimosa немецкую, например. А что слушаем мы в Дюссельдорфе? Какую-то примитивную муру, Юру Хой или вот, группа «Голос Дюссельдорфа». Сейчас эти лохи переименовались в D-VOICE. Видимо, подумали, что с такой музыкальной историей, как у них, лучше переименоваться от греха подальше, авось корабль лучше поплывет. Но нет, ребята, мы все отлично помним ваши треки: «Бэд бой, бэд бой, рашн бэд-бой, русские девчонки зависают с тобой». «Мой смысл глубже, чем женский рот». WHAT DA FUCK? Вы это серьезно, выродки?

---

[1] Германское общество.

Да, у нас тут свои «герои», какие уж есть. И свой «культурный уровень». Оторвались от постсоветского контекста, не можем въехать в местные темы и, слушая таких ушлёпков, озираясь вокруг, приходится признать, что просто начинаем с нуля. Изобретаем велосипед.

Лучше не думать обо всем этом, позвоню-ка Армяну. Цитируя мастеров слова из группы «Голос Дюссельдорфа», *что-то мне вдруг стало грустно чуть-чуть, надо бы еще принять бутылочку на грудь...*

* * *

Сидим, зависаем на Spielplatz, вдруг какой-то турок вырисовывается, цепями обвешанный, конечно. Wallah, говорит, угнал мопед у ганса из соседней гимназии, Sergej, ты его знаешь, из твоего параллельного класса. А ты откуда мое имя знаешь, придурок, ты кто вообще? Cengiz, говорит, его звать, а обо мне и нашей компании много кому известно. Ну, круто, чо, Чингис Хан ты, едрить твою мать. Боря не растерялся, дай, говорит, Хан, кружок на мопеде прокачусь, через десять минут буду. Потом звонит нам: «Мопед я на Сказку угнал, подруливайте сюда». Сказка, Märchenland. Еще один район, где мы проводим время, там улицы в честь разных сказок названы, хреновое местечко, мигрантское. В общем, наше.

Прощаемся с Чингизом, нам идти пора, где твой мопед, не знаем, да ты не расстраивайся. Приедет еще. Ну вот. Теперь и моторное средство есть свое, главное, из района на дорогу не выезжать, чтобы за ворованное не приняли. А ведь не нами и ворованное, то есть изначально не нами. Обидно было бы за турецкие геройства пострадать.

Катаемся по кварталу, по Сказке, кайфуем. Взад-вперед.

На третий день с утра приходим, а мопеда нашего в привычном месте нема. Улёт. Угнали дважды угнанное. Ждем развязки, ведь наверняка близка. Так и есть, еще через день доносится до нас слушок, Björn, дебил из семьи местных немецких алкашей, был свеженьким принят в объятья на улице Hellweg, недалеко от реальной школы Thomas Edison. Решил на нашем мопеде в центр проехаться, ну что тут скажешь. Угараем, планируем пропнуть дурачка. Раскуриваем.

* * *

Карнавал начался, высшее время. Во всем городе веселье, в основные дни карнавала не учимся, все бухие вокруг, ряженые, разукрашенные. Был бы Дюссельдорф всегда таким, честно, я бы хотел здесь жить, искренне хотел. В первый день карнавала есть такая традиция: бабы запасаются ножницами и охотятся за всеми мужиками в галстуках. Ать, был галстук да сплыл — отрезали! И всё культурно, возмущаются, конечно, матерятся по-немецки, scheiBe, scheiBe. У немцев весь мат сводится, как известно, к словам «говно» и «задний проход». Du Arschloch! Но не более того, знают, что традиция, с кулаками не лезут, даже если галстук недешевый был. А нечего, нужно было думать головой, что сегодня Weiberfastnacht, бабий четверг. Вот это знатная традиция.

Ровно в одиннадцать часов одиннадцать минут уроки закончились, в бабий четверг можно и пивчик в школу притащить, пожурят, но серьезных санкций не устроят. Заранее договариваемся с пацанами, с утра после уроков сразу вместе в супермаркет, затариваемся пивом и в центр на трамвае семьсот третьем. Тля, в этот день даже не чувствуешь себя отщепенцем, отщепенцы в дни карнавала — мейнстрим! Приехали в центр, ну а тут совсем раздолье.

Пригнали в парк в Карлштадте, у пруда, и к нам подваливает старый ганс бородатый, бухой, на бомжа похож. На позитиве, нате, мальчики, вам мешочек подарков. Дед Мороз. Принимаем мешок, заглядываем, а там десятки, может быть, сотни шкаликов! Не верим своим глазам, вот это фортануло. Jägermeister, Killepitsch,

Doppelkorn да всё что угодно! Осушаем подарки, спешно, хоть времени и вагон, всего три часа дня. Идем в сторону «королевской аллеи». Еще совсем недавно самой дорогой улицы Западной Европы, аренда бешеные деньги стоит. Стоим на мосту через городской ров, нас, русаков, с разных районов человек шестьдесят, не меньше. Праздник, собрались. Большая часть, точнее, не на самом мосту, а возле стоит, а я зачем-то на мост вышел, уже не совсем в адеквате, стою, выкрикиваю что-то на русском. Тут группа отморозков немецких ко мне подлетает с другой стороны моста, орут: заткнись, русская свинья! Бухие, их тоже немало, но нас вроде бы больше, да и какая уже разница.

Кидаю клич нашим, что есть мощи: «Атас!» Меня сразу бутылкой по голове, боли почти не чувствую, тут же в эпицентре бойни. Слава богу, ножей никто не достает, да и не фрицевская эта тема, к холодному прибегать. По этой части у нас тут обычно марокканцы с албанцами, реже турки, так что можно почесать кулаки без лишних мыслей. Размахиваю в разные стороны, мало что соображая, и вот уже все кончено. Подходят пацаны, хлопают по плечу: «Пострадал, не унываешь, красавчик». Только через несколько минут понимаю, в чем дело, — да я весь в кровище. На голове зияет рана, оттуда сочится, капает красное.

Не ожидал, но мне феерически положить. Абсолютно спокоен, даже доволен, карнавал все-таки. Нет, пожалуй, даже эйфория, фейерверк! Сегодня мой черед побыть героем, махался, видимо, неплохо, а ведь был с окровавленной башкой. Ну, я теперь признанная часть нашей стаи, нашей Банды Русаков. Нет, уже не должен ни перед кем кружиться после всего, думать, как выбросить мусор, чтобы меня заметили, — меня теперь *знают*. И уважают. А рана заживет, какие мои годы.

* * *

Выехали с пацанами на Унтербах пожарить шашлыков, с нами Викуля, Катя и Кристя. Младше нас, по четырнадцать им, малявки, но задорные. Катька Малая недавно: в белых обтягивающих штанах, и красное пятнышко проступило между ног. Ее это не смущало, как обычно, тупо ржала и просила передать косяк. На этот раз выехали «на природу», хотя громко сказано — довольно ухоженное место в городе, по сути, городской парк. С озером, и рядом можно жарить шашлыки. Точнее, вероятно, нельзя, но нам, конечно, фиолетово. И у нас родился хитрый план, древний, как самая древняя профессия: напоить малолеток и воспользоваться ситуацией.

Щегол приметил жертву: Малая. Я приметил объект: Викуля. Рыжий прицелился: Кристя. Опустошаем бутылки, включили музон, который, по-моему, не нравится никому, кроме баб и почему-то Рыжего: группа «Фактор-2», русаки из Германии. Не такие убогие, как наш «Голос Дюссельдорфа», но тоже не интеллигенты. С другой стороны, греет душу, что наши все же — германские русаки! Знают, в чем мы варимся, да наверняка так же по выходным в парках да на парковках *Gorbatschow* глушат, это ясно по их текстам. И в одной песне, на русском, а припев на немецком выдают: ***HeiB, baby, heiB, bring mir bei was ich nicht weiB. Was ich nicht weiB, was ich nicht weiB.***[1] Говорят, их даже в России слушают, хотя непонятно, кому это говно в России — в Москве или Миассе — может быть интересно. Там есть Летов, Шевчук, «Агата Кристи», та же «Тату» — попса, но во сто крат качественнее, чем всё, что родила вся русскоязычная Германия вместе взятая...

Но нас сейчас устраивает, и гори оно все огнем. Малая, как обычно, убралась первой, и вот уже тянет ее Щегол в лес. Завидно, честно сказать, ведь поимеет, к гадалке не ходи, а Викуля с Кристиной орешки покрепче. Налегаем с Рыжим на стаканы: «Девочки, бахнем!» Вика, давай потанцуем, в конце концов. Серёга, как обычно, под синюю тему Наговицына врубил, да почему бы и нет, «Фактор-2»

[1] «Горячо, детка, горячо, научи меня тому, чего я не знаю».

хорошо, но в меру, как ни крути. Вы когда-нибудь танцевали медляки под блатняк? Вот я — да.

Целуемся с Викой, а Щегол уже снова в обойме, Катя отсела, а ему хорошо. У него уже позади, у меня — впереди? Не уверен, всё кружится, тут круги хоть под блатняк, хоть уже под что нарисуешь. Вика, видимо, поняла, что мне на сегодня — конец. Ясно, завтра буду чувствовать себя слабо, но отнюдь не от похмелья, похмелье меня не пугает. На сегодня я проиграл, будет зуд, будет самобичевание и будет желание все исправить. Но сегодня уже поздно. Почему бы не устроить кипиш напоследок? Иду в сторону Оленя, приглашенного лошка из другой компании, и меня вырубает.

Вика мне, к сожалению, уже не приснится. Никогда ничего не снится под синьку, или не запоминаю.

* * *

Я один дома, love is, и Busta Rhymes на всю катушку. Зависаем у меня часто вечерами, ну и во время школы. Старшаки прознали, что у меня sturmfrei[1], Сергей Малой, Илья ко мне приходят. Малому не четырнадцать, как Катьке, ему — девятнадцать. И заходит он ко мне, чтобы ширнуться в безопасной обстановке.

У меня какое-то странное состояние последние недели, всё на высоте, а как будто и безразличие. Совпадение, что ли, но бабушка начала дарить непонятные стрёмные кофты, затаренные ею, похоже, в социальном магазине по «дюссельпаспорту», карте для малоимущих. Бабуля моя настоящий советский человек, по крайней мере, именно так я себе представляю людей в Советском Союзе: живут на копейки, но умудряются еще что-то скопить со скудной пенсии и на праздники одаривать детей, внуков подарками и деньгами. Бабушка переехала из Москвы в Дюссельдорф позже нас, в девяносто девятом, а года рождения она тридцать третьего. Любит рассказывать про Москву при Сталине: «Серёженька, его поливают грязью везде, но при нем в столичных универмагах понятия "дефицит" не существовало. Мы, да и каждый москвич, тогда могли позволить себе любые продукты: рыба очень дорогая, черная икра, мясо. А кто сейчас может так отовариваться в Москве? Мне пенсии на день не хватило бы. Двадцать лет мне было, когда Сталин умер, помню, какое горе было у людей». Я не склонен ей верить, ведь отец рассказывает совсем другое, да и мама, и вторая бабушка из Миасса советскую власть не любят. Мой отец всегда голосовал за Ельцина, а сейчас, говорит, в России дела пошли хуже. При Ельцине нам и вправду было хорошо, но что мы тогда делаем здесь, в Дюссельдорфе? Там я носил в школе шмотки из ГУМа, помню, мама мне свитер от United colors of Benetton купила. На фоне своих одноклассников я смотрелся как мальчик с Запада, классная руководительница маме так и говорила, Серёжа в Германии наверняка быстро адаптируется, он даже внешне не похож на русского. Где она сейчас, моя учительница... Свитер от Benetton и родители с заработком выше российского нищего не сделали из меня западного мальчика, моя дорогая учительница. О Западе ты не знаешь ничего. Посмотрела бы на меня сейчас.

А сейчас я гоняю в кофтах от бабули, может, и Benetton, конечно, но вряд ли, просто свитер секонд из магаза для малоимущих за шестьдесят евроцентов или за евро. Не потому, что мама и бабушка не готовы скинуться на модную рэпперскую толстовку от FUBU или «Адик» хорошей расцветки из фирменного бутика. Просто мне стало насрать, что носить; зачем мне FUBU, когда гансы меня и в бомжеватой коричневой кофте боятся? Бабушка, спасибо, что отложила денежку, здесь твоя пенсия хоть и выше, чем в Москве, но и не такая шикарная, как у немецких пенсов с местным рабочим стажем. А вещи я себе на твои скопленные евро сам куплю, спасибо. Погуляем с пацанами. И от твоей коричневой не откажусь.

[1] «Без шторма» (в значении «родителей нет дома»).

* * *

Вчера бухали у меня и засеяли соседям сад на первом этаже остатками салатов, бутылками и блевотиной. Сегодня все, кроме Щегла, свалили, разгребали завалы с ним вдвоем, соседи в ответ пообещали не стучать родителям. Нормальные люди, русаки, кстати. Правильно, мы ведь всё за собой убрали, извинились. Сейчас ушел и Щегол тоже, и меня пригрузило по полной программе. Опять мысли о том, что было ночью, а было следующее: поругался с девочкой, которую люблю, не Вика, нет. После этого, пьяный, заперся в туалете и заснул на кафеле в собственных испражнениях. Проснулся обгаженным во всех смыслах слова. Что это — новый «айсберг» моих безбашенных деньков последних месяцев, новое нащупанное дно? А ведь я что-то про Оленя рассказывал, про группу D-VOICE... Наверное, после такого и должно что-то произойти, что-то измениться. Ведь не бывает так, наверное, что ты обосрался, а все идет дальше своим чередом. *Он истёк надеждой и всем, чем мог, а все вы остались такими же...* Поставил ГрОб, а чего я вообще хочу, на что надеюсь? Что будет завтра помимо того, что меня, засранца, оставят на второй год повторять программу по истории про развал Совка? Ни малейшего понятия. Может, мы переедем обратно в Москву?..

* * *

Вернулась мама, поникшая, что-то там случилось в России. Говорит, что будет продавать нашу квартиру на Ленинском проспекте. Не хватило головы, чтобы выразить свое мнение: может, не стоит? — а куда мы будем приезжать в Москву? Или купим новое жилье? Я мало что соображаю в последнее время, разве что научился «правильно» отвечать в компаниях русаков, чтобы за лоха не приняли. Отец говорит, если балбес хочет в ПТУ, делать Ausbildung[1], — пусть продолжает в том же духе. Меня это раздражает, и ведь мне он напрямую никогда не говорил! Мама сказала. Ему легко рассуждать: я здесь, а он в Москве. Мама вернулась, а я ухожу погулять, приду поздно. Про квартиру не знаю, про остальное тоже. Макс уже ждет у подъезда.

«Макс, знаешь, я на днях одному гансу по щам надавал. На душе кошки скребли, а тут этот петух проходит. Тот, который плевался в меня в школе, когда я только в Германию приехал. Помнишь, я рассказывал?» — «Молодец, Серый. Унижения прощать нельзя».

Время сжигания мостов.

* * *

Мама, а чем ты живешь сейчас? Что у тебя на уме, какие переживания, что читаешь? Давно не слышал маму, хоть и слушал. Недавно, когда мечтал быть «афро-немцем» и общался с немцами (значит, все-таки больше немцем хотел быть, чем «афро»?), — ее стыдился. Бывает, зайду после школы с Thomas домой, а мама вечно чай предлагает, с акцентом таким еще адским: «Wollen sie ТЭ?» Хотя это не «ТЭ» никакой, а «Теее», мягко, без грубых звуков, без этих вот Э, Ы, РРР. Мама, ну какой, к чертям, «ТЭ»?! Перестань меня позорить, наконец! Не пьют немцы «ТЭ», а если и пьют, то не в таких лошадиных количествах! Может, тебе на курсы произношения пойти, а? — или просто не говорить с моими одноклассниками, молчать, когда они заходят?

Сейчас Thomas уже нет, и за чай мне не стыдно, и за произношение ее. Я и сам готов порррычать, хоть и произношу «эр» уже по-немецки, картавя. Но общаемся мы по-прежнему мало, мне некогда. Да и что она может понять про мои дела, что подсказать? Как постоять за себя среди гопников, как бухнуть так, чтобы не очнуться в туалете на кафельном полу, как закадрить Эрику, девочку из Новосибирска?

[1] Среднее профессиональное образование.

Моя мама, она росла тоже непросто вообще-то. В интернате, сестра — советская наркоманка, отец рано умер, отчим алкоголик, пусть и «красный директор» среднего пошиба. Моя мама из Москвы, в детстве много читала, мало гуляла. Наверное, помогало ей в непростом окружении. А у меня всё наоборот, да. Из Москвы, но ничего не читаю, зависаю с гопотой, большинство моих друзей из деревень, казахстанских аулов и советских моногородов. Борух только из Питера. Наверное, что-то мне мог бы подсказать отец, он знает о моих буднях не понаслышке, сам из уральского моногорода. Но отца нет, если не брать его дни в Дюссельдорфе, которые можно пересчитать по пальцам. Мой батя в Москве, да. Он российский предприниматель.

Конечно, я и в Москве его нечасто видел, всю мою жизнь он был в разъездах. Всю жизнь в погоне за деньгами, за новым счастьем в новых рыночных реалиях. Я же предоставлен сам себе, у него там своя, российская приключенческая, «дико-восточная» жизнь. Он здесь, в застойном Дюссельдорфе, жить не хочет, не хочу и я, но никто меня не спрашивал. И сейчас я думаю, может, все дело совсем не во мне, как мне всегда казалось? Может, мама уехала сюда вовсе не из-за того, чтобы сделать мое Светлое Будущее возможным? — а потому, что она («удивительно», прямо как и я!) никогда не видела мужа дома, и даже когда он появлялся — они били тарелки на кухне? — и она (в первую очередь сама!) хотела вырваться из этой своей не самой благополучной семейной истории? Она начнет новую жизнь в Германии, а мой папа будет и дальше делать что хочет в Москве. Но если все так, то где в этой схеме я?

И теперь сюжет матери с этим «другом» отца, сразу по приезде в Дюссельдорф, — уже совсем не кажется мне странным. Мама пыталась встретить здесь нового человека. Потом она даже начала встречаться с местным настоящим (не русским) немцем, смешным и милым, но убежденным коммунистом, начинавшим спорить с пеной у рта, когда мама критиковала жизнь в Совке. Чудаковатый мужик, член Социалистической партии в Дюссельдорфе, городе с одним из самых высоких уровней жизни в Европе. Помнится, мама призналась, что у него не сто*и*т, видимо, поэтому и вкладывал всю свою энергию в споры о коммунизме. Довольно скоро они расстались, да и как могло быть иначе? Наверное, этот мужчина, Детлеф его вроде бы звали... какое-то, в общем, подобное у него было имя, странно-комичное, как и он сам, на несколько десятилетий опоздавший воин «Фракции Красной Армии»... Наверное, он решился сойтись с мамой, думая, что люди из Советского Союза, пусть и недавно распавшегося, ближе к его нафантазированному идеалу. Маме же просто хотелось тепла и немного заботы, а как я, нытик, ведший в те месяцы свои жалкие «войны» со своими немецкими сверстниками, меня чморившими, мог ей дать это, как поддержать? Она хотела тепла и заботы. И этот фриц, наверно, понял, что мама далека от образа решительной и чистой комсомолки из советских кинолент, от его придуманного Идеала Советского Человека. Видел ли он в ней человека, не Советского, а просто Человека? Нет, Детлеф, мы сюда приехали, чтобы найти Светлое Будущее, Капиталистическое Счастье, которое тебя угнетает. Как и любое счастье — ведь у тебя не сто*и*т.

* * *

Кажется, я начал понимать маму чуть лучше. Да, иногда признаться себе в очевидном бывает непросто. Что не все вертится вокруг тебя даже в твоей собственной (недо)семье. Стремный германский опыт мне в этом помогает как ничто другое.

Мама заставляет меня заниматься математикой, чтобы я не завис на второй год. Я раздражаюсь, хочу всё и всех послать, возможно, и ее тоже уже посылал, такие вещи стараюсь о себе не помнить, моя память мне в этом подыгрывает. Но знаю, что ее люблю, сильно.

До сих пор с содроганием помню, слышу, как она напевает мне колыбельную из передачи «Спокойной ночи, малыши». Ее прикосновения, ее тепло, которое мне передается, даже когда просто о ней думаю. Ее слова в пять, десять и даже пятнадцать

лет; буду огрызаться, но знаю, что они меня поддерживают, по-настоящему. Даже если эти слова имеют отдаленное отношение к моей жизни за пределами нашей квартиры. Но поддерживают, совсем без слов вроде слова *гонор.* Еще недавно в моем словаре их не было. Когда-то, хотя всего-то пять лет назад, — не было и ни единого немецкого слова.

Редко говорю ей об этом, не могу. Про свои эмоции вообще лучше не думать, Stichwort Erika und das ScheiB Erlebnis[1].

* * *

Пришли к русакам кайзерсвертовским (по названию района, где располагается их нотвонунг) с Максом и Борухом. Макс сегодня хорохорится, ведь на месте Чижик, пацан, который с нами отвисал, но потом переметнулся в Кайзерсверт. Вова-Чижик всегда картинно хватался за сердце и садился на корты (якобы от боли), когда хотел показать нам свою важность. Был он чуть постарше. Мы, конечно, малолетки и тупые, но не настолько, чтобы вестись на такую пошлятину; конечно, мы начали стебаться. И «чижик улетел» в Кайзерсверт, другой двор. И тут вот он, на тебе, птичка. Макс включил мод «опустить».

Это нас и подвело, потому что Борух, с Кайзерсвертом хорошо контачивший, как бы неожиданно слился. Остались мы с Максом, их толпа, Макс нещадно унижал Вову, и мы не заметили (точнее, делали вид, что не замечаем), что Чижик в новой компании прижился. Повисла пауза, к Максу подходит старшак, с ходу заряжает в голову. Остальные не вмешиваются. «Серый, ты тоже постой в сторонке». Макс со старшаком дерутся, у Макса шансов нет, уходим, точнее, отступаем, теперь униженные — мы.

Идем дальше, через цыганский квартал, Hellweg, выпрыгивают, спрашивают: кто, откуда, почему такие некрасивые. Мы бодримся — ушатаем, нас двое, вас дерьмо. Прошли, за нами уже толпа опять, и всё в одну ночь. Макс: «Серёга, идем дальше или стоять?» Стоять... Догнали, начали толпой бить, достали холодное, я бежать, за мной двое с ножами. Через забор кое-как убежал... а Макс остался. Что с ним? А я. Убежал.

У него все лицо в крови, я проехался немного по асфальту, перепрыгнув. Осознав, что произошло, бился своим таблом об стену, натурально, да. Мне было стыдно — я убежал, и на мне пара царапин. Стена не прибавила глянца настоящей драки, и я совсем потерялся. Всё вот это существование мое, «зависалово», строится на слоганах вроде «будь пацаном», «дерись за друзей», «отвечай за базар». А оно как-то не сложилось, совсем. В критическую минуту. Выходит, все это фальшивка? Я нынче — не я совсем? А тогда кто?

Опять я не знаю ничего, и будто с каждым днем все больше.

За день мы устали очень... Глазки закрывай...

* * *

Эрика из Новосибирска — моя первая настоящая большая любовь. И первая настоящая плотская. Я залез к ней в трусы, попробовал ее влажность украдкой, чтобы не заметила. Уже предлагал ей отлизать, но Эрика — настоящая русачка, привержена консервативной любви. Так я представляю себе русских женщин, красивых, волосатых, томных, посылающих тебя далеко. Надо сказать, Эрика этому представлению соответствует. Она меня завораживает, кручусь вокруг нее как волчок, а ей будто бы смертельно на меня наплевать. Точнее, она со мной, мы гоняем! Но виду не подает, и я совершенно извожусь.

Я не знаю, что делать. И не знаю, что ей сказать, ведь я ее совершенно не знаю. Как стать ближе к человеку, которого я не знаю? Мне кажется, я извожусь именно потому, что она от меня далеко. Недосягаема. Непонятно, что она думает о нас

[1] Пароль «Эрика и говённое происшествие».

(думает ли?), непонятно, к чему стремится. «Девочка-космос». Мы же любим космос в России? Я — космонавт. К неизведанным планетам тебя (фу, какая пошлятина). Инь и янь противоположное притягивает, ничего не знаю, *и мне не страшно...* Если бы, Игорь Фёдорович. Я всё помню. И мне страшно.

Эрика, ты знаешь, что я взломал твой профиль на сайте знакомств «Кулички»? Ввел твою фамилию, и получилось. Хотелось узнать, с кем ты переписываешься. Хотелось узнать тебя, но ты там ничего никому не писала. Тебе не надо, я знаю. Такие, как я, липнут к тебе безо всяких переписок. Что там я — все липнут. А ты со мной. Ну ни хрена себе. А, может, меня это и притягивает? Помню, как недавно мечтал, что ты придешь ко мне в гости, в школу. Как все кончат от одного на тебя взгляда. Ты — моя. Вот так, пацаны. Она — моя. А вы никогда не будете иметь такую, как она. Никогда. Играйте в тамагочи, засранцы.

Но она не пришла.

* * *

Мы опять у Назира, собрались кучей, вместе с нами «биджо» — братухи из Грузии. Мы встречаем их на лестнице, они к нам все «биджо» да «биджо». Живут в том же беженском бараке, что и Назир, этот барак — для «безстатусных». Там живут люди на ожидании, дадут им вожделенный статус беженца или не дадут. И живут они в таком статусе не/беженца годами. «Биджо» здесь два брата-акробата, один — боец без правил, а второй — героиновый наркоман, друзья с детства. «Биджо № 1», ходят слухи, во Францию постоянно мотается, там в каких-то полу- или совсем нелегальных боях участвует, за что получает деньги. Наркоту не употребляет, не курит, пьет мало. А его старый друг и сожитель по комнате в бараке «Биджо № 2» — просто ширяется нон-стопом, мы его у вокзала встречаем регулярно. Что с ними будет? Совсем грустная история.

Вот африканцы из самой глубокой суб-сахары-Африки, оно понятно. Ужасно непонятно другое — что люди живут в этом бараке уже много-много лет. В этом хаусе родился их сын, а ему сейчас чуть меньше, чем нам. Что означает: люди живут в этой чудовищной дыре, в ловушке барака для людей без статуса уже как минимум пятнадцать лет. В ожидании статуса беженца. Без права на работу, с минимальным пособием. А рядом как раз тюрьма, рукой подать, — логично.

Рассказал нам о судьбе африканцев другой постоялец — араб. Мы к нему иногда заходим, пьем с ним чай, он нам крутит самокрутки. Этот человек живет в бараке аж двадцать лет. Еще дольше. Вы что, гансы, фашисты, намеренно над людьми издеваетесь? Если не хотите их принимать, депортируйте к черту, и поскорей, ведь им же лучше будет. Иногда в тумане ожиданий мы сами не знаем, чего хотим. Что этот араб видел, кроме, по германским меркам, жалкой нищеты? А ведь он свое положение, естественно, сравнивает с положением людей здесь, в Германии. Он — самый бесправный из бесправных, нищий из нищих, опущенный из опущенных. Он в этой стране — биомусор. Рассказывает нам, что это ожидание, эта неопределенность его сломали, что он превратился в растение. Так и говорит. *Ich vegetiere vor mich hin.* Что он последнее время даже не выходит на улицу. Несчастный ублюдок! Меня опять охватывает злость. Зачем ты здесь проторчал все эти годы? Почему?! Да, твоя родная страна — Алжир. Но неужто ты бы и там жил вот так, растением? Неужто не заработал бы на квартиру, не обзавелся семьей, не стал бы гордым отцом, сейчас уже дедом?

Депортируйте их к чертовой матери или делайте, наконец, беженцами (социальный лифт, мать твою!). Садисты.

Назир поставил нам пуштунский музон, микс народных с какой-то дешевой кислотной электроникой. Группа Demo «Солнышко в руках», афган-версия. Назир, братуха, биджо! — не так-то уж мы и отличаемся. Бахнем!

* * *

Эрика от меня ушла, сказала, что встретила итальянца, и вообще ей нужно учить немецкий. Ведь она уже два года в Германии и все это время зависает с русаками, я должен понять, это и на школе сказывается. «С Mario я подтяну немецкий, а может, и за итальянский возьмусь!» У меня истерика, — она была последние месяцы моим единственным ориентиром. Теперь всё, вообще ничего не осталось. Пустота. Ссыкло, оставившее друга на растерзание дюссельдорфским цыганам. Двоечник, подтвердивший все стереотипы о тупых мигрантах, скоро как миленький пойду во второй раз в десятый класс. Обгадившийся малолетний алкоголик. Донжуан для бедных, не понявший ничего о собственной любви. Рядом с Эрикой меня всегда бросало в дрожь, как испуганное дитя, я начинал мычать, и у нас с ней не было, нет, ни одного серьезного разговора. Да и о чем вести глубокие беседы, что я знаю, чем интересуюсь? Закономерно, что я не смог ее заинтересовать. Я — никто, и ничего не осталось. Пустота.

У меня примитивная и в то же время неплохая идея, как почувствовать себя живым, когда хочется сдохнуть, — украсть в автобусе Nothammer и подкараулить Mario у его дома, уже выследил где он живет. Nothammer — это аварийный молоток, им при авариях следует разбивать окно в общественном транспорте и спасаться, для нас же — это спасение в драках. Первый аксессуар. Крадешь, спиливаешь острие, то есть сам молоток, и на — понтовый кастет.

Я так и сделал. Я хочу показать сам себе, что вообще хоть что-то могу. На меня напали с ножами, я зассал, а я вот сейчас нападу с кастетом. Убежит ли «супер-Марио», к которому ушла моя любовь? Стою недалеко от его дома, здесь не подсвечено. Он тут каждый день проходит. Он идет, нападаю на него неожиданно, сразу в рожу кастетом, несколько раз. Он падает, кровища, я решил, что довольно, и побежал, ноги сами понеслись. Вновь сработал проверенный рефлекс, и я опять в бегах. Нет, опять ничего не смог доказать, даже самому себе. Потом все-таки остановился, обернулся — а Mario встал, весь в крови, и смотрит на меня. И вновь падает. Пожалуй, даже рушится, а не падает.

По-моему, я не просто пацана разукрасил, а нанес ему увечья. Он меня узнал, естественно. Эрика передала через сестру, что я мразь, и она натравит на меня кайзерсвертовских русаков. И что родители его уже в курсе, про меня знают, и что мне стоит теперь «бояться». Говорит, что прилетит со всех сторон.

* * *

День поганый, выходной. Надеяться на хоть что-то хорошее я не могу. Осталось нажраться в хлам, на скамейках за гаражами у «Катьки»-нотвонунга. С теми, из-за кого меня кинула Эрика, ведь они, мы — те самые маргиналы, с которыми не выучить немецкий. Отбросы, стопорящие интеграцию в германское общество. Растущие у «домов нужды» бледные поганки из холодных восточных земель. Здесь, у нотвонунга, соорудили себе шалаш — целый домик для гулянок, невидимый для глаз бюргеров. Ведь мы прячемся от них, мы не хотим их видеть, а бюргеры — нас, обоюдный интерес. Стащили в закуток между гаражами и проволочным забором скамейки, украли их ночью из сквера неподалеку. Скамейки добротные, деревянные. Соорудили пластиковый навес, чтобы в дождливые дни не мокнуть, как белые люди. Хотя шалаш этот больше напоминает сооруженную из мусора третьего мира трущобу. А вовсе не жилище белых людей. Но скамейки внутри достойны. Здесь нас можно обнаружить регулярно, сюда приезжают компании из других районов, кайзерсвертовские, которых пытается натравить на меня моя любовь, зульцбахские, русаки из района Garath. Сегодня такой день, к нам прибыли гости с других концов города на Дюсселе.

Армян отчебучил, купил пацанам десять упаковок дешевого пивного пойла Schloss, по шесть доз 0,5 каждая упаковка, доза — пятнадцать евроцентов. Часто

балуемся «Замком», а что, мы не «бедные студенты», мы круче — бедные школьники-мигранты! Чувак с погонялом Негр, из кайзерсвертовских, достал гитару, знает наизусть «Сектор газа» (почти весь репертуар), «Агату Кристи» (половину), и еще других исполнителей. Зарядил «Бомжа»: *а я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой.* Мы все эту телегу знаем наизусть, видимо, есть что-то очень близкое. «Замок» уже дает по мозгам, и я решил вырваться из чулана прогуляться. Лезут мысли про Эрику, про Марио, про страх и угрозы его родителей. Как бы уйти от навязчивых мыслей? Помнится, Роберт из Гарата (нет, не ганс — татарин, а на четверть — русский немец) показывал, как забить билетный автомат на станции эсбана так, чтобы монеты застряли, а потом попали в твой карман: подсовываешь бумажку в том-то месте, так-то свернутую, бабло копится, а через какое-то время бумажку вынимаешь, и монеты все застрявшие посыпались, voila. Надо попробовать, в натуре. Адреналинчик. Не совсем я уже в порядке, немного шатает, но ковыляю в сторону городской электрички. Вижу, двое кайзерских ускоряют шаг в мою сторону. Понятно, почему, — Эрика не шутила. Окутывает безразличие, иду как шел, даже замедлил шаг. «Сергей, Эрика нас попросила ей помочь, рассказала нам некрасивую историю. У русаков принято отзываться на просьбы девушек, тем более мы видели, чего ты стоишь в ситуации с Максимом. Ты такой же говнюк, как и твой дружок, и отвечать тебе придется, как и ему». Говорят, ты не думай, мы двое на тебя не прыгнем, выбирай любого из нас, с кем будет драка. Говорю, мне все равно, один из них отходит, второй меня тут же по голове, быстро, несколько раз подряд. Пытаюсь отмахиваться, пару раз попадаю и ему, падаю, подлетает и второй тоже. Пинают меня ногами, колотят, не помню ничего.

Так даже лучше, так даже лучше. По правде говоря, Эрика права, я это заслужил. Ведь еще неизвестно, что случилось с Марио. Я знаю, что он в больнице и, кажется, у него серьезные проблемы с головой.

* * *

Ну, вот и я: красавчик, русак, разбитый, оплеванный, с провалами в школе, с пробитой кастетом личной жизнью и, похоже, с пробитым будущим как таковым. Ведь ясно, ведь понятно, что «анцайге» за нанесение телесных (а, может, и «тяжких телесных» или... «убийство»?) мне не миновать, меня опознали. Наверное, закроют, чалиться по выходным и праздникам. Короче, жизнь провалена капитально. Дез-интеграция моя прошла на пять баллов! Но нет предела совершенству, скоро я лечу на летние каникулы в Россию, и дез-интеграция моя еще более усугубится. Напросился в летний лагерь, вместе с москвичами, на Азовское море. Честно говоря, как это ни странно, с каждым днем мое отношение к Родине меняется, и не в лучшую сторону. Если русаки творят такой беспредел здесь, в «вегетарианской» Германии, то что же тогда происходит «по-настоящему» — там, в России? Через германский опыт моя персональная картина РФ рисуется демонической. Но была не была, Серёга! Хуже, чем сейчас, здесь? Что хуже-то? Еще раз звиздюлей отхвачу? Возможно, очень может быть. Не убьют, чай. Вряд ли.

* * *

В школу теперь не хожу, залечиваю раны. Пацаны тоже взяли справку о болезни у доктора Павелецкого. Этот доктор широко известен в русскоязычной среде, к нему тянутся все, кто хочет откосить от учебы или работы. Немецкий Arzt[1] тебе так просто справку не выдаст, будет обследовать, смотреть, реально ли ты заболел. Да что там, будь у тебя даже и вправду насморк с кашлем, а на работу иди, коренной врач тебе поблажку не сделает — идеальный фрицевский сплав капитализма с трудоголизмом.

[1] Врач.

У дорогого нашего Павелецкого всё по-свойски, оформим тебе отгул, а чего нет? Тем более, с каждой справки и с каждого пациента доктору капает от кранкенкассы, т.е. от германского фонда медстрахования. Ну и пока гром не грянул, то бишь проверка от фонда к херру Павелецкому не пришла, — почему бы не подзаработать? Знакомая философия. Вот такая у нас тут своя тема на разные случаи постсоветской жизни на чужбине.

У пацанов «обнаружили» ангину — днем пришли ко мне «болеть». Макс с Щеглом рвутся отомстить кайзерсвертовским, вынашивают планы. Макса пронесло, немецкие «синти и рома» калекой друга не сделали, и он уже идет на поправку. Так-то наши с ним справки в кои-то веки не липовые, и вправду есть причины отлежаться дома. Может, и «супер-Марио» пронесет, и новый лавер Эрики скоро оклемается?

Об их планах, драках я слушать больше не могу, мне наплевать, чувство мести не обнаружено. Хочется куда-нибудь сбежать. На Азовское море. Вырисовываю себе в голове картины — хочу в летнем лагере показаться гопником. Рассказать, как мы тут в Германии угараем, как мы тут фрицев мочим, как мы тут беспределим. Чтобы не думали, что я под европейца закосил, нет. Какое тут всё дерьмо, как тут гнусно, как я мечтаю о Москве. Но боюсь. Раскусят, по-любэ. Засмеют. Мою крутизну.

Последний раз когда был в Москве, там на каждом углу открыто кассеты «Коловрата», атрибутику всякую неонацистов продавали. *Московские бритоголовые, уходят старые, приходят новые, нас никому никогда ни за что не сломать.* Даже альбом видел, выпущенный вместе с немецкими нациками, просто ахтунг. Эти бараны, «русские нацисты», что, историю в школе совсем не учили? Не поняли, что немцы нас, славян, за унтерменшей считали? Что Гитлер поляков, русских в рабов хотел превратить? Хотел бы я рассказать этим хлопцам, как немцы к русакам относятся, за кого нас тут держат. Что для ганса — хоть «белый» русский (уайт пауэр[1], мать вашу), хоть «черные» араб с негром, — мы все чурки, мы все просто сраные понаехавшие. Что это они у вас в гостях про «уайт пауэр» поют да, небось, русских ваших, типа неонацистских баб, под этим соусом трахают. А приезжают обратно к себе в Германию — и весь ваш «уайт пауэр» превращается в «руссише швайне».

Но не хотел бы я встретить этих неонацистов ночью в опустелой Москве и вступить с ними в спор, нет... Раскусят мою крутизну. Весь мой дюссельдорфский детский сад. Топить за нацизм в славянской Москве, биться с оголтелыми российскими ментами на улицах и стадионах. Вот такая молодежь в России. Так я себе ее и представляю. А мы тут. Мы тут не пойми что. По германским понятиям, может, немного и злые. А в постсоветском разрезе — безобидная шпана, отставшие от стада черные овечки. Только и всего...

Немного страшно. Нет, пожалуй, даже много страшно. Но ведь я хочу быть гопником? Точнее, не хочу, но так уж тут, в Германии, вышло. Другой идентичности у меня пока не сложилось. Вот и отвечу на Азовском море за базар.

* * *

Настал час X, лечу в Москву. Сумрачное предвкушение. В аэропорту встречает папа и, как всегда, довольно долго колесит по столице. Раздражается, матерится на коллег по автотрассам, но по всему видно — он чувствует себя в своей тарелке, чувствует себя хозяином этой жизни. Из магнитолы, как обычно, играет блатняк, но не только. Папа следит и за отечественными музновинками: «Гости из будущего», русский рэп, Михей, Дэцл. Да, отец в России — как рыба в воде.

Едем домой, в его квартиру, и я совершенно очарован, пейзажи завораживают, влюбляют. Каждый раз снова и снова. Я не могу отвести взгляд от огромных

[1] Движение скинхедов White Power.

муравейников, Многоэтажных Многоэтажек. Мегаполис! Родная, Большая Столица! Что вы, дюссельдорфы, против нас, ну что?! Что вы все против Москвы? Столица России схавает вас и сцедит. Вас, уютных маленьких европейцев. Только попробуйте, сукины дети!

Кончал я с девочкой всего один раз в жизни, но даже это было, нет, не совсем то. Верю, по-настоящему кончить можно только здесь, в Москве. Сомнения, страхи развеиваются как дым. Нет, здесь, в родной стране, не может быть хуже, чем там! И никакие российские нацисты, да что там нацисты! Даже они, даже такие идиоты мне ближе любого немецкого самого правильного парня. Всё будет офигенно, всё будет. Не может не быть здесь.

Папа рассказывает, что собирается продавать квартиру, чтобы купить себе еще бо́льшую, ближе к центру — на Бауманке. Кто бы сомневался, папа. Дела идут в гору. Ведь это Москва.

Часть II

* * *

Уже на следующий день отец сажает на поезд Москва—Керчь, я еду в летний лагерь «Новоотрадное» на берегу Азовского моря в Крыму. Папа говорит, что на Украине дешево, чтобы я там разменял сто баксов, мне хватит на две недели. Запасся в поезд куревом — в длинной дороге пригодится, да и будет повод поговорить с ребятами. Все смотрят на меня будто с недоверием, сразу ощущаю себя не совсем на месте. Говорю с одним, вроде очень маленький ростом — но от него несет уверенностью в себе, совсем непривычной, незнакомой. Пытаюсь мысленно сравнить с нашими в Дюссельдорфе, ведь есть у нас уверенные пацаны. Нет, не то. У этого парня взгляд другой, глубокий. Такой, будто: «Я тоже кое-что в этой жизни видел, — камень в мой огород. — Но сделал из всего происходящего противоположный, Сергей, вывод. Интересно, Сергей, а я вот спортом занимаюсь, я кандидат в мастера спорта по акробатике. Да, дерьмо, конечно, случалось. Но гопником я от этого не заделался». Не знаю, почему и как, но все это сразу просвистело, пронеслось — проступило в моей голове. Эти его мысли. Эта данность. Через его взгляд.

Пацанскости мне этот диалог (взгляд) не прибавил. Стал я меньше, тише, осунулся, сижу на своей полке в плацкарте. Пытаюсь прийти в себя и наладить с кем-нибудь общение.

Другой еще такой, пошебутнее, парень взбитый. Шутит всегда, мне разные фразы бросает, а я теряюсь. Рассказал, что из Дюссельдорфа, Германии, почувствовал на себе первые ухмылки. Этот гопничек в спорткостюме — из Германии? У вас там, типа, так лазают, в Дюссель-как?:) Или ты из Одинцово, парниш?:)

Прохожу мимо девушки, она на верхней боковой. Смотрит в упор, сопровождает взглядом. И улыбается. Я не верю, не верю, что так бывает. Что девушки могут быть такими, могут быть собой, могут вести себя вот так непринужденно. Я чувствую *жизнь*. Чувствую, что она приближается. Настоящая, не пластиковая германская. Жизнь.

* * *

Дорога в поезде мне особого сближения ни с кем не принесла, почувствовал на практике, что значит это понятие — «между двух миров». Да, этим летом изо всех щелей звучит Михаил Круг, его только что убили. Но гоп-культура здесь уже другая какая-то, иной культурный пласт. Я тут, похоже, эдакий oldschool-чувачок, просто какой-то парень из деревни. И посему, чувствую, ничего не клеится — утверждаю, что родился в Москве, живу в Германии, а кажусь в лучшем случае отсталым гопарем из пригорода. Видимо, некоторые уже решили про себя, что я гонщик. Что мне теперь делать?

Кинуться всем объяснять, что не гоню, что я просто типичное порождение миграционной волны? Что культура у нас, русаков, — застряла в девяностых, когда большинство и переехало из постсовка в Германию? Так же, говорят, и нью-йоркский Брайтон-Бич застрял в семидесятых. Видел фотки в интернете, там в русских магазах тетки такие в белых халатах и советских колпаках у мясных прилавков, USSR-torgovlya. Кто вообще будет это слушать? Тут пацанам по пятнадцать-семнадцать, они, может, всего по разу были за границей, если вообще были. И представление у них о Западе, мягко говоря, не совпадает с моей жизнью. Этим они мало отличаются от своих родителей — романтиков перестройки и демократии.

Но одно достижение у меня уже имеется, случилось это легко и быстро, и потому понять, что произошло, могу лишь в теории («ведь это так и работает в России, я что, не знал?»). Раз, когда шел за кипятком по плацкарту, девочка эта ко мне обратилась, спросила, как зовут, назвалась Кариной и предложила гонять. У русаков в Германии это как происходит? По пьяни, бывает, замутишь с кем-нибудь быстро, но придется постараться, чтобы русачку заполучить. Они прошаренные, знают, что с немками нам тем более ничего не светит, и ломаются. Но здесь — она *сама* предложила! Вот это угар. Что из этого выйдет?

* * *

Приехали, меня поселили в комнату на троих, один — сверстник из Москвы, положительный парень. А второму на вид лет двадцать пять, не меньше, как он здесь оказался? Ведь это детский лагерь, тут самому старшему семнадцать, насколько я понял, и то его поначалу не хотели брать — уже не проходил по возрасту. А этот — нет, он явно старше, это очевидно. Так и оказалось — двадцать два.

Зовут Олегом, говорит, что за плечами три ходки, говорит, что женщина его — героиновая наркоманка, что здесь он скрывается от мусоров. Заплатил денег, чтобы его в подростковый лагерь вписали. Тут никто искать не будет. Я просто в ахуе. Почему я, почему жить с этим человеком посчастливилось мне? Делить комнату с таким старшаком, даже не старшаком — дядей? Не расслабиться толком, и как он себя вообще вести будет с такой биографией? Вот тебе Сергей Наговицын и Александр Дюмин в одном флаконе.

В первый же вечер завалился ночью в нашу комнату с каким-то жирным мужиком, он тут вроде работает в лагере. Вожатым, я так понял. Пришли с бухлом, а у нас подъем завтра в восемь. Мужик рассказывает, что он из Луганска, приехал подзаработать, с работой у них там худо, думает, где бы бабки срубить. Из Луганска вроде и не хочется совсем переезжать, но чем там заниматься, неясно. Так, перебивается, считай. Олег наседает, иногда слова «по фене» бросает, но редко. Почти не матерится. Говорит, что знает, как и где заработать, рисует страшные картины, говорит, что в Мытищах он ориентируется, знает людей. Говорит, чтобы мы пока вышли погуляли, через часик можем вернуться.

Застал нас с Димой врасплох, мы не знаем, что делать. Идти к вожатым? Так вожатый же и сидит у нас, куролесит. Жаловаться некому, это понятно, да и не стукачи. Вышли в крымскую ночь так, чтобы сторож не запалил, разговорились. Дима из Москвы, любит, как и я, русский рок и русский рэп. Я говорю, что еще слушаю американский, у янки биты качают, хоть и непонятно, о чем базар. Дима тоже говорит, что никогда бы не подумал, что я уже четыре года живу в Германии; в Москве, например, никто из его окружения не говорит «базар». Диалог чутка заглох, я не знаю, что ему ответить, не готов изливать душу. Не сейчас. В то же время понимаю, какое впечатление производит на него мое молчание, но я ошарашен. В натуре, ком в горле. Выдавливаю из себя: «А ты курил траву? У нас там, в Германии, анаша и план доступны, как здесь водяра. Границы с Голландией ведь открыты, а Дюссельдорф почти

на границе со страной укурков! В каждой школе шмалят, отвечаю». Вижу, не помогло, моему «базару» уже не верит.

Возвращаемся в комнату, толстый мужик ушел. Ложимся, Олег встает и выливает на нас чай.

* * *

С утра по плану-сетке — знакомство с территорией лагеря. Где столовая, где медпункт, где кабинет директора и так далее. Конкретно отвык от такой советской терминологии. «План-сетка». «Отряд». «Вожатый». Эти слова произносятся, а значит — мате-риа-лизуются. Все это существует в реальности. Есть понятия, которые забываются, исчезают первыми, когда переселяешься в другую языковую среду, в другую культуру. «Отряд» — точно из их числа. Существуют и будут существовать: борщ, Достоевский, мат, водка, пельмени, Ельцин, Путин, русская попса и рок. Была и будет бытовуха, разговорная речь. Но «отрядные линейки» и «оргхозчасы» — если когда и были, то в Дюссельдорфе молниеносно исчезают из твоей реальности, их нет. Но у меня они появились.

Нам представили сотрудников, толстяк из Луганска оказался не вожатым, а «заведующим хозяйством». «Администрацией» в одном лице является Светлана Георгиевна, директор летнего лагеря. Женщина лет пятидесяти, держится важно, с другой стороны, в глазах проскальзывает безразличие или усталость. Может, мне показалось. После первых часов в Новоотрадном подвох ищу во всем. Вожатой нашего отряда оказалась девушка восемнадцати лет, выглядящая моложе многих «детей». И ведет себя так же, как и все остальные. Что она тут с нами «навожатит», в чем ее роль? Угарно.

После официальной части парни зарядили в настольный теннис. Здесь мне тоже не удастся проявить себя, никогда не увлекался этой игрой, разве что иногда в большой теннис рублюсь. Шебутной из поезда предлагает сыграть, я отмазываюсь и иду один к морю, время до обеда еще есть. Вижу, некоторые девочки тоже здесь, и Карина среди них. Мы вроде как гоняем, нужно подойти, по-любому. Подхожу, бормочу что-то, но она реагирует так, будто я нарушил какое-то табу, — сейчас она говорить не может, а увидимся мы сегодня в восемь вечера тут же, у моря. Ну, ништяк, хорошо, сегодня вечером у моря. Пусть так.

Иду один по песку, маюсь. Думаю про Эрику, про Макса, про Щегла, про Боруха, Армяна. Про Марио. Всё ли с ним в порядке? Как там наша «деревня на Дюсселе»? Неспокойные предчувствия сами собой возвращают обратно в наше германское болото. Вижу Олега у пляжного бара с какими-то потасканными бабами. Я видел их уже на территории лагеря. *А чё это вы здесь делаете, а?* — не в тему всплыла в голове цитата из старого кинофильма про пионерлагерь, десятки раз в московском детстве пересмотренного. Какой уж тут советский кинофильм, это Новая Россия во всей своей красе. Блатняк и ленты про бандитов. Как Олег успел с ними со всеми скентоваться, с этими бабищами жирными, как он их вычислил? Ведь безошибочно определил, именно эти мутные персонажи и составили ему компанию, не успел он заехать вместе с нами в лагерь.

Пора в детлагерную столовую. *Пока я ем, я глух и нем.* Отведаю, покушаю. Гремучую смесь из советского пионерлагеря, новых русских реалий и меня, придурка, прикатившего из заповедного Дюссельдорфа.

* * *

Вечером с Кариной, хочу ей понравиться, но не знаю как. Она тоже не может начать разговор, а когда говорит, мне кажется, что это поток банальностей; понятно, на два года меня младше. Когда говорю я, то она меня обрывает, ей тоже непонятны и, чувствую, неблизки мои мысли. Я и сам себя не понимаю, я — смесь бульдога с

носорогом: русский-русак-(недо)немец-унтерменш. Но я могу сказать, что Карина красивая, это факт. Я попробую найти общий язык, может, что-то получится. Может, сблизимся. Она далека пока, но даже так, даже сейчас — моя эмоциональная поддержка в наступающем крымском безумии. Как ни крути, но бабы — реальная поддержка. Я постигаю эту прописную истину.

Чувствую себя хорошо, вся моя жизнь впереди, вашумать! Пусть будет Олег, сегодня он здесь, а завтра его нет, и меня здесь завтра нет. Какой след он может оставить в моей душе, разве может? Карина, пусть даже такая, как сейчас, — может и уже оставляет, я буду это помнить. Закорешусь с пацанами, какой разговор! Сегодня перед отбоем у нас «круг знакомств», ржу, вспоминаю кружок дюссельдорфских молодых христиан. С другой стороны, как раз такая-то параллель и не веселит, не хотел бы я оказаться на месте того еврейчика, зачмырённым. Расскажу о Германии, какие слова только подобрать, чтобы было понятно, что я русский, свой? А не тупой гопарь. Надо показаться нормальным пацаном и перед другими девушками на случай, если наши мычания с Кариной так и не закончатся, а трогать друг друга мы так и не начнем. Ведь с Кариной пока что — настоящее дежавю, все повторяется так же, как и с Эрикой. Мычания, непонимание.

Но нет. «Круг знакомств» прошел невнятно. Каждому нужно было всего на четыре вопроса ответить, по кругу: «В каких оздоровительных лагерях уже побывал?» — ни в каких; «Какие мероприятия, проводимые в них, можно было бы провести и в нашем лагере?» — без понятия; «Чем бы хотел заняться в лагере?» — без понятия; «Круг твоих увлечений» — я... музыку слушаю. Про Германию речь не зашла, и слава богу, наверное. Но и хоть чем-то выделиться не вышло. Так я быстро за интроверта сойду. А, может, я и есть интроверт? А про какие увлечения мне нужно было рассказать, про водку Gorbatschow, про наши разборки с гансами? Я не знаю. Думаю о сексе, засыпаю, Олег, кажется, с теми бабами, они у нас уборщицы. Они орут и матерятся, забухали, нас с Димой обнимают, мы с ними совокупляемся. Олег кричит мне: «Майн Фюрер!», я говорю: *Ich zerfleisch dich, einfach weil du Toy bist*[1], негр приходит с гитарой, мы поем песню из альбома «Танцы после порева», бухаем, Дима достает еще одного Puschkin'a, я рассказываю что-то про наши похождения, все угарают. Приходит Эрика с кайзерсвертовскими, они пытаются на меня наброситься, Олег все разруливает, Марио воскрешает, знакомлю его с пацанами за гаражами, мама звонит, зовет домой, «мам, попозже приду», мне удар по ребрам.

* * *

— Просыпайся, майн фюрер!

Олег будит.

— Ты правда из Германии? Рассказывай, как там народ живет.

— Олег, что за беспредел ты сегодня ночью устроил, почему ты нас бил во сне?

— Мой фюрер, ты такими словами не разбрасывайся, «беспредел» (улыбается). Рассказать тебе, что такое беспредел? Я тебе расскажу про себя или про жену, как мы сидели на зоне. Про то, как жену подсадили там на иглу, и она уже три года не может с нее слезть. А мы — погуляли немного, ты по этому поводу не переживай. Если что с тобой здесь случится, майн фюрер, я тебя в обиду не дам.

Мимика у Олега сейчас странная, такое полуотеческое выражение лица, а одновременно и физиономия убийцы, маньяка, который разорвет тут же на куски. Нагнал жути, я побежал умываться и до столовой. Идем с Димой, мне нехорошо, мерещится, что встретили Эрику и Марио, а рядом еще и Карина. Эрика ведет себя в грезах странно, чувствую, уже не хочет мне мстить. Неужто, в натуре, Олег их спугнул? Или, может, правда — она меня любит? Остыла, погорячилась и готова

[1] «Я растерзаю тебя, потому что ты игрушка» — Bushido.

простить? Марио, смотрю, тоже в порядке, небольшой только шрам остался справа на лбу. Он мне подмигивает и улыбается. Думаю обо всем этом я, брежу, а рядом Карина начинает ревновать. Конечно, видит, что я не о ней, вообще в ее сторону не смотрю, и начинает кипишиться.

«Кипишиться». Такими словами тоже не бросаться, это из фени, интересно?

В столовке вижу, что мы не одни в этом пионерлагере. За столами слева от нас — еще одна группа, не наша. Одежда и лица попроще, совсем замызганного прикида. Мне говорят, что это детдомовские, из Москвы. Приехали. Большей проверки «на слабо» быть просто не могло. Вот и Олег опять тут как тут, что-то шутит, угарает с пацанами из детского дома. Скоро и они будут у нас в комнате зависать, в воду гляжу!

Эрика с нами есть не стала — меня чутка отрезвило, а Карина села подальше, но время от времени кидает взгляды. Пусть. Может, на дистанции я ее больше заинтересую, ведь так бывает? Эрика идеально владеет этим приемом — держать меня на дистанции, как на жесткой сцепке. И меня это всегда жутко интриговало, как уничтожить эту дистанцию? Вот игра! — достойная приложения всех мужских усилий. Так работает ли это наоборот? Состроить из себя безразличного хахаля?

Положение вещей меня забавляет, реальность едва ли выносима, а что, если я чуть отстранюсь? — проведу время только с Кариной, немного разбавляя общение с ней видениями, призраками из Дюссельдорфа? Глядишь, так время в Крыму и пробежит, а я — быть может — даже подучусь общаться с девушками. С обеими. Эмоциональный пинг-понг: то Карина, то воображаемая Эрика. То Карина, то Эрика. То Карина, то нет. Я буду шутить то с одной, то с другой, буду гулять с ними попеременно и — вместе! Может, такая ситуация притянет Карину ко мне, и мы станем много и глубоко общаться? Кончатся мычания?

Хотел бы я иметь настоящие отношения с девушкой, чтобы можно было непринужденно говорить, делиться всякими пустяками. В Москве, на Анадырском, я больше с девочками общался, чем со сверстниками-мальчиками, раньше мне это нравилось, я умел с ними обращаться. Естественно шутить, что-то уверенно рассказывать, купаться в их внимании. Я нравился многим. Даже мог выбирать. Они шли мне навстречу, я это хорошо помню. Но сейчас, после жизни в Дюссельдорфе, я больше не умею с ними быть. Пока что еле научился вновь общаться с парнями. После нескольких лет редких встреч с немецкими «друзьями», а по большей части — просто изгойства.

Хотел бы я танцевать с ней под «Тату» и «Дискотеку Аварию», а лучше под Доктора Dre и Мастера P! Хотел бы я с ней слушать Летова и Шевчука, может, даже политику обсуждать? Раньше я много говорил про политику с отцом, последнее время, правда, от всего отстал, он уже не говорит, что я на удивление хорошо врубаюсь в политические процессы на Родине. Конечно, мне уже не десять лет, чтобы меня хвалить как ребенка. У меня есть одно банальное увлечение с детства, привычка, ребячество такое: рисовать войнушку, солдатиков, схематично: палка-палка-огуречик. Я тот еще художник. Прикол, незадолго до Новоотрадного войнушку между Россией и Украиной нарисовал, а сейчас вот в Крыму, на Украине. И парень тут есть один, Женя с кудрями, москвич, но говорит, что украинец, так себя ощущает.

Мне это интересно. Как можно быть украинцем в Москве? Он же не знает «своего» — украинского — языка. Еще у нас тут парень из Башкирии, Артём. Тоже его расспрашивал, как там вообще, на русском ли все говорят, или там своя тема — башкирская? Он сказал, что я гоню, свои особенности, в натуре, есть. Попаду ли я когда-нибудь в эту Башкирию, в Уфу, где живет Артём? Я бы хотел изучать такие места.

И обсуждать их со своей девушкой. Выходит, свои мечты-желания есть и у меня. Может, примитивные.

* * *

Сегодня вечером на пляже дискотека. В этом сезоне отовсюду играет диджей Silence, я тоже подсел. Спляшу нетривиально! Пару раз был в Германии на русских дискотеках, это особая история. Еще один сюжет, которого местные россияне и украинцы просто не смогли бы понять. На наших германских русских дискотеках обычно играет попса девяностых вперемежку с новыми хитами от местных русаков вроде «Фактора-2». Попса тех лет, когда мы все приехали в Германию, наша застывшая русская эпоха, в Германии мы вечно девяностые. «Зимняя вишня» и, конечно, Юра Шатунов, тоже, кстати, теперь уже русак, ведь Шатунов живет в Гессене. Но иногда включают и «Агату Кристи».

На диско я пойду с Кариной, хочу с ней закружиться, показать ей движения своего тела. Прекрасно, в танце не нужно ничего говорить (тем более если говорить не о чем), лишь движения, взгляды, прикосновения, физические намеки. Я уже танцую, и вот играет «WWW Ленинград», DJ Silence, Club Halay; вот пришли девочки из детдома, я пускаюсь в центр танцевальной группы, я выкрикиваю «Россия!», «Россия!», «Германия!», «Казахстан!», «Афганистан!» — те страны, откуда родом наши пацаны. Девочки подхватывают, и мы начинаем кричать все вместе. Полный экстаз — я руковожу процессом веселья на дискотеке в Крыму! Но мое лидерство длится недолго, ко мне выскакивает парень из нашей группы и что есть сил толкает, кричит, чтобы я заткнулся, иначе мне разобьют лицо. Что я, тварь, похоже, забыл, что наши полегли в Афганистане, и кричать «Афганистан» — это плевок в сторону всех русских. Я в шоке, меня застали врасплох, ни о каком плевке в сторону русских я и думать не думал.

Никакого танца с Кариной не получилось, меня вытолкали, прогнали еще до того, как она пришла. Хорошо, что она не видела мое унижение. Скажу, что нужно было уйти раньше, что я забыл о кое-каком невыполненном деле...

* * *

Нужно что-то предпринимать, мне кажется, что я в шаге от того, чтобы оказаться в изоляции, лохом. Я не мог подумать, что эта наша яма между культурами настолько глубока, этот наш загончик недокультуры русаков Германии настолько оторвался от Большой Земли. Кажется, всё, что я бы тут ни делал, все неправильно, воспринимается в штыки. Я попробую наладить связь с московским украинцем и его другом Вовой, они потише, зависают обычно вдвоем. Может, удастся проводить время с ними и с моими призраками. Карину я пока видеть не могу, вдруг ей уже шепнули, что со мной было на пляжной дискотеке?

Вова-очкарик, с крашеными волосами, читает «Гарри Поттера». Как может пацан читать эту белиберду, я опять ничего не понимаю. Про каких-то детей и волшебников. Я не знаю ни одного русака у нас в Дюссельдорфе, кто читал бы подобное. Я говорю ему, что это чушь, рассказываю им про Олега, они, оказывается, уже что-то слышали о его похождениях. Кто-то обворовал парней в соседней комнате, подозревают его.

Делюсь с парнями здешним своим опытом, чтобы с ними завязать разговор да и чтобы попытаться что-то понять для себя, излить душу. Спрашиваю, что это за реакция была на «Афганистан», этот парень что, неонацист? Женя говорит, что да, вполне вероятно, выглядит он как раз как ультраправый фанат. А что вообще подбило кричать «Афганистан»? Я говорю, что у меня друг есть оттуда, рассказываю истории про наших пацанов и для правдоподобности демонстрирую знание немецкого, чтобы

не подумали в очередной раз, что я гоню. Женя и Вова явно озадачены, что-то в их картине мира конкретно не сходится, точнее, я и есть тот самый несходящийся элемент. Им пришлось поверить, что я в натуре из Германии, слишком хорошо говорю по-немецки, да еще фактически без акцента, им понятно, что ни в Одинцово, ни в какой иной дыре я так выучить язык просто не мог. Но почему я так выгляжу, почему я так «базарю», почему я вообще такой тип? В их глазах недоумение. С ними я пытаюсь объясниться. Рассказываю про то, как мы там росли, про то, как меня не принимали гансы, про нашу компанию. Вроде бы им удалось понять лишь то, что я из «русского гетто», наподобие недавно запечатленного нью-йоркского в «Брате-2». Возможно, больше понимать и нечего.

* * *

Следующим утром я просыпаюсь без кошелька. Наша комната на последнем этаже, в комнате никого, настежь открыто окно. Интуитивно тянусь к окну, через него вылезаю на крышу и нахожу там свой бумажник. Естественно, пустой. Кто это сделал, я знаю, и это был не Дима.

Говорю Олегу, чтобы он вернул мне деньги, что это единственные деньги, которые у меня есть на все время, а быть нам здесь еще полторы недели. Олег клянется, что деньги он не брал. Майн фюрер, говорит он, расслабься, твоих денег у меня нет. Давай немного сбавим накал страстей, майн фюрер, я смотрю, у тебя уверенность. Ты знаешь, сколько людей в этом корпусе живет? Или у тебя, возможно, есть какие-то доказательства? Хочешь в мои карманы заглянуть? — хочешь? Так в чем проблема? где твои деньги, я не знаю, но ты не переживай. Я тебе подкину на пиво и газировку, когда понадобится, по рукам, майн фюрер? Вот и славно, а ты разнервничался. Бывает, время такое, сам знаешь. Мы же тут не в Германии, что поделать. Но мы с тобой еще погуляем, приходи сегодня вечером на пляж, я тебя угощу пивом, не вопрос.

Я плыву, надо пообщаться с Эрикой, как-то разрулить ситуацию. Как мне быть, meine Freundin, каким ты хотела бы меня видеть в этой сложности? Рассказать соседям? *Die werden doch sagen: das ist doch der SpaBtie, der mit ihm zusammen wohnt. Dieser Wichser, der so tut, als ob er auch aus dem Knast ist, oder von der StraBe. Versteht du?*[1] Они не поверят, может, я с ним заодно и беру их на понт? Заявить директрисе? Но я же не стукач, и потом, он узнает, завхоз с ним мутит. Примкнуть к нему, присоседиться, пойти с ним бухать пиво за мои и у других пацанов украденные деньги? ...Нет, я не могу, что он после этого решит... что обо мне скажут, что я о себе подумаю... Но я уже не знаю, слышишь? ...Всё тут и так пошл*о* через жопу, почему и не войти с головой в бандитский шалман? Я подумаю-подумаю... *Эх, море чёрное, солнце печёное, рыбка копчёная... Кабачок по кайфу здешний, и под зонтиком хэбэшным...* Эрика, мон амур, я подумаю и тебе скажу, ништяк?

Но Эрика лишь неодобрительно-сочувственно мотает головой. «Смотри, Серёга, не натвори такого же дерьма, как с Марио. В России ведь пинками от кайзерсвертовских не отделаешься».

* * *

Знаете что, пацаны, Женя, Вова, у меня тоже спиздили деньги. Да, украли, но Олег говорит, что не брал. Кажется, я ему не верю, но он мне как-то ловко присел на уши и обратной дороги нет. Когда он со мной говорил, да, я был уверен, что не он меня обобрал, и это ему подтвердил. Походу, меня развели. Но вы сами его видели, я не знал, как себя вести, понимаете? Растерялся. А сейчас у меня ни копейки. Видите, что здесь творится? Мне кажется, мы могли бы ночью обчистить киоск, тот, у входа в наш корпус. А что? Кто на нас подумает, а? Когда здесь Олег со своей шайкой, ну? Я думаю, надо попробовать.

---

[1] Они ведь скажут: это ведь тот урод, который с ним вместе живет. Этот дрочер, который делает вид, будто бы он с зоны или с улицы. Понимаешь?

Парни неожиданно согласились.

Так а что, почему и нет? Хоть я и не понимаю, как они могли согласиться: Женя, патлатый украинец с кудрями, он не похож на шпану; и Вова в очках, любящий «Гарри Поттера». Почему они согласились? Опять я потерял берега. Вова еще и говорит: вы постойте-ка на стрёме, я худее вас двоих, полезу я. И полез, и вытащил: тележку газировки и маленький вагон закусок, шоколадок и чипсов. Больше ловить в киоске было нечего, ведь он был на территории детского лагеря. Нет, я не вижу берегов, совсем сейчас темно, но тем не менее я рад. Даже очень. Теперь у меня хоть с кем-то отсюда совместный опыт, и какой! Он непростой, даже опасный. Никто об этом не узнает, и этот опыт-секрет нас сплотит.

Я угощу Карину, мы всё поделили справедливо. Только всё это останется у пацанов, нельзя светить добро Олегу.

* * *

На следующий день Олег познакомил меня с Ваней, детдомовцем. Ему всего пятнадцать, но он крупный и не похож на русского, хоть и зовут Иваном. Весь заросший, густые брови — вылитый южанин. Ваня добряк, Олег говорит ему, чтобы он стоял и палил в коридоре, а Олег тем временем ходит по ночам по комнатам оздоровительного лагеря и ворует у нас деньги. Ваня стоит палит. Но кого он должен высматривать? Все и так знают, что обчищает нас Олег, но никто не решается на него настучать. В нашу-его комнату тоже приходят, тоже говорят: Олег, я видел, как ты украл у меня то-то, верни. Своими глазами видел. Но Олег заставляет сомневаться, берет на слабо (знаю этот термин по Дюссельдорфу). Он говорит прямо: слабо в мои карманы заглянуть, слабо в мои тумбочки залезть, пошарить, где твои вещички? Вот и не гони, пацан. Нет ничего, не брал я, тебе причудилось. Олег кажется нам всем опасным. Но ведь можно тогда попробовать надавить на добряка Ваню?

Парни из соседней комнаты говорят, обступают Ваню: мы все знаем, что это вы с Олегом у нас крадете. Мы вас и сфоткали уже: и тебя, и Олега. Доказательства есть. Мы тебя сдадим ментам, колись, что это Олег ворует. Признавайся, Иван. И тебя отмажем.

Простой Ваня колеблется. Он готов рассказать директрисе (а она, типа, не знает! вот же двуличная сука).

Олег спрашивает меня, что за речи до меня доносятся? Отдыхающие позитивны, и стали даже какими-то подозрительно самоуверенными, майн фюрер, смотрят на меня. Что за движения, Серёга? Я колеблюсь. Может, все-таки присоседиться, войти в бандитский шалман? Снискать доверие настоящего уголовника? Будет чем похвастаться перед своими в Дюсселе! Да и так всё через жопу. Я говорю Олегу, намекаю: в общем, похоже, может статься, на твоих подельников надавить решили. Имен не называю. Может, на толстого из Луганска подумает или на уборщиц? Олег выражает свою благодарность. Молодец, майн фюрер! Ничего, мы эту ситуацию разрешим, вот увидишь. Говорит он.

* * *

На следующий день Олег, решительный и радостный, объявляет: майн фюрер! Сегодня после ужина в честь тебя и нашего знакомства будет представление на пляже. Обязательно приходи, мой юный немецкий отдыхающий. Олег сообщает и остальным. Я взволнован, я в предвкушении. Что ожидается?

Вечером после сытного оздоровительного ужина мы все на пляже, процентов семьдесят всей нашей группы. Олег объявляет представление. Дорогие гости. Сейчас я дам Ивану в рот в присутствии нас всех. Иван решил меня сдать милиционерам, меня оклеветать, я об этом узнал, ведь мир не без правильных людей. И в честь этих юных, но уже думающих людей я и совершу это справедливое наказание. А когда мы вернемся в Москву, я отрежу Ивану ухо. Уж таковы наши традиции.

Олег приказывает Ване встать на колени. Иван, этот крупный южанин, совсем

не в состоянии совладать с собой. Он просит прощения. Он начинает биться, метаться в кругу столпившихся, говорит, что он не собирался ничего рассказывать, да и о чем рассказывать? Он просит, чтобы окружающие подтвердили его невиновность. Как загнанный крупный зверь. У него проступают слезы. Мы все парализованы. Кто-то решается сказать, что ничего Иван не собирался рассказывать, это неправда, это гон. О чем рассказывать? Ничего не было, ничего Иван не собирался выдавать. И еще кто-то, пытаясь сглотнуть-выплюнуть ком в горле — подтверждает. Ничего не выходит, мы все неубедительны, мы плохие актеры, эмоции нас захлестнули, и мы стоим, желая только одного — чтобы этого всего не было, чтобы нас здесь не было. Сбежать. Но никто не бежит, нам нельзя бежать, мы все так почему-то решили. Почему? Почему?

Олег засовывает Ивану свой член в рот, где-то на полторы, максимум две секунды. Нет, кажется, это длилось секунду и четверть секунды. Тут же в кругу стоял толстяк из Луганска и смотрел на меня. Олег спокойно отпускает Ваню, и Ваня уходит, сначала медленно, затем ускоряя шаг, и уже скрывается вдали. В лагерь он уже не вернется, а послезавтра нам всем ехать обратно в Москву.

После «представления» еще и вечеринка сегодня, Вова и Женя сказали мне накануне, что последняя — главная вечеринка лагеря, когда девочки готовы гулять с тобой всю ночь, а там... Уж как сложится, но многое возможно! Традиция Новоотрадного, как и всех остальных наших детских лагерей. Действительно, Карина меня реально уже спрашивала — какие у меня планы на этот вечер, она хочет провести со мной времени побольше. Я был удивлен, ведь мы с ней последние дни почти не виделись, я не мог из-за событий вокруг. Я даже с трудом общался с призраками, Эрика — видение неразговорчивое, ничего посоветовать мне не смогла. Чуть больше мне рассказывал супер-Марио, он говорил, что с ним всё в порядке, он абсолютно в норме. Значит, я могу спокойно возвращаться домой... домой, в злополучный Дюссельдорф.

Я сказал Карине, что сегодня увидеться с ней не могу. Знаете что, пацаны. Кажется, из-за меня уже второй человек подряд, всего за несколько недель, оказался под угрозой смерти. Кажется, сегодня я потерял свою историческую родину.

Не успев приобрести новую.

Мысленный диалог I

Серёга: Эрика, давай хоть раз в жизни по-настоящему пообщаемся. Знаешь, ради тебя я сегодня отшил другую телку.

Эрика: Серый, не ври. Ты отшил ее не из-за меня. Ты всегда пытался из себя кого-то состроить, поэтому я от тебя и ушла. А не потому, что мне срочно понадобилось учить немецкий. Да плевать мне на этот немецкий. Никуда мы уже не денемся с этого корабля, из этой Германии. И выучить язык — уж как-нибудь выучу, вся жизнь впереди. Но только не с таким неопределившимся мечтательным придурком, как ты.

Серёга: «Неопределившийся мечтательный придурок»? Ты о чем?

Эрика: Серёжа, ты постоянно ныл и толкал мне свой детский лепет про ужасную Германию, про своих «русаков», которых все вокруг не любят. Хочешь, я тебе расскажу, как меня полюбили в Новосибирске, на мой тринадцатый день рождения, с водкой и толпой? Про нашу гадкую дыру на окраине, про свою двоюродную сестру, которая пишет мне каждую неделю? Она работает в киоске в нашем районе, там, в Новосибе. Она уже резала себе вены после того, как ее пытались в четвертый или пятый раз пристукнуть пьяные ублюдки, которым не хватало на бухло. Это всё, Серёжа, я тебе уже рассказывала. Но ты меня не слышал, ты всегда слушал лишь свое собственное сраное инфантильное нытье.

Серёга: Любовь моя, может, тебе напомнить про наших родителей? Про твою маму, например, которая, не успев перебраться из Сибири в нашу дюссельскую

деревеньку, дала первому встречному-поперечному? Как у нее здесь снесло башню? И семья ваша чуть не накрылась медным тазом. С кем бы ты осталась, с отцом или мамонькой?

Эрика: Серёжка, знаешь, в чем твоя, придурок, главная проблема? В том, что ты — дебила кусок — отчего-то решил, что все наши проблемы, какими бы они ни были у нас тут в Гермашке, не возникли бы, останься мы все в твоей сраной, богом забытой России. Нет, конечно! В РОССИИ! Слышишь, В РОССИИ! Наши мамы *никогда* бы не дали «первому поперечному», а наши отцы *никогда* бы не стали теми никчемными дерьмовыми семьянинами, от которых все бабы бегут, и толку от них — как от козла молока!

Серёга: И что ты хочешь этим сказать, Эрика?

Эрика: Я хочу сказать, что люди везде одинаковы, понимаешь, мой ненаглядный ребяческий друг?

Серёга: Это и есть твой высший, оригинальный, как «дважды два», вывод?! Что прикажешь с этим знанием делать, как дальше жить, мать твою, как?!

Эрика: Живи как и где хочешь, придурок. Но от за-коль-цо-ван-ности жизни тебе все равно никуда не убежать. В чем ты сегодня на собственной шкуре и убедился.

Серёга: Шо це таке — закольцованность?

Эрика: Это, Серёжа. Когда ты себя зароешь и наломаешь дров вне зависимости от страны и сиюминутного окружения. Потому что внутри — лажа. Усёк?

И за это тебе потом приходится отвечать.

Серёга: Да, а чо. Убедительно.

Мысленный диалог II

Макс: Что ты опять натворил, Серый? Что с тобой происходит вообще?

Серёга: Кажется, я тут в Крыму сдал одного парня больному уголовнику, на ровном месте. О наших германских делах ты тоже знаешь, и они тоже нерадужны. Солнце перестало надо мной светить, Макс. Мне хочется удавиться, не быть, как никогда прежде не хотелось. Даже после того, как я оставил тебя цыганам, даже после того, как Эрика ушла, — было легче. Теперь всё вместе легло на душу камнем. Понимаешь?

Макс: Серый, помнишь те несколько недель в компании, когда к тебе чуть не приклеилось погоняло Чужой? У тебя тогда была стрелка с одним русаком из твоей школы, над которым мы стебались. Он забил тебе стрелу, пришел и кричал, чтобы ты дал ему по морде, «раз ты такой крутой и любишь издеваться над другими». Ты долго не решался, но потом вмазал ему, но дальше — стоял как вкопанный, в то время как он тебя молотил. Что это было, Серый? Мы так тогда и не поняли, и Армян после прозвал тебя «чужим».

По-моему, сейчас с тобой что-то похожее. Жизнь тебя молотит, а ты перестал сопротивляться. Как будто даже ищешь новые пропасти. Что и кому ты хочешь доказать этими антидвижениями?

Серёга: Я унтерменш, Макс. Недочеловек. И движения мои потому «недо-». И помыслы мои, стремления, и вся моя гадкая жизнь. Я перенял повестку господина Гиммлера, пропитался ею. Так же, как мы с тобой пропитались водкой, потому что считали, что русский всегда пьет белую. Но я уже не просто русский, как и ты. Я — «русак». Русский в кривом зеркале немецкого общества. Такой русский, каким меня видит Герр Ганс, хозяин мигрантов не со времен нацистов даже, а со времен каких-нибудь крестоносцев. Я есть примитивный, подлый и разрушительный.

Макс: Брось это самобичевание, Серый. Эту самоуничижительный бред. Какой-то Гиммлер, унтерменши. Отбрось это жалкое мудрствование как ненужную мешающую шелуху.

Серёга: Тебе легко говорить, Макс. Ты прямой и несгибаемый, как железная палка. А я худощавый гуманитарий, все, что мне когда-либо было интересно, — это

тексты, политика, социум и тому подобное. Всякие социальные концепции, обоснование нашего существования.

Макс: Ну и куда завели тебя твои концепции? И как они вяжутся с тем, что ты бросил пацана на растерзание уголовнику? Ты своими действиями хочешь подтвердить недоконцепцию Гиммлера, в натуре считаешь себя недочеловеком?

Серёга: Я всех нас считаю недолюдьми, всю нашу компашу. Я ищу хоть какое-то обоснование нашему существованию в Германии, нашему зависалову. Раз уж я оказался пятым колесом в Дюссельдорфе, почему бы не доказать, что так оно и есть, мы — пятое колесо?

А также ищу обоснование взгляда на Россию со стороны Западной Европы, и еще — сейчас, например, — взгляду на Россию изнутри. Ведь в России, Украине, Казахстане, во всем этом «нашем» пространстве — всё действительно настолько плохо, как и показывают по немецкому ТВ. Да еще хуже. Ты посмотри на эту мою историю. Уголовник за какую-то взятку начальству детлагеря обворовывает и насилует нас. Разве такое может происходить, если мы — не унтерменши? Разве какой-нибудь российский чиновник не считает себя в подсознании унтерменшем, примитивным ублюдком, неспособным ни на какое созидание, вообще ни на что, кроме воровства? Ворует, разрушает и отправляет своих детишек учиться в элитные школы Британии. И нашей в Германии, под крыло своих хозяев-уберменшей. И строит себе на ворованные деньги виллы на Западе.

Ведь так всё и есть, скажи?

Макс: Какое еще «обоснование», Серый? Ты хочешь сказать, что вот эта череда твоих обломов — это поиск какого-то там «обоснования»? Может, еще скажешь, что это «научный вклад», а?

Серёга: Нет, ты прав. «Поиск обоснования» не в буквальном смысле, конечно. Это всё происходит стихийно, бессознательно. Помимо моей воли, наверно. Не буду же я всерьез говорить, что мечтал вскрыть голову Mario или подло оставить тебя той ночью на убой гопникам с ножами. Или вот сейчас этот случай с парнем из детского дома.

Макс: Серый, я не могу больше слушать эту муть. Ты же знаешь лучше меня, как любящий историю. Что вся эта концепция «унтер-» и «уберменшей» полетела к чертям от рук тех же самых, кто ввел ее в оборот. «Уберменши» сжигали людей в печах, делали из людей мыло, сжигали целые деревни вместе с женщинами и детьми, насиловали, стучали на соседей и сдавали их в Гестапо, верили в свое превосходство; а потом сами же и обосрались, закидали уберменшей бомбами, прошлись по ним танками, и дело с концом. Оказалось, что сверхчеловеков полубогов могут завоевать «жидобольшевики» и «жидокапиталисты». Уберменша скинули с им же придуманного пьедестала, и оказалось, — уберменш творил такие же гнусные пакости, военные преступления, так же вел собственную страну в мрачный тупик и разруху, как и те, кому уберменш это все приписал. Да, в России и Казахстане сейчас жопа, мы с тобой знаем, а ты еще и в такое дерьмо влез. В Германии у гансов — сейчас относительная лафа. Но были времена и другие, когда гансы были уберменшами, например. Или во время Тридцатилетней войны в семнадцатом веке, когда гансы-католики и гансы-реформаты реально на протяжении десятилетий вскрывали друг другу головы на ровном месте, и жилось тут несладко. Да мало ли таких примеров. Мои предки-немцы, думаешь, от хорошей жизни в Российскую империю сбежали в свое время? Кончай это нытье, Серый, и заруби себе на носу — ты унтерменш, покуда себя сам таковым считаешь. Перестань им быть, перестань мудрствовать и х*йнёй страдать, и дело с концом.

Серёга: Слушай, Макс, а это ты ли вообще? Не знал, что ты про Тридцатилетнюю войну читал.

Макс: Нет, конечно, меня здесь нет, это ты сидишь и сам с собой базаришь на берегу Азовского моря. Видимо, чтобы окончательно не повернуться головой после своих эскапад.

Серёга: Ясно. Спасибо, Макс. На самом деле, это и ты тоже. Ты отличный друг, Макс. Хочу, чтобы ты знал. И хороший человек. Я знаю, что ты поддержишь меня в любых ситуациях. Даже если тебя нет рядом. Своей стойкостью, что ли. И верой в людей вокруг себя. Ты меня сейчас поддержал, без тебя я бы, и правда, поплыл головой. Немного собрался.

* * *

Можно ли и вправду вот так взять и перестать быть унтерменшем? И что это будет для тебя означать — *перестать им быть*? Потеряешь ли ты тогда часть своей идентичности? Или никакого отношения к идентичности вся эта «муть», как сказал Макс, не имеет? Все эти принципы и лайфстайл «русаков». Да и какие у нас принципы? Отвечай за базар; стукачество — это дрянь; люби Россию на расстоянии; ходи на русские дискотеки; дай обидчику по физиономии. Кажется, и впрямь так себе тянет на целую идентичность или хотя бы на ее часть. Ну а вот чтобы свою идентичность найти, тут есть несколько сценариев развития событий. Например, удариться в профессию, стать профессионалом в каком-то деле, неважно где и в каких обстоятельствах. Прочитать Тургенева с Пушкиным, немножко поближе познакомиться с русской культурой. Приблизиться к «русскому», удалиться от «русака». Прочесть Гёте с Генрихом Бёллем и тексты каких-нибудь современных немецких литераторов. Вступить, например, в какую-нибудь левую германскую партию, в которой будут рады повесить предвыборный плакатик с твоим лицом и не-типично-немецкой фамилией в районе с большим процентом «людей с миграционным фоном». Чтобы те глазели на плакатик и думали: во, смотри, в натуре. Наш брат тут тоже пробиться может! Скорее всего, тебя никуда не изберут, но плакатик свое дело сделает. Стать каким-нибудь «общественным деятелем», «последовательно» и постоянно критикующим Россию и «кровавый режим», работая на западный медийный рынок. Жить, конечно, в Берлине. Чтобы тебя показывали, как забавную зверюшку, милого тушканчика на разных семинарах или даже ООНовских или ОБСЕшных слетах — глядите, мол, даже сами русские ненавидят герра Путина! Еще один сценарий, похоже, самый сомнительный, глядя на события в детлагере: окончить школу и вернуться обратно в Россию. И тогда — наоборот: вступить, например, в «Единую Россию» и рассказывать, как же ужасно жить в загнивающей Европе. Гей-парады и содомия кругом, и чурки захватывают города. Чтобы тебя показывали, как забавную зверюшку, милого тушканчика на разных семинарах или даже целых Съездах Партии. Скорее всего, в России тебя тоже никуда не изберут, но выступления твои свое дело сделают. Или, вот еще вариант, самый очевидный, путь самый прямой: особо ничего не меняется. Ну, то есть немного меняется, конечно. Так, со скрипом. Ты прочитаешь парочку-другую книг, но больше просмотришь фильмов. Будешь где-нибудь в дюссельдорфском офисе трудиться или от рассвета до заката вкалывать на каком-нибудь дюссельдорфском предприятии. Зарплата будет в целом норм, так что отпуска свои проведешь неплохо, на Канарах даже, а в Испании и Греции — это уж по-любому. И главное — ты закрепишься в своем сообществе русаков. Так сказать, навсегда. Более того, ты своим существованием, своими телодвижениями будешь это сообщество *формировать*. Придавать этому сообществу физическую форму. По выходным встречаться со своими русаками, пить водку, пиво или ничего не пить, а просто болтать на русском (с годами, правда, со все большими вкраплениями немецкого). Да, сейчас-то не тянет на целую идентичность или хотя бы на ее часть. Но со временем, со временем. Твое сообщество даже станет частью федеральной медийной повестки. Например, когда ультраправая партия АдГ пройдет в Бундестаг — все в Германии вдруг вспомнят, что есть такие «русаки», русские немцы, и будут на бесконечных ток-шоу бесконечно обсуждать, что это, оказывается, русские немцы во всем виноваты, эти унтерменши, это они виноваты в том, что АдГ прошла в федеральный парламент. Разве какой-нибудь ганс голосовал за АдГ? Да вы что! Мы осуждаем, мы очень осуждаем нацизм и Гитлера с Гиммлером — мы — *вовек* осуждаем, слышите! Вовек. Это всё они, эти унтерменши, эти русские немцы. Это они

проголосовали за ультраправых, потому что они не понимают, слышите! Не понимают. Что нацизм это очень плохо. Все они там, на востоке, друг друга ненавидят и вечно воюют, у них ми-ли-та-ри-зо-ван-ное сознание, слышите! Все они там милитаристы. Вот и приехали, на нашу беду, эти милитаристы, эти унтерменши. К нам приехали и проголосовали за ультраправую партию АдГ.

Или вот как Месут Озиль, «вечный мигрант», парень с двойной национальной идентичностью. Для него важно, что он одновременно и турок, и не чужой в Дойчланде. Прямо как русаки в Германии! Выросший в Германии турок, гордость немецкого футбола, игрок национальной сборной. Настоящая звезда, — ведь гансы обожают футбол и играют в него превосходно. Но даже такой колоссальный успех парня «с миграционным фоном» нет, не спас, широкая общественность Германии оказалась беспощадной. Как только пацан оступился, сфоткался с диктатором Эрдоганом — тут же превратился в пугало, заклевали парня, слепили из него журналисты и чиновники от спорта вражину немецкого государства. Вот же, дескать, неблагодарный предатель! Мы его вскормили, мы его вспоили, мы его — в нашу великую национальную сборную по футболу! а он, нет, вы посмотрите — со своим диктатором турецким фоткается. Негодяй, милитарист, унтерменш! Конечно, эту общественность нисколько не смущает факт продажи режиму Эрдогана германского вооружения, ежегодного оружейного экспорта в Турцию на десятки миллионов евро. Чтобы легче было курдов давить. Нет, это не проблема. Проблема — это Месут Озиль, этот ужасный предатель, посмевший сфотографироваться с диктатором. Ведь мигрант должен быть идеальным, слышите, идеальным гражданином безупречной процветающей страны. Ганс еще может сфоткаться с диктатором, мы-то знаем, что любой настоящий немец на самом деле, слышите! на самом деле держит фигу в кармане, фоткаясь со всякими диктаторами, и вообще по определению ненацист и антимилитарист; а вот в случае мигрантов, унтерменшей, фиг их знает, что у них на уме! Наверняка они любители разных там недемократических режимов, а таким не место в нашем обществе достатка и демократии. Да, гнать его, гнать Месута ссаными тряпками из Великой Национальной Сборной!

И ты будешь сидеть у себя на диване в неплохой в целом квартире. Особенно, по российским меркам неплохой. И думать, что, кажется, они нас, русаков, людей «с миграционным фоном» — да, реально презирают.

Так что прав был Макс, похоже. Про всю эту муть. Нужно идти своей дорогой, невзирая на обстоятельства, и отбросить всех этих «унтерменшей» и «русаков». Перестать фокусироваться на своем маргинальном опыте. Ведь вариантов для развития — масса. Возможностей у юного мигранта в Германии — легион.

Конечно, все пути не без терний. Так бывает всегда и везде. Главное — выбрать тот, который станет твоим.

* * *

Толстяк из Луганска рассказал пацанам, что это именно я сдал Ваню Олегу. Новость моментально разлетелась по детлагерю, к полудню предпоследнего дня все уже знали, кому нужно мстить за поругание. На ужине один пацан шепнул, чтобы я вечером был в лесу за пляжем — иначе мне конец.

Я прихожу, он достает нож и наносит несколько ударов в бок.

Бесславно и беспощадно закончилась история о юном мигранте из Германии. На свете бывают подобные бесславные финалы. На свете вообще чего только не бывает.

У мамы Сергея вскоре была диагностирована клиническая депрессия. Она не могла выбраться долгие годы. Но в какой-то момент в ее жизни возник мужчина, который помог ей если не справиться с горем, то, во всяком случае, научиться с этим горем жить. Работать, что-то читать, как-то двигаться по жизни дальше. Иногда все-таки хватает сил жить дальше. Ну а Россию мама Сергея после ни разу не посетила. Сердце не позволяло.

* * *

Но есть и другие варианты.

Сценарий № 2. Оставшиеся полтора дня до поезда Сергею приходится безостановочно драться: с Димой, с фанатом, с шебутным, даже с патлатым Женей. Все уверены, что именно Сергей виноват в чудовищном «представлении» и его нужно как следует проучить. Но в целом, если не считать множественных синяков и ушибов, — Сергей как-то с горем пополам из Крыма возвращается вместе со всеми.

Неудивительно, что в Москве, прямо на вокзале, побитого Серёгу ждут новые удары судьбы. Бывают в жизни такие времена, когда всё рушится разом, жизнь за считанные дни меняется навсегда. Это как раз Серёгин случай. Папа за это время успел продать хорошую квартиру у метро Коломенская, как прямо в этот самый момент все его деньги пропали. Сгорели. Исчезли. Не будем вдаваться в подробности. Для Сергея это все означало следующее: даже если наш недогерой окажется настолько упоротым, что после всего пережитого в постсовке захочет вернуться обратно в Россию, — возвращаться ему решительно некуда и начинать придется с нуля. Как недавно в Германии. По сути, все мосты были сожжены, и следует, наконец, перестать париться. Отбросить всю эту ненужную мешающую шелуху и находить свои пути в Германии или, шире, в Европейском союзе.

Сценарий № 3. Побитый Серёга возвращается в Москву, отец его въехал в блестящие хоромы прямо в центре столицы. И, такой, говорит: знаешь что, сын. Как-то ты никудышно выглядишь и своим видом только подтверждаешь мои представления о том, что там с тобой в Дюссельдорфе творится. Мать рассказала, что ты в двух шагах от позорного вылета из немецкой гимназии. И что ты по России грезишь, русского гопника из себя строишь — мне тоже известно. Знаю и то, что тебя в Дюссельдорфе ищет полиция и испугом ты на этот раз не отделаешься. Короче, наломал ты дров капитально. Поэтому я предлагаю кое-что в твоей жизни поменять, мы с твоей мамой это уже обсудили и переводим тебя в Москву, мой неудачливый сын. Будешь жить со мной и под моим присмотром, вон там твоя комната. Понял?

Сергей в том самом состоянии, когда не знаешь — то ли радоваться, то ли вешаться. Вроде бы Москву он любит, и в Дюссельдорфе, кажется, ничего хорошего не светит, ближайшие месяцы так уж точно. Но как быть с тем, например, что теперь придется жить где-то рядом с Олегом? Как быть с крушением, которое он потерпел в Крыму, как после этого начинать тут с начала? Вопрос на вопросе и вопросом погоняет.

Но кое-какие уроки из этого печальнейшего крымского опыта он выносит, и жизнь в Москве вполне налаживается. В российской школе он довольно быстро адаптируется, получает хорошие оценки, хотя поначалу трудновато заново учиться на русском. Но это же, ей-богу, не Германия, а московская частная школа, где тебе всегда сделают скидку, войдут в положение — ты приехал из другой страны, понятно, что пока не все схватываешь. Тем более что приехал ты не из Таджикистана, а из Германии, а папа твой прилежно вносит денежки в кассу. Серёга даже выглядит перспективным парнем на московской деревне, ведь владеет немецким, и вообще такой вот западный продвинутый мальчик. Ясно и предсказуемо — гопнические спорткостюмы Серёжа уже не носит, а вновь переключился на модные рэпперские шмотки. Дальше — больше: со временем Серёга становится завидным женихом. Да-да, тот самый неудачливый гопник и чурка, унтерменш из Дюссельдорфа. Да, вот так вот в жизни бывает: из дюссельдорфской грязи в московские князи. После школы Серёга поступает на факультет журналистики МГУ, платное отделение, кафедра международной журналистики. Но журналистикой и вообще текстами в России сыт не будешь, так что практически сразу после окончания Серый устраивается манагером в приличную немецкую компанию и через несколько лет попадает на крупный построенный немцами завод топом. Руководство Серёге доверяет, ведь в России он — чурка, унтерменш — оказывается «своим». В совершенстве владеет немецким, да и двойное гражданство. Чтобы стать, наконец, немцем в глазах гансов, всего-то стоило попасть обратно в российскую столицу. Пути твои, Господи, неисповедимы.

Впрочем, кто бы сомневался. Дела идут в гору. Ведь это Москва.

Елена Албул

Запах кофе

Рассказ

Повезло вчера, что в купе кроме нее оказались только мужчины. Женщины бы сразу начали общий разговор, завалили бы стол припасами, курица традиционная появилась бы... Но повезло. Отгородилась молчанием, и никто ее не беспокоил. Один дядька как вечером залег спать на верхней полке, так до сих пор и не вставал, а через полчаса прибываем уже; двое других — пролетарского вида пенсионер и аккуратный юноша, видно, студент, — хотя и продолжали начатый вчера разговор, но делали это тихо, стараясь не мешать сидящей у окна неулыбчивой попутчице.

Говорил, в основном, пенсионер.

— ...А потому что разбаловались все, без твердой руки нельзя. Давно пора бездельникам хвосты-то поприщемить. Видишь, как тут у товарища Андропова сказано, — он зашуршал лежащей на столе «Правдой». — Вот: «Решительнее повести борьбу с нарушителями партийной, государственной и трудовой дисциплины».

Парень тоскливо покивал — филиппику против нарушения дисциплины он слышал еще вчера. Но деда безразличие собеседника не обескуражило, и он со вкусом повторил:

— Решительнее! Вот ты слыхал, что теперь днем в кинотеатре документы у людей проверяют? И правильно — потому что почему не на работе?

— Я учусь, — мрачно сказал парень, видимо, подозревая, что вопрос не вполне риторический.

Ираида встала и вышла в коридор, с сочувствием поглядев на студента.

Почему, интересно, в детских книжках колеса поезда стучат «чук-чук, чук-чук»? Ведь не похоже совершенно. Она прислушалась: «то тут, то там, то тут, то там». Вот так правильно и вполне по-железнодорожному — сегодня тут, завтра там... Каково это — жить на колесах под бесконечное «то тут, то там»? Спать на узкой жесткой полке? Сама-то она не заснула ни на минуту.

Голоса за дверью купе забубнили громче — дед, видно, почувствовал себя свободнее без женского присутствия. «Раньше с такими-то не рассусоливали», — услышала Ираида его голос и, поморщившись, отошла подальше.

Поезд начал притормаживать. Ираида вгляделась в ликующее майское утро, потом прислушалась к себе — главным чувством было раздражение, и это раздражало еще больше. Не то это настроение, с которым едут к умирающему отцу.

Отца она не любила.

Елена Албул — поэт, прозаик, музыкант. Родилась и живет в Москве. Окончила ГМУ им.Гнесиных по специальности «скрипка». Печаталась в журнале «Октябрь».

В «Дружбе народов» впервые выступает как прозаик.

За окном потянулись пакгаузы, склады, старые вагоны, просто мусор — вся та непарадная часть, с которой начинается встреча с любым городом, если въезжаешь в него на поезде. Пассажиры засуетились. Ираида вошла в купе.

Похоже, разговор по поводу выступления нового Генсека закончился естественным образом — трое попутчиков, включая и проснувшегося, наконец, обитателя верхней полки, сворачивали матрасы. Ираида подхватила свою небольшую сумку, перекинула через руку плащ и пошла к тамбуру.

— А постель-то! — кинулся за ней дед.

Она обернулась.

— Уборка постелей входит в обязанности проводника.

Сонными утренними улицами ехала Ираида по городу, который после страшного военного Ленинграда стал ей родным. Когда в конце сороковых отца отправили служить в Германию, он выписал в заштатный Вюнсдорф всю семью, но город терпеливо ждал их возвращения и принял снова все в том же доме, выходившем фасадом на центральную площадь. Здесь прошла ее юность. Отсюда она уехала, чтобы больше не приезжать, ну разве что по каким-то исключительным поводам. Вон он, их дом, желто-белый, нарядный. Импозантный даже. Что она там увидит?

После смерти матери отец стал пить, — она знала это от сестры. Личная жизнь у сестры протекала так бурно и по такому прихотливому руслу, что прибиться к какому-нибудь берегу у нее не вышло, поэтому она так и живет в родительском доме. Ираида регулярно звонила, но все чаще попадала на соседку Клаву — та после смерти матери взялась шефствовать над осколком когда-то известнейшей в городе фамилии. Клава-то и позвонила вчера утром — приезжайте проститься.

По широкой лестнице Ираида поднялась на второй этаж. Генеральский, с гордостью говорила когда-то мать. До генерала отец, правда, не поднялся, остановился на подполковнике, но это все равно. Абы кого сюда не селили.

Вот и знакомая дверь, высокая, филёнчатая. Рука замерла на полпути к звонку. Наверное, лучше стучать.

Она постучала.

— ...И не сомневайтесь, Ираида Андреевна, он под полным присмотром, я и уберу, я и приготовлю, — суетилась Клава, низенькая, плотная, с таким же низеньким и плотным седым пучком на голове.

Ираида привычно напряглась, услышав свое имя. Она его с детства терпеть не могла и всегда представлялась Ириной. Смешно вспомнить, что когда-то, в университете, это имя привело в восторг преподавателя логики.

— Так вы не Ирина, вы Ираида! — с энтузиазмом воскликнул он, взяв в руки ее зачетку. — У вас редкое, замечательное имя! Вы знаете, что оно означает? Дочь героя!.. Говорите, отец назвал? Он знает греческий? Просто так такие имена не даются. Хотя в святцах оно, конечно, есть, но кто ж по святцам сейчас называет...

Ага, греческий. Еще латынь и французский, как же... Сирота крестьянский: детдом, Военная Академия связи — и офицером на фронт. Всю жизнь в армии, а потом на радиозаводе, как в отставку вышел. Вот русский он отлично знает, особенно матерную его разновидность. Дома, правда, ни слова из этой разновидности себе не позволял, заменял щадящими вариантами, но на заводе вовсю пользовался. Она сама год простояла в цеху серебрильщицей, отец заставил — пусть, мол, после школы поработает сначала руками, чтобы нос не задирался, а потом уж в университет поступает, так что Ираида знала отцовскую манеру хорошо. Знала, правда, и то, что все начальство на отца чуть не молилось: дисциплина у него на участке железная, никогда никаких сбоев, чтобы случаи пьянства какие, так этого и в помине нет — боевой офицер, как рявкнет... Но рявкал он редко, ему по большей части достаточно было взглянуть исподлобья, и у проштрафившегося работяги навсегда пропадала охота

что бы то ни было нарушать. Женщины в их цеху смотрели на отца с большим почтением — уважали силу.

А Ираида не уважала.

Да уж, «дочь героя». С чего это герой Андрей Тимофеевич решил так выпендриться? Младшую дочь так вообще назвал Риммой, и тут как ни старайся, не переделаешь. Но сестра как-то терпела. Или ей это было безразлично. Она вообще ко многому относилась легко, даже на пианино учиться была не против. Ираида хорошо помнила эти уроки в Вюнсдорфе: маленькая испуганная немка осторожно касалась рук дочерей солдата-победителя, поправляя постановку. Фройляйн занималась с ними одновременно, на отдельные уроки денег не хватало. Да пусть бы все время уходило на Римку: Ираиде это пианино было поперек горла, ей бы в бассейн или на волейбол, да разве с отцом поспоришь? Как-то она сказала, что не будет играть Бетховена, потому что он же немецкий композитор, и тут же получила затрещину и еще несколько бетховенских пьес в репертуар. Вот и поспорь... Он проверял: подходил к двери, смотрел немигающим взглядом, так что у Ираиды дрожали пальцы и она сбивалась. А Римка ничего, бойко тыкала в клавиши, пусть и мимо нот, зато с улыбкой. Все ей было нипочем, знала, что любимица.

Ираида не завидовала сестре. Но всегда чувствовала сестрино особое положение. В блокаду их еле успели вывезти, мать до последнего сопротивлялась, не хотела расставаться с отцом, хотя тот из Главного штаба уже почти не выходил — связисты работали без отдыха. И как оно так получилось, теперь не узнать, но маленькую Римку в суматохе эвакуации потеряли, и мать чуть не сошла с ума. Отцу сообщили только после Победы, он организовал поиски, всех поставил на уши... Ираида уже совсем не помнила сестру, ей самой было тогда всего восемь, как вдруг появилась незнакомая девочка, в которой ей велели признать Римку. Девочка стояла насупившись и прижимала к животу облезлого уродливого зайца. Видно было, что она никого не узнает. А это Ирочка, ты помнишь Ирочку, всхлипывала мать и с отчаянной надеждой оглядывалась на старшую дочку. Но и старшая стояла с поджатыми губами, неприязненно глядя на зайца. Отец успокаивал: ничего, привыкнут, подружатся. А ведь к нему самому тоже надо было привыкать: этого хмурого военного дядьку Ирочка совсем не знала. Поэтому она была не против, что чудом нашедшаяся девочка надолго стала центром семьи Герасимовых. Потом, конечно, и привыкли, и подружились... Вот только все, что Ираида ни делала, должно было теперь у нее выходить на пятерку, другого результата отец не признавал. А лучше на шестерку. Потому что старшая и потому что не пропадала.

К младшей с такой меркой не подходили.

— Спасибо, Клава. Нет, у меня никакого чемодана нет... А Римма где?

Клава, не отвечая, тянула ее через темную прихожую в кухню. Ираида покосилась на закрытую белую дверь, за которой, она знала, лежит отец, но позволила себя увлечь. Да, оттягиваю, призналась она себе. Сейчас. Кофе только выпью.

— ...По-соседски, ведь столько лет вместе! И с матушкой вашей, Царствие ей Небесное... Такая хозяйка была, так Андрея Тимофеича обихаживала! Как сестрица-то ваша... ну, болеть стала, так я каждый день тут. Она, не в упрек будь сказано, все тут запустила, конечно...

— Пьет? — Ираида перевела разговор в плоскость другой терминологии.

— Случается... — Клава прямо смешалась от такой вопиющей неделикатности. Но тут же встала на защиту нелегкой женской доли: — От несчастной судьбы это. Ведь такие испытания у нее всю жизнь!..

Испытания Римкиной взрослой жизни заключались в череде роковых влюбленностей, каждый раз кончавшихся абортом, и периодических запоях, которые кончались так же предсказуемо — потерей работы.

— Где сейчас она?

— Да кто ж знает... Неделю уже не приходит. Но вы, Ираида Андреевна, не волнуйтесь, я рядом, я и уберу, и обихожу, это ж по-соседски, это ж не за деньги кого нанимать...

Она начала причитания по второму кругу. Ираида достала кошелек.

— Нет, нет! — заплескала руками Клава, но Ираида поймала летящую руку и вложила в нее бумажку.

— Спасибо за помощь вашу. Всем бы таких соседей.

Клава еще раз взмахнула рукой, разглядела купюру и тут же схватилась за лежащую на мойке тряпку.

— Я сейчас тут все быстренько... Не успела я с утра... Пол протру вот...

Ираида крепко взяла ее за плечи.

— Не надо ничего. Отцу сейчас все равно, когда тут пол мыли. Спасибо, что не оставили его, что рядом были. Это главное. Это важнее.

Клава снизу вверх завороженно смотрела в глаза подполковничьей дочери.

— Да я что ж... Я по-соседски...

Ираида осторожно отпустила ее плечи и вынула склизкую тряпку из безвольной руки.

— Вы идите, отдыхайте, ведь устали. Я тут сама. Если хотите, попозже заходите.

Она обвела глазами кухню.

— Чем вы папу кормите?

Клава посмотрела странным взглядом — дочь явно недопонимала ситуацию.

— Да он уж и не ест почти. Нелли Иосифовна сказала, что из одного упрямства живет.

— Почему вы раньше не позвонили?

— Так что беспокоить-то... При должности вы, я ведь знаю. И он не велел. Злился на всех, Нелли Иосифовну прогнал, так неудобно было, ведь она доктор-то золотой, такая душевная, знаете, но ничего, не обиделась, а я ей конфеты, у меня всегда приготовлено... Потом присмирел он, успокоился, забываться стал. А вчера утром слышу — вас зовет. Я сразу позвонила, сразу. Вечером все спрашивал, приехали вы, нет... А сейчас дремлет.

Клава покосилась на тряпку, но взять ее не рискнула, открыла дверцу шкафчика.

— Вот, манка тут, попробуйте ему... Только не будет. Вот, попить может немного. Там морс, у постели. Лед еще, говорят, хорошо сосать. Лед я заморозила, если что.

— Ясно. Спасибо.

У двери Клава обернулась.

— А то еще посижу? Отдохнули бы с дороги. У меня дел-то никаких...

— Нет-нет. Вы попозже заходите, я закрывать не буду.

Ираида вернулась в кухню. Кофе, кофе, срочно. Где-то тут должна быть джезва.

Она открыла буфет, погремела посудой. Джезва нашлась в самом дальнем углу. Кофе в доме явно не варили. Да при нынешнем дефиците его и достать было непросто, даже и в Москве. Сама она без кофе существовать не могла, как слышала, что где-то выбросили в продажу, так мчалась покупать, невзирая ни на какие очереди, и брала, сколько давали в руки, — пусть полежит, запас карман не тянет. Поэтому дома кофе не переводился. Она усмехнулась: забавно, что эту страсть к кофе привил ей отец. Школьницей, в Германии, она впервые услышала этот запах и увидела, как отец священнодействует с черными, маслянистыми зернами — мелет в ручной мельнице, варит в странном ковшике с длинной деревянной ручкой и разливает пахучую жидкость по чашкам из голубоватого фарфора. Сервиз этот они привезли с собой, и он стоял в серванте, в той самой комнате, высокая белая дверь которой сейчас закрыта. Закрыта.

Она высыпала в кипящую воду предусмотрительно намолотый дома кофе, и по кухне поплыл густой бодрящий запах.

Ну все, хватит тянуть.

С большой щербатой кружкой в руке Ираида вошла в комнату, где лежал отец.

Господи, окно тут вообще открывали хоть раз? И не понять, что чувствовалось резче: нечистота белья, сладкая вонь какой-то пролитой микстуры или намертво въевшийся в обои и шторы табачный дым — отец, видно, курил до тех пор, пока мог держать папиросу. Свежезаваренный кофе, конечно, перекрывал этот коктейль, но все же... Мельком взглянув на лежащую на кровати фигуру, Ираида подошла к окну, распахнула форточку, и голоса просыпающегося города вплыли в душную комнату вместе с тополиным пухом. Сейчас выскочит... Она села на старый венский стул у постели, сделала глоток и, наконец, посмотрела на умирающего.

На одном упрямстве живет, сказала врач. Да уж. Чего-чего, а упрямства ему не занимать. Всегда был упрямым и несгибаемым. Или волевым и принципиальным? Вот и выбирай, как назвать. Она не видела отца пять лет, и прошедшие годы сильно исказили это сухое, жесткое лицо.

При матери отец тоже был не дурак выпить, но только по выходным и со строгим ограничением дозы. Это называлось «взять маленькую». Видно, «маленькая» за эти годы подросла, а выходные плавно переползли на будни. Чеканные черты бывшего командира поплыли, всегда сжатый рот скривился, кожа пожелтела. А ведь совсем не старый еще, всего-то чуть за семьдесят, отстраненно подумала Ираида. Раньше, когда она смотрела на отца, он представлялся ей боксером на ринге, настороженным, готовым немедленно ответить на удар. Казалось, он никогда не расслабляется. Теперь боксер был в глубоком нокауте, но, странное дело, — исходящее от него чувство настороженности не ушло.

Она посмотрела на графин с морсом и стоящую рядом детскую поилку. Налить? И что — разбудить? Или подождать еще...

Ноздри умирающего шевельнулись, и она немедленно протянула руку к графину. «Кофе», — раздался почти неслышный выдох. Уверенная, что ослышалась, Ираида наклонилась над постелью.

— Папа!

— Кофе...

Кофе. Он сказал «кофе», точно. А можно кофе в таком состоянии?..

Да какая разница, пришла вдруг в голову мысль. Сейчас можно все. Она отлила немного из своей кружки в поилку, приложила к его губам.

— Кофе, папа. Пей.

Кадык на морщинистой шее шевельнулся. Еще раз. И еще раз. Ираида осторожно отняла поилку от лица. Отец приоткрыл глаза.

— Приехала?

Да, немного осталось от командирского рыка. Ничего, почитай, не осталось. А бывало — стекла в серванте дрожали.

И злодейка-память тут же подсунула этот дребезжащий звук — как эхо другого звука, страшного, который она никогда не забывала, но старалась не вспоминать.

Тогда тоже был май. Не просто май, а Первое мая 1958 года, и, значит, демонстрация, а потом народные гулянья дотемна. Летний сад был переполнен, играл духовой оркестр, деревья стояли в кружевных облаках нарождающейся листвы, и кое-где уже зацвели отдельные храбрые вишни.

На демонстрацию пошли всей семьей, как обычно. Отец в парадной форме со звенящими наградами, мама в легком пальто, называемом «пыльник», и в шитом в Германии панбархатном платье — она их там нашила штук пять из трофейных тканей нездешней красоты и страшно берегла, надевая только по серьезным поводам. И дочери рядом: старшая, медалистка Ира — косы, скромная юбка, блузочка, теплая жакетка; младшая, семиклассница Римма с ангельской улыбкой — тоже в юбке и

веселой вязаной матроске, а глаза по сторонам так и стреляют, ищут веселых матросов, то есть десантников: матросов в городе не было за неимением моря, а вот воздушно-десантное училище было. Она тогда уже и покуривала, но ничуть не теряла ангельскости. Все ей сходило с рук.

Герасимовы идут, уважительно говорили встречные. Образцовая семья. Рабочие в колонне радиозавода рядом с Андреем Тимофеевичем в кителе и галифе невольно подтягивались, а их жены приветливо улыбались скромному пыльнику Людмилы Ивановны. Ценили, что жена начальника цеха не задается и не выставляет напоказ свои наряды.

После демонстрации отец с матерью пошли домой, Римка куда-то сбежала, а Ира поехала к подруге Кате: этого дня она ждала почти месяц. Катина мама была портнихой, и Ира в страшной тайне шила у нее брюки, надевать которые в ту пору осмеливались только самые дерзкие ниспровергательницы основ. У самой Кати брюки уже были, но выходить в них в одиночку она боялась. В глазах обывателей брюки на женщине ясно указывали на порочный образ жизни их владелицы. Первомайские вечерние гулянья в Летнем саду были выбраны для брючного дебюта, во-первых, из-за многолюдности, в которой легко можно затеряться, а во-вторых, из-за праздничной легкомысленности фланирующей публики.

Жили Катя с матерью в коммуналке на окраине. Тесная комната с непропорционально высоким потолком была разгорожена поперек шкафом, за которым стояли ножная швейная машинка и манекен. Настенное зеркало дополняло необходимый портновский набор. На отсутствие клиентов Катина мать не жаловалась. Была она высока, стройна, всегда тщательно одета, причесана и являла собой лучшую рекламу собственных услуг.

Девушки надели брюки. Наверное, то же чувство испытала андерсеновская Русалочка, глядя на превращение своего хвоста в ноги. Чувство было волнующим. Тот факт, что на школьной физкультуре все ходили в спортивных штанах, а на занятиях по легкой атлетике так и вообще в трусах, ничего не менял. То физкультура, а то — брюки.

Брюки были из тонкой темной шерсти, широкие, почти мужского покроя, но это были явственно женские брюки. «Если держать ноги вместе, то похоже на длинную юбку», — мелькнула у Иры трусливая мыслишка. Она повернулась боком к зеркалу, потом попыталась посмотреть на себя сзади. Да, сзади сомнений в том, что это не юбка, не оставалось. Подруги взглянули друг на друга, и Ира нервно сглотнула.

Волновалась и Катина мать. Она-то лучше всех понимала, что такое быть одетой в брюки. Мода тут ни при чем.

— Долго не гуляйте только, — напутствовала она ниспровергательниц.

Пока шли до центра города, прохожие, как и надеялись, почти не попадались. Но и в Летнем саду расчеты оправдались — девушки сразу слились с гуляющей толпой, и никто не обращал на них внимания. Подруги расслабились. Взгляд стал увереннее, спина прямее, а шаг... Шаг стал широким, свободным. Современным.

Идти в брюках — это вам не в юбке, мужчинам не понять, если они не какие-нибудь там шотландцы, а кто этих шотландцев видел? Придумывают, небось, что есть мужчины, которые носят юбки.

Они шли по главной аллее к фонтану, туда, где играл духовой оркестр. Вальс летел им навстречу, и шаги становились все ритмичнее, и подруги смеялись, искоса поглядывая друг на дружку, готовые сорваться в танец...

— Ой, — басом сказала вдруг Катя.

Ира сказала бы это «ой» раньше, если бы могла, но у нее перехватило дыхание. По спине немедленно заструился противный ручеек. Навстречу шли отец с матерью под руку.

«С берёз, неслышен, невесом, слетает жёлтый лист», — подпевали вокруг, и ноги

преступницы по инерции продолжали двигаться в такт, а полные ужаса глаза не могли оторваться от отцовского лица.

Они же собирались домой!.. Сказали, что гулять не пойдут!.. Мысли метались в голове, как ошалевшие ласточки.

Две пары поравнялись и разошлись в разные стороны. Отец не сказал ни слова.

Ира рухнула на скамейку и разрыдалась.

— Ну, может, обойдется, Ир! Он же не сказал ничего... И потом, это ж на свои деньги! Это ж с твоей зарплаты!

Утешая подругу, Катя впервые подумала о плюсах безотцовщины.

— Обидел кто, девчонки? — сунулись два красавца-десантника.

— Да идите вы, идите, — замахала она руками. — Ир, ну не плачь ты, ну люди же смотрят!

Но Ира только глухо подвывала, прижимаясь носом к зеленым, еще пахнущим краской рейкам сиденья.

Пока возвращались к Кате, чтобы оставить там злополучные брюки, пока Ира снова шла в центр к своему дому, уже стемнело. Но она знала, что дома ее ждут и будут ждать, пока не придет. Она шла уже без слез — все было выплакано в Летнем саду, и отстраненно думала о том, что на плачущую девушку люди обращали внимания куда больше, чем на девушку в брюках. Но это ничего, ничего не меняло.

На свой второй этаж поднялась, как на эшафот. Открыла дверь. Включила свет.

В дальнем конце коридора в ту же минуту возник отец с ремнем в руке. Так и ждал с ремнем, что ли, или на видное место положил, чтобы схватить, как дверь откроется?

— Пришла, лахудра!.. Ты что же, паскуда, меня перед всем городом позоришь? Я боевой командир, а дочь проституткой вырядилась!.. — Тут он задохнулся и с шумом втянул в себя воздух. — А ну, подошла ко мне!..

Солдаты падали, наверное, от такого голоса.

Дочь не сделала ни шагу, но отец был уже рядом. Ремень рассек воздух. Инстинктивно она зажмурилась, и страшный удар потряс ни в чем не повинный гардероб, возле которого она стояла. Эхом задребезжали в серванте трофейные чашки. Промахнулся...

— Андрюша, ну побойся Бога! — выбежавшая следом из кухни мать хватала отца за руки. — Это же дочь твоя!

— Какого тебе еще Бога? Шалава она, и подружка ее шалава! Чтоб я тебя больше с ней не видел, слышишь? Слышишь, я тебя спрашиваю?

Он схватил ее за плечо и толкнул в сторону их с сестрой комнаты. Ира не оборачиваясь быстро вошла и закрыла за собой дверь.

На кровати сидела Римка.

— Больно? — спросила она, с жадным интересом оглядывая сестру.

— Нет. Промахнулся.

Римка понизила голос:

— А где они? Ну, брюки?

— У Кати.

— Красивые?

— ...Не знаю.

— Какого хоть цвета?

Но отвечать у Иры не было сил. Она легла лицом в подушку.

Было слышно, как мать на кухне успокаивала отца, а тот все рокотал своим командирским голосом.

— Мы — Герасимовы! У нас такого паскудства быть не должно!.. Какая она тебе взрослая?.. Вон пусть на Дальний Восток катится и там хоть в штанах, хоть без штанов по улицам шляется... Да что ты ко мне со своим огурчиком лезешь!

Что-то зазвенело — отец, видать, в ярости смахнул со стола, что попало под руку.

Утром Ира неслышно подошла к гардеробу. След от солдатской пряжки был отчетливо виден, хотя мать его уже чем-то подмазала, карандашом, что ли. Она была аккуратистка. Идеальная хозяйка.

Через три месяца серебрильщица 4-го разряда Ираида Герасимова с ножницами в руке стояла в туалете ленинградского поезда и смотрела в замызганное зеркало. «То тут, то там, то тут, то там», — стучали колеса. Вагон шатало. Она плотно прижалась боком к стене, закусила губу, подняла одну косу и двумя движениями отстригла ее у самой шеи. Потом нажала на педаль спуска воды — в сливном отверстии замелькало железнодорожное полотно. Она бросила в дыру косу. Через несколько секунд за первой полетела вторая. Ираида растрепала короткие волосы и мстительно сказала зеркалу, глядя в его серые, совершенно отцовские глаза:

— Хрен тебе на филфак. На юридический поступать буду.

— Приехала? — глаза подполковника Герасимова так и не открывались до конца, и майор милиции Ираида Герасимова не могла понять, видит он ее или нет.

— Это я, папа... Ира.

Так же, почти неслышно и монотонно, но в то же время четко отец проговорил:

— Арсеньевы мы. Запомни, Арсеньевы. Не Герасимовы.

Фраза была словно заготовлена заранее, как будто он беспрерывно повторял ее про себя, чтобы, когда понадобится, проговорить без запинки. В детстве Ираида так ходила в магазин, с заклинанием вроде «батон-и-двести-масла, батон-и-двести-масла».

Она придвинулась ближе.

— Папа...

— Не сирота я... Из раскулаченных... из врагов народа... А я в городе тогда учился... музыке учился, голос... у меня был. Отец знал, что придут к нам... с верным человеком передал мне документ. Сказал, те Герасимовы все умерли... голод... искать не будут. Беги, скажешься сиротой, и потом в армию. Там не найдут... И не пой, а то узнают по голосу... Да... Меня ведь знали, знали меня... А их, как врагов народа... Всех.

Отец открыл глаза и посмотрел сквозь нее, куда-то в прошедшее время.

— Я в опере петь хотел. Голос был... Я Арсеньев. Мы Арсеньевы, запомни. Не Герасимовы.

Потрясенная Ираида не замечала, что сжимает в комок край простыни.

— Папа... А мама — знала?

— Никто не знал. Только тебе... И не надо никому... Мало ли... Пить дай.

Трясущимися руками Ираида приложила поилку с кофе к его губам. Отец сделал глоток, и губы его раздвинулись в гримасе:

— А ведь не нашли меня... Не нашли они меня!..

И он задышал с усилием, закашлялся, и Ираида поняла, что это не кашель, а торжествующий смех.

Рассказ, видно, отнял у отца последние силы. Он снова закрыл глаза и прошелестел:

— Ты иди пока, дочка. Ты хорошая девочка.

Но она не двигалась. Она всматривалась в лежащее на желтой подушке желтое лицо, которое прямо на глазах теряло так свойственное ему напряжение. Арсеньевы мы, не Герасимовы, слышались неслышные слова. Взгляд ее упал на календарь на стене. Число было неверным — уже несколько дней листки не отрывали, но год был правильный, 1983. Он показывал пятьдесят пять лет молчания.

Ираида вышла в коридор и уперлась лбом в гардероб. Такие шкафы давным-давно не делают. Мамонты эпохи уважения к мебельному ремеслу. Вот здесь стояла она двадцать пять лет назад, и отец замахивался на нее ремнем с тяжелой пряжкой. Где-то должна быть и отметина. Эта, что ли? Или рядом? От времени шкаф потемнел,

из когда-то медового стал грязно-коричневым, прибавилось и царапин. А удар-то был таким, что, если бы отец попал... Но он не попал. Промахнулся.

Внезапно она со всей отчетливостью поняла, что промахнуться было невозможно. Он и не хотел попасть. Герасимов должен был ударить, а Арсеньев должен был не попасть. Ираида села на какую-то сваленную в кучу обувь, прижалась щекой к гардеробу. Все, все разрозненные эпизоды в ее памяти стягивались в одну грандиозную мозаику, каждый находил свое место, каждый получал объяснение. Все было теперь пронизано стройной логикой, и она, так любившая порядок, засмеялась бы от радости понимания, если бы из глаз не текли слезы.

Отец, отец!.. Герасимов пил и бил, а Арсеньев давал дочерям непростые имена и заставлял играть сонаты Бетховена. Герасимов отправил ее работать в цех, а Арсеньев хотел, чтобы она училась в университете. Герасимов летними вечерами забивал козла с пенсионерами, а Арсеньев не пропускал оперные спектакли по радио, и это всегда вызывало у Ираиды легкое презрение: ей казались смешными эти потуги выглядеть поинтеллигентнее...

А мама — за кем она была замужем? Чувствовала ли она эту двойственность? Ираида снова тихо вошла в комнату. Отец дремал. Она тенью прошла мимо, села прямо на вытертый ковер рядом с сервантом. За стеклом в рамочке улыбались с фотопортрета образцовый офицер и статная черноволосая красавица, а за ними по бокам стояли две девушки с косами. Улыбались скромно, как было принято в те годы, но с чувством собственного достоинства, и только сейчас Ираида заметила, что мать и дочери смотрят прямо в объектив, а взгляд отца неуловимо направлен куда-то в сторону.

Мысли исчезли. За ними исчезло и время. В солнечных лучах по комнате бесцельно кружился тополиный пух.

Деликатно зашуршало у двери, и в щелку заглянула Клава. Ираида встрепенулась.

— Тише! Папа задремал.

Соседка почему-то открыла дверь шире и бросила на постель опытный взгляд.

— Да куда ж... Отмучился Андрей Тимофеич, отстрадался. Царствие Небесное.

Она мелко закрестилась, подходя ближе, зашептала что-то и потянула вверх край одеяла.

— Подождите.

Ираида отогнула одеяло и долго смотрела в спокойное незнакомое лицо человека по фамилии Арсеньев.

На поминки собрались соседи. Распоряжалась всем Римма с очередным кавалером. Тайное движение новостей позволило ей вовремя прибыть на кладбище, и теперь она на правах хозяйки рассаживала всех за круглым кухонным столом, раскладывала салаты, расставляла рюмки.

Клава отвела Ираиду в сторону.

— Вы бы сервиз-то Людмилы Ивановны взяли... А то ведь начнут ходить, растащат. Вещи хорошие, немецкие.

— Возьмите себе что хотите, Клава. На память. Не забывайте... Герасимовых. И Римме помогите, если что.

За окном поезда зеленой лентой летел лес. Удивительно, как всего за три дня меняется картина весны! Ираида выхватывала взглядом белые пушистые островки черемухи и улыбалась неизвестно чему. Поезд катил на восток, и страна неудержимо катилась к новым временам, о которых еще никто ничего не знал, кроме того, что они обязательно, обязательно наступят.

Александр Димидов

Стервы

Рассказ

Лена Брянчикова родилась в Михайловске, в брежневские времена, когда Екатеринбург был еще Свердловском. Отец ее работал мастером прокатного цеха на местном заводе по производству фольги. Мать — бухгалтером при писчебумажной фабрике. Лена была младшей из трех детей. Семья Брянчиковых жила в добротном деревянном доме, поставленном пятьдесят лет назад дедом Лены — Семёном Брянчиковым. Держали подсобное хозяйство: огород, сад, птицу. Жили вровень со всеми. Ни в чем особо не нуждались.

Сьюзан Найли появилась на свет в тот же день, что и Лена, в городе Риджуэй, штат Айова. Ее отцом был фермер-протестант. Матерью — медсестра в госпитале Святого Антония. Дом, в котором жили Найли, достался отцу Сьюзан по наследству. Все еще красивый двухэтажный особняк, метров на пятьдесят отстоявший от хозяйственных построек. Отец был потомственным агрономом. Подряжался выращивать кукурузу, овес, пшеницу, горох — и многое другое, в чем была потребность у оптовых продавцов штата. Иногда он отгружал свою продукцию соседям — в Иллинойс или Канзас. Последний чаще других страдал от засух, ураганов и пылевых бурь. Так что канзасские фермеры порой вспоминали индейское проклятье: демона, слизывающего плодородную землю.

С семи лет Лену отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Отец купил старое пианино, и впятером, с соседями, сгрузив с заводского ЗИЛа, его внесли в дом, установили в гостиной. Частное пианино в Михайловске было в диковинку. Обычно таких усилий требовала мебель при переезде с места на место или вынос покойника. Лена занималась по вечерам. Дважды в неделю она посещала музыкальную школу, где молодой педагог Тамара Андреевна учила ее держать осанку и правильно ставить руки.

Начальная школа, в которой училась Сьюзан, находилась в пятнадцати милях от дома. Каждое утро напротив посыпанной гравием дорожки останавливался школьный автобус. В нем уже сидели дети других фермеров. Сью устраивалась подальше, в самый конец, и редко с кем-то разговаривала. Это время она использовала для чтения. Читать Сьюзан любила, а заниматься домашними делами — нет. Но жить на земле значило так или иначе принимать участие в фамильном деле. Этот уклад передавался из поколения в поколение. Поэтому Сьюзан рано поняла, что уедет из дома, как только

Александр Димидов родился в 1972 году в Черновцах (УССР). Магистр филологии (преподаватель русского языка и литературы), дипломированный переводчик с английского языка. Печатался в журнале «Новый Берег». Живет в городе Эймс, штат Айова, США.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

повзрослеет. Она училась хорошо не потому, что ей нравились предметы, а преследуя свою тайную цель. Хорошие отметки открывают дорогу в большой мир.

В старших классах у Лены появилась первая любовь — мальчик из параллельного класса Коля Симонов. Оказалось, все это время они ходили в школу и возвращались из нее домой одной и той же дорогой. Однажды Коля отогнал от Лены бродячую собаку. Так и познакомились. Коля был на год старше. Он носил Ленин портфель и давал ей списывать домашнее задание, когда она не успевала сделать его сама. Почерк у него был крупный, размашистый. Коля занимался спортом, был капитаном классной футбольной команды и из года в год поддерживал марку круглого «хорошиста». В школе поползли слухи. Некоторое время их дразнили «женихом и невестой». Они договорились, что будут выходить из школы и приходить в нее порознь, чтобы не давать повода дуракам.

Отец Сьюзан понимал, что заставлять дочь заниматься хозяйством из-под палки — глупая затея. Крупные агрохолдинги все больше наступали на частные фермерские хозяйства. Отслеживая эту динамику год за годом, отец свыкся с мыслью, что однажды передаст свои акры в пользование каким-нибудь толстосумам за гарантированную ренту. Это противоречило фермерскому духу, который все еще жил в нем, но избавляло от необходимости нести риски, тратиться на удобрения и всю свою жизнь следить за погодой. В дочери ему нравились ее пунктуальность, напористость и рассудительность. Прекрасные качества для менеджера. Жаль, что применять их ей, скорее всего, придется в чужих краях.

Он согласился оплатить половину стоимости обучения в колледже, плюс полный пансион. За год до окончания школы Сьюзан получила родительский подарок ко дню рождения — подержанную «Тойоту Королла» с приемлемым пробегом, в очень хорошем состоянии. В тот же день она бросила своего парня Грега, внимательного, застенчивого юношу, потому что больше не нуждалась в его колесах. Впервые у Сьюзан появилась возможность покидать родительский дом самостоятельно и не зависеть от чужого транспорта. Нечего и говорить, что свой первый автомобиль она боготворила.

Лена мечтала стать врачом. С распадом Советского Союза родители — с разницей в полтора года — оказались безработными. Заводы закрывались по всей стране. Старшие братья — боксеры — подались в Москву. Отец — в Екатеринбург на заработки. Мать стала распродавать на местном рынке запасы канцелярии, которыми ей несколько последних лет платили зарплату. Лена поступила в мединститут, сама, с первого раза. Чтобы помочь семье и иметь возможность прилично одеваться, она стала подрабатывать в ночном киоске на промзоне. Хозяином киосков был армянин Давид. К Лене он не приставал и платил исправно. Он знал ее братьев.

Лена рано поняла, что рассчитывать нужно только на себя. Государство, которому посвятили всю свою жизнь ее родители, перестало существовать, а то, которое родилось ему на смену, плевать хотело на ежедневные потребности живущих в нем людей. Каждый выживал как мог. В городе часто отключали свет. Иногда Лене приходилось торговать при свечах. Железный, обложенный внутри пенопластом и липовой вагонкой киоск быстро остывал на ледяном ветру, и чтобы не замерзнуть, Лене приходилось кутаться в матросский бушлат, согреваться спиртным. Однажды ее положением воспользовался сменщик, пришедший раньше обычного. Вино и свечи, молодой парень с ненасытным блеском в глазах. Она отдалась почти добровольно, неожиданно обрадовавшись мысли, что перестанет быть недотрогой.

В колледже Сьюзан заработала репутацию зубастой расчетливой стервы. Она сразу оказалась на хорошем счету у преподавателей, поскольку всегда улавливала суть вопроса, доходчиво излагала нетривиальные взгляды и последовательно их

отстаивала. Умение рассуждать, подкрепленное прекрасным знанием предмета, выделяло ее среди других студенток. По вечерам она подрабатывала в фастфудах и на студенческом кампусе. Постоянного парня у нее не было. Зато было немало друзей, с которыми при случае выходило славно потусить и выпустить пар. Она была практична до мозга костей — воплощенная бритва Оккама. Учеба нравилась ей как самый краткий путь к взрослой, самостоятельной, обеспеченной жизни. В парнях она видела носителей пениса — эстетически уродливой штуки, которую время от времени следовало пристраивать между ног, дабы насытить свое женское естество и получить известное удовольствие. Она выбирала их по форме ягодиц. Без глупых обещаний, привязанности и общих планов на будущее.

Лена выпустилась с отличием, но ей все равно пришлось ждать полтора года, пока появилось место в ординатуре. Уже через месяц она пожалела о своем выборе. Больницы постсоветского периода имели удручающий вид. Старое оборудование, ободранные стены, нищие пациенты. Врачам платили гроши. Привыкшая выкарабкиваться из вечных финансовых ям, Лена больше всего боялась свыкнуться с этой безнадегой, утратив вкус к жизни. Она не хотела обживаться в воронке — разрисовывать скаты сырой земли под обои и ставить в углубление зеркало.

Когда молодой хирург Алексей Твитин, давно оказывавший знаки внимания, предложил ей руку, она согласилась. Твитин был сыном профессора, человеком талантливым и мягким. Родители жениха подарили им кооперативную квартиру в центре Екатеринбурга. Лена забеременела. На восьмом месяце она обнаружила в кармане пиджака супруга упаковку презервативов. Но ничего не сказала. Твитин мог увлекаться. Как врач, ежедневно видевший боль и страдания, он иногда пускался в мелкие интрижки, пытаясь в порыве полового наслаждения стереть картины ранимой человеческой плоти. Она решила простить ему этот профессиональный приапизм, если он не коснется интересов семьи. Ее поразила собственная рассудительность. И она спросила себя, а не является ли легкость ее заочного прощения доказательством отсутствия любви?

Еще до получения диплома магистра МБА Сьюзан взяли на работу в престижную компанию в Чикаго на правах младшего специалиста. Компания занималась инвестиционным консалтингом. Сьюзан бойко, но тактично растолкала новичков и к концу второго года получила свой первый портфель клиентов. Ее заметили. С ней стали считаться. Она переехала из съемной комнаты в собственную квартиру — в престижном районе с видом на парк и озеро. Купила новый автомобиль, напоминающий профиль акулы. Безупречная в деловых туалетах, она практиковала агрессивный сексизм на полукорпоративных вечеринках, где обычно собирались все важные игроки среднего звена, но никогда не скатывалась до вульгарности.

Во время одной из таких party она встретила Ника Торнтона, директора по инвестициям в чикагском филиале «Голдман и Сакс». После коктейлей у них возникло обоюдное желание уединиться. Они отправились в отель, провели волшебную ночь. И спешно расстались, даже не обменявшись телефонами. Но через неделю посыльный доставил в ее квартиру роскошный букет из семидесяти роз с запиской. Ник приглашал ее на романтический ужин в одном из самых престижных клубных ресторанов. Через полгода он все-таки упросил ее переехать к нему. Еще через два года, когда она возглавила новый отдел, они поженились и провели медовый полумесяц — 12 дней — на Карибах. Их совокупного дохода хватало с лихвой на то, чтобы оформить кредит на роскошный особняк в пригороде. С бассейном, кортом, зимним садом, гаражом на четыре автомобиля и летним домиком для гостей. Сьюзан родила двух детей — девочку и мальчика. Уборкой в доме, садом, готовкой и уходом за детьми, пока хозяева на работе, занималась нанятая в престижном агентстве прислуга.

Навещая вместе с сыном родителей в родном Михайловске, Лена старалась производить впечатление занятой, довольной жизнью женщины. Она знала, что ее брак многие, за спиной, считали коммерческим. Поэтому с двойным рвением занялась профессиональным саморазвитием и в считанные годы доросла до завотделением пульмонологии. Взяток Елена Твитина не брала принципиально. Предпочитала принимать благодарность в виде помощи с ремонтом, заменой оборудования, покупкой новых постельных комплектов для стационара. Вскоре левое крыло второго этажа преобразилось настолько, что стало напоминать социализм в отдельно взятом помещении.

При этом сама Твитина прочно погрузилась в навязчивый быт постсоветской интеллигенции с его вынужденной экономией, приматом духовности над действительностью и профессионального успеха над финансовым. Ее рабочий кабинет выглядел куда богаче домашней спальни. И если Алексей мирился с подобным положением, то Лену эта ситуация не устраивала. Ждать, когда в России начнут ценить врачей? Она одолжила деньги у знакомых, ушла с работы и бросилась в омут коммерции. Кто бы мог подумать! Твитина заделалась «челноком». Волшебная сказка Востока открылась для нее ночными базарами в пригороде Стамбула, оптовым шопингом в Эмиратах, израильской контрабандой. Лена привозила товар, сбрасывала его подешевле и тотчас отправлялась за новой партией. Она крутилась как белка в колесе.

Фамильный капитал четы Торнтон увеличивался внушительными темпами. Происходило это не столько благодаря хитроумным стратегиям, сколько благодаря постоянно растущему рынку. В последние годы Ник диверсифицировал свой портфель, вложив значительные средства в недвижимость по всему штату. Покупка домов стала тривиальным способом богатеть. Банки раздавали кредиты направо и налево, не переживая о платежеспособности клиентов. Сьюзан уже приглядывала кондо на Гаваях и симпатичное шато в горах Швейцарии для зимнего отдыха, когда однажды, в конце августа, ей приснился странный сон. Ветер отбросил занавеску в их южной спальне, и рухнувший на пол цветочный вазон затопил нежный кремовый ковролин жирной землей Айовы. До самого плинтуса. Той самой, отцовской землей, от которой она пыталась сбежать.

А потом наступил октябрь 2008-го. Автомобиль Ника нашли на парковке «Дорис» с простреленным изнутри боковым стеклом, заляпанным кровью и мозгом. Жизнь Сьюзан превратилась в ад. За какие-то несколько дней все их семейные вложения испарились. Компания разорилась, и Сьюзан потеряла работу. Банк отобрал коммерческую недвижимость ее и Ника. Прислугу пришлось рассчитать. Сьюзан дважды давали отсрочку по внесению ипотечных платежей за дом, но видя, что происходит вокруг, она поняла, что и с этими последними стенами ей тоже придется расстаться. Она больше не в состоянии держаться на плаву.

Отец, много повидавший в жизни, научил ее в детстве двум вещам. Всегда рассчитывать только на себя. И никогда не доверять банкам. С ними нужно работать. Их надо использовать. Но никогда нельзя оставлять им ключ от собственной судьбы. Поэтому у отца всегда имелась припрятанная кубышка. Стыдно сказать, Сьюзан держала наличность в одной из обувных коробок гардеробной. Месяц назад такую привычку посчитали бы симптомом профессиональной деградации, ведь деньги — любые и все — постоянно должны прирастать. Но теперь все изменилось. Сьюзан похоронила супруга. Продала дом на упавшем рынке. И уехала в Висконсин.

Она начала с нуля. Поселилась с детьми в доме, требовавшем незначительного ремонта. Сама разработала новый дизайн. Сама привела дом в порядок, скупая за гроши остатки материалов у строительных и отделочных компаний. Научилась

менять сантехнику, штукатурить и красить. Привыкшая носить повседневный маникюр за четыреста баксов, она почувствовала себя персонажем голливудской комедии «Человек за бортом». Иногда она плакала по ночам. Все это время наличность из коробки «Прадо» позволяла ей и детям сводить концы с концами. Осенью продала дом и переехала с детьми в следующий, побольше. Достигнув дна, рынок американской недвижимости стал постепенно приходить в себя. Как старик после инсульта, он едва шевелил конечностями, не мог говорить и разил грязным подгузником. Но он все еще был жив.

Твитин продолжал пить. Он пах чужой парфюмерией, укоряя супругу в том, что она превратилась в «барыжную стерву». Презрительно считал ее «делишки» упадничеством. И не смотря на классовую ненависть, с удовольствием носил привезенные ею брендовые тряпки, курил купленные для него тонкие сигареты. Лена долго терпела его выходки, не желая лишать сына даже такого отца. Но когда Кириллу исполнилось четырнадцать, переехала в собственный дом и подала на развод. К тому времени она уже подмяла под себя оптовую торговлю турецким ширпотребом в городе. Крутила караванами фур, открыла два пошивочных цеха и пекарню. В новом бизнес-центре Лене принадлежал весь первый этаж. Она без риска сдала его под французский гипермаркет, а за сдачу в аренду через три года приобрела сеть заправок по периметру Екатеринбурга. У нее не было особых предпочтений. Она вкладывалась в любой законный бизнес, суливший прибыль.

Зимой в Туле ее черный «Гелендваген» влетел правым колесом в канализационный люк, повредив шаровую опору. Водитель вызвал эвакуатор. Лена провела сутки в отеле, не расставаясь с мобильным и ноутбуком. Она предполагала, что срочный ремонт на фирменном СТО влетит в копеечку, но, когда выставленный счет вдвое превысил страховое покрытие, приехала лично, чтобы посмотреть владельцу в глаза. Пассажи директоров ее не убедили. После часового разбирательства персонал, уступив ее настойчивости, вызвонил собственника по Скайпу. Лена увидела мужчину в лыжном комбинезоне на фоне альпийского склона. Он в двух словах повторил политику дилерского ценообразования. Мягко, уважительно и доходчиво. Она долго слушала, а потом попросила его снять солнцезащитные очки. В его морщинах, волевом подбородке, волосах, подернутых сединой, в его изменившемся, но странно знакомом голосе, она узнала... свою первую любовь — Колю Симонова. Мальчика, когда-то носившего ее школьный портфель.

Через пять лет после бегства из Чикаго Сьюзан открыла собственную реновационную компанию, ориентированную на клиентов со скромным бюджетом. Бесплатные ознакомительные консультации. Материалы со скидкой. Хорошо продуманный дизайн. Она одной из первых ввела институт «прораба на час», универсального специалиста, который за умеренную плату обучал любителей обходиться без профессионального наемного труда и вел объект на всех этапах, от начала и до полного завершения. Что-то вроде воспетого ХАССП — метода контроля критических точек. Услуги компании оказались настолько популярными, что она стремительно обросла филиалами по всей стране и стала одной из самых хорошо продаваемых франшиз.

Сьюзан так и не решилась вернуться в финансовый консалтинг. И где-то глубоко, на уровне подсознательного, затаила обиду на мужчин. Она по-прежнему чудесно выглядела. В ее жизни хватало скоротечных увлечений, но все они были до того, как ее познакомили с адвокатом Филом Бейтсом. Национальная ассоциация электриков подала иски в двадцати семи штатах, обвинив местных представителей компании Сьюзан в нарушении строительного кода, предписывающего для работ с электропроводкой нанимать только лицензированных специалистов. Филу пришлось

доказывать в судах, что, во-первых, советы обывателям касались исключительно поддержания в рабочем состоянии уже имеющейся проводки, а во-вторых, многие из консультантов компании обладали действующей лицензией НАЭ. Он был превосходным юристом и, разделавшись с заявителями, подал встречные иски о защите деловой репутации. Сьюзан поразили его блестящий ум и самоирония.

Работа привела к обоюдной симпатии. Симпатия перетекла в роман. Бейтс был женат. Он ничего не обещал Сьюзан, а она была слишком самодостаточной женщиной, чтобы чего-то требовать или на что-то надеяться. Их обоих устраивала эта размеренная страсть, переросшая в близость, но так и не ставшая браком. Сьюзан дала образование детям. Когда они разъехались, она продала дом в Висконсине и поселилась в Вашингтоне, в скромном особняке с двумя спальнями и чудесным видом. Чтобы пить чай с навещавшим ее Филом на задней веранде, любуясь закатным солнцем, ласкающим зелень холмов.

Она по-прежнему вела деятельную жизнь. И благодарила судьбу за то, что та, не дав скатиться в нищету, показала ей подлинную изнанку американской жизни — миф о бесконечном труде как единственном пути к благосостоянию. Этот путь, словно тракт старателей времен золотой лихорадки, был выложен сотнями миллионов трупов, которых можно было избежать, если бы государство относилось к своим гражданам чуточку гуманнее. Как к собственным детям, а не родившимся на его территории батракам с кайлом в руках и надеждой в сердце.

На то, чтобы убедить Николая переехать в Екатеринбург, у Лены ушло три с половиной года. Дело было даже не в его бизнесе, который он вполне мог вести дистанционно. А в обещании покойной супруге присматривать за родней. Его взрослая дочь училась в Лондоне. Впервые появившись в доме у Лены, он повел себя вполне по-свойски, чем-то напоминая пресловутого Гошу из фильма «Москва слезам не верит». Привел в порядок то, что нуждалось в мужской руке. Съездил за продуктами и приготовил изысканный ужин. Лена боялась спугнуть его и потому до поры до времени скрывала часть своих активов и подлинное влияние. С Кирилла, которому Николай сразу понравился своей искренностью и простотой, она взяла слово молчать о делах.

Он узнал о них только тогда, когда по городу замаячили бигборды с портретом нового кандидата в муниципальный совет — Елены Александровны Симоновой. Лену двигали москвичи. Войдя в состав учредителей завода комплектующих, она помогла им с выделением участка под строительство и инфраструктуру, обеспечила благожелательность местных властей. Проект финансировался корейцами. Шаг из «бизнесвумэн» в политику для Лены был одновременно логичен и смешон. Никогда в жизни она не гналась за креслом. Но ее убедили, что это, скорее, выглядит как официальное признание ее значимости для города. В кругах влиятельных людей ее за глаза уже давно называли «мама Лена». Кто-то с теплотой. Кто-то с завистью и неприязнью.

Во втором браке, с Николаем, они прожили двадцать девять лет. Долгих и насыщенных. Она родила ему сына и еще одну дочь. На шестом десятке ее догнало фамильное проклятие Брянчиковых — диабет. По новой методике, дважды в год, она проходила восстановительную терапию в Базеле. Затем начались осложнения на кости таза. Свой собственный медицинский центр, построенный — после дюжины жилых комплексов и нескольких торговых — строительной компанией Кирилла, она открывала уже сидя в инвалидной коляске. В шестьдесят семь Лену Симонову сразил инсульт.

Найли пережила ее. Когда Сьюзан понадобился постоянный присмотр, она переехала в «Ласковый бриз», престижный пансион для пожилых людей. У нее была отдельная секция с милым патио. Дети и внуки изредка навещали ее, понимая тщету своих усилий. Последние годы она страдала от деменции и никого из них не узнавала.

Михаил Каганович

Так люблю

Вертеп

Задирали небесный полог архангелы, чтоб из глубины страны
Заглядывали пастухи. Дароносцы-волхвы рядком с верблюдицами
Преклоняли колена. Сновали планктонные ангельские чины
С глазами — полными слёз и страдания блюдцами.

Утекали сонмы солдат на смиренный покос. Когорты рабов из труб
Пароходов колымских и крематориев клубами выливались маслянистыми, —
Эпилептической сажей обметанных кирпичных и медных губ,
Триумфально курящихся истинами истыми...

Но чем ближе к касанию бездны, тем время растягивается длинней...
Стлать соломку самим себе и друг другу, Младенца мучениями:
Подрастёт — и распнём, и спасёмся... И станет ясней

Наших вежд всепроницающее свечение.
Я — от имени бесов, Тобою вселённых в обыкновенных свиней.
Лишь отбился от стада. В отчаянии отречения.

* * *

Снился странный Гефест. Он ковал мне доспех.
А меня разбирал то ли лай, то ли смех.
Он шипел по-кошачьи. Он в чаячий крик
Обрывался, тот, медью смердящий старик.
То ли бог, то ли ужас. С лицом — до краёв —
Как кумыс в пиале. Прапорщик Воробьёв,
Мой стройбатовский взводный. В маслинах зениц —
Стон, раифский, ордынских крещёных станиц.
Русакам, ни татарам, ни мне — не чета.
Даром — крест на груди, да в зрачках — дурнота.
Всё мне по*н*ожь ковал — вроде медных бахил.
Без подошв и без пяток, ты — типа — Ахилл...
Чтоб от смеха и страха я лаял во сне:
Сребролукий, как есть, стосковался по мне...

Каганович Михаил Вениаминович — поэт, прозаик. Родился в 1956 году в Москве. Автор книг стихов «CREDO» (М., 2008) и «Неправильные сонеты» (М., 2018), двух книг прозы «Начало романа» (М., 2009) и «На конной тяге» (М., 2009). Живет в городе Беэр-Шева (Израиль).

* * *

Так люблю, что всей грудью на дверь навалюсь! И с порога я...
Рухну в трухлую нежить кирпичного мяса колен.
Я, мычащая в чаще оврага вражина — скотина безрогая.
Приплетусь. И дои меня вусмерть... А после — по горлу и в тлен,
Потому что любовь и мычанье — от маменькой петой комолости
Речки Сквирни и призрака церкви — с бурьяном окрест, — где легли —
Все свои, лет за двести. Вишнёвой, на топку изрубленной волости...
До пенька — в дым ушедшем уезде, избытой Рязанской земли —
Риму третьему тут не гулять, Вавилону не ставить коровники...
Всю скудель извели, чтоб с карачек привстать до стрехи?
Не о том ли скрежещут покойники-единокровники...
Только тёмно — Создатель смешал матерщину за наши грехи.
Лишь, с погоста сбежав, ближе к ночи цепляют шиповники.
Да стерлядки на нерест нейдут — больно щуки в осоках тихи.

Кыргызский сонет

Галине Климовой

В Москве ложится только пятый снег.
И так лежит пушистый и немятый
В своём законном праве — он ведь пятый! —
Весь в белом. И, как белый человек,
Ждёт дворника. А тот — кыргыз кургузой —
В айфоне. Трёт с памир-тяньшаньской музой
О чём-то горестном. Ему ли убирать? —
Он и в уме неймёт махать лопатой...
Урус шайтан — сам под пятою — пятый
Снег заставляет, словно скот, считать!
Усталый раб — в обитель чистых нег...
Назад. Навзрыд. Жене? Отцу? Аллаху?
Сейчас он встанет — тяжко, как на плаху...
Подохнуть проще в пятый этот снег.

* * *

Алле Левиной

«Вот так и уходят. Один за другим.
А нас оставляют сиротствовать. В поле».
Ни хлебом единым, ни небом... Одним
Лишь пресуществленьем покоя и воли.

Влекомы. Ведь здесь ощутить не дано,
Что там, где умопомрачительны числы,
Распахнутым взором за грань, как в окно,
Шагнёшь — через звуки, виденья и смыслы —

Колбаской-по-спасской, пустым колесом,
Стремглав, словно в детстве... Совсем невесом...
Над пёстро-весёлой толпой провожатых,

Что обод толкают и щиплют струны
Пространств мировых. Пузырями штаны.
По сторону ту. В пиджаках своих мятых.

Абу-Гош[1]

Средь скал мы насадим маслины.
Их серо-зелёная сень
Исполнится кликом ослиным,
Лишь мглою подёрнется день.
Чтоб мамонта сколотый бивень
С листвою, тревожной, в окне
Метался... Чтоб бледный, как ливень
На пьяном небесном пшене,
Блажил за потомство Иуды,
Хлебнув сарацинской бузы...
Чу! — фаджра, звериного, чудо —
Рокочущих всхлипов басы:
Рассвет призывают верблюды
В брильянтовых бурках росы.

* * *

Хочу зелёные ботинки —
Сочней, чем в Троицу трава.
Чтоб у двуногих и скотинки
Слюною смыло все слова...
Чтобы ни му, ни ку-ка-реку,
Ни и-го-го-шеньки, ни хрю...
И лишь Всевышний кротко в реку
Глядит. А я в Него смотрю —
От ужаса забыв о страхе,
Себя предчувствуя в листве...
В чём мать... И даже без рубахи.
Одни ботинки в голове:
Зелёные, на босу ногу.
У всех свой дорога — к Богу.

[1] Черкесское селение близ Иерусалима.

Алексей Иванов

Рассказы из сванской тетради

Пожар в Бечо

Дом, громадный не только по сванским меркам, полыхнул сразу. Был сонный летний полдень, все замерло, даже злющие сванские пчелы обленились и перестали жужжать вокруг нас. Бесцветный и бездымный огонь был почти невиден: солнце не только заставило все замереть, но и лишило своего привычного цвета речушку, крутой берег на той стороне ущелья, серые сванские дома, неровные квадраты обработанной земли за ними, расчертившие противоположный склон, даже курчавый буковый лес выцвел. Только вершины дальних гор не поддались и плыли в белесой синеве, укрывшись легкой, прозрачной дымкой.

Мы с Вано Квициани сидели на камне, принесенном когда-то лавиной, и теперь медленно, но упрямо сползавшем вниз к Ингури. А, может, и не сползавшем. Но громадный, метров пяти в высоту круглый валун с приступочкой — скамейкой со стороны реки — был так красив, что без хорошей легенды он не мог обойтись. А что может быть лучше для громадного камня, чем его незаметное, но неустанное передвижение?

Все мужчины из клана Квициани любили посидеть на каменной скамейке, глядя вниз на Ингури, дом*а*, казавшиеся отсюда игрушечными, маленьких человечков, лес на отрогах могучих гор и на сами вершины, то сияющие в немыслимой дали снежными шапками, то хмурящиеся и насылающие оттуда, сверху, непогоду. Здесь, на каменной скамье, хорошо думалось.

— Пожар! — вскочил я. — Вано, смотри, дом горит!

Вано окинул меня долгим взглядом, как бы взвешивая услышанное, и кивнул.

— Пожар, — и снова уперся подбородком в отполированное руками навершие посоха.

Дом, что полыхал сейчас на той стороне ущелья, когда-то поразил меня размерами, так не сочетающимися с традиционными сванскими домами.

— Наш родственник, — сказал тогда Вано, — хороший человек! Лесом заведует!

— Это как? — удивился я.

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трех романов (в т.ч. «Опыт № 1918», — М., ArsisBooks, 2019 — в «ДН» опубликованного в 2017, №№ 5, 6, 7), нескольких повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 12.

— Лес каждый год рубим, — пояснил Вано, — а разрешение кто даст? Кто лес сажать будет? — Он помолчал. — Вот он и заведует. Кому сколько дров на зиму нужно... Саженцы привозит, учет ведет...

— Это он на саженцах такой дом заработал?

Вано промолчал, как молчал всегда, если не хотел обсуждать что-нибудь.

Вот и сейчас, глядя на горящий дом на противоположном берегу Ингури, он молчал, посасывая короткий прокуренный мундштучок.

— Надо пойти помочь! — сунулся я.

На дороге возле горящего дома появилась пожарная машина. Несколько людей в брезентовых костюмах раздвинули негустую толпу, раскатали шланги и засуетились возле машины.

— Пены нет! — прокомментировал Вано. — Будут из речки воду качать.

Шланг, протянутый в сторону реки, оказался коротким. И редкая цепочка людей принялась передавать из рук в руки ведра, которыми подростки черпали воду, по щиколотку зайдя в ледяное течение.

Картина была вполне сюрреалистическая: на ослепительном полуденном солнце бесцветно полыхали несколько строений, время от времени выбрасывая столбами сизый дым, подкрашенный языками пламени. Бездействующая пожарная машина выделялась красным пятном. Люди с ведрами, толпа женщин в черном и редкие, но явственные щелчки, похожие на звуки выстрелов. Я решил, что это камни, из которых сложены первые этажи строений в усадьбе «заведующего лесом», раскалившись от бесцветного пламени, лопались один за другим, выпуская в гудящий вихрь, поднявшийся над домами, густые автоматные очереди. Это были единственные звуки, доносившиеся с того берега.

— Камни лопаются, — сказал я.

Вано, по-прежнему опираясь подбородком на посох, даже не повернул головы.

— Патроны, — он принялся выколачивать свой мундштучок о скамью.

— Сколько же у него патронов? — удивился я.

Вано промолчал, глядя на пожар.

Один за другим с неравными промежутками раздались несколько глухих взрывов. Мы помолчали, потом Вано сказал:

— Гранаты, — и с протяжным стариковским вздохом вытащил свои любимые коротенькие сигаретки, прищурился на облачка пыли, взметнувшиеся над пожаром, и стал заряжать мундштук.

— Хозяина как раз дома нету, — сказал Вано после большой паузы, в которой ударили вверх два-три взрывных облака. — Уехал в Краснодар. Большое несчастье, — покачал он головой.

Сигаретка тлела, он качал головой, щурясь от жгучего солнца.

— Телеграмму получил, сын в армии в Краснодаре. Командир части просил приехать.

— Неприятности? — я уже стал привыкать к манере разговора Вано.

У сванов, служивших срочную, нередко бывали неприятности по службе: малые армейские чины почему-то любили сводить в одну роту стройбатов запальчивых мусульман-дагестанцев и решительных сванов.

— А он, — не ответил Вано, — собрался дочку выдавать замуж за одного... — задумался Вано, — одного из наших... в Тбилиси... В лесном министерстве работает...

Мы снова послушали поредевшие автоматные очереди.

— Приданое дочке собрал... Все деньги в сберкассе снял со счета, одних сапогов иностранных в Зугдиди купил три пары... И на зиму еще две... И золото по заказу привозили в магазин... спецмашина пришла... ин... ин...

— Инкассаторская? — догадался я.

Что-то изменилось на пожаре: столб огня поднялся выше, протяжный гул стал различим даже сквозь монотонный говор мелководной летом реки. Так ревут буйволы, учуяв каким-то нюхом сход лавины.

— Горит хорошо, — вздохнул Вано. — Он лес заготовил для дома молодым. Все чердаки и сараи пиленым лесом забиты. На просушку. Не надо было ему уезжать, — сказал он без паузы. — Не надо...

— Ты думаешь... — начал соображать я.

— Лес собрал, приданое приготовил, деньги с книжки снял, — принялся перечислять Вано, — подарки из Зугдиди, из самого Тбилиси привез... нельзя было уезжать...

На пожарище ахнул нешуточный взрыв, обвалилась угловая часть каменного забора, черные клубы рванули в небо.

— Мина, — сказал Вано, — противотанковая. Теперь пожарные пойдут разбирать, что осталось... Нельзя ему было уезжать...

И действительно, пожарные бросили курить, поснимали багры с боков оранжевой цистерны и исчезли за полусгоревшими придорожными зарослями.

Два года назад дальний родственник семьи Квициани (а кто в Бечо не родственник друг другу?) привез основательную партию саженцев дуба и бука и договорился с директором школы, тоже, разумеется, родственником, чтобы вместо уроков в последние школьные дни старшеклассники готовили землю для посадки, а мелкоту научили («Хорошее дело сделали», — одобрил Вано) прикапывать саженцы в подготовленную землю на каменных осыпях. И поливать, таская воду из дальнего родника. Работу умело превратили в праздник, женщины сварили двух бычков, испекли лепешки-кубдари, и половина селения помогла детям и повеселилась по случаю окончания работы («Хорошее дело сделали!») и учебного года.

Но школьный бухгалтер, естественно, родственница, узнала, что директору школы перепали кой-какие деньги за участие детей в посадках. А умные люди сообразили: за всю работу деньги были заплачены «заведующему лесом», ну и у него осели. На переговоры отправился махвши[1], которого потерявший бдительность «заведующий» выставил из дома, заодно припомнив, что у махвши, уважаемого человека, всего четыре класса образования. Если не считать пяти лет советской тюрьмы-колонии. Правда, в два захода.

Целый год потерявший бдительность, но опытный «заведующий» лесом просыпался по нескольку раз за ночь и обходил посты дальних родственников, приглашенных для того из Сванской Абхазии. Те хоть и лежали на постах с винтовками, но считали работу, им порученную, придурью, а потому по ночам либо подремывали, либо, прикладываясь понемногу к араке, прикидывали дни, когда хозяин полностью рассчитается и можно будет уехать домой, — у каждого свои дела и свои заботы. Тем более что за родственную помощь деньги он обещал небольшие. Даже маленькие, если сказать честно.

Позже махвши, пригрозившему «завлесом», увезли зугдидские милиционеры, — припомнили ему какое-то давнее дело, будто бы связанное с лицври[2], и пошли один

[1] Выборный председатель общего собрания села.

[2] Кровная месть.

за одним мужчины скрепя сердце к «завлесом» за разрешением на вырубку, — куда денешься, зимы в Сванетии приходят сами собою, а без дров в Бечо мог обходиться разве что свихнувшийся от араки бедняга Каха-кривой.

Тут и время подошло старшую дочку замуж выдавать, и сами времена изменились, — цивилизация прикатила в Бечо. Вано с удовольствием выговаривал слово «цивилизация», оно ему нравилось. Две белые «Волги» появились в селении даже раньше, чем в Местии. (Одна — у «заведующего лесом».)

Но махвши есть махвши, — никто не мог догадаться, как он, сидя в тюрьме, сумел придумать целый план: подождать, пока дочка соберется замуж, старший сын будет в армии... Интересно, а кто же прислал телеграмму за подписью командира части? Видно, и в Краснодаре есть родственники?

Много позже я как-то спросил Вано, неужели уважаемый махвши целых два года ждал, думая, как отомстить «завлесом»? Кстати, мы опять сидели на той же каменной скамье. Только вместо громадного дома и усадьбы на противоположной стороне ущелья виднелось, как память о черных делах, пожарище. Даже трава и приставучие кусты не очень-то хотели прикрывать его. А сам хозяин, «завлесом», срочно прилетевший тогда из Краснодара, тут же, в три дня, уехал в Тбилиси.

— Два года ждал? — задумался Вано. — У вас, у русских, и у нас, сванов, время движется по-разному... — он козырьком приложил ладонь к сванской шапочке и вдруг прокричал что-то по-свански.

Двое внуков выскочили из-за сараев и помчались по тропинке вниз, к крупным камням, по которым можно было перескочить на другой берег по-летнему обмелевшей реки.

— Что такое, Вано? — забеспокоился я.

— Овцы убежали у нашего родственника Авто (Автандила), сейчас кукурузу потравят, — он опять посмотрел из-под руки. — Собака у него молодая, упустила овец...

Я тоже старался рассмотреть этих овец, но ничего, кроме россыпи кустов и разработанных делянок, не увидел.

— Время движется по-разному, — продолжил Вано и поднялся, опираясь на посох. — Когда у нас, сванов, здесь, в сердце, обида живет, времени нет... Оно замерло и ждет... Сколько там... — он корявой коричневой рукой указал вверх, в небо. — Сколько там времени отсчитает, неважно... Здесь, — он указал, и я не понял: на землю или на сердце, — здесь оно остановилось... — Вано повернулся и весело посмотрел коричневыми немигающими глазами. — А махвши наш вернулся! В Тбилиси очень извинялись перед ним, даже один капитан из Тбилиси приезжал, рассказывал всем, как в милиции ошиблись... Очень извинялся! — и вдруг выругался по-свански. Это я услышал от него впервые.

Я долго думал, как перевести то, что он сказал, ведь в языке сванов нет матерных ругательств. В мягком варианте можно, пожалуй, передать как: «Чтобы они провалились в задницу, эти протухшие ишаки!» Интересно, что бы это могло означать: «протухшие ишаки»?

Роза и меч

Все забыли, как его зовут. Называли дядя Григол. Он отзывался, этого было достаточно. А как звали на самом деле — какая разница? Его кузница стояла на самом краю селения, дальше только горы, поросшие кустарником, дубами и гикорем[1], поднимались ввысь. Когда-то он пришел сюда, в Верхнюю Сванетию, и никто не знал откуда. Достаточно было, что он кузнец. Тогда еще не было кузни на краю у отрогов гор, откуда начинается тропа к вечному Тутнульди. Потом кузня появилась и за долгое время покривилась, обросла зеленым и желтым мхом, толстые сланцевые плиты крыши сползли в сторону. Не совсем, конечно. Лавина, которая сдвинула кузню вниз, к самому берегу Ингури, пожалела старика дядю Григола и не сбросила крышу в воду. Зато внутри стало светлее и дым от вечно горящего очага быстрее уходил, не оседая черной мохнатой сажей на каменных стенах кузни.

Дядю Григола знали все. Не было в Верхней и Нижней Сванетии мужчины, который бы не приходил подковать коня, починить старинную винтовку, пистолет, стремена, поправить упряжь для быков, — мало ли что понадобится человеку в его долгой жизни. Но главное, за чем приезжали, приходили люди со всей Грузии — оружие. Ружья, пистолеты, мечи и кинжалы. К дяде Григолу тянулись гордые хевсуры, веселые кахетинцы, расчетливые имеретинцы, горячие аджарцы, коварные мегрелы — разве всех перечислить? Гости шли с дарами. Подношения часто везли на быках, — непривычные к тому лошади не могли пройти по горным тропам. Богатства махвши делил на всех. По справедливости. И все гордились дядей Григолом.

Приезжали к дяде Григолу тавады (князья, как считали в России) и азнаури (дворяне) с самыми звонкими фамилиями и даже люди из рода сванских эриставов — Геловани, но все, все до единого становились в очередь к дяде Григолу. Пока последний сван из поселения не примет свои заказы из рук дяди Григола, гости с почтением ожидали. Богатые — в доме князя Дадашкелиани, победнее — искали ночлег среди не очень-то гостеприимных сванов. И только зимой, когда закрывалась дорога в Сванетии, дядя Григол выходил из своей кузни, щурился на снег, на ледники, любовался двурогой Ушбой, покуривал трубочку и снова скрывался в кузне. Зимой он ковал и отливал золотые и серебряные украшения. Что за кинжал без золотой чеканки? Что за ружье, если оно не украшено золотыми и серебряными накладками с волчьими и львиными головами? Что за женщина, если на шее не звенят мониста, сработанные дядей Григолом? А еще он любил одаривать женихов и невест. И даже завелся в поселении обычай: жених с невестой (только вдвоем!) подходили к кузне и ждали, вынесет ли дядя Григол свой подарок. На счастье. И дядя Григол всегда выносил новобрачным розу, только что выкованную из железа. Роза была еще горячей, жених едва мог держать ее в руке, но ведь и любовь молодых была такой же. Разве мог он прикоснуться к руке невесты и не почувствовать ее жар?

Однажды подъехал на лошади (двое чухчарехи[2] едва сдерживали красавца-коня) сам князь Арчил Варданисдзе (Марушиани) — предки которого, начиная с десятого века, еще до клана Геловани, были эриставами[3] Сванетии. Он спешился и отпустил

---

[1] Род ореховых деревьев.

[2] Здесь: стражники.

[3] Правитель.

охрану и людей, которые сопровождали его. Из тех, кто всегда хочет быть поближе к знатности и власти.

Князь Арчил, согнувшись, вошел в низкую дверь кузни и замер, чтобы глаза привыкли к темноте.

— Я хочу приветствовать тебя, дядя Григол! — так сказал князь, громко сказал, чтобы дядя Григол услышал его.

Дядя Григол на миг оторвался от раскаленного до бела куска стали и снова принялся стучать по нему молотом.

— Я хочу... — сказал князь и тут же поправился: — Я прошу, чтобы ты взял меня в свои ученики, — он замолчал, ожидая ответа.

Но дядя Григол продолжал плющить молотком кусок стали, который под ударами вытягивался, краснел, переливаясь красками, темнел и снова становился огненно-белым, когда дядя Григол бросал его в жаровню горна.

— За учебу, — продолжал князь Арчил, — я заплачу тебе много денег!

— Зачем тебе это? — наконец спросил дядя Григол.

К старику приходило много юношей, мечтавших стать его учениками, приносили деньги и вино, клялись знатными родственниками, но князь пришел к нему впервые.

— Я хочу узнать тайну твоего мастерства, — сказал князь. — Почему твоя сабля рубит копье, ломает меч и разбивает щит вдребезги? А на ней не остается даже следа? Эту тайну я и хочу узнать.

— Зачем тебе это? — повторил дядя Григол.

— Ты знаешь, наверное, что наш род самый древний и знаменитый в Сванетии, — князь все еще стоял у двери, согнувшись. Так высок был князь или так низок потолок в кузне? — Люди нашего рода были первыми эриставами в Сванетии.

— Теперь ты хочешь стать новым эриставом?

— Я хочу стать твоим учеником, — смиренно ответил князь, глядя, как на его глазах кусок стали превращается в изогнутое лезвие.

— Зачем тебе это? — снова повторил дядя Григол. — Ты можешь купить любую саблю. Но сабля — это не цель. Я вижу, что для тебя сабля — путь, начало пути.

— Я хочу, чтобы сабля, выкованная мной, стала началом пути моего народа.

Дядя Григол, наконец, оторвался от поковки, бросил ее в горн и стал ногой раздувать меха. Горн загудел, как начинающаяся высоко-высоко лавина.

— Мне кажется, — дядя Григол щипцами повернул поковку, и искры с гулом рванулись вверх, в черный шатер дымохода. — Мне кажется, ты опоздал.

— Ты уже взял кого-то в ученики?

— Нет, — ответил дядя Григол. Он выхватил поковку из огня, железной щеткой очистил от окалины и принялся неистово лупить ее молотком. Кузня наполнилась таким звоном, что говорить стало невозможно. Искры полетели в стороны, посыпались на пол, превращаясь в черные катышки, ударили в кожаный фартук дяди Григола.

— Ты не хочешь взять меня в ученики? Почему? — князь Арчил старался перекричать рев горна и звон стали. — Я дам тебе столько золота, сколько ты попросишь! Мне нужна твоя сабля! Моему народу нужна твоя волшебная сабля! — князь хотел подойти ближе к дяде Григолу, ему казалось, что тот ничего не слышит из-за звона металла.

— Откуда ты знаешь, что нужно твоему народу? — дядя Григол теперь аккуратно положил поковку, уже отдаленно похожую на саблю, и повернулся к князю Арчилу.

— Мне бывают видения по ночам, я мучаюсь, стараясь вывести мой народ, но всякий раз приходится отступать перед сонмищем врагов.

— А что делает в твоих видениях твой, как ты сказал, народ?

— Народ? — задумался князь Арчил. — В моих видениях нет моего народа, там только воины, они сражаются как львы, но без твоей волшебной сабли...

— Дай мне твой кинжал, — сказал дядя Григол, и князь послушно выхватил из ножен кривой турецкий кинжал дамасской стали.

— Это настоящий дамаск! — не удержался князь Арчил.

Дядя Григол подбросил углей в горн и стал раздувать его так, что князь Арчил, задыхаясь, выскочил из кузни. Из-под сланцевой крыши валил дым, словно там разгорелся настоящий пожар.

Едва князь сумел продышаться, к нему подскочили нукеры и чухчарехи.

— Что там, господин, пожар? Нужно нам вмешаться?

Но князь только оттолкнул их и присел на скамью из трех валунов — так удачно сбросила их с себя лавина, обошедшая кузню. Он сидел, молча глядя на поросшие мхом стены, съехавшую на бок сланцевую крышу, заросли дикого винограда и повилики, обвившие жалкое строение, и слушал частый перезвон молотков. Бухал тяжелый молот, потом, почти сразу, молот поменьше, и тут же, будто у старого дяди Григола было несколько рук, застучали маленькие молотки. И черно-желтый дым постепенно перестал валить из-под крыши.

Князь вошел в кузню, стараясь дышать пореже — дым все еще не ушел из нее, — и увидел, как дядя Григол достает что-то из бочки за наковальней.

— Что это? — спросил князь.

— Это тебе, — сказал дядя Григол.

— Что это? — Князь уже видел, конечно, *что* достал из бочки с нефтяным маслом кузнец, но не верил своим глазам.

— Роза, — сказал дядя Григол.

— А где мой дамасский кинжал? — едва слышно проговорил князь, уже поняв, что произошло.

— Вот он, — дядя Григол протянул ему розу.

— А-ааа! Что ты сделал? — закричал князь так, что нукерам и чухчарехи показалось, что сланцевая плита на кузне подпрыгнула. — А-аа! Теперь тебе не жить, колдун! — Он выхватил свою саблю, размахнулся и... всадил ее в низкий потолок так, что клинок разлетелся, оставив осколок в твердом сланце.

С тех пор прошло много времени, много лавин пронеслось мимо покосившейся кузни со сползшей набок сланцевой плитой-крышей, но и сейчас, рассказывая гостям эту историю, всегда ведут их через низкую дверь в темноту, из которой не выветрился запах кузнечного дыма, и показывают глубокий след — рану, оставленную в потолке саблей последнего из князей Варданисдзе (Марушиани) — Арчила.

А дядя Григол исчез. Однажды заметили, что дым из кузни не валит, как прежде, по утрам. Искали всем селением — не нашли. Решили, мало ли что в горах может случиться. Один умный мальчишка, племянник Шалвы Квициани, вычитал в книжке, что в Японии старики поголовно так делают. Уйдут в горы — там и конец. Мальчишке не поверили, мало ли что в книжках напишут. Особенно смущало, что вместе с дядей Григолом исчезли и его инструменты. Если старик ушел в горы помирать, зачем ему клещи, кувалды, молотки и прочая кузнечная утварь? Будто в горах без тяжеленных кузнечных клещей и умереть невозможно.

Лицври, или Взятие крови

— Дядя Шалва, я нашел их, — Леван, тринадцатилетний племянник Шалвы Квициани, тряс его за плечо. — Дядя Шалва, они совсем близко, прямо за речкой. Хотят снизу подобраться к дому дедушки Гудури...

— А! — наконец, проснулся Шалва. — Что ты говоришь? Кто подкрался? — со сна он никак не мог прийти в себя. Сны он видел редко, и только про войну. — Кто подкрался? — но больше расспросов не было. Шалва сел на край топчана, натянул башмаки, набросил телогрейку и вышел вслед за племянником. Винтовка стояла прямо у выхода, он подхватил ее не глядя. Леван услышал, как дядя передернул затвор. Во дворе он остановился и сказал вполголоса:

— Большую винтовку принеси.

«Большая винтовка», семизарядная винтовка Симонова образца 1936 года, была спрятана в специальном гнезде, выдолбленном в одном из столбов сарая. «Винтовку принеси» — не просто просьба или команда, а знак доверия человеку, которому можно иметь дело с оружием. Так дядя Шалва оценил труд Левана, пролежавшего полсуток недалеко от тропы, шедшей с гор к дому дедушки Гудури. Оттуда, считал бывший полковой разведчик дядя Шалва, должны прийти специально прибывшие из Зугдиди люди.

Приехавшие, чтобы совершить лицври. Шалва Квициани, как старший рода, несколько раз ходил к старейшинам рода Куштелиани. Надо было покончить с лицври. Так считал он сам, и об этом очень просила мама.

Шалва с войны имел звание капитана, преподавал в местной школе, был уважаемым человеком, машхви. Из тех, без кого в Бечо не принимались важные решения третейского суда, состоящего из двенадцати лучших, так считалось, жителей. Но Куштелиани, потомки княжеского рода, думали: ну кто такой старик Гудури, кто такой его родственник Шалва? Пусть он и преподает в школе, и даже единственный из сванов имеет орден с Красным Знаменем. Не побоялись машхви. Не испугались идти против всего Бечо.

Дедушка Гудури был не старше Шалвы, сам мог дать отпор молодцам из клана Куштелиани, если бы не его нога, сломанная на лесоповале в Сибири. В лагере, название которого в Бечо никто не мог выговорить. Дедушка Гудури и рассказал Шалико, что один из дальних родственников видел, как двое из рода Куштелиани договаривались с чужаками в чайной на рынке в Зугдиди. О чем — узнать не удалось, но говорили по-русски. И речь шла о больших деньгах. А о чем можно разговаривать с чужаками по-русски в задней комнате рыночной чайной? Только о лицври, — посчитал родственник, и особой подлости, присущей всему роду Куштелиани, пришедшему когда-то, тысячу лет назад из Кабарды. И не ошибся.

Это был час перед рассветом, когда всё в природе замирает, собираясь с силами. Время глубокого сна, те несколько минут, когда демоны беспрепятственно могут проникнуть в душу спящего. Хорошо, если поблизости есть иконка, хотя сваны не очень доверяют иконам и повязывают в нужном месте ценные ленточки и кое-что еще, о чем никому знать не надо. Это, конечно, увеличивает святое могущество икон.

Полная луна сдвинулась в сторону от Ушбы, залила селение, ущелье и окрестные горы неживым светом. Резкие тени улеглись на землю, нарушая четкие природные соотношения. Сарай непомерно разросся, подползая тенью к старому разлапистому гикори, а тень от дерева сломалась, распавшись на корыте, собачьей будке, в которой

никогда не сидел пес, и хозяйственном инвентаре, прислоненном к стене другого старого сарая, который всё собирались разрушить, да руки не доходили. Луна высвечивала небольшой огород и луг, им гордилась семья Квициани.

Луг этот косили несколько раз за лето, всегда собирая хорошее сено. По домашней легенде кто-то из рода Квициани, вернувшись из очередного набега то ли из Турции, то ли из Крыма, а может, и из Колхиды (кол-хи-да, вода под землей), привез волшебные семена, и пока соседи не отобрали их (следовало делиться добычей!), разбросал по лугу. Луг начинался прямо от старого дома и тянулся, поднимаясь не очень круто, до могучего леса с дубами, вязами, гикори и густыми кустами черной смородины. Тоже якобы привезенной откуда-то. То, что смородина росла и в других местах, нисколько не портило домашней легенды. А траву на лугу, говорят, приезжали исследовать ученые из Зугдиди и самого Тбилиси, тогда еще Тифлиса. Мнения ученых то ли остались неизвестными, то ли разделились между Тифлисом и Зугдиди. Но именно с тех пор считалось подтвержденным окончательно, что такая же трава растет еще только в далекой стране басков. И то не везде. Там она тоже редкость. Толком никто не знал, что это за «страна басков», но это придавало важности и траве, и лугу, и даже самой семье Квициани.

Луна уже теряла силу, становясь желтоватой, но волшебный свет все еще держался в долине, замер на одной стороне ущелья, вычернив полностью другую, и сделал серебряной воду весенней Ингури. Откуда-то сверху от вершины Тетнульди принесло холодное дыхание ледников. Это означало, что до солнца, прятавшегося до времени за сверкающим от лунного света горным хребтом, осталось совсем ничего. Не более получаса.

Винтовка и патроны в трех обоймах оказались тяжелее, чем ожидал Леван. Он запыхался, поднимаясь за дядей, и Шалва недовольно оглянулся. Тропа, по которой должны были пройти чужаки, высвечивалась на спуске и исчезала в кустах. Птицы, чувствуя рассвет, ожили, принялись перелетать с ветки на ветку, переговариваться негромко, пробуя голоса. Сорвался со старого кедра лунь, беззвучно перелетел поляну, подхватил с земли добычу и взмахнул крыльями. Будто поняв его команду, оживилась, зачирикала негромко птичья мелочь, не решаясь нарушать ночной покой.

Шалва повернулся к Левану, показал два пальца и направление — вверх. Радуясь, что понимает язык разведчиков, Леван, согнувшись, касаясь рукой холодной весенней земли, двинулся по крутому склону. Пахло сыростью, кислой старой корой и первыми белесыми цветочками, неразличимыми в темноте. Ветки чуть не сбросили с головы сванури, сванскую шапочку. Леван пригнулся, укрывшись за молодой елкой, и услышал треск веток, тяжелые шаги и приглушенные мужские голоса. Сверху, из темной части леса спускались по тропе явно не свои. Скользили, хватались за кусты, за корни, выползшие из земли, и сипло матерились по-русски. Леван прислушался: мужчин было двое. Или трое. Скорее, трое, наверняка их вел кто-то из Куштелиани. Провожатый, сван, хорошо если один, шел беззвучно. Чужим людям здесь трудно пройти даже днем; русские шли шумно, как быки, дыша и осыпая мелкие камешки. Леван подумал, что дядя Шалико тоже услышит их шаги, но на всякий случай приложил ладони к лицу и трижды ухнул, подавая ему сигнал. Шалва отозвался клёкотом, — так орлиная самка в гнезде недалеко от их дома разговаривает со своими птенцами.

Луна стала желтеть, потом светлеть с одного края, тропа, особенно там, где шла по откосу, потемнела. Леван даже испугался, рассмотрит ли дядя Шалва людей на

темном фоне маленькой лужайки. Он лег на мягкие дубовые листья и пополз, извиваясь, вверх: оттуда тропу было лучше видно, и вспомнил — конечно же, дядя Шалва увидит этих бандитов! У него артиллерийский бинокль с двадцатикратным увеличением! Дядя говорил, что может рассмотреть рисунок на металлической пуговице за сто метров! Если, конечно, настроить бинокль.

И тут Леван увидел всю троицу. Впереди шел высокий молодой Валико Куштелиани по прозвищу Баскетбол. За ним, скользя и хватаясь руками за все, что подвернется, топали, не скрываясь, двое мужчин. У одного болталась винтовка за спиной.

«Ха-ха, — подумал Леван, — дядя Шалва прихлопнет их как куропаток!» — и стал ждать выстрелов.

Бандиты прошли, оставив запах сигаретного дыма, пота и кирзовых сапог. Почему не стреляет? — забеспокоился Леван. Неужели дядя не увидел бандитов? Те пересекли лужайку и скрылись. Где теперь их можно перехватить? Только у самого дома дедушки Гудури. Леван пополз назад, теперь надо быстро выбираться из кустов и бежать вокруг, огибая каменистую осыпь, чтобы первым выбраться к плетеной загородке для скота позади дедушкиного дома. А где же все-таки дядя Шалико? Леван поскользнулся на осыпи и шлепнулся, ударившись лицом о камни. Мелкие камешки полетели под обрыв, но мальчишка зацепился за корни колючего кустарника.

«Хорошо, что дядя не дал мне винтовку, — мелькнуло в голове. — Мог бы разбить прицел!»

О том, что он мог соскользнуть с высоченного обрыва, Леван даже не подумал. Сван не может упасть и погибнуть в горах. Он подтянулся на руках, встал на четвереньки и выбрался с осыпи, стараясь не шуметь. Теперь быстро к дому дедушки Гудури. Но почему же нет выстрелов? И словно в ответ сухо хлопнул пистолетный выстрел. Будто по парте ударили толстой книжкой. «Это “Вальтер” дяди Шалико!» — замер Леван. А почему так далеко, неужели он перехватил их на подходе? Где кончились заросли и молодые дубки обступили громадный, величиной с дом камень, скатившийся с горы, когда дедушка Гудури был мальчишкой вроде Левана. И где еще два выстрела?

Леван не ошибся. Шалва Квициани встретил незваных гостей у камня. Поляна, на которую выбежал Леван, была уже залита солнцем, ударившим прямыми лучами из-за вершины Тетнульди, и птицы, радуясь солнцу и теплу, орали так, что можно было и не расслышать выстрела. Леван чуть не споткнулся о чужую винтовку, валявшуюся далеко от камня на редкой, едва выглянувшей из-под земли траве. Он схватил винтовку, стоя на коленях передернул затвор и, пригнувшись, целясь в мужчин, стоявших у камня, стал подниматься, стараясь не скользить. Один из тех троих, кого Леван видел на тропинке в лесу, лежал навзничь, глядя немигающими глазами на солнце. Двое, здоровый бугай с разбитым в кровь лицом и Валико-баскетбол, стояли на коленях, держа руки за головами.

«Стреляй, дядя Шалва, стреляй этих гадов!» — хотел крикнуть Леван, но только поточнее взял на прицел здоровенного дядьку. Один глаз у того закрылся от страшного отека, по рассеченному виску текла кровь.

Потом эти двое несли убитого на его же пальто. Уже орали как сумасшедшие петухи, гоготали гуси, вышедшие за ограду возле дома дедушки, и старенькая тетя Вера смотрела из-под руки на приближающихся мужчин.

Похоронили убитого за забором местного кладбища, на всякий случай не обозначив ничем могилу. А Куштелиани пришли договариваться про откуп, цор. Машхви, старейшины, среди которых был и дядя Шалва, долго обсуждали событие. Конечно, убийцы пришли, зная, что дедушке Гудури некому помочь: родной брат

Шалико дядя Вано, живший у дедушки, был в больнице, дома оставалась только согнутая от старости Вера, ходившая с посохом. И дядя Шалва был вправе убить этих подлецов — так посчитали старейшины.

— Дядя Шалва, — спросил Шалву Квициани племянник лет через десять после этого события.

Они сидели таким же солнечным утром, слушая дурацкие крики петухов, квохтанье кур, голодное хрюканье свиней. Вера выпустила их на волю, и они помчались, толкаясь в нешироком пролазе, стараясь побыстрей добежать до старых дубов, возле которых копались по полдня. Солнце било прямо в глаза, но Шалва привычно, без прищура, смотрел на сверкающую ледяную вершину двурогой Ушбы, одна голова которой спряталась в облаке, на дальние хребты, темнозеленые склоны противоположного края ущелья, на остатки тумана поднимавшегося от весенней гулкой Ингури. В клочьях тумана вспыхивали и исчезали сверкающие радуги.

— Дядя Шалва, — повторил повзрослевший на десяток лет Леван. — Скажи, почему ты не убил их тогда? Или лицври несправедливо и наши предки тысячу лет были не правы?

— Кто тебе может ответить, Левчик? — задумался Шалико. Он впервые назвал племянника «Левчик», как в детстве. Потом прикурил короткую сигаретку и стал снова смотреть на горы. После войны он поднялся в Бечо и больше ни разу не спускался вниз. — Я посмотрел в глаза тому, которого пришлось убить, — Шалико замолчал, глядя, как сигаретка сгорает в его руке. — Я подошел, чтобы говорить с ними, но тот сдернул винтовку...

— Ты ведь пристрелил его из «вальтера»?

— Да, пистолет был у меня в кармане, пришлось стрелять прямо через карман. Не вынимая...

Шалико прикурил новую сигаретку от старой. Огонек он растер пальцами. Его руки не боялись жара.

— Он упал и смотрел в небо, — сказал Шалико, помолчав. — Так смотрел в небо один немец, которого я убил в ихнем окопе. В Колпино. Под Ленинградом. Считалось, что я ходил в разведку. К немцам. Но я ходил за едой. У нас очень голодно было. У них попадались вкусные брикеты, каша-концентрат. Я бросил гранату в блиндаж, сам присел за бетонную стенку. Там раньше фундамент дома был, — Шалико говорил медленно, не отрывая взгляда от вершин. — Не знаю, откуда немец взялся... со штыком. У них такие были... штык-нож... Блиндаж подпрыгнул от взрыва, а этот кинулся на меня... Потом я собрал всю еду, кровь оттер, вылез из блиндажа, а немец лежит, смотрит в небо... Я подумал, зачем ты сюда пришел? Разве твоя мать тебя рожала и кормила для того, чтобы я тебя убил? Кинжалом в голову?

Хроменькая Вера, переселившаяся после смерти дедушки Гудури в дом Шалико, вышла, держа тяжелое ведро с теплой едой для быков. Леван отнес ведро в хлев и вернулся к Шалико.

— И этот дурак, что в меня хотел стрелять, тоже — как тот немец... С открытыми глазами... А кто дал мне право его убивать?

— Дядя Шалико, так он же... — Леван замолчал, глядя, как Шалико встал, отряхнул тяжелой рукой пепел с брюк и вздохнул, глядя на Ушбу.

— Я живу, а этот дурак давно уже там... — Шалико махнул рукой, и было непонятно, *там* — это на старом кладбище за низенькой каменной оградкой или *там* — высоко, высоко, выше ледяных вершин, теряющихся в залитом солнцем голубом небе.

Герман Канабеев

Неделя

Рассказ

Понедельник

Так. Хлеб, молоко, яйца. На это хватит. Вот они лежат на полке. Три-четыре сытых дня. Андреев потянулся за канистрой молока. Полки с молочкой расфокусировались. Андреев так и замер с протянутой рукой.

«Доступно обновление», — появилось предупреждение перед глазами на фоне размытых полок с молоком, маслом и кефиром.

Андреев кивнул и прижался к стойке с чипсами, чтобы не мешать другим покупателям.

На днях обещали большое обновление, и не нужно будет вот так зависать и ждать, когда прогрузится реальность. Обновления будут устанавливаться в фоновом режиме.

Обновление, наконец, загрузилось и установилось. Андреев снова потянулся за молоком.

«Действие недоступно в бесплатной версии реальности. Пополните счет», — выскочило предупреждение.

«Да пошло всё!» — заорал на весь магазин Андреев.

«Нам важно ваше мнение. Помогите нам стать лучше, оставьте свой отзыв», — загорелось перед глазами красным.

Андреев выскочил на улицу.

Сегодня утром, перед тем как зайти в магазин, Андреев наслаждался редким для Москвы солнцем. Теперь небо было словно завернуто в полиэтилен. «Где это долбаное солнце?» — подумал Андреев.

«Солнце недоступно в бесплатной версии реальности», — прочитал он уведомление на фоне серого неба, и вдогонку: «Сеть магазинов "Тингам" приглашает вас на пятничную распродажу, для вас будут доступны: суповой набор, маргарин, сухари ржаные, водка, вода — независимо от уровня вашей подписки».

— Какой сегодня день? — спросил Андреев у мужика, прижавшегося спиной к фонарному столбу в ожидании загрузки обновления.

— Понедельник, — ответил тот.

Герман Канабеев — прозаик. Родился в небольшом городе на границе с Монголией в 1980 году. Испробовал множество профессий, жил во многих городах, нигде не оставаясь надолго. Автор романа «Я буду Будда» (2018, серия «Книжная полка Вадима Левенталя») и сборника рассказов «Кодокуши» (М., «Издательские решения», 2018).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 1.

Андреев поднялся на свой этаж.

«Дверь не может быть открыта автоматически в бесплатной версии реальности», — мелькнуло перед глазами.

Андреев достал ключ из кармана куртки и открыл дверь.

«Девочка моя», — хотел сказать Андреев, но сквозь голосовое уведомление — «Уменьшительно-ласкательные недоступны» — прорвалось только:

— Жена!

Конечно, Андреев и без визуализации помнил, где и что в квартире, и без проблем прошел из прихожей в комнату. Он знал, что жена лежит на кровати, он знал, где стоит кровать, и несмотря на то, что перед глазами было сплошное размытое пятно расфокусированной реальности, он понимал и чувствовал, что она здесь, лежит на кровати такая красивая и недоступная в бесплатной версии реальности.

— Я говорила тебе, что больше не буду с этим мириться? — голос жены был спокоен, и спокойствие пугало. Обычно она всегда выражала свое недовольство бурно, если не сказать большего.

— Обещаю, я подпишусь на премиум аккаунт. Я обещаю, — сказал Андреев.

— А пока поживем так, да? Как ты это себе представляешь?

— Прости, я подпишусь.

«Звук отключен. Подпишитесь на премиум аккаунт».

Андреев подошел к кровати и попытался прикоснуться к жене.

«Действие недоступно. Подпишитесь на премиум аккаунт».

Ни слуха, ни зрения. Размытое пятно перед глазами и бесконечное мелькание уведомлений. Андреев знал, что еще минута, и даже эта тишина из-за отключенных Системой звуков скоро взорвется рекламными сообщениями. Еще минута, еще минута. Затем максимум полчаса, и приедет полиция. А он уже и сказать ничего ей не может. Не может объяснить, зачем он это делает — не продлевает платный аккаунт.

«Ваш аккаунт заблокирован. Ожидайте службу поддержки», — высветилось перед глазами.

Через несколько минут дверь в квартиру открылась, и в тот же момент Система отключила Андрееву зрение. В кромешной тьме он услышал:

«Андреев Максим Анатольевич, бесплатный период пользования окончен, вы будете депортированы за пределы Системы».

Первое, что почувствовал Андреев, открыв глаза, — холод. Здесь, за пределами Системы, рекламные сообщения еще подгружались, но скорости не хватало, и он слышал только обрывки: «Лучшее предложение... успейте подписаться...»

Андреев начал замерзать.

«Вы нарушаете лицензионное соглашение и авторские права, ощущая холод», — высветилось Андрееву, но холод при этом никуда не исчез. Андреев посмотрел на небо. Небо было синим, высоким и безразличным.

«У вас нет прав на осознание неба».

Андреев знал, что жить ему осталось не больше часа. Сколько ему там по факту лет? Официально тридцать, но, когда он в последний раз запрашивал данные по факту, было двести сорок. Вне Системы организм возьмет свое так быстро, что Андреев и понять не успеет, что это такое — настоящее небо и настоящий холод. Андреев лег на снег. Спину обожгло холодом. Зимнее солнце падало к горизонту.

«Оранжево-красный цвет доступен после принятия лицензионного соглашения», — прочитал он уведомление. Но солнце оставалось оранжево-красным на закате. Будто и нет Системы, будто и нет никаких уведомлений. Второе солнце в зените пылало и грело, но Андреев не мог смотреть на него и не мог согреться под его

лучами, потому что тем самым нарушил бы авторские права. Солнце в зените было доступно только по подписке.

Андреев закрыл глаза.

«Вы нарушаете авторские права на темноту, подпишитесь на премиум аккаунт».

Темнота оставалась темнотой. С этой темнотой Система справиться не могла. Темнота была ощутимой, словно это не отсутствие света, а что-то живое, теплое и пушистое.

«Смерть недоступна в бесплатной версии реальности. Оплатите премиум аккаунт».

Андреев улыбнулся, прочитав это уведомление. Он знал, что смерть предусмотрена всегда, независимо от оплаты аккаунта, независимо ни от чего.

Тишина. Ни одного уведомления. Ни одного рекламного сообщения. Тишина. Пустота. Смерть.

«Спасибо, что были с нами. Мы дарим вам премиум подписку на пять лет. Благодарим за пользование Системой. Вы подключены к звукам... вам доступны уменьшительно-ласкательные... доступна визуализация...»

«Да едрить уже колотить», — подумал Андреев.

Вторник

После подписки на премиум аккаунт Андрееву пришлось подождать еще десять минут, пока закончатся все рекламные ролики. В полученном вместе с премиум аккаунтом пакете обновлений убрали возможность пропускать рекламу через десять секунд просмотра. Андреев пытался отвлечься на какую-нибудь мысль, чтобы не обращать внимания на рекламу. Перед глазами выскочило уведомление: «Мыслительный процесс недоступен для вашего тарифного плана. Если хотите переключиться на тариф “Мыслибезлимит”, подумайте “А”».

«А», — попытался подумать Андреев.

«В вашем тарифном плане не предусмотрена функция — думать. Для переключения на тариф “Мыслибезлимит”, подумайте “А”», — прочитал уведомление Андреев. Сбоила не Система, явно что-то случилось с модулем. Андреев постучал кулаком по лбу.

«Новый год с доставкой! Только подумайте! Только подумайте, и праздник будет доставлен в ваш дом немедленно».

«Подумайте», — попытался подумать Андреев, но мысль оборвалась, и он оказался в промежутках между мыслями.

В этом состоянии Андреев не был никогда. Он слышал, что такое было возможно еще лет пятьдесят назад, когда модули не были настолько совершенны. В то время даже не существовало запрета на отсутствие мыслей, а думать можно было без просмотра рекламы. Как только Андреев очутился в промежутках между мыслями, тут же завопила сирена, зрение отключилось, и вместо пустоты не-мышления Андреев осознал предупреждение: «Вы нарушаете 8132 ст. уголовного кодекса Российской Конфедерации, запрещающую осознанность. Если причина вашей осознанности в неисправном оборудовании, обратитесь в ближайший многофункциональный центр».

Андреев тряхнул головой. Зрение вернулось. Сирена смолкла. «Ваш модуль неисправен? Вы попадаете в промежутки между мыслями? Получите новый модуль “Спутник XXIV” и забудьте о такой проблеме, как осознанность», — прочитал уведомление Андреев.

В многофункциональный центр — МФЦ — очередь растянулась на несколько сот метров. Андреев встал в самый ее конец, и в этот момент перед глазами зарябило, и модуль в голове, видимо, окончательно вышел из строя. Ни думать, ни вникать, ни

быть Андреев не мог. Он снова попал в промежуток между мыслями, но оставался спокоен. Здесь, возле МФЦ, его не могли привлечь за это преступление, ведь Андреев не делал этого специально.

Андреев чувствовал себя пустым, ненужным. В промежутках между мыслями не было никакого Андреева. Была зима. Мерз кончик носа, и от мороза пощипывало пальцы ног и рук. В этих ощущениях не было смысла и не было цели. Непонятно, что с ними делать и зачем они. К чему эти не самые приятные ощущения тела, если за ними не следует предложения прекратить их?

Мужик, за которым в очереди пристроился Андреев, оказался беспокойным. Он то и дело оборачивался и смотрел в глаза Андрееву так, будто хотел увидеть, о чем тот думал. Андреев же, может, и хотел бы подумать о том, чего этот мужик хочет, но тогда бы он не мучился сейчас в этой очереди.

Наконец, поняв, что Андреев не может ничего подумать, мужик спросил:

— Сломался?

— Ых нах, — вырвалось у Андреева, хотя он не это имел в виду.

— Ясно, — ответил мужик. — Давай я тебе со своего модуля мысль раздам.

— Ёух, — ответил Андреев.

Соединение от мужика было агрессивным. Даже сломанный модуль Андреева ожил, почувствовав настолько мощный сигнал.

— Теперь слышишь? — спросил мужик.

— Слышу, — ответил Андреев. — Как это у тебя так получается?

— Тариф такой — «Святейший», — не слышал? Хотя откуда ты услышишь, он корпоративный. В нем даже рекламы почти нет, так, только специальные предложения. Хочешь такой?

— Хочу, — ответил Андреев. — Я мыслить буду?

— Будешь. Только на такой вопрос ответь, тебе важно *мыслить* или *о чем* мыслить?

— Мыслить, — не задумываясь, ответил Андреев.

— Ладно, тогда, когда очередь дойдет, скажи, что у тебя есть промокод, понял?

— Понял, а какой промокод?

— «Ежи еси на». Запомнил?

— Запомнил, — ответил Андреев и тут же снова попал в промежутки между мыслями. Мужик отключил раздачу со своего модуля.

«Ежи еси на», — сказал Андреев оператору, когда подошла его очередь. Выскочившее было перед глазами уведомление о воскресной распродаже суповых тарелок тут же исчезло. Оператор посмотрел на Андреева с опаской и сказал: «Вы подключены».

Андреев вышел из МФЦ. Ни одного рекламного сообщения перед глазами, и нет этого невыносимого состояния между мыслями. Единственное, из-за чего Андреев чувствовал себя некомфортно, — непреодолимое желание поделиться этим своим новым состоянием хоть с кем-нибудь. Когда Андреев уже начал нервничать из-за того, что с ним ничего не происходит, звуковое уведомление: «Вы отключены от тарифных планов. Примите лицензионное соглашение на пользование стопроцентной верой», — вернуло его в нормальное состояние.

«Я согласен», — подумал Андреев.

«Здравствуй, сын мой, неси слово мое, да пребуду с тобой я», — всплыло сообщение перед глазами.

«Ежи еси на», — подумал Андреев и постучал себя по лбу.

Среда

«Я же куда-то шел. Была какая-то простая причина. Идти. Я зачем-то вышел в понедельник из дома. Дом. В доме была, да и есть, жена. Интересно, кто эта женщина? До этого проклятого МФЦ об этом думать было не нужно. Ее мне предложил алгоритм после трех тысяч скипов возможных кандидатов. И так же ей меня. Что это, если не судьба? Какова вообще была вероятность, что Система с такой точностью предложит мне человека, которого нужно любить? Были учтены все предпочтения. Я люблю именно таких женщин. Почему я *таких* люблю? — потому что это правильно. Кто сейчас, будучи разумным человеком, станет полагаться на выкрутасы мозга, а уж тем более станет полагаться на безошибочность чувств? Потом такую жену, выбранную бессистемно, хранить в чулане и любить втайне? Первый же ужин с друзьями, привычная для таких посиделок игра в «Сканы» — и что? Профиль Андреева в предложенной ему версии реальности тут же станет предметом насмешек. Это если никто не пожалуется куда следует и Андреева вообще не упекут в безинформационность на пару лет. Он слышал, что случается с людьми, получившими такое наказание. Представить страшно, да как это вообще возможно, — провести пять лет в безинформационной реальности? И как, простите, любить женщину, не предложенную Системой? Зачем мириться, например, с тем, что у нее ноги короче, чем нравится Андрееву? Или грудь у нее больше, чем ему надо, только потому, что так распорядились какие-то там чувства. Ведь можно получить все сразу и в идеальных пропорциях. Почему не быть счастливым просто так? Довериться Системе и быть счастливым. Куда я вообще пошел в этот понедельник? Какая была причина?» — об этом думал Андреев последние десять минут, стоя на балконе.

Андреев пытался растопить дыханием морозный рисунок на стекле, пытался испортить эту красоту за то, что так долго ее не видел. Он в этот момент восхищался собой и ненавидел себя. Восхищался за то, что способен не любить красоту, и ненавидел за то, что красота делает его рабом жизни. Потому что жизнь — тоже Система со своими правилами и уровнями доступа. Только в Системе ты имеешь право выбора даже на базовом аккаунте, а в жизни никаких правил нет. И, если ты не оплатил свое будущее, ты уж точно ничего себе не гарантировал.

Андреев испортил дыханием и теплом рук весь рисунок зимы на стекле. Идеальный фрактал превратился в мазню. Похоже было на те картины, когда люди еще не научились рисовать мыслью, доверяя ее поток Системе, а делали это руками.

«Среда, — подумал Андреев и кинул мысль-вопрос вдогонку. — И как дожить эту неделю?»

Андреев подумал о визуальном меню. Перед глазами появился стандартный перечень действий: транслировать, отложить, передумать, думать, действовать. Андреев выбрал — «транслировать». Понедельник и вторник со всеми деталями подгрузились в Систему. Андреев подумал о мысленных уведомлениях в сон. «Микшировать со сновидениями?» — спросила заботливая Система. «Микшировать», — выбрал Андреев.

Ему хотелось увидеть, что сделает Система, опираясь на понедельник и вторник, как она сведет эти потоки в одну картинку.

Андреев лег в кровать, с минуту полежал на спине, резко задрал ноги и тут же опустил, чтобы поймать край одеяла. Андреева толкнула Андреева в бок. Андреев повернулся, согнул ноги в коленях. Андреева обняла его со спины. Андреев и Андреева лежали, как патрон в патроннике, как первые сопоставленные паззлы из тысячи разбросанных, как совпавшая пара в Системе после миллионов скипов. «Нам завтра предлагают пойти в музей», — промурлыкала Андреева. «Хорошо, давай пойдем», — ответил Андреев, и в этот момент ему стало страшно от мысли, что Система предложила пойти в музей Андреевой и ничего не предложила ему.

— Ежи еси на, — прошептал Андреев.

— Ежи еси на, — ответил кто-то невидимый в его голове.

Четверг

Перед тем как заснуть, Андреев попытался вызвать привычное меню выбора снов. Он уже приноровился выбирать так, чтобы видеть как можно меньше рекламы. Реклама во снах функция свежая, алгоритмы еще сырые, и, если правильно выбрать сон, можно получить сновидение с тремя, максимум с четырьмя рекламными паузами. Меню предложило пять стандартных пунктов: еда, секс, война, популярность, богатство. Но было кое-что еще — под сноской, где обычно мелким шрифтом прописываются условия использования, красовалась еле заметная ссылка «Спать как есть». «А этот тариф, наверное, не так уж и плох», — подумал Андреев, используя ссылку, и провалился в самый глубокий сон в своей жизни.

Утром, проснувшись, Андреев понял, что не помнит, снилось ли ему вообще что-то, и от этой мысли сердце замерло на мгновенье и тут же пустилось вскачь. Статью № 9999 Российской Конфедерации еще никто не отменял, и вот так безнаказанно выспав целую ночь без снов, можно запросто загреметь в «безинформационность» лет на пять. Но Система молчала. Рядом сопела Андреева.

Андреев запросил сновиденческое меню Андреевой. «Введите код доступа», — заботливо высветила Система. «Муж», — подумал Андреев. «Статус», — спросила Система. «Любящий», — подумал Андреев. Перед глазами понеслись картинки. Так Система анализировала, правдив ли ответ Андреева. Система шерстила память Андреева и Андреевой. Вот они в первый отпуск после того, как Система подобрала их друг другу. Они счастливы. Бирюзовое море, белый песок. Вот вечер. На столе морепродукты. Андреева улыбается, улыбается Андреев. Система ставит галочку. Вот Андреевы в спальне. Система переходит в режим прослушивания. Стонет Андреева, стонет Андреев. Система ставит галочку. Мельтешат картинки, галочки проставляются одна за одной. Система пускает Андреева в меню выбора снов Андреевой с пометкой: «Ваш ответ честен на 95%». Андреев немало удивился. На стандартном тарифе Система показывала 100%, что не могло не вызвать улыбку. Эта разница в пять процентов успокаивала Андреева. Пять процентов оставляли шанс на то, что Система не может до конца разобраться в хитросплетениях человеческих чувств. Но вот эти 95%?..

А жена ничего себе на сон не пожелала, уснула просто так, и теперь каждые пять секунд ее мозг атакует реклама, никак не связанная с предпочтениями. «Может, устала? — подумал Андреев. — Сколько раз я вот так засыпал, устав выбирать?»

На этой мысли Андреев вспомнил свой первый сон. Этот сон всегда врывается в память, когда что-то скоблит изнутри сомнениями и недовольствами. В том сне нет картинок. Там чернота и голос. Конечно, Андреев всегда был согласен с этим голосом. Цифрократия действительно покончила с большинством проблем, да что там, покончила с главнейшей из проблем — смертью — в привычном ее понимании. И, казалось бы, просто выбирай в предложенном меню. Выбирай, выбирай, выбирай все что хочешь. Благодаря твоему сегодняшнему выбору Система станет умней, и дети, наши дети, будут жить в еще более совершенном мире. Выбирай! Ты не имеешь право не выбирать! Ты хочешь быть приравненным к террористам? Ты из тех мракобесов, что могут жить без выбора? Что ж! Выбери тогда «Жить без выбора».

Андреев отключился от меню Андреевой. «Ежи еси на», — высветилось перед глазами на фоне потолка. «Что?» — спросил Андреев. «Создайте идею на день». Такое от Системы Андреев не получал никогда и оттого почувствовал себя неуютно. Что бы он о Системе ни думал, но она никогда не подкидывала задач, которые нужно

по-настоящему решать. Всегда нужно было действовать в пределах предложенного выбора, и так вот, прямо в лоб — «Создайте идею на день»? «Режим считывания идеи запущен», — Андреев на периферии зрения отметил включившийся на двадцать четыре часа с убыванием таймер. Вот так жизнь делает загогулину, и вдруг понимаешь, что нет опыта прожить текущий день.

Ушло время, когда, выходя из дома, было страшно захлопнуть дверь, забыв ключи. Потом было страшно забыть дома мобильный телефон. Затем страшно было забыть дома маску. Потом было страшно не отсканировать план маршрута в домофоне. Потом — попробуй остаться спокойным, если вышел из дома и не активировал коптер-дрона. Годы несутся, и в каждом новом году человек стоит растерянный посреди жизни и не знает, что именно сегодня он забыл сделать.

Теперь Андрееву, например, нужно авторизовать идею на день. Андреева ругалась, что он не приспособлен к жизни совершенно. Андреев не мог без проблем пройти стандартную гармонизацию с утра, несмотря на то что это так же легко, как заказать удаленную чистку зубов, а сегодня ему еще и придумать идею нужно?

— В чем сложность? — спрашивала, бывало, Андреева. — Почему любая твоя цель на день всегда заканчивается тем, что тебя блокируют и я на протяжении нескольких дней вижу мужа, тупо лежащим на диване, отключенным от Системы?

— У меня нет цели не только на будущий день, у меня вообще нет цели, — отвечал Андреев Андреевой.

Конечно, Андреев лукавил, что у него совсем нет цели. Каждый день он активировал бесплатную для любой версии реальности цель — «Прожить день».

Но как от любой бесплатной функции, от нее было мало толку. Какой нормальный человек станет пользоваться всю жизнь бесплатной целью на день, когда в системе столько прекрасного за 9,99 цифройнов в месяц?

Андреев стоял у подъезда и думал об идее на день, который уже два часа как начался. С целью, с его бесплатной целью было куда проще. Андреев даже не совсем понимал, чем отличается цель от идеи. Андреев поклонился домофону, коснувшись лбом дисплея. «Квартира номер семнадцать, выход в город разрешен», — сообщил приятным голосом домофон. Андреев еще раз поклонился домофону, надеясь, что его спросят об идее. Домофон молчал. Молчала Система. Молчал мир.

Мир был возле Андреева, но не проникал в него и Андреева не пускал в себя.

«Кто я?» — подумал Андреев.

«Неверный запрос», — выскочило уведомление перед глазами.

Пятница

Андреев шел к МФЦ. Система молчала, из-за этого Андрееву пришлось просто слушать, как под ногами скрипит снег. Он был уверен, что там, возле МФЦ, найдет того мужика, что дал ему промокод на тариф «Святейший», и тот сможет объяснить, что ему, Андрееву, теперь делать. Да что там делать — как ему жить с тем, что для жизни теперь нужна идея. На самом деле Андреев боялся странного обстоятельства: Система не угрожала. Не было уведомлений, дескать, «Не будет идеи — отключат, поместят в безинформационность». Андреев так не привык. Ему нужно было знать точно, за что его можно привлечь и где у него есть места для маневра. В безнаказанность даже на этом тарифе он не верил. Всё — часть Системы, и ничего не может быть вне ее. А незнание алгоритмов не освобождает от результата их компиляции.

К МФЦ, как всегда, стояла километровая очередь. В очереди — шум, гам и мат. Вот бабуля бьется головой о фонарный столб, пытаясь оживить модуль, чтобы оплатить счета за квартиру. Другая бабуля гладит ее по спине и успокаивает: «Да в первый раз, что ли, дорогая, ну? Не выселят. Куда тебя выселять? Ты же всю пенсию

за счета и подключение отдаешь. Да на нас всё и держится!» Вот мамаша тянет за руку сына-подростка к двери МФЦ и заставляет поклониться домофону, чтобы засранца поставили на учет. «Ты в армию хочешь? — спрашивает мамаша. — Собираешься год потратить, а на что? Скажи мне? Целый год сидеть в четырех стенах и визуализировать бомбометание с беспилотников? Я тебя для того растила?»

Андреев пристроился в конец очереди и простоял до обеда, так и не сдвинувшись ни на метр. Здесь, в конце очереди, он слышал, как кто-то возмущался: «Вот только у нас такое, как сто лет назад. В нормальных странах все дистанционно или с доставкой. Но Россия-матушка как всегда! В Европе уже от тел освобождают, а у нас всё ножками куда-то идти надо. Как так, а?» — «А в Америке?» — вторил кто-то. — «Там не только от тел освободили, там можно снова в тела воплощаться. Они там и туда, и сюда, а у нас очередь, чтобы модуль поменять». — «Да везде Цифрократия как Цифрократия, у нас же мудократия, по-другому не скажешь», — добавлял кто-то невидимый, но, судя по одобрительному гулу в очереди, выражающий мнение большинства.

Когда гул в очереди достиг совсем уж неприличного уровня, над толпой завис полицейский дрон. Стало тихо. «Смотреть в небо», — высветилось у всех перед глазами. Дрон сканировал эмоции и рассчитывал проценты лояльности. Кому повезло, у тех перед глазами появилось: «Ваша лояльность Системе больше пятидесяти процентов, поздравляем, можете продолжать стоять в очереди». Кому не повезло... Андреев не знал, какое сообщение получают те, кому не повезло, но видел, как они послушно выстроились в цепочку и поплелись вслед за дроном. «Утилизация», — словно ветер по кронам деревьев, пронеслось по очереди. Дрон замер на мгновение. Все посмотрели в небо, постояли так пару секунд. Еще несколько человек вышли из очереди и пристроились за дроном. Остальные уставились под ноги. И Андреев уставился. Он знал, что у всех, кто остался в очереди, сейчас открыт бесплатный доступ к новому сериалу от «Нетмикс», и параллельно идет раздача кодов для доступа к пятничной распродаже. Только вот Андрееву ни серий, ни кодов не предложили. У него так и висело перед глазами: «Активируйте идею».

Люди в очереди прогрузились. Получили свои сериал и коды. Теперь стояли счастливые. Очередь, наконец, потекла. Здесь, в самом конце, где стоял Андреев, стали зависать личные дроны с доставкой. Кто-то перекусывал бургерами, увлекшись сериалом; вот женщина радостно схватила пакет с обновками и уже примеряет туфли на февральском морозе. Коптер-дронов становилось все больше, и очередь понемногу стала рассасываться.

Единственный день в неделе, когда Система разрешает закончить цель на день к обеду — пятница. Андреев понял, что смысла стоять в очереди дальше нет. Он видел, как на крышу МФЦ садятся коптер-дроны с доставкой. Пятница — ничего больше не может быть, кроме бесконечных доставок, промоакций, скидок, доступа к сериалам за один цифройн. Мир умер. Мир радостно поглощает предложенные Системой ценности, и даже реклама не тревожит людей, пока они жуют, пока они примеряют, пока они смотрят. За это им выдадут лишний сезон сериала, лишний бесплатный бургер с доставкой и еще одни туфельки, еще одно платьишко. Все будет хорошо в эту пятницу, как и должно быть в пятницу. И в этом есть что-то прекрасное: мягкое жужжание коптер-дронов, февральский снег, подкрашенный Системой в те цвета, что предпочитает пользователь, вкусно, тепло, уютно.

Только вот Андрееву уютно не было. Система не подкрашивала, не задавала чувств, не прислала ему коптер-дрона. Он стоял и смотрел, как те, что еще несколько минут назад стояли в этой очереди и казались людьми, теперь валялись тут же на снегу, жрали, размазывая соус по лицу, смеялись, смотря у себя в голове новый сезон одного на всех сериала.

Андреева затошнило. Он присел на корточки, и в этот момент почувствовал, как на плечо опустилась чья-то рука. Андреев встал. Перед ним стоял худой высокий мужчина.

— Ну, как тебе? — спросил он. — Я — Васильев, — представился мужик.

Васильев осенил себя крестом, и его коптер-дрон послушно сел на плечо хозяина.

— Андреев... — начал было Андреев.

— Знаю, — отмахнулся Васильев.

Васильев слегка коснулся пальцем лба Андреева, и тот рухнул на землю без сознания.

Суббота

Андреев пришел в себя. Перед глазами выскочило знакомое уведомление: «Активируйте идею». Андреев огляделся. Квартира, где он очнулся, была в плачевном состоянии. С трудом верилось, что здесь может жить человек: ни одного монитора, пол без зарядки, потолок без визуализации, вместо панели выбора вида обычное окно. Андреев и подумать не мог, что где-то могут быть просто окна с жалкой и унылой действительностью за стеклами. Убогое, неприспособленное для жизни жилье. Конечно, здесь не было антигравитационной колонки, и кто-то положил Андреева, пока он был без сознания, на обычную кровать и даже заботливо укрыл его одеялом.

Андреев запросил местоположение. Система молчала. Так быть не должно, и единственное, что успокаивало теперь Андреева, — уже привычное уведомление: «Активируйте идею». Значит, он еще в Системе. Андрееву хотелось закричать: «Я активирую, твою мать, активирую, но можно мне хоть какое-нибудь меню выбора этой долбаной идеи?» Почему-то сейчас ему было безумно страшно оказаться вне Системы. Всегда было страшно, но сейчас, когда Андреев не знает, где он и почему, — особенно. Система больше не оберегает, не подсказывает, и даже порядком надоевшие рекламные сообщения, сны, наполненные специальными предложениями и акциями, казавшиеся ограничением свободы версии реальности, Андрееву кажутся в этой ситуации родными, уютными, теплыми. Может, не так уж это и плохо — жить и не думать? С простой целью на день — прожить этот день до конца?

— Очнулся?

Андреев вздрогнул от неожиданности и вскочил с дивана. Васильев стоял с чашкой в руке.

— Дерганый ты какой-то, — сказал Васильев и протянул чашку Андрееву. Тот не без опаски взял и понюхал. Он ожидал, что Система предложит выбор: «Выберите желаемый напиток», — но вместо этого почувствовал приятный запах кофе. Он замер в ожидании: «Запах кофе недоступен в этом тарифе», — но никаких уведомлений перед глазами не появилось. Андреев сделал глоток. Кофе слегка обжег язык. Андреев и не помнил, обжигался он хоть когда-нибудь за жизнь. Заботливая Система не могла допустить такой оплошности, обязательно предупредит, позаботится.

Васильев смотрел на Андреева с интересом, как наблюдают за только что освобожденным из клетки и выпущенным на природу зверем.

— Где я? — спросил Андреев.

— Может, тебе интереснее, почему ты здесь?

— И это тоже.

— Ты у меня дома. А здесь — потому что ты первый, кого я встретил с таким же тарифным планом, как у меня — «Святейший». Точнее, не встретил, а нашел.

— Как ты отключил меня?

Васильев пошарил в кармане и протянул на ладони Андрееву пулю-шокер, какими обычно стреляют полицейские дроны, когда нужно отключить человека.

— Я ничего не почувствовал, — удивился Андреев.

— Так она и работает.

— Зачем я здесь?

— Я не знаю, кто тот человек, что дал мне промокод для подключения этого тарифа, и ты, думаю, не знаешь, но мне кажется, он один из администраторов Системы. Не думал, зачем ему это было надо? — Васильев не стал дожидаться, когда Андреев ответит, и продолжил: — Проверка на уязвимость. Идея — вот что лежит в основе всего, даже в основе самой Системы. Любая новая идея Систему разрушает, и потребуется время, пока Система восстановится, включит эту новую идею в себя. Вот тебе и проверка — может ли человек сотворить новую идею, еще не являющуюся частью Системы.

— А почему «Святейший»? — Андрееву, наконец, удалось вклиниться в монолог Васильева.

— А разве идея бога не первое, что должно было прийти в голову? Наша заботливая Система даже тут не может не предложить вариант выбора.

— Так что ты от меня-то хочешь? — Андреев допил кофе и протянул пустую чашку Васильеву.

— Ты единственный, кто может помочь мне. Я хочу достать из головы модуль. Сам я не смогу, а любому другому, кроме тебя, Система не позволит.

— Как достать — это же смерть? Настоящая!

— А в этом моя идея, друг, в этом моя идея. Смерть — это свобода. Свобода — это идея, вот я ее и активирую. Достать из головы модуль. Только так можно умереть по-настоящему.

Васильев вышел из комнаты и вернулся с дрелью. Андреев и подумать не мог, что подобное устройство еще можно где-то найти, — устройство, никак не подключенное к Системе. Васильев протянул дрель Андрееву и показал на висок, там была уже поставлена метка, где сверлить.

— Просверли и достань, — сказал Васильев.

— Как я достану?

— Сейчас, — Васильев снова вышел из комнаты и вернулся с небольшим пинцетом. — Вот.

— Что если просто просверлить и сам модуль?

— Странный ты, будто не знаешь, что Система тут же всё восстановит: и модуль, и череп. Нужно достать.

Васильев лег на пол у ног Андреева, повернулся на бок и без слов ткнул пальцем в висок.

«Может, он и прав», — думал Андреев. Он помнил, как в понедельник почти умер. Он помнил это волшебное чувство освобождения, даже не чувство, а предчувствие. Помнил злость от бессилия, когда Система не дала ему умереть. «Я помогу ему», — решил Андреев.

— На какую глубину сверлить? — спросил Андреев.

— Там на сверле метка.

Андреев приставил сверло к виску Васильева. «Активируйте идею», — прочитал он. Дрель взвизгнула. Васильев закрыл глаза. На губах его застыла улыбка.

Воскресенье

Андреев шел по городу, не сознавая, где именно находится. Похоже на окраину — спальный район. Над жилыми многоэтажками, над каждым домом кружил

дрон-транслятор. Люди, что живут здесь, возвращались домой с работы и тут же погружались в сон: дроны-трансляторы следили, чтобы никто не бодрствовал. Оттого эти районы и стали звать спальными.

Андреев слышал, что здесь Система выдает самые лучшие сны. Рабочие люди должны просыпаться отдохнувшими и счастливыми. Кто-то рассказывал, что им даже рекламу в сны транслируют только в начале сновидения и в конце.

У первого встретившегося прохожего Андреев спросил, где находится ближайший многофункциональный центр. Мужчина в страхе шарахнулся от Андреева. Андреев понимал, почему тот так испугался: нет в мире людей, не знающих, куда им идти, и уж тем более ни у кого нет необходимости вот так запросто обращаться к незнакомому человеку. Все подскажет Система.

Перед глазами, как всегда, висело уведомление: «Активируйте идею». Но Андреев уже не обращал на него внимания. Он думал об улыбке Васильева. Тот не корчился от боли, когда Андреев просверлил ему череп, не проронил ни звука, когда пинцетом вытаскивал из его черепа модуль. Васильев молчал и улыбался. Он так и умер с улыбкой на губах. «Он был счастлив, — думал Андреев. — Свобода и счастье — такая же простая идея, как предложенная Системой идея бога и веры. Счастье оттого что свободен. Потому Васильев так хотел умереть, что только через смерть можно обрести свободу, а значит, — быть счастливым».

«Идея активирована!» — появилось перед глазами. И тут же: «Идет компиляция. До завершения осталось шестьдесят минут». Уведомление исчезло. Слева на периферии зрения появился таймер обратного отсчета. Андреев не знал, что будет после того, как компиляция завершится. Он удивлялся обретенной пусть только на час легкости сознания, будто всю жизнь его кто-то крепко держал за горло, а теперь отпустил.

«До завершения компиляции осталось тридцать минут», — появилось рядом с таймером, когда Андреев вышел за пределы спального района. Он шел к дому. Шел быстро, расталкивая прохожих, которых в этой части города было куда больше. Они не видели его. Сейчас, когда Система молчит в голове Андреева, он — невидимка для остальных. «Да и видят ли они хоть что-то кроме предложенного Системой? В какой вообще из версий реальности все эти люди?» — думал Андреев.

«До завершения компиляции осталось двадцать минут».

Андреев стоял возле своего подъезда, не решаясь войти. Еще минуту назад он хотел увидеть Андрееву. Теперь, понимая, что для жены, как и для всех сейчас, он — невидимка, он не знал, почему хотел увидеть эту женщину. Система не напоминала о том, что она была выбрана для него как идеальный партнер для жизни. Система не замещала искреннее чувство визуальными подборками, подстегивая желания и эмоции. Система не корректировала поведение Андреева и Андреевой, как это бывало, когда они рядом. Система не впрыскивала в мозг необходимую дозу серотонина для пребывания в иллюзии счастья. Любил ли теперь Андреев Андрееву просто так, как должен любить человек человека? «Конечно, нет, — думал Андреев. — Да и она не может меня любить. В этом мире никто никого не любит на самом деле. Все и каждый: выбран, предложен, отстроен, напичкан».

«До завершения компиляции осталось пять минут».

«Кто она? Кто я? Кто мы? — неслось в голове у Андреева. — Что ж! Моя идея — свобода и счастье. Даже Система это приняла. Я тоже хочу улыбнуться хоть раз по-настоящему. Сам! И потому, что мне хорошо просто так, потому что я просто так счастлив. Как же я понимаю теперь тебя, Васильев!»

Андреев сорвался с места и побежал в сторону ближайшего МФЦ так, как не бегал никогда. На самом деле он и не помнил, чтобы вообще когда-то бегал. Ветер

свистел в ушах. Глаза слезились. Легкие не справлялись. Андреев задыхался, но не останавливался.

«До завершения компиляции осталась одна минута».

«Смерть — свобода — счастье. Я найду здесь того, кто высверлит из моей головы модуль, и буду улыбаться, найду такого, как я, как Васильев», — Андреев не стал пристраиваться в конец очереди, в которой каждый надеялся на свое системное счастье, он стоял в стороне, крутил в руке пулю-шокер, захваченную из квартиры Васильева, и высматривал того, кто в своем поведении походил бы на него самого еще пару дней назад.

«Компиляция завершена».

Андреев зажмурился, ожидая чего-то ужасного, но увидел только, что таймер обратного отсчета обновился и рядом с ним появилось: «Идет поиск обновлений — поиск может занять от десяти до двадцати минут».

Наконец, он увидел девушку. В отличие от остальных, она смотрела в небо, хотя никаких дронов сейчас над очередью не кружило. Андреев подошел и приложил пулю-шокер ей ко лбу. Она упала без сознания к ногам Андреева, со всего маха ударившись затылком об асфальт. Светлые волосы тут же окрасились кровью. Андреев наклонился послушать дыхание, — девушка была мертва. Он аккуратно перевернул ее на живот и увидел, как восстанавливается проломленный череп. Модуль перешел в медицинский режим и вовсю трудился. Уже через минуту над ней завис личный коптер-дрон, и еще через минуту она как ни в чем не бывало вскочила на ноги. Дрон сбросил ей в руки брендированный пакет сети магазинов «Тингам». Девушка радостно стала рыться в нем. Андреев еще пару минут наблюдал, на что-то надеясь, но когда та стала снимать с себя одежду, чтобы примерить подаренное Системой новое платье, плюнул под ноги и побежал в сторону того спального района, где находилась квартира Васильева. Андреев помнил, что бесполезно пытаться вытащить модуль самостоятельно, Система не позволит, но оставалась надежда, что сейчас, пока система ищет обновления, у него все-таки есть шанс.

Труп Васильева так и лежал на полу, как его оставил Андреев. Рядом лежала дрель с окровавленным сверлом. Андреев лег рядом с трупом Васильева, повернулся на бок и приставил сверло к виску. Он смотрел на окаменевшую улыбку Васильева и улыбнулся сам. Взвизгнула дрель.

«Найдено одно обновление. Опасно для здоровья! Внимание! Модуль переведен в защитный режим!»

«Я успею стать счастливым», — последнее, что успел подумать Андреев.

«Запущено восстановление. Медицинский режим активен. Восстановление закончено. Обновления установлены».

Андреев открыл глаза: «Воскресная распродажа в сети магазинов «Тингам»! Успейте купить продуктовый набор со скидкой тридцать процентов! Обновите подписку для просмотра новой серии девятого сезона сериала “Стоячие живые”».

Андреев встал с пола, подошел к окну. Заканчивался февраль. Система выкрасила небо в ярко-розовый и накидала фиолетовых листьев на мертвые на самом деле еще деревья. «Солнце», — подумал Андреев.

«Солнце недоступно в этой версии реальности», — выскочило уведомление перед глазами.

«Выберите цель на день».

«Прожить этот день», — выбрал Андреев.

Евгений Степанов

Как младший брат травы

Одна идея

Не множество идей,
Всего одна идея!
Ночь выстоять и день,
В запасе час имея.

Не множество забот,
Всего одна забота:
Найти чудесный вход
В небесные ворота.

Я знаю: всё не зря,
И глупо быть сердитым,
Неглупо — жить, паря
Над липким, вязким бытом.

Я знаю: цель — не *тут*,
А *там*, в недальних кущах.
А мёртвых нет. Идут
Они в рядах живущих.

Они со мной сейчас

Не степь да степь кругом,
А смерть да смерть кругом,
Как написал поэт Георгий Оболдуев.
Смерть лезет напролом,
Смерть лезет напролом,
Добычу, точно зверь, внезапную почуяв.

Но смертью смерть поправ,
Встает Спаситель, нрав
Смягчается большой-и-крошечной Вселенной.
И смерть бежит стремглав,
И смерть бежит стремглав
Из жизни воскрешённой и бесценной.

Я начал понимать,
Что живы брат и мать,
Они со мной сейчас, хотя в иных пределах.
И смерть уходит вспять,
И смерть уходит вспять.
И ангелы летят в своих одёжках белых.

Степанов Евгений Викторович — литератор, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского пединститута, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им.М.В.Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы и многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

Младший брат

Я знаю, что слова мертвы,
И дом стал старым, обветшалым.

Но я как младший брат травы
Сроднился с маленьким земшаром.

Дождь? Это здорово. Лучи
Сияют солнечные? Чудо.

Хоть целый день траву топчи,
Траве навряд ли будет худо.

Снег? Обожаю белый снег,
Покрывший спящие равнины.

Трава — снежинки — человек...
Мы все — едины.

Ввысь

Нет, я тоже не сумел
Смерть разделать под орех.
Время гонит на расстрел
Всех.
Виноват-не виноват —
Время всё равно убьёт,
Только не смотри назад,
Только не смотри вперёд.
Перепрыгнув через грязь,
Будь спокоен и молись.
И смотри, перекрестясь,
Ввысь.

Крест

Я живу, ни с кем не споря,
Не стремясь на пьедестал.
Поднимая гири горя,
Я устал.

Где порвётся? Там, где тонко.
Почести манят? Смешат.
И картонная иконка
Мне дороже всех наград.

Я живу, но всё наглее
Время дни-денёчки ест.
Слава Богу, что на шее
Неизменный медный крест.

Алексей Малашенко

Нелёгкое бремя идентичности

Ненаучные заметки

Запутался я со своей идентичностью. Я — русский, я — православный, я — европеец (долой евразийство). Я был советским, хотя советскую власть не любил. Но ощущаю себя прежде всего москвичом.

Идентичность — хорошее, академическое слово. Но давайте скажем проще: идентичность — во-первых, это то, как я себя вижу (точнее, хочу видеть, что уже чуточку другое); во-вторых, каким видят меня остальные, а с ними тоже не все просто: одни завидуют, другие не любят. Чужая идентичность раздражает. Отсюда китайцев зовут желтыми и косоглазыми, французов — лягушатниками, темнокожих — черномазыми, а наших южных соотечественников — лицами кавказской национальности, намекая, что в этой национальности кроется что-то нехорошее.

Московская идентичность раздражает очень многих. Москвичи — самые богатые, самые успешные, самые наглые. И откуда только они берутся? Отвечаю: есть те, которые в Москве родились, но больше половины понаехало из других идентичностей: Ульянов-Ленин — из ульяновской, Иосиф Сталин — из грузинской, Никита Хрущёв — из украинской, Борис Ельцин — из уральской, Владимир Путин из вечно оппонирующей Москве ленинградско-петербургской. Вся эта публика, каждый по-своему, вписалась в столичную идентичность, омосковилась и даже с подозрением смотрит на коренных и потомственных обитателей столицы.

Моя московская идентичность размывается, растекается по времени. Она все более неприменима к современной столице.

Это не мое метро, по которому я когда-то разгуливал вслепую. Теперь я, как гость Москвы, сначала читаю надписи: в какую сторону ехать. Чувствую враждебность к огромной толпе людей. Не «понаехали тут», а «понаоставались тут».

Не люблю песню «Москва, звонят колокола...». Моя песня — «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля... кипучая, могучая, никем не победимая...» Конечно, конечно, — стопроцентный пропагандистский «совок». Но я вырос с этой «песней старого москвича». «Москва, звонят колокола, Москва златые купола...» — не мое. Песня хороша, слов нет. Но до горбачевской перестройки колокола осторожно звонили только на Пасху, а купола, кроме кремлевских, прятались в переулках.

Малашенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М.Примакова. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 1.

Часть моей городской идентичности — высотные дома с их колючими башнями, которые Василий Аксёнов в своей «Москва ква-ква» характеризовал как «величие архитектуры». Для моего поколения — да. Теперь с бизнесцентрами, с разбросанными, поставленными «на попа» коробками, моя идентичность чувствует себя униженной, что ли. С этими прямоугольными существами столица лишается своей интимности (если таковая вообще есть у столичных мегаполисов).

Не буду говорить за другие города, как они, осовремененные, воспринимаются старожилами. В провинции память, а значит, идентичность, сохранить проще. Да, в Екатеринбурге, Нижнем, Томске, Рязани, Иркутске она тоже размывается, но не с московской убийственной силой.

Существует комплекс неполноценности коренного москвича. Я чувствую эпоху рыбаковского «Кортика»[1], тем более что сейчас обосновался на Арбате. «Кортик» — это возврат в мою Москву, в которой в то время родилась моя мама.

Для мамы Красная Пресня, куда мы переехали в 1964 году, была окраиной. Я боюсь представить, как бы она восприняла нынешнюю Москву. Но вот чудо: моя бабушка хранила открытку с храмом Христа Спасителя. Однажды она сказала: его ты уже никогда не увидишь... Я его увидел. Однако это совершённое из самых лучших побуждений повторение не вписалось в мою идентичность. В ней навсегда остался зимний плавательный бассейн, построенный советской властью на месте главного собора.

Про московскую самую дорогую для меня самоидентификацию я поговорил. Касательно региональных чувств распространяться не собираюсь и перескачу сразу к идентичности русской, которую каждый, считающий себя русским, призван осознавать и соблюдать.

Она порой может выражаться странновато. Кто не видывал пьяненького мужичка, который, бия себя в грудь костистым кулаком, рычит: «Я, мать вашу, русский, да, русский я!» Доказывание русской идентичности часто сопровождается повышенными эмоциями, потребностью подтвердить силу русского «я». Это, согласитесь, созвучно сегодняшнему официальному определению России как великой *ядерной* державы. То есть главное достоинство нашей идентичности, а заодно и государства, заключается в силе, в «атомной бомбе». Раньше такой переизбыточности все-таки не было. С «советской идентичностью» связывались экономический и культурный успех, построение самого лучшего в мире общества — коммунистического. Внешняя же политика СССР, несмотря на некоторое количество «эксцессов» в Берлине, Варшаве, Будапеште, Праге, на Кубе, в обществе смотрелась вменяемой, не такой уж и агрессивной. Такая оценка стала меняться после бессмысленного вторжения в 1979 году в Афганистан.

Советская идентичность оппонировала русской, потребность в которой появлялась в критических ситуациях, таких как война.

Не хочу заумно рассуждать о том, что есть русская идентичность, опираясь на глубокие академические и публицистические изыскания. Сошлюсь на «простого» театрального режиссера Марка Захарова, который написал: «Наши гениальные историки и философы давно объяснили нам, под воздействием каких стихий и географических величин формировался великорусский характер. Равнинное существование с непредсказуемым количеством дождливых и солнечных дней очень располагало к мечтам о щуке, которая демонстрировала бы трудовую доблесть. “По щучьему велению, по моему хотению...” (Иногда вместо щуки всплывала золотая рыбка, скакал Конёк-горбунок — это уж я от себя).

[1] Увы, эта сноска необходима. «Кортик», удивительную повесть Анатолия Рыбакова, в которой описана жизнь «детской Москвы» 20х годов, сегодня мало кто прочтет.

Однако утверждать, что наши предки были лежебоками и лентяями, никак невозможно. В короткие погожие дни они развивали такую работоспособность, что на англичан и немцев смотреть было больно, я уже не говорю о голландцах. Славянское неистовство всегда было общепризнанным и уникальным...»

На этом месте цитату прерву — к ее концовке вернемся позже. Пока дополним текст Захарова словами одной двадцатилетней студентки: «Для меня русский — синоним простора. Простора не только географического, но простора чувств и эмоций. Русский человек и ленив, и страстен, и часто несобран. Способен и на низость, и на подвиг любви»[1]. Это высказывание из замечательной книги «Народы перед зеркалом», интересной уже тем, что в ней представитель каждого из бывших советских народов размышляет о себе и своих соплеменниках честно, со всеми их плюсами и минусами.

Уместно вспомнить, что, например, такие люди как Чехов, Горький, и не только они, родной идентичностью не слишком восхищались. Скорее, она раздражала. Русская природа — да, а вот идентичность слишком уж неоднозначна.

Нелицеприятно воспринимать идентичность своего народа (если хотите, этноса) непросто, особенно если этот народ, подобно русским, претендует на нечто глобальное. В последнем случае в самооценке зачастую преобладают количественные параметры — много земли, много воды, много нефти, много танков. Наконец, много нас самих.

Забавно, но когда русский человек вдруг узнает, что в Пакистане, Бангладеш, Бразилии, Нигерии, не говоря уже об Индонезии, народу больше, чем у него дома, он поначалу отказывается в это верить. Тем временем нас, русских, становится все меньше и меньше. По экономике наша родина теснится где-то на 11—12 месте, рядом с Южной Кореей. Почему? Задайте вопрос Государственной думе. Впрочем, это бесполезно, потому что у ее депутатов — своя, «думская идентичность», которая их вполне устраивает.

Согласно привычным представлениям о нашей идентичности, мы — великий народ. Но сегодня, если оглянуться по сторонам, это величие вызывает некоторый скепсис. Поневоле вспоминается ставшее вечным «за державу обидно».

Наша идентичность не расположена к созидательности. На протяжении своей истории русским постоянно приходилось учиться. У кого? У «немца», иноземца, европейца. Учиться у чужака это — заимствовать, а еще и подражать ему, тем самым признавая собственную несостоятельность.

«Состязание» русской идентичности с европейской выиграно последней. Это по-своему ощутил Хрущёв, призвав страну и общество «догнать и перегнать Америку». Мы обречены вечно догонять. Никакой «национальный путь развития» догоняния не отменит. Он только столкнет страну совсем уж на обочину.

Кстати, российские монархи на приоритетах русской идентичности не настаивали. Они любили порассуждать о величии родины, но настойчиво учились у Европы и приглашали иностранцев — техников, врачей, учителей, «менеджеров». Царь Пётр в 1702 г. издал манифест, ставший «законом», государственным основанием для систематического ввоза на работу в Россию иностранцев.

На самом верху русского общества, графья да князья на русскую идентичность обращали мало внимания. Они брезговали ее главным носителем — мужиком. Стремились жить по возможности по-европейски, а некоторые даже предпочитали изъясняться между собой на иностранном сленге.

При удобном случае приобщались к иной идентичности и простые люди, например, так поступали в 1814 г. казаки в захваченном Париже, позже советско-

[1] Народы перед зеркалом. Редакция журнала «Дружба народов». Культурная революция. Москва, 2014. С.193.

русские люди удивлялись умению американцев работать на конвейерах. Один профессор по фамилии Александров заметил, что «если вы возьмете какие-нибудь наши стройки, на которых рабочие исчисляются десятками тысяч, и посмотрите на стройки американские, на которых я был, вы увидите, что там плотину в 120 метров строит 150 человек»[1]. Советские граждане поражались ухоженности, чистоте европейских деревень. «Я даже не понял, что это деревня», — поведал мне однажды уроженец Тульской области, пришедший в 1968 году в Чехословакию для оказания братской помощи по спасению социализма. А тут, как на грех, еще и джинсы, виски и прочая разрушающая нашу идентичность, созданная ихней идентичностью занятная и полезная дребедень. Укреплялось понимание того, что они не только не такие, как мы, но кое в чем и лучше. Градус нашего самодовольства падает.

Философ Юрий Лотман заметил, что «регулярная смена моды — признак динамической социальной структуры»[2]. Шире — это вообще изящный признак общего динамизма. Заметьте, в Россию мода *приходит*, а создается она в других землях, другими народами, нами она заимствуется, как и все новое, перспективное. Исключение, пожалуй, составляют литература и музыка.

Брезговал отечественной идентичностью и Владимир Ильич Ленин, пообещавший «задрать подол матушке России». Задрать-то он задрал, но ничего хорошего из этого не вышло. Навязываемая им и его коллегами классовая идентичность так же оказалась непродуктивной, тупиковой. Занятно, что разрушитель русской идентичности покоится в центре столицы. И убирать его оттуда нельзя ни в коем случае — пусть лежит как память о русских исторических и цивилизационных неурядицах.

Чем-то советская идентичность походила на некоторые негативные черты русской — например, сакрализацией власти.

Сакрализация власти штука скверная. Когда обычная власть становится «властью от бога», она не способна на реформы, она безответственна, разрушительна, хамовата и *несменяема*. Она зиждется на пресловутом терпении, которым отдельные отечественные философы, религиозные деятели и даже политики любят гордиться.

Представлять власть «священной» помогает религия. И православная церковь тому немало способствовала. Под русской идентичностью всегда подразумевается идентичность русско-православная.

Я верю в Бога, моя идентичность идет от веры, а не от ее атрибутов. Вера — идентичность общечеловеческая. У кого-то идентичность — неверие, атеизм, и они так же имеют право на существование.

Но... разве такая идентичность обязательно хороша? Именем Бога творилось такое — от инквизиции до бен Ладена, — что говорить об абсолютной доброте и справедливости такой идентичности не приходится.

Да и религия, сотворенная и отредактированная не Им, а Его творениями — человеками, давно превратилась в идеологию, причем очень часто в агрессивную. У всякой религии — завышенное самомнение. Православный — самый лучший, мусульманин тоже, а протестант лучше всех остальных вместе взятых.

Мы имеем дело с интерпретациями религии — и в соответствии с разными религиозными доктринами та или иная власть достойна сакрализации, или от нее нужно избавляться. В таком контексте исламское государство не лучше и не хуже православного или католического. Религиозная идентичность конъюнктурна.

Альтернатива сакрализации власти — тот самый бунт, который «бессмысленный и беспощадный». И который также вписывается в нашу с вами идентичность.

Пришло время дать договорить Марку Захарову: «Может быть, настало

---

[1] Цит. по: *Юрий Рубцов.* Мухлис. Тень вождя. Москва, «ЭКСМО», 2007. С.140.

[2] *Ю.М.Лотман.* Культура и взрыв. «Гносис». Издательская группа «Прогресс». Москва, 1992. С.125.

историческое время, когда собственным характером нужно не только любоваться, гордиться, упиваться его удалью, но подумать, хотя бы в принципе, о его частичном изменении?»[1]. Иными словами, скорректировать идентичность. Признать свою слабость очень трудно. Но надо, иначе будет хуже.

Готово ли общество к коррекции своей идентичности, сказать очень сложно.

Зато власть отдает приказ скреплять ее. Запустили в ход слово «скрепы». У меня оно сразу стало ассоциироваться со скрипами: это когда что-то скрипит перед тем как развалиться. Что скреплять — непонятно, как скреплять — тоже. Зато звучит красиво. Скрепы эти — что-то наподобие знаменитого брежневского «экономика должна быть экономной». Тот призыв тоже скреплял нашу отсталость. И доэкономились, доскреплялись.

И последнее. Чувствую ли я себя россиянином? Существует ли в полноценном виде российская нация? Скажем компромиссно — она формируется. На общенациональную идентичность мы не наработали. Она какая-то формальная, даже мнимая. В этом нет ничего обидного. Индийская, индонезийская, иракская, афганская, многие другие нации, даже китайская, продолжают формироваться. Это вечно длящийся процесс. В некоторых государствах — в Югославии, Нигерии, Судане — нации не состоялись.

«Россиянин» на иностранные языки не переводится. В заграничном паспорте у меня стоит Russian, и в таковом качестве, с такой идентичностью я катаюсь по идентичностям заграничным. И буду кататься, считая себя русским, — объяснять таможенникам, что такое россиянин, ни к чему. Да им это и неинтересно — Russian есть Russian.

И самое последнее — про идентичность евразийскую. Что такое евразиец, никто не знает. Из евразийской политической доктрины евразийской идентичности не получается и не получится. Азиатской-то идентичности нет, а уж евроазиатской и подавно — от Камчатки до Бейрута, от Салехарда до Бомбея. Спросите у китайца или турка, евразиец ли он. Да он и слова-то такого не выговорит.

У русских евразийская идентичность совсем уж двойственная, если не сказать липовая. Евразийство в российской культуре — полуазиатчина, а то и просто азиатчина, ненавистная русской интеллигенции. Про нее с отвращением писали уже упомянутые и Чехов, и Горький, и Бунин...

Гумилевский вариант евразийства эффектен, но архаичен и бесполезен, разве что может быть упомянут в контексте кремлевской идеологической доктрины.

Хотите быть евразийцем, будьте им, только без меня. Я лучше Антона Павловича и Алексея Максимовича почитаю.

В общем, запутались мы, и потому напою вам, кто помнит, песню «С чего начинается родина». Там как раз про идентичность, которая начинается «с той песни, что пела нам мать... со старой отцовской будённовки (кстати, буденновка — это большевистская интерпретация, можно сказать, переименование, шлема русского воина), с заветной скамьи у ворот, с той самой берёзки, что во поле... растёт». Березками давно не самоидентифицируемся, в Канаде их растет не меньше. Скамьи у ворот сгнили — в стране почти 75 процентов составляет городское население, а уж про буденновку лучше вообще не вспоминать.

[1] *Марк Захаров*. Театр без вранья. Москва, АСТ изд. «Зебра», 2007. С.241—242.

Что в остатке? Какой окажется будущая идентичность? Не моя личная, не «русско-православная», не мусульманская, не западная, а вообще. Что будет с нашим самоопределением, куда нас всех понесет?

Грянула информационно-коммуникационная революция (ИКР), а с ней цифровой транзит. Это хуже (или лучше?) любого ковида. Вот я, мы цифровизуемся и тогда посмотрим, что от меня, от нас-вас останется.

Главная проблема цифрового транзита, по уверению политолога, моего друга Андрея Рябова, — «отсутствие инклюзивного социально-политического проекта, обеспечивающего развитие человека как социального и биологического вида». Согласен, но не совсем понимаю. Мне бы попроще — растолкуйте, как моя идентичность цифровизацией размоется и каким я себя буду чувствовать.

Говорят, что главной составляющей в идентичности станет стремление к личному комфорту, то есть к тому, чтобы было удобно жить. А что до социальных, классовых, межэтнических и прочих привязанностей, все это отодвинется в сторонку.

Общество потребления, к которому мы только-только привыкли, трансформируется в общество развлечения, где главная ценность — внутренний комфорт. Отсюда идентичность становится вторичной, если угодно — безликой. Культура, в которой мы воспитывались и существовали, — все менее востребованной.

Но, по-моему, скроить одну-единственную идентичность вряд ли удастся. Ее не бывает даже при пожаре, на войне, пусть в такой ситуации возникает общая доминанта — выжить любой ценой. Однако и выживать можно по-разному, и, в частности, исходя из все той же идентичности.

Как заметила профессор политологии Ирина Симоненко, «еще несколько десятилетий тому назад это понятие (идентичность. — *А.М.*) было “собственностью” психологии, социологии и социальной антропологии. Сегодня концептуализация идентичности занимает заметное место в арсенале инструментов политического анализа»[1]. Кто ж спорит?

Я же не претендую на академизм, я просто размышляю, хоть и по-домохозяичному. Это иногда полезно. Пусть каждый, кто прочтет эти заметки, уверует, что он умнее автора. Ощутить себя мудрее собеседника всегда приятно и полезно.

Вопрос, кто ты такой, что у тебя за идентичность, все равно останется до конца не разрешенным. Никогда.

---

[1] *Семененко И.С.* Идентичность в предметном поле политической науки. — Идентичность как предмет политического анализа. Библиотека Института мировой экономики и международных отношений. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 21—22 октября 2010). Москва ИМЭМО РАН, 2011. С.8.

Георгий Панкратов

Я хочу проснуться...

Два эссе

У меня было два «параллельных» детства: с рождения и вплоть до старших классов школы большую часть времени я проводил в Севастополе (о нем — в отдельном эссе), но немалую — в Санкт-Петербурге.

Мыши в банке

Я замирал перед экраном.

— Послушайте этого парня, — говорил уважаемый телеведущий. Этой программы мы с родителями ждали несколько месяцев: главный канал страны, лучшая телепередача, передача-эталон, и в ней через какие-то секунды должны были показать меня! — который так все понимает и простым языком говорит.

Нас снимали весь день. Жильцов специально просили не выходить из дому, в особенности Илью, василеостровского дурачка лет двадцати пяти. Съемка была на коммунальной кухне на фоне сдвинутых столов и расставленных вдоль длинной стены одинаковых газовых плит. Человек с камерой входил и медленно шел, снимая всех жителей, а нас было много, и останавливаясь на каждом. У меня, восьмилетнего ребенка, брал интервью лучший ведущий страны — Владимир Молчанов. Его очень интересовало почему-то, что я думаю о жизни в этой коммуналке, о своей детской жизни с родителями и о жизни России в целом. Странное интервью длилось долго и снималось в несколько дублей. Говорил Молчанов и с остальными жильцами.

Но вот, когда я затаил дыханье и уставился в экран, на нем возник черный занавес, за которым открывалась странная студия, посреди которой на стуле сидел бородатый мужчина в очках и с гитарой. Он запел хриплым голосом песню «Чёрный пёс Петербург», и внутри меня все упало. Целый съемочный день в нашей огромной, двадцатипятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове обернулся тем самым кадром на кухне, где все, застыв, стоят перед столами, как будто их фотографируют. Кадр длился несколько секунд и вряд ли представлял не только художественную, но вообще хотя бы какую-нибудь ценность.

Панкратов Георгий Витальевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПБГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Автор книг «Российское время» (СПб., 2019), «Мечта о прекрасном, несбыточном» (М., 2020). Проживает в Севастополе и Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

Шевчука я слушать не стал: *мой* Петербург никогда не был черным псом, это сравнение наводило и до сих пор, с той самой картинкой из детства, наводит на меня оторопь. Да и вообще, я жил еще в Ленинграде, как, думаю, и вся наша коммуналка. Которая так и осталась в Ленинграде: и сейчас, проходя по Большому проспекту, я вижу на окнах пожелтевшие буквы SALE. Квартиру расселили ближе к концу девяностых, а найти новых обитателей оказалось не так уж просто.

Программа «До и после полуночи» с тем просмотром закончилась для меня навсегда. А вот другую, «600 секунд» Невзорова, я, наоборот, полюбил. Конечно, никто не хотел увидеть съемочную бригаду в нашей квартире из-за специфики передачи, но едва она начиналась, шумные кухня, длинный коридор и даже вечно занятые туалеты — пустели. Мне кажется, так происходило во многих квартирах. Программу «600 секунд» любили. Наверное, за то, что она показывала, что где-то есть жизнь еще страшнее.

Вдохновленный телепередачей, я рисовал босые ступни ног, выглядывающие с лестничного пролета: мне казалась ошеломительной операторская съемка с нижних ступеней, постепенно приближающаяся камера, открывающая, наконец, пытливому взгляду зрителя свежеиспеченного мертвеца, павшего в какой-то низшего уровня бандитской разборке. Говорят, Невзоров удивлял всю Европу, делая предсмертные интервью: совал микрофон под нос хрипящему бандиту с вывороченными кишками, и тот умирал, как бы сейчас сказали, онлайн. Не знаю, не видел. Быть может, меня уберегли от этих кадров заботливые родители, переключая на «Спокойной ночи, малыши» с разрекламированного советского фильма ужасов «Люми».

В его рекламе воплощался весь страх советского человека, потерявшего Родину и ориентиры в ирреальном пространстве: горящий то ли автомобиль, то ли танк, за давностью лет не помню, вываливался из телевизора прямо в комнату сидящих перед экраном обывателей. Реклама фильма хорошо иллюстрировала состояние самих обывателей: в их размеренный, добрый, уютный мир врывались демоны. За демонов отвечал и Невзоров, и со своим «Чёрным псом» Шевчук. От добрых Хрюши со Степашей, как и от интеллигентного ленинградского Хохи с головой-дырявым башмаком, предложенных родителями как альтернатива аду, я уже воротил нос.

Имел, что называется, право. К своим семи несмышленым годам я уже снялся в подобном «Люми». Советский интеллектуальный фильм «Третья планета» не претендовал на звание триллера, он отсылал к Тарковскому и Стругацким, а потому так и остался на полках «Ленфильма». Впоследствии режиссер Рогожкин и сам осознал ошибку. Перестал снимать интеллектуальщину, и в его карьере сразу началась золотая эра — «Особенности национальной охоты, рыбалки и чего-то там ещё» принесли ему всероссийскую славу. Мне же оставалось сожалеть, что, приглашенный на съемки следующего фильма, отказал режиссеру в категорической форме. Всему виной были комары в лесу под Ленинградом, где снимали один из эпизодов. Сколько ни пытался режиссер Рогожкин убедить меня, что кинематограф — это не только комары, я был непреклонен: взяв родителей за руки, гордо отправился домой. Благодаря чему и пишу сейчас свои повести и рассказы, а не раздаю интервью журналам для киноманов. Вроде «Сеанса» — валялся у нас дома такой. Внутри него был постер, хотя слова этого еще не знали, с изображением плачущей Ани, главной героини фильма, и меня, который ее утешает. По сюжету Аня должна была орать нечеловеческим голосом и, утешая, я ненавидел ее и боялся.

Режиссер потешался над нами как мог. То исполнителю главной роли, мужчине за пятьдесят, не скажет про труп, настоящий, из морга, расчлененный и аккуратно упакованный в пакет, то скроет от меня, что если кинуть в кусты камень, раздастся неслабый взрыв. Чтобы быстрее бежал. Снимал он и двухголовых уродов, и натуральных психов для массовки, изображающих — осознанно ли? — зомби. Кино начала девяностых — это страх и ненависть, еще раз страх, и еще раз ненависть, но

не в Лас-Вегасе, а в городе Приморске Ленинградской области, где снимались эпизоды и где жил огромный паук размером с мою детскую голову и ходил единственный автобус под номером «18».

Попасть в кино, что интересно, в те годы было очень просто: мы шли с родителями к станции «Гостиный двор», и нас окликнула женщина. Сказала, что ищет ребенка для роли в фильме, и предложила проехать до «Ленфильма». Мы думали, шутка. Думали, хочет время спросить.

Для того, чтобы спросить время, существовал специальный телефон: в Ленинграде, например, — 08. Позвонив по нему, можно было услышать механический голос, который говорил, как роботы в фильме «Гостья из будущего»: точное время столько-то часов, минут и секунд. Будучи ребенком, а все дети счастливы и, как известно, часов не наблюдают, я долгое время не подозревал о существовании такой услуги. Пока родители не попросили узнать время, а я, перепутав, прокрутил на дисковом телефоне девятку вместо восьмерки. Ничего не подозревая, спросил у девушки, которая взяла трубку:

— Извините, а вы не подскажете, который час?

То-то было смеху у родителей!

Но когда на пятки, а затем и на глотку старому времени наступило новое, цифр после нуля стало резко не хватать. Любая захудалая, только вылупившаяся из своего кооперативного антисоветского яйца фирмочка мечтала иметь телефон на 0, но прежде всех появились 009 и 058. Первый отдали новой справочной, вроде 09, но только на коммерческой основе, и операторам старой службы стало гораздо проще работать. Все, что от них теперь требовалось, это повторять заученную фразу: «Мы не располагаем такой информацией, но можем переключить на коммерческую службу 009». На 058 девушки были куда разговорчивее, что объяснялось характером их услуг. Это был первый в городе сервис «интим по телефону». Меня и маленького Артёма — кроме нас детей в огромной коммуналке не было — завораживали обнаженные красавицы, рекламировавшие эти три цифры: «Позвони мне», «Жду тебя», «Пошалим». Среди соседей ходили слухи, что примерные отцы семейств просаживали целые состояния в разговорах по страшному номеру. О чем говорить с красавицами мы, дети, совершенно не представляли. Нам просто хотелось их услышать, убедиться, что они существуют, узнать, как звучит их голос, только-то и всего. Но в трубке раздавался сухой ответ, как будто мы звонили в 09, а то и 08. Даже в 009 голоса были живее, теплее и эротичнее. Мы набирали номер снова и снова и, услышав голос, бросали трубку, пока однажды не узнали, что оплата насчитывается не за сам взрослый разговор, а за то время, что ты на линии, начиная с первой секунды. Красавицы из 058 сами позвонили, не выдержав, в нашу квартиру, и объяснили родителям, что больше не стоит их беспокоить. Почему-то они не сказали, кого беспокоить, собственно, и мама единственный раз побывала в самой дальней комнате коммуналки, напротив ванной, где изредка появлялся начинающий постсоветский бизнесмен Лёва.

— Куда они могли звонить? — интересовалась мама. Мы, разумеется, не признавались.

— Не знаю, — отвечал он. — Надеюсь, не в Большой дом.

Помню, мама аж ахнула и отчего-то испугалась. А мне показалось, что под Большим домом они подразумевают публичный. Настолько, видимо, боялся, что нашу «шалость» раскроют и как они близки к разгадке. И в этот момент мне стало стыдно.

Услуга 058 рекламировалась в газетах «Калейдоскоп» и «Не скучай» — пионерах ленинградской бульварной прессы. Если не ошибаюсь, они существуют до сих пор. Помимо эротических рубрик — эти статьи почему-то считались главными и часто выносились на обложку — журнал публиковал все, что могло заинтересовать простого советского обывателя, вырвавшегося из темного небытия в мир свободной

информации. Здесь и дамские советы, и интервью с популярными музыкантами, и рубрика про невероятное-очевидное, и дачный уголок, и плотно уже вошедший в жизнь этого самого обывателя криминал. В журнале публиковали просто фантастические материалы, запредельность которых поражала меня, ребенка, не знающего, чем занять себя в туалете, и потому взявшему за правило прихватывать с собой «Калейдоскоп». Так, в одной статье рассказывалось, что известный выстрел «Авроры», случился по причине того, что матрос, решивший прочистить орудие, случайно сел в лужу муравьиной кислоты. Муравьи разъедают крейсер «Аврора», предупреждали журналисты «Калейдоскопа» ленинградского обывателя, и скоро от него совсем ничего не останется. Однажды я прочитал историю, на некоторое время изменившую мою жизнь: оказывается, в канализационной системе Ленинграда жили жабы-мутанты. Рассказчик на условиях анонимности поделился с «Калейдоскопом» тем, что как-то раз, когда он присел по естественной надобности, такая жаба выскочила прямо из недр унитаза и схватила его за яйца. Случай нельзя назвать уникальным, утверждали журналисты издания, скорее он демонстрирует возрастающую тенденцию. Так «Калейдоскоп» потерял одного читателя: я стал ходить в туалет настолько быстро, что уже не брал с собой газету.

Но, повзрослев, я, конечно же, забыл ту страшную публикацию и никак не мог предположить, что спустя много лет она напомнит о себе. Тем не менее это случилось, причем весьма неожиданно — на занятиях по истории СМИ в университете. Преподаватель, молодящийся мужчина в возрасте, рассказал, что в начале девяностых, когда у интеллигентных людей было плохо с работой, он, как и некоторые его знакомые, подрабатывал в дешевых бульварных изданиях выдумыванием бредовых заметок. За них относительно неплохо платили, а отнимали они совсем немного времени. Ну, и в качестве примера, смеясь, привел ту публикацию о жабах-мутантах. Я почувствовал себя глупо, хотя как знать, сколько еще ленинградцев под впечатлением от той публикации ускорили свое пребывание в туалетах? Скольких еще он лишил размеренного сортирного чтения? Властитель дум!

Впрочем, и время наступало такое: рассиживаться в сортире было непозволительно. Чтобы жить, как любили тогда повторять все вокруг, нужно было вертеться. Дед работал на «Ленфильме» и по совместительству водителем на маленьком грузовичке, бабушка — на заводе. С приходом нового времени там начали производить кетчуп; она произносила это с горечью, пытаясь сопоставить вроде несопоставимые слова: завод, двигатели, кетчуп. Отец ходил в море из Севастополя. А я мечтал стать журналистом, вдохновленный молчановской командой. Я записал на магнитофон звук смыва сливного бачка и сделал заставкой своей авторской радиопередачи. Ходил по квартире и брал интервью, довольно быстро надоев жильцам. В квартире оказалось всего две комнаты, репортаж из которых не получился. Секретная угловая комната, должно быть, с самым красивым видом из окна, на которой было написано «Виноградовы»; здесь никогда не появлялись жильцы. Отказалась идти на контакт и полубезумная старуха, подливавшая испражнения соседям в суп или демонстративно выливавшая их в ванную. Но я и не рассчитывал, что старуха ответит на мои прямые вопросы.

Из кухни был выход по темной лестнице в странное помещение, где сушили белье. Жильцы называли его в шутку бельэтаж; огромная комната с бесчисленными веревками, протянутыми под потолком, освещалась тусклой лампочкой и маленьким окном с видом на двор-колодец. Всякий раз, когда заглядывал в него, мне становилось не по себе. Я спрашивал: а зачем они придуманы, эти дворы-колодцы, в которые невозможно попасть, разве что из окна первого этажа? И никто из взрослых не находил ответа. Как, впрочем, на многие детские «зачем». Спустя много лет я прочитал статью о том, как вырастают дети в маленьких ленинградских комнатах, ежедневно глядя в

черное нутро двора-колодца; какой неизгладимый отпечаток на них это накладывает. И понял, что счастлив хотя бы оттого, что у меня такого не было.

Была у нас кладовка; в огромной коммуналке, где все уже изучено и от всего порядком тошнит, поход туда был настоящим приключением. В кладовке хранились вещи жильцов: пыльные старые книги, удивительные лампы, шкафы, видимо, заставшие девятнадцатое столетие, тетради с записями, наборы старинной посуды, потрепанная одежда и прочий банальный хлам.

Пока дед копался в своем шкафу, я от нечего делать пересматривал большие красочные журналы «Огонёк». Вот серия рисунков, на которых изображено бесформенное красное существо с глазами. Называлось оно «даблоид»: солдат и даблоид, еще кто-то и даблоид. Картинки меня веселили. Вот черно-красная страница со стихами Гумилёва:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.

Почему-то мне казалось, что он имел в виду что-то вроде нашей коммуналки.

На одной странице я увидел черно-белую картинку: на трибуне с микрофоном выступал отвратительный человек, урод, и он плевался в окружающих; внизу виднелись лысые отвратительные головы. Плевки были прорисованы старательно, и у читателя не должно было оставаться сомнения: их хватит на всех. Юмор же заключался в подписи к картинке: «Плюрализм мнений». На момент выхода журнала это было, видимо, новое популярное слово. Очевидно, высмеивались какие-то конкретные люди на определенном историческом отрезке; те люди уже ушли, да и отрезок кончился. Дед уже ушел по своим делам, а я все стоял в пыльной кладовке, куда едва пробивался свет, и смотрел, завороженный.

Нашу огромную комнату с высоченными потолками дед сделал двухэтажной, здесь были и прихожая, и маленькая кухня, и деревянная лестница, ведущая в спальню под потолком. Оттуда было интересно наблюдать за взрослыми, которые сидели возле телевизора по вечерам или занимались обыкновенными делами. На тумбочке возле моей кровати всегда стояли любимые игрушки, и они были, как мне теперь кажется, типично ленинградскими: трамвай, заботливо склеенный из деталей, и метрополитен. Это звучит удивительно, да я и сам удивляюсь сейчас, вспоминая его, и сожалею, что он не сохранился. Метрополитен представлял собою механизм с тремя застекленными окошками-станциями. Нажатием кнопки можно было запустить поезд, ею же останавливать, когда тот прибывал на станцию. Желающим беспредельничать можно было не останавливать поезд, заставляя его проезжать все три станции до бесконечности. Игрушка была незатейливой, но чем-то притягивала, не давая оторваться. Я играл в нее много времени, и всякий раз с удовольствием.

Взрослые поднимались на второй этаж только перед сном, чтобы сразу лечь. Лишь однажды его использовали не по прямому назначению — в памятном 1993 году. В один из дней в квартире начался переполох, все кричали, что нужно прятаться: по Большому проспекту идут танки, и скоро начнется война. В квартире зашторили окна, погасили свет, мне говорили, что нужно лечь на пол верхнего этажа и, затаив дыхание, лежать там. Я лежал в обнимку с метрополитеном, пока не надоело. Почему-то я был убежден, что никакой войны не будет, что она не может просто взять и начаться, к ней нужны приготовления. И не понимал, что это они и есть.

А вечером все о войне забыли. Бабушка рассказывала сон: будто бы мы на даче, я принес воды из родника, гуляю, ем клубнику, она накопала картошки и отдыхает возле крыльца, рядом дедушка пилит доски. На этом рассказ прервался, и я нетерпеливо дергал ее:

— А дальше? Что дальше? История-то где?

Но бабушка объясняла, что это всё. Истории никакой не будет. В ее снах все было мирно, привычная обстановка и родные люди рядом — вот составляющие ее идиллии. Историй ей было не нужно.

А тем временем вся наша жизнь становилась историей. Трамваи ходили редко, и до Садовой приходилось идти пешком, летом это была приятная прогулка. На Садовой находился обменный центр: бабушка хотела распрощаться с комнатой и получить квартиру в новостройках. Она приходила в скучное здание, где были расставлены друг за другом длинные столы и люди перебирали карточки, что-то выписывая. Бабушка проводила там долгие часы, а я слонялся от безделья по этажам. Мне было совершенно непонятно, чем она там занимается, в чем смысл просиживать в этом здании драгоценные дни, когда можно проводить их куда интереснее. Гулять в Юсуповском парке, сидеть на маленьком островке, окруженном водой, и кормить уток; что могло быть прекраснее кормления уток свежим батоном? Но бабушка упрямилась: она тащила меня за руку в обменный центр. «Чтобы нам было лучше жить», — коротко объясняла она и погружалась в бумаги. Я брал в руки газету, такую же скучную, как весь этот центр, как бабушкино занятие, как и вся моя жизнь в те часы, и читал по слогам: «Со-бач-ка-о-бе-ща-ет». Окружающие почему-то смеялись.

— Гражданка, правильно ваш мальчик мыслит, — обращались к бабушке веселые мужчины, и та, наконец, замечала меня.

— Собчак, а никакая не собачка. Где ты увидел собачку? — спрашивала она.

Для меня было труднопроизносимым слово «Собчак», мне не давалось понимание его смысла. Я уходил блуждать по коридорам скучного здания. Однажды заметил на подоконнике трехлитровую банку, в которой барахталась мышь — настоящая, серая, крупная. Она судорожно перебирала лапами, пытаясь удержаться на плаву. Вокруг странного зрелища собрались люди. Один, словно организатор представления, наклонялся над банкой, заглядывал в нее, крутил, поворачивал.

— Мышь поймали, — отвечал он на немые вопросы со странной гордостью в голосе.

— И что теперь?

— Ей надоест, и она утонет, — пожимал плечами человек.

— Отпустите ее, — сказал я, и народ зашептался. Кто-то поддержал идею, кто-то нет. Мнения разделились.

— Ты смеешься, что ли? — сказал человек. — У нас и так полон дом мышей. Скоро на голову прыгать будут. Теперь их не травит никто, сами справляемся.

— Ну, а почему таким-то способом? — робко спросил кто-то.

— Так это... — замялся человек. — А каким еще?

Я отошел от них: делать среди этой публики было нечего. Они смотрели, как барахтается мышь, и, когда надоедало, расходились. Вода — не сметана, из нее, как в известной сказке, масла не взобьешь. Итог мышиных стараний был предрешен. В каком-то смысле и мы, ленинградцы, оказались в положении той мыши: новое время заключило нас, простых обитателей легендарных василеостровских коммуналок, в банку и наполнило ее водой.

Но мне было еще слишком рано унывать. Мы с дедом и бабушкой брали корзинки, садились на трамвай «шестерку» и ехали на Финляндский вокзал. Там привычно покупали «Сникерс» или «Баунти», газетенку «Не скучай» или какое-нибудь дешевое чтиво в дорогу, сенсационно разоблачающее коммунизм; этим были завалены все прилавки, а что не умещалось на них, разносилось активными и нацеленными на успешные продажи менеджерами по вагонам: «Вниманию уважаемых пассажиров!» Мы ехали под Выборг, на дачу.

Впереди были прогулки за грибами в лес, купание в озере, уютные вечера вдали от большого города. Наступали выходные.

Молча слушаешь транзистор

Мой дом носил номер 13. Дом был в самом центре Севастополя, на центральном холме.

Дом двухэтажный: на первом этаже размещались две огромные квартиры в шесть или семь комнат, имевшие выходы как на улицу, так и во двор. На втором были две квартиры — одно- и двухкомнатная, с балконами. Балконы и окно комнаты имели вид арки, скруглялись наверху. Потолки были высокие.

Кухня выходила во двор, вернее, на крышу с трубой. Под крышей продолжалась длинная квартира соседей снизу, из нее был виден уголок двора: квартира № 5. Она располагалась в отдельном доме из пары комнат, но почему-то числилась под «нашим» номером. Пятая квартира была недружелюбна: с ее жителями никто не общался, да и сложно было понять, кто там жил. Для остальных жильцов дома я какое-то время делал рукописную газету «Дом 13 и другие». Жительнице квартиры напротив нравилось.

По крыше бегал наш кот Тимофей, грелся на солнце, затем стал уходить все дальше, пока один псих не перебил ему лопатой хвост. Отлежавшись, Тим ушел, чтобы пропасть уже насовсем.

Войти во двор можно было, открыв калитку, — она закрывалась «туго» и «не очень», я любил выбирать первый режим, что бесило соседей. Рядом с калиткой росло вишневое дерево, за ней — абрикосовое. Едва заслышав скрип, заливалась лаем соседская собака Агата. Дверь во двор у соседей снизу — из их кухни — всегда была открыта, и, идя в школу и обратно, я вдыхал ароматы борщей, жареной картошки, мяса... Во дворе росли цветы и полезные овощи, лопались алые помидоры, зрели огурцы.

За соседней дверью был вход в наш подъезд — на две квартиры второго этажа. Вечером над ней зажигали лампу. В углу сидели пауки, застывшие в паутинах, — они казались мне страшными, ведь я был маленький, десяти лет. На втором этаже, развернувшись, можно было увидеть широкое окно с треснувшими грязными стеклами — за ним никто не ухаживал из-за труднодоступности. В окно виднелась стена напротив дома — следующая улица шла выше, и оттуда, с высоты, проглядывался наш двор. Впрочем, там была какая-то закрытая территория. По стене ползли улитки и ящерицы.

Выйдя на балкон, я неспешно обозревал улицу — по ней мало кто ходил, домов напротив не было, только узкая дорожка с толстой трубой, вдоль которой росли орехи и несъедобные ягоды, дальше — такой же обрыв. Там — главная улица Севастополя. Засыпая, я видел фонарь напротив большого арочного окна, слышал стрекот насекомых, видел черные звезды вдалеке. Ни машин, ни дворового шума, ни дорожных работ, ни пьянства. Тихо, безмятежно, прекрасно тихо.

На улице были мастерские художников, здание Союзпечати, которое я излазил вдоль и поперек, задние дворы Главпочтамта, местного кинотеатра и грузовой лифт кафе. Несколько жилых домов, в одном — бородатый старый художник, любитель котов, в другом — пожилая пара: еврейская бойкая бабушка и ничего не понимавший, вечно с открытым беззубым ртом дед, в третьем — приятель Денис, мальчик моего возраста, в четвертом — возрастные дебилы, вяло пытавшиеся то дружить с нами, то пугать, в пятом — кот Петроний, победитель международной кошачьей выставки, про него телевидение приезжало делать сюжет...

Улицу пронизывали лестницы, вдоль которых тоже встречались дома — мы лезли туда за терпкой шелковицей. Пять минут наверх — и ты на главной смотровой площадке, где лучше всего видно все городские салюты. Пять минут вниз — и ты у моря, в Артиллерийской бухте, слушаешь плеск волн. Магазины «Золотой Ключик»,

«Черноморочка», «Источник», «Огонёк», «Мелодия», молочный, хлебобулочный, кафе «Снежинка», что там еще?..

Дом снимали в позднесоветском или ранне-постсоветском фильме «Прощение», но, к сожалению, в кадр попали лишь маленькая незначительная его часть и кусок улицы.

Именно тогда была на пике популярности песня Варум «Городок», и именно с нашим домом ассоциировали ее все, кто жил в нем. Там было не так, как в песне, но в принципе близко к этому. Сложно слушать эту песню сейчас.

Есть и другие песни, которые навсегда привязаны в моем сознании к жизни в этом доме, его атмосфере, и которые я до сих пор не могу воспринимать отдельно от него — например, Евгения Осина.

Я смотрю на картину Вячеслава Забелина «Тёплый вечер» — точно так же выглядели и арка, и калитка. Сейчас моего дома нет. Его давно выкупили, дав родителям взамен квартиру, и неплохую вроде, но все это совсем не то. Дом снесли, а двор... Кусок двора отчего-то остался, калитку сломали, а вот ворота едва затронули — их часть со второй, неработающей калиткой, ведущей теперь в никуда, так и осталась. Иногда я прихожу на эту улицу, и мне хочется, чтобы там был этот дом, иногда он мне снится. Снится как финальная сцена «Сталкера».

Я хочу проснуться. Господи, я хочу проснуться там.

С тех пор я жил много где. И никогда я не жил в таком месте, которое было бы мне хоть немного, хоть капельку приятно. Я не скучаю по детству — не считаю этот период жизни лучшим, оно не было ни особо счастливым, ни особо интересным. Я скучаю по дому. Я хотел бы жить в этом месте и в сорок, и в пятьдесят, и в восемьдесят лет. Я считаю, что именно так должна быть устроена человеческая жизнь, а не все эти девяти-, двенадцати-, шестнадцатиэтажки, не бесконечные клоповники, гадюшники и человейники. Да, мое желание можно назвать скромным, непретенциозным, лузерским (хотя попробуй его исполни) — сегодня мечтают о семидесятых этажах, о великолепных видах на огни большого города, о стеклянных стенах, о квартирах, не отличимых внешне от коворкингов и креативных офисов. Да я и сам понимаю, что тот дом не предел мечтаний — ведь есть же дома без соседей, дома у моря, хорошие, красивые, комфортные частные дома. Я бы, наверное, выбрал их, а не тот дом.

Но, ей богу, я верю — история всегда циклична, — что настанет время, и придут поколения, отрицающие все эти ценности высоты, пустоты, мобильности, динамичности, коливинга, бесконечных перемен и обновлений, что люди захотят тихих улиц и дворов, захотят балконов, захотят абрикосов и вишен возле калитки, лампы над дверью и паука в углу. Перестанут расти ввысь новые вавилоны — в каждом дворе, на любом мало-мальски пустом клочке суши, — и будут уютные улицы из низких домов, будут на крышах коты и трубы. И настанет теплый вечер, и зажжется фонарь напротив окна в спальню. И на моей улице будет праздник.

Только меня самого там не будет.

90-е и сегодня: прошлое в настоящем

Декабрь 1991 года — конец СССР. Мы предложили нашим авторам оглянуться на тридцать лет назад и поразмышлять о том, как мечтались тогда, как для них сбылись и как откликаются сегодня девяностые годы.

В заочном «круглом столе» «ДН» принимают участие:
Валерий АЙРАПЕТЯН, Александр ГРИГОРЕНКО, Елена ДОЛГОПЯТ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Илья КОЧЕРГИН, Елена КРЮКОВА, Олеся НИКОЛАЕВА, Алексей ТОРК, Дмитрий ШЕВАРОВ

Валерий Айрапетян, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Куда мы шли эти тридцать лет?..»

Термин

В широком обращении бытуют два термина, обозначающие финальную стадию существования СССР: «распад» и «развал». При видимой схожести, тем не менее, между ними большая разница. Сам предпочитаю следующую формулу: «Развал СССР, за которым последовал распад СССР». Факты слаженного, специального воздействия внешними и внутренними силами на государство, общество и экономику мало у кого сегодня вызывают сомнения.

Развал как последовательный демонтаж системы, а распад как следствие: всё как в природе — ткани распадаются и гниют после развала, смерти организма. И не только в природе. Проходил на днях мимо продуктового магазина на Загородном проспекте. Иногда в нем закупался провизией и веселящими сердце напитками. А сейчас магазин закрылся, не функционирует. Возможно, перестал приносить прибыль, может, переехал. Надпись на стеклянных дверях та же, а внутри только хаос, разруха и висящие провода. Скоро откроется новая точка: продуктовый, ветеринария или центр электроинструментов. Но никогда не тот самый магазин, в котором я покупал то-то и то-то. Разрушенный старый порядок не соберется снова в старый порядок, что бы вам ни обещали строители, новые хозяева, чиновники; какая бы надпись ни висела на входе. Никакие перестройки ничего не реставрируют, а сначала разрушают, чтобы создать новое, свое, под себя.

Не удивительно, что те же самые люди, которые участвовали в развале Союза, именуют этот процесс «распадом»: мол, само взяло и из-за невозможности функционировать дальше сгнило да и распалось. О, сколько раз мне приходилось слышать этих сладкоголосых певцов свободного рынка, «который просто взял и победил плановую экономику». Просто пришел и победил. Как в известной юмореске: сам своим пешком пришел.

Уже тридцать лет рынок побеждает плановую экономику, а побед (социальных, интеллектуальных, экономических, политических, имиджевых, демографических, культурных) все нет и нет.

Вот Крым приплыл в родную гавань.

Но и это заслуга не рынка, а сами знаете чья.

Восприятие Истории

Так уж повелось, что Историю ощущаю не только посредством дат, имен и событий, назовем это текстовой памятью, но и в ярких картинках, в цвете. Картинки такие, например: Пётр в рубахе, подворачивает рукава, плюет на руку и взмахивает топором — это Стрелецкая казнь. Суворов дует на чай, а в кружку падают снежинки — это, стало быть, переход через Швейцарские Альпы. Заключенный в тюремной робе, а на груди его золотится Звезда Героя — это Меркадер. Понятно, что никакой звезды в тюрьме у друга советского народа не было, но воображение спаивает факты: убил Троцкого, отсидел в тюрьме, получил звезду Героя Советского Союза.

Эпохи окрашены в цвета:

Древняя Русь — сусальное золото вызревших пшеничных полей и русичи все как один в белоснежных одеждах (что за древний Тайд-сияющая-белизна?): кто косит, кто снопы вяжет — золотой и ослепительно-белый;

Монгольское иго — дымы, несущийся по степи табун и бараньи потроха, вываленные в грязную траву — серый, багровый;

Эпоха Грозного — темный сырой подвал, запах прели, зима и грязный снег — зернистый черный, грязно-белый;

Сталинский период — серый гранит, черный асфальт и пасмурное утро — матовый серый, черный, белесый;

Брежнев — ясное небо и яркое майское солнце — синий, желтый;

Период правления Горбачёва — мелкий накрапывающий дождь, болото и зеленый тухлый туман, стелющийся по улицам города — бледно-серый и ядовито-зеленый;

Цветастые рыночные палатки и накачанные парни в черных кожанках — новая Россия с шальным, пускающим пьяную отрыжку Ельциным у штурвала — красный и черный.

Метода

Все писатели, режиссеры и сценаристы знают, что лучший способ изобразить отрезок исторического времени или эпоху — описать историю конкретной семьи в указанный период. Ну, правда, не через изменения ландшафта ведь описывать: это дерево посадили при царе, а срубили при Хрущёве; а вот эту дорогу начали строить при Горбачёве, но так и не достроили. Хотя и тут, конечно, просматривается некий, присущий эпохе, символизм. В семье естественно обозначить мужской и женский взгляд на вещи и события, детское и взрослое, можно дать срез рефлексий трех поколений, а еще автор может поместить в одну ячейку общества либерала, революционера и консерватора и устраивать между ними баттлы на заданную тему.

Моя семья, как и все советские семьи, прошла через горнило крушения Союза. С той лишь маленькой поправкой, что нашей семье, помимо общей напасти в виде потери сбережений, продуктового и товарного дефицита, выпало оставить дом и в спешном порядке спасаться из пекла разгорающегося межнационального конфликта.

Я родился и рос в солнечном, приморском, обдуваемом теплыми ветрами, городе. Городе, где сто народов легко уживались друг с другом, вступали в межнациональные браки, вместе плясали на свадьбах, отмечали дни рождения и приходили на помощь в трудные моменты.

Поэтому, когда в 1986 году моя мама (фельдшер) сказала моему отцу (инженеру-химику), что, возможно, настало время подумать об отъезде в Россию или в Армению, отец просто отмахнулся: не надо раздувать панику, все будет хорошо, дружба советских народов непоколебима.

Мама неспроста подняла эту тему: она просто передала отцу слова, сказанные ей главврачом инфекционной больницы Намиком Наримановичем Алиевым — родственником Гейдара Алиева, сейчас известным академиком, главным инфекционистом Азербайджана: «Сильва, скоро начнется. Надо думать об отъезде».

С 1985 года откуда-то стали приезжать люди и предлагать огромные деньги за наш дом. Помню, в марте 1986 года, на следующий день после празднования моего шестилетия, к нам пришли люди и предложили за дом восемьдесят тысяч крепких советских рублей. Трешка в Ленинграде стоила тогда около двадцати пяти тысяч. Отец отказал.

— Больше, чем я, тыбэ уже ныкто нэ даст, — обронил перед выходом толстый покупатель-азербайджанец.

Его слова были пророческими.

С каждым годом потенциальные покупатели предлагали меньшую цену.

Летом следующего, 87-го года азербайджанская семья из Армении предложила за дом шестьдесят шесть тысяч, осенью, другие покупатели — пятьдесят четыре тысячи. В январе 88-го худощавый мужчина готов был купить наш дом за тридцать пять тысяч...

В доме стало звучать пугающее слово «Карабах». Чаще его произносила мама, а папа всегда недовольно отмахивался. «Ничего не будет, не бойся», — говорил он, хмурея день ото дня.

В октябре 88-го отца выбросили на ходу из автобуса. Изъяли паспорт: пятая графа — армянин. Бледный, в пыли, со ссадинами на лице и руках отец вернулся домой и заявил: «Пора уезжать». Покупатели будто испарились. Беременная мама ходила по зажиточным соседям и рассказывала про крепкий дом и низкую цену.

Джамбул, сын богатой соседки Хураман, без стука вошел в дом и с порога заявил отцу: «Дам за дом тринадцать тысяч. Не продашь — будет беда». Вот и вся дружба народов. А ведь мама спасла Хураман от смерти, когда та при падении проткнула ногу и повредила бедренную артерию: наложила жгут, лед, сделала обезболивающий укол и вызвала неотложку.

Отец согласился.

В ноябре родился мой брат Арсен. Роды были сложные, ребенок перенес длительную гипоксию, требовалась срочная интенсивная терапия. Врачи роддома не реагировали на мольбы мамы спасти сына. Заступившая на смену русская врач Никифорова подключила синюшного Арсена к гормональным капельницам, и мальчик выжил.

Все тосты, произносимые десятилетиями на свадьбах, днях рождения, праздниках: о здоровье семьи, о непреложности любви к детям и уважении к старшим, о дружбе и братстве народов, — оказались не более чем пшиком, сотрясением воздуха, анекдотом.

Джамбул внес залог — пять тысяч рублей, обещая выплатить остаток позже. Папа заказал два контейнера для перевозки вещей в Армению. Один контейнер заняла его библиотека, второй — мебель, вещи, утварь.

В аэропорт ехали ночью. Был введен комендантский час, нас сопровождал уазик с солдатами. Мне было восемь лет, и я все понимал. Мы убегаем. Жажда приключений смешалась с тревогой, вызванной напряжением и гробовым молчанием родителей. Отец посадил нас — бабушку, мать и четверых детей — на рейс Баку—Ереван, а сам остался решать вопросы с домом и ждать денег от Джамбула.

В Ереван прилетели 6 декабря. Нас встретили сестра отца с мужем. В столице у нее был большой дом. Контейнеры с книгами и мебелью они получили за неделю до нашего приезда.

Следующим утром, 7 декабря 1988 года, мы сидели и завтракали за большим столом. Вдруг стол подпрыгнул. Все заглянули под скатерть, предполагая розыгрыш. Спустя мгновение дом затрясло так, что из кухонного шкафа посыпалась на пол посуда. «Землетрясение!» — крикнула тетя. Напуганные, мы выбежали на улицу и простояли на холодном ветру около часа. Спустя пару часов узнали из теленовостей, что в результате землетрясения с лица земли стерт город Спитак, а Ленинакан и Кировакан сильно разрушены. «Число погибших измеряется десятками тысяч, около полумиллиона человек остались без крова», — сообщал диктор. Еревана коснулась лишь волна Спитакского землетрясения.

Землетрясение стало не только катастрофой для Армении, но и символом развала Империи. Сдвинулись тектонические плиты, несущие землю и народы. После того, как разверзлась земля в Спитаке, стало ясно, что как раньше уже никогда не будет: в воздухе повисло ощущение тревоги, невозвратности, грядущих бед и непосильных испытаний.

От переживаний у матери пропало молоко, со смесями был большой дефицит, и трехнедельный Арсен заболел. Все время ребенок кричал. Он то синел, то багровел, то становился мертвенно бледным. Врачей в Ереване осталось немного, большинство выехало в зону бедствия. Арсена отпаивали козьим молоком, и спустя несколько дней брат пошел на поправку.

Отец прибыл в феврале. Обросший, худой, с синяками вокруг глаз.

Джамбул не заплатил. Угрожая убийством, он заставил отца переписать дом на имя своей матери Хураман, а после дал сутки на то, чтобы освободить жилплощадь. Тем же вечером папа рванул в аэропорт, купил билет и уже утром вылетел в Ереван. За вычетом контейнерных перевозок, нашего перелета в Армению и затрат на жизнь, у отца осталось около трех тысяч рублей. Эти деньги родители в скором времени внесли в строительный кооператив, который в скором же времени сгорел, исчез, аннигилировался вместе с деньгами вкладчиков.

А вечером из рассказа отца мы узнали, что папу моей подруги Гохар забили арматурой.

Отец обещал, что привезет мою собаку Чарли, моего самого близкого друга, но обстоятельства сложились, как сложились: Чарли отошел вместе с домом новым хозяевам. Каждый день я уходил подальше от родственников, чтобы в уединении оплакать свою потерю.

У тети, папиной сестры, мы пробыли около десяти дней. Мама вышла на «Комитет по делам беженцев», они выделяли места в пансионатах, прикрепленных к различным министерствам. Пансионаты находились под городом Разданом, за горным селом Арзакан, на территории заповедника. Горы, реки, водопады, олени, медведи, кабаны, горностаи и парящие в небе орлы.

Нашу семью определили в пансионат «Наринэ», самый высокорасположенный, до нас там отдыхали республиканские аппаратчики и генералитет. Поначалу приезжали только беженцы из Азербайджана, чуть позже — жертвы землетрясения. Я видел молодых женщин с седыми волосами, мужчин, настолько задавленных горем, что они с трудом передвигались. В соседний номер заселили жителя Спитака, мужчину лет тридцати. Ночами он рыдал, выл, судя по шуму, — бросался на стену. Говорили, что

за секунды до землетрясения он шел навстречу жене и двум дочерям, но от мощного толчка дорогу расщепило пополам, и на его глазах вся семья ушла под землю. В Новый год он напился, а утром его нашли повесившимся на дереве, недалеко от пансионата. У некоторых начинались внезапные истерики на фоне полного спокойствия, даже отрешенности. В течение недели еще трое пытались покончить с собой. Вскрывали себе вены, артерии, пили уксусную эссенцию. Я видел, как их, агонизирующих, выволакивали в коридор и пытались спасти. Еще совсем недавно эти люди, граждане самой большой и самой читающей страны в мире, мирные строители коммунизма, запустившие человека на космическую орбиту, сейчас сходили с ума от ужаса и безысходности.

У нас больше не было Родины, дома, инициатив, достижений. Смыслы, как и все сбережения, вмиг обесценились. Советского Союза больше не существовало, и его официальная ликвидация в 91-м уже никого из беженцев и жертв землетрясения не удивила.

«Будь ты проклят, Горбачёв!» — самое частое, что звучало, когда взрослые начинали обсуждать свое положение, пытаясь хоть как-то соотнестись с новой действительностью, вернее, с тем, что от нее осталось.

И сейчас, когда я встречаю фотографию этой самодовольной, расползающейся во все стороны человеческой субстанции, похожей на изъятую из глубин рыбу-каплю, вместо проклятий, вопрошаю: «Ну, как ты, Серхеич, неужели не страшишься адского пекла?»

Рыба-капля, уложив щеки на плечи, глядит вечно удивленным взглядом и молчит, будто не при делах.

Очень, очень оптимистичная рыба-капля.

Юноша со взором горящим

Я был страшным фанатом Ельцина.

Это была абсолютная заслуга телевизора, по которому «наконец-то стали показывать правду».

Отец занимал умеренно-критическую позицию по отношению к советскому строю, не любил Сталина (в ссылке его мать потеряла двоих детей), но боготворил Ленина. Можно сказать — был умеренным советским либералом.

Как и все интеллигенты того времени, посмеивался над погружающимся в тяжелый маразм Брежневым, над нудными заседаниями съездов Компартии и анекдотами про Сталина. Один из них хорошо помню до сих пор. Отец мне рассказал в 85-м или 86-м году: «У Сталина пропала трубка. Вызывает Берию, сообщает о пропаже. Через час Берия приводит дюжину мужчин и говорит: «Товарищ Сталин, они все признались, что украли вашу трубку». «Спасибо, товарищ Берия, я уже нашел».

Отец всегда первым начинал смеяться над своими анекдотами и иногда, на всякий случай, прибавлял: «Только никому не рассказывай». Конечно! Кому я, шестилетка, мог рассказать такой несмешной анекдот!

Когда началась перестройка, мы узнали, что только при Сталине было расстреляно пять миллиардов честнейших людей, при Брежневе приблизительно стольких же сгноили в психиатрических клиниках, а бойцы Красной Армии отличились в первую очередь тем, что изнасиловали двести миллионов немок, пока бравые американские солдаты в это же время освобождали узников концлагерей. Отца было не узнать. Все его глубинные домыслы вдруг обрели фактологическую оболочку (в те времена, любой напечатанный или, тем более, показанный по телевизору репортаж, считался аксиоматическим), что очень взбудоражило отца, его математический ум.

Помню, в Армении, в году, наверное, 88-м, отец ходил сам не свой по нашей крохотной, заставленной тюками, кроватями, плитой и столиком, комнате пансионата

(ставшего общежитием для беженцев и жертв землетрясения), и совершенно игнорируя факт отсутствия пищи и перспектив, размахивал руками: «Нет, ну только подумать, этот усатый даже Ленина отравил! Ленина! Приказал повару травить Ильича, пока тот не умер!» Отец был убежден, что гениальный, непьющий и некурящий Ленин не мог умереть от атеросклероза сосудов и сосудистой катастрофы в 54 года. И папа, прочитавший сотни великих книг, ценитель классической музыки и живописи, тонкий и самобытный критик искусства, вдруг повелся на дешевые журнальные разоблачения и так ими впечатлился, что отголоски тех «расследований» до сих пор составляют часть его исторического мировоззрения.

Мама, наоборот, была равнодушна к политике. Вернее, не так. Мама когда-то была самым политизированным школьником Азербайджана, а, возможно, и Союза: возглавляла Совет старшеклассников Баку, работала внештатным инструктором Наримановского райкома Комсомола. Первая кандидатка на поступление в Закавказскую Школу Комсомола, звезда республиканского комсомола. Штудировала Маркса и Ленина (тайком от матери, моей бабушки, которая лупила ее за слишком интенсивное чтение, неподобающее девушкам, которые, как известно, созданы для стирки, уборки и готовки), верила в скорую победу коммунизма, в общем, идеалист из идеалистов. Пока не загадочное происшествие: мамин портфель с комсомольскими билетами и учетными комсомольскими карточками, собранными из нескольких школ для переоформления, выкрали неизвестные и сожгли недалеко от школы. Мама постеснялась заходить к директору с большим портфелем, оставила его у входа в кабинет: немыслимо, что кому-то может прийти в голову идея выкрасть портфель прямо в директорской приемной.

Маме влепили строгий выговор, и это ввергло ее в глубочайшую депрессию, из которой она выходила около года — мучительно, тяжело, будто из болотистой топи. Ведь она так подвела Партию, Комсомол и комсомольцев! Что-то в ней надорвалось после этого случая: постепенно она отдалилась от общественной работы, а общественная работа отдалилась от нее.

Так вот, телевизор и Ельцин.

Телевизор вложил мне в голову нужные мысли, и если бы меня разбудили ночью и спросили, какие ассоциации возникают при словах «коммунизм» и «Ельцин», я бы не задумываясь ответил: ГУЛаг и Свобода. Так и носился с этой удобной формулой по деревенским холмам, на самом краю Белгородской области.

В 93-м мы прибыли из Армении в Россию на грузовом самолете, в компании грузовиков и легковых автомобилей. Сначала поселились у маминой сестры, а потом обжили домик на окраине деревни, рядом с лесом. Родители устроились в разваливающийся колхоз, больше некуда. Зарплата выдавалась комбикормом, подсолнечным маслом, зерном. Завели хозяйство. Спасались огородом и курочками-несушками. Позже завели с десяток овец. Страшный товарный дефицит: комбикорм не обменяешь в городе на стиральный порошок или зубную пасту. Дома стоят бидоны с растительным маслом, источающим удивительный аромат, а носки купить не на что. Но мне все равно: СССР это ГУЛаг и нескончаемые расстрелы, а Ельцин — свобода и демократия. Куда девать эту свободу и демократию я тогда не знал, да и не задумывался, но чтил эти два дарованных нам ЕБНом достояния неимоверно.

Одно из самых непостижимых явлений 90-х — это вера миллионов в некую демократию (самые широкие массы, те, кого принято сегодня называть глубинным народом, ни в какую демократию, конечно, не верили и называли новый строй самым уместным словечком: «дерьмократией»).

В стране, где не работал ни один демократический институт, а работали только доллары, коррупционные схемы и вооруженный до зубов криминал; где царили нищета, беспризорность, бандитский и ментовской беспредел, повальная наркомания, торговля людьми, детская проституция и сдача территорий, — вот в этой стране ходили

толпы околдованных людей, самозабвенно лепечущих что-то про демократию. Демократию, которая на заре девяностых продавалась как путь к американскому процветанию и изобилию, а спустя несколько лет просто как фантом, за которым не было ничего, кроме самого слова, обозначения.

И если выхватить тогда из толпы демократа и спросить его — за какую демократию он боролся и какую боится потерять нынче, он бы вряд ли смог ответить нечто не лишенное смысла. И я тоже был из их числа: юноша с телевизором вместо головы.

Когда на выборах 1996 года Зюганов стал набирать голоса и вырываться вперед, от отчаяния я пошел в лес, где горячо и слезно молил Господа, чтобы победил Ельцин.

Когда мой друг — писатель, мистик и мудрец Герман Садулаев — услышал эту историю, то воскликнул: «Так вот кто привел Ельцина к власти в 96-м! У него почти не было шансов, он проиграл выборы, но остался президентом! Валера, что ты наделал, ты вообще представляешь, какой силой обладает сердечная молитва отрока в лесу?!»

Каюсь. Виноват.

Поход за СССР

В конце августа (или начале сентября) 1998 года, в Белгороде, со своими друзьями-студентами медицинского колледжа (в новой России появилась мода переименовывать школы в гимназии, училища в колледжи, а институты в академии), выпив пива, мы двинули к главной городской площади, что перед Домом Правительства.

Еще издалека мы увидели ставшие непривычными к тому времени реющие на ветру красные флаги. Подошли поближе. Несколько автобусов с размашистой надписью на кузовах: «Поход за СССР», с полсотни человек, кто с флагами, кто без, и Виктор Анпилов, выкрикивающий в мегафон красные речевки.

Мы не ожидали встретить в нашей провинции политическую звезду из трудового оппозиционного лагеря и поэтому очень оживились. Нас было семеро, в том числе два мастера спорта по боксу, присутствие которых придало нашей группе уверенности в отстаивании демократических ценностей, которые, как нам тогда показалось, подвергались серьезной опасности со стороны Анпилова и людей, размахивающих красными флагами.

Меня, как самого политически ангажированного, рьяного демократа и неравнодушного к общественной жизни, друзья выпихнули на острие нашего клина: «Валера, твой выход. Давай, делай вещи, брат, а мы на подстраховке, по любому». «Делай вещи» — это что-то вроде «покажи им там!»

Когда подошли совсем близко, я узнал еще одного человека, внука Сталина Евгения Джугашвили. Похожий на деда, короткий и полнотелый, в длинном бежевом плаще, он стоял в сторонке от надрывающегося в мегафон Анпилова, рядом с высоким стройным мужчиной в военной форме (позже узнал, что это был Станислав Терехов, лидер Союза офицеров России, участник акции «Поход за СССР»).

Подошли к Джугашвили. Я зарядил сходу:

— Я презираю вашего деда!

— Простите, а вы кто? — грустным спокойным голосом спросил внук тирана.

Не успел я ответить, что являюсь свободной личностью в освобожденной от красной деспотии стране, как подбежал запыхавшийся Анпилов с прилипшей к мокрому лбу прядью.

— А, молодежь! — радостно воскликнул он. — Молодежь нам нужна!

Внук генералиссимуса мягко шагнул в сторону лидера «Трудовой России» и коротко шепнул тому на ухо. Анпилов преобразился. Вместо улыбчивого работяги на меня пошел Шариков с перекошенным лицом. Пацаны напряглись.

— Это ты презираешь Сталина? Да кто ты такой?! — заорал Анпилов мне в лицо.

И тут из меня, один за другим, поперли лучшие хиты журнала «Огонёк»: про пятьдесят миллиардов невинно расстрелянных, про триста миллионов изнасилованных немок, про каннибализм в советских лагерях, про отравление Ленина, про украденное коммунистами золото партии.

Так мы стояли и орали друг на друга: я, как мне казалось тогда, испепелял Анпилова пламенем правды «Огонька», а он беспомощно призывал меня к совести, к изучению истории, не верить телевизионной лжи и пропаганде.

Анрюха Чубук, боксер и студент зубоврачебного отделения, стоявший позади меня, вдруг придвинулся и выдал на ухо:

— Валера, а у Анпилова пародонтоз!

— И вообще, — закончил я в духе Жириновского, — у вас пародонтоз, а вы мне тут про историю рассказываете!

Наблюдавший за нами молчаливый Терехов, подошел к Анпилову, аккуратно взял того за локоть и произнес:

— Виктор Иванович, пойдемте, вы же видите, они глумятся...

А уходя, обернулся и с сожалением в голосе сказал:

— Как вам не стыдно, молодой человек...

Отпраздновали победу над идеологическим врагом пивом и смехом. Пацаны одобрительно похлопывали по плечу: «Красавчик, братан, уделал их реально!», а сейчас, как вспомнил, обжегся стыдом — каким же я был тогда болваном!

И не извиниться теперь: те трое, Джугашвили, Терехов и Анпилов ушли в свой небесный СССР погодками: 2016, 2017, 2018.

Кто теперь поведет в поход за СССР? Да и кому он нужен?

Особенно сейчас, когда мир вползает в беспрецедентную в истории ситуацию глобальной борьбы с вирусом, противовирусных локдаунов, войны ваксеров с антиваксерами, куар-кодовой обязаловки, стоит на пороге открытия Искусственного Интеллекта, квантового компьютера, внедрения интернета 5G.

И если в 91-м, на референдуме за сохранение СССР большинство проголосовало «за» и их мнением пренебрегли, и СССР не сохранили, то кому сейчас до этого? Старое поколение, жившее и работавшее в Союзе, давно на пенсии, перед телевизором; среднее, родившееся и немного пожившее в нем, загибается на нескольких работах и выплачивает ипотеку; одна половина нового осваивает тик-ток, вторая прописалась в империи MARVEL — не до красных империй. Да и опять же — чертов вирус.

Коммунисты, социалисты, всякие красные патриоты — и те выродились, встроились в систему. Да и меньше всех желает революции, упразднения капитализма и реставрации СССР наш сегодняшний системный патриот-коммунист-левак: днем в телевизоре он борется с либералом и североатлантическим альянсом, воспевает победы советского народа, а вечером, с этим же либералом обсуждает вывод средств за рубеж и покупку недвижимости для любимого чада в стране НАТО.

Есть близкие моему сердцу нацболы, но кто нынче организует и куда поведет несколько сотен идеалистов? Смелые, отчаянные, умные, веселые — куда они идут? куда придут?

Куда мы шли эти тридцать лет? Куда пришли? Есть ли у кого ответ?

Нет ответа. Как и Страны Советов, родины моего счастливого детства.

Александр Григоренко, прозаик, драматург (г. Дивногорск Красноярского края)

СССР как автобиография

Когда исчез Советский Союз, я был студентом третьего курса. Помню тот день, даже то место, где купил газету, сообщившую об этом исчезновении. Не знаю и сейчас, почему день запомнился, — во всяком случае, известие меня не перевернуло, я особо ничего не понял, не почувствовал перемены — все вокруг было таким же, как и на первом курсе, и на втором, и, видимо, до меня...

Почувствовать пришлось примерно через год, а, может, и меньше, — когда в тихом, по советским меркам чистом и сытом городе, где главную площадь драили с мылом, а в «Океане» можно было легко купить краба в панцире по три двадцать пять за кило, появилось — племя. Появилось оно внезапно, будто пряталось все эти годы в подполе, и чтобы оказаться на поверхности, надо было всего лишь только открыть головой крышку. Племя было одинаково одето — короткие куртки, широкие штаны и кепки: фетровые у простых особей, кожаные — у старших, норковые — у высших; а кроме того имело одно лицо, бледное, белесое, похожее на колено с глазами, столь же бесцветными. Это были не хулиганы в старорежимном смысле — те ощутимо человечнее, разнообразнее, — а некая новая генерация, коллективная физиономия которой в принципе не приспособлена для отражения эмоций.

Племя овладело городом: опрокидывало прилавки на рынке, вырывало у женщин серьги «с мясом», пользовало и выбрасывало девушек из окон, подрезало почти всех моих товарищей — мы ходили по улицам не меньше чем по трое...

Причина его появления объясняется хаосом, вызванным падением советской власти, — и это, конечно, так. Выяснилось вдруг, что в этом городе не только чистые площади и крабы, но множество спецкомендатур, и весь он облеплен зонами — а этого как-то не замечалось, потому что государство держало сапог на кадыке подпольных жильцов... Потом убрало.

Дело не только в именно советской власти: любой кризис государственности, любая революция сопровождается появлением «новых людей», новых лиц, одежд, слов — о существовании которых в благополучные времена обыватель либо не знает, либо знает, но впрямую не видит, а коль видит, то — редко. Бунин в «Окаянных днях» говорил о внезапно окружившей его «чуди», будто повылезавшей из сказочно-хтонических глубин... Но коленоглазые были только одними из множества «новых», о которых мне предстояло узнать. И удивиться — ибо был я тогда не только молод, но и наивен — той самой наивностью, какая воспитывается в далекой от всяческих столиц, монолитно-простой среде. Я, например, не подозревал о существовании обширного выводка людей, разом заполонивших телевизор, газеты и появившихся рядом со мной, — которые совершенно искренне радовались, когда наши, к примеру, проигрывали в хоккей и когда наших убивали на войнах, прошедших и новых, и столь же искренне негодовали, когда о России и русских говорилось что-то недостаточно унижающее, поскольку то и другое изначальная нечистота... В школе я читал Чаадаева, знал от него, что мы являемся отрицательным примером человечеству, но представить реальность этих его главных слов не мог — так же как реальность тех людей, которых не Чаадаев породил, он только дал им дар речи.

Послесоветское время разъяснило, что «русский либерал» — самый живучий и неизменяющийся персонаж отечественной истории, ему более двух веков. Семьдесят четыре советских года он был незаметен — до иллюзии полного исчезновения, — поскольку обитал примерно в том же подполе, что и коленоглазое племя, и вышел на поверхность, когда настало его время. И, видимо, вряд ли оно уйдет совсем.

Сейчас такого рода открытия покажутся до неприличия простыми, но, по-моему, самые ценные открытия именно так и выглядят — просто. И достаются тяжко. Сколько народа ушло на дно морское, прежде чем выяснилось, что Земля — круглая, а континентов — пять.

Если не считать армию, то взрослым советским человеком довелось мне побыть совсем недолго. Наверное, поэтому, когда СССР рухнул, я не испытал внутренней катастрофы; не было опыта, той насиженности и веры, которые за годы врастают в сознание и удаляются только по живому, без наркоза. Но тех, кто вдвое старше, — крутило и выворачивало. По-моему, они просто не понимали, что произошло и куда все движется, они были растеряны, нелепы. Не все, конечно, — многие сориентировались. Но вот отца скрутило насмерть... Всю первую половину девяностых я наблюдал явление более не встречавшееся — невероятное обилие сумасшедших. Не образно сумасшедших — в прямом смысле. Они заваливали письмами редакции, ораторствовали в общественном транспорте, как-то проникали на научные симпозиумы и даже на банкеты после них...

Повреждения разума, в формах клинических и более мягких, внешне похожих на некую «философию», как мне теперь думается, происходят в том числе оттого, что человеческая жизнь и история — трагически разные величины. Жизнь — коротка, историческая инерция — огромна. Человек верит, что прошлое не возвращается, и теперешняя жизнь есть единственно возможная реальность, но прошлое не только возвращается, — оно, по большому счету, никуда не уходило, а всего лишь впадало в спящий режим.

Причину и результат иногда разделяют столетия.

* * *

Становится не по себе, когда Советский Союз называют «страной» — в том значении, что была некая другая страна, не Россия с ее имперскими периферияими. Здесь СССР расплатился за собственный грех, за извечное революционерское пристрастие — не только наше — начинать историю с себя, открывать собой новую эру. Брат Чубайса, помнится, написал брошюру, в которой предлагал считать советский период неким историческим провалом, забытьем, «невменухой», поскольку он полностью построен на антинациональных началах, опровергает всю русскую историю, — а потому надо осудить, растереть и забыть... Идею придумал не он, в разных видах она транслировалась довольно широко. Это — нелепость не только умственная, но почти психическая («меня там не было», «это был не я, а другой» и т.д.), хотя бы потому, что отказаться от действительно прожитого, тобой и нами, не то что нельзя — невозможно.

Одно из моих первых открытий, которого я держусь до сих пор, в том, что советский проект — плоть от плоти, кровь от крови русской истории. При всем интернационале, внешнем и внутреннем, участвовавшем в создании идеи и в ее воплощении, проект вырос на нашем историческом гумусе и принес невиданные — от ужасного до великого — плоды. С прочими гумусами такого не случилось, хотя ведь и там сеяли. В основе моего верования — книга «Истоки и смысл русского коммунизма» Николая Бердяева, прочитанная еще в студенчестве, в самом конце 80-х. Первое, что меня поразило в ней — начало отсчета: от Петра; сюжет протяженностью более двух веков, совокупность сознательных действий, «случайностей», ошибок, преступлений, побед, мыслей, верований, сливающихся в общую неотвратимость. Популярный «сослагательный» жанр в публицистике и в как бы науке — можно ли было предотвратить? или изменить? спасти или как-то иначе все сделать? — не более чем игрушка для обывательских фантазий.

Гораздо интереснее разыскивать основы, станины тех «механизмов», которые выдают результат спустя столетия, и этот результат сам становится причиной, другим «механизмом», — а их на самом деле множество, и работают они в разных направлениях,

друг против друга, отчего возникают разрывы, в которые проваливается все (как по Розанову — «Россия слиняла в два дня. Самое большое — в три») — но потом появляется вновь в совершенно невероятном обличье. К примеру, русское крепостное право отличалось не жестокостью (так или иначе оно везде было жестоким), а вопиющей несвоевременностью — достигло точки полного рабства почти половины населения Империи при Екатерине Великой, когда требовалось аврально строить мануфактуры, университеты, когда нужны были уже не десятки, а тысячи и тысячи людей с образованием — инженеры, геологи, врачи, профессора, квалифицированные рабочие, дельцы, авантюристы, изобретатели... Но истину о молодом вине в старых мехах невозможно отменить, а Россия была именно молодым вином.

Вылилось это не только в тривиальное «отставание от Европы», но в самый взрывоопасный вид нелюбви между народом и элитой — в чистую ненависть. В бескорыстное уничтожение помещичьих усадеб. В беспричинные расстрелы офицеров. В севрские, саксонские, китайские вазы Зимнего дворца, загаженные делегатами съезда «деревенской бедноты» — при том, что, отмечает Горький, «уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал».

Но катастрофа, спустя десятилетия, через множество превращений, привела к иному итогу. Первым человеком, вышедшим за пределы земного притяжения, стал сын смоленского крестьянина; первым побывал в открытом космосе сын крестьянина сибирского; а ракету им придумал сын полтавского мещанина вместе с группой гениев, в большинстве своем имевших «подлых» предков и голоштанное детство. В целом людьми этой породы создано то, что сделало СССР сверхдержавой, и то, что не дало «совсем сдохнуть» в девяностые.

Таких разрывов с глубоко залегающей причиной — множество, например, между нашими восточными, византийскими корнями и европейской образованностью привилегированных классов — классы смотрели на страну западными, чуждыми глазами. Так появилось не только «чаадаево племя», но почти уникальное явление русской русофобии. Оно сыграло равнозначную роль в рождении и смерти СССР, с ним приходится жить сейчас и, увы, придется и дальше, как с некой врожденной патологией.

Наконец, и сам советский проект погиб от разрывов. Один из них — между великой умелостью во множестве отраслей и бытом, уходящим в полную тоску, и все хуже и хуже — когда одновременно с полетом беспилотного «Бурана» из магазинов начисто исчезали то маргарин, то зубная паста, о прочем — молчу... Были разрывы в национально-территориальном делении, в убогом положении РСФСР среди «республик-сестер», между фундаментальностью народного образования и закрытостью страны... (В последнем случае самым мудрым правителем на постсоветском пространстве следует признать Туркменбаши: хочешь запереться на все замки и цепочку, первым делом сокращай школу до трех классов, институт — до двух-трех курсов).

* * *

Как быть с преступлениями советской власти? За год «большого террора» уничтожить 600 тысяч, не считая «просто» посаженных, а до того извести девять десятых храмов и клира, и еще не считая жертв Гражданской войны, заложников чрезвычайки, далее — погибших от коллективизации, расказачивания и прочего — это ведь не сочинения «либералов», а, к несчастью, так и есть...

Когда Достоевский говорил, что человек слишком широк и надо бы сузить, он имел в виду прежде всего русского человека. При всей бесспорной талантливости, наша черта — незнание границ. Этим мы отличаемся от «немца», который знает их изначально. Из этого возникла пространнейшая в мире страна, из этого же — Ставрогин, простирающий себя от самого чудовищного преступления до величайшего покаянного подвига (до которого литературный Ставрогин не дошел), это

принципиальная огромность, разнополюсность натуры, что, конечно, не является нравственным оправданием...

Но есть одна вещь. Бытийная «механика» не имеет ничего общего с житейской, обывательской. Церкви, как мистическому Телу Христову, не может быть свойственно благополучие. Благополучная церковь очеловечивается, угнетает крепостных, потом венчает содомитов, совершает тьму прочих непотребств, тем самым уничтожая себя. Церковь по чистому замыслу — другая, не от мира сего. «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10. 16—18). На небе советская эпоха изобильна святыми, как времена Нерона и Диоклетиана, — синодальный период ни о чем подобном и помыслить не мог. Это вовсе не значит, что уничтожать священников — во благо церкви: просто есть вещи, природа которых выходит за пределы гуманизма и житейской логики. Есть вещи, которые невозможно соединить или примирить. Если «иудеям — соблазн, эллинам — безумие», значит, так оно и должно быть — соблазном и безумием. История не может без того и другого, иначе бы она остановилась в самом зачатке.

Невинные жертвы никогда невозможно оправдать. Жертва есть приношение некоему божеству. Но сколько нужно принести, чтобы понять, что божество — ложное? Что нет его. Что мы, всей душою отдаваясь, не туда пошли? Хотели общедоступного счастья, а получилось не совсем... Этого ведь не инопланетяне возжелали, а вполне реальные русские люди. Обилие евреев и прочих «инородцев» в революционном кулаке не может быть оправданием: народ, отдающий себя и свои святыни на попрание «иным», виноват больше «иных». И ведь отдал-то потому, что для слишком большого числа русских людей святыни перестали быть святынями. Как и отчего происходит то превращение, когда народ набрасывается на то, за что вчера отдавал жизнь? Это слишком большой вопрос, — как и множество других вопросов, оставшихся в наследство от СССР. Ответ не может быть простым, односложным. За тридцать лет я видел не так много честных попыток разобраться в природе советского проекта, советских парадоксов и трагедий; большинство скатывалось к стандарту, обличительному или оправдательному, «это они виноваты», к «это же понятно каждому порядочному человеку» и т.д. На самом деле разобраться требует не столько обычная пытливость, сколько, простите за пафос, патриотизм. Вопреки распространенной в высоких государственных кругах фразе, патриотизм не может быть идеологией — в нем нет никакой идеи. Патриотизм — это переживание отечественной истории как собственной биографии, а российская история без советского проекта невозможна. В этом смысле СССР становится автобиографией даже для тех, кто не застал...

Елена Долгопят, прозаик, сценарист (г. Москва)

Дата и место

Я работаю в отделе рукописей Музея кино, разбираю архивы, систематизирую, ввожу данные в электронную базу: автор, размеры, место создания, дата, содержание документа. Место создания определяется датой.

Предположим, письмо написано в 1991 году. В городе Москве. В какой стране? В Советском Союзе.

Тот же автор спустя два года пишет из того же города. В какой стране? В России.

Перемен. Мы ждём перемен, — пел Виктор Цой.

Он пел, а мы слушали. Смотрели «Ассу» и слушали.

Не так давно, в 2019 (незадолго до пандемии), «Асса» выходила в повторный прокат. Я побежала смотреть. Кинотеатр «Звезда» рядом с Курским вокзалом, странный длинный зал, не с привычными рядами сидений, а со столами, как в кабаре, можно пить чай или, к примеру, кофе и смотреть на экран. Я чай не пила, я не отрывалась от фильма. Какие люди! Говорухин в роли бандита (*цеховик, криминальный авторитет* — уточняет Википедия) читает «Евгения Онегина». Гребенщиков за кадром поет: *Есть город золотой*. Сергей Бугаев (Мальчик Бананан) поет-выговаривает: *Вэ Вэ Эс. Военно. Воздушные. Силы*. Цой в финале: *Перемен! Требуют наши сердца*.

Весь фильм, весь целиком — песня, блатной романс. Про жажду. Про застоявшийся воздух.

Да, да, да. Я чувствовала то же. Затхлый, застоявшийся воздух. Жесткую предопределенность судьбы. Предсказуемость мира. Скуку. Тоску.

В восемьдесят восьмом году (год выхода на экраны свежеиспеченной «Ассы», март месяц, если верить Википедии), двадцати четырех лет от роду, я спешила на работу, на завод «Мосприбор» и сочиняла на ходу про небо, в которое никак не подняться, — натыкаешься на стальные тросы проводов. Что-то вроде. Ранняя весна, сердце жаждало.

Летом я пыталась пробиться во ВГИК (подняться в небо), на режиссера, к Хуциеву. Получила за литературную работу двойку, познакомилась с таким же неудачником, звали его Андрей. В отличие от меня Андрей надежды не терял, привел меня в секцию кинолюбителей при клубе на Павелецкой (клуб обувной фабрики «Буревестник»).

Подвал, кафельные стены, небольшой экран, проектор, кинокамера. Руководитель Яков Сморгонский, лет тридцать пять ему было. Как-то раз он подобрал и принес на занятие грамоту с большим портретом лобастого Ленина. Грамота подмокла в раскисшем снегу, чернила расплывались. Грамота плакала чернильными слезами, можно и так сказать. И вот эта выброшенная кем-то грамота читалась нами как знак, как символ времени. Она пахла пьяным весенним воздухом.

Во ВГИК я поступила на следующий год, на сценарный. Во многом (если не во всем) благодаря Якову: он толковал мои тексты, иногда хвалил, требовал новых. Мне до сих пор кажется, он единственный в точности понимал, что я пишу, о чем. До сих пор помню начало одного из тогдашних моих рассказов: *Лившиц жил в метро*. Жил и наружу не выходил. А мне хотелось наружу, на белый свет.

Андрей подрабатывал в школе, вел театральную студию, мы ездили к нему снимать фильм. Роли играли его студийные дети. Камеру взяли в клубе. Не помню, о чем был фильм, не помню, видела ли его. Дети любили Андрея, переживали, что он скоро уезжает, далеко, в Америку. Андрей утешал: это раньше Америка была далеко, а сейчас другое время, будем видеться, буду приезжать. Не знаю, приезжал ли. Если и приезжал, то, конечно, в другую страну. Так всегда, в любые времена.

В девяносто первом август стоял тихий, прозрачный. Девятнадцатого объявили чрезвычайное положение. В магазине на станции Зеленоградская я купила себе на зиму финский пуховик. Да.

До ВГИКа я три года проработала по специальности (программирование) сначала на военном объекте на границе Московской и Калужской областей, затем на «Мосприборе». Головное предприятие было в Ярославле, так что я получала и зарплату, и командировочные, плюс какие-то добавки за секретность. Жила, не стесняясь в средствах, и сумела накопить за три года две тысячи рублей. Очень, очень приличные деньги для тех лет. В августе девяносто первого они изрядно потеряли в весе, но пуховик я купить еще могла.

Двадцатого я с родителями (они тогда были моложе меня сегодняшней) ездила

к Белому дому. Видели танки. Было не страшно. Было странно. Постояли на площади, послушали Ельцина. Вернулись домой. В электричке (туда и обратно) мне казалось, что людям нет дела до происходящих событий, все заняты своей обыденной, будничной жизнью. Не помню, отчего мне так чудилось. Может быть, слышала разговоры о житейском, о дачном, к примеру, заборе. Бог знает. Дома слушали «Эхо Москвы», новости, песни Высоцкого.

Недавно я смотрела документальный фильм Лозницы об августе девяносто первого в Ленинграде (уже в сентябре город вновь станет Петербургом). Меня поразила толпа, даже не толпа, собрание людей на площади. Тихие люди. Тихие, потому что слушали. Выступающих. Новости по радио. Прислушивались. Ждали. Это была не растерянность, разве что отчасти. Предгрозовая тишина.

Двадцать третьего (или двадцать четвертого) я встречалась в Москве с друзьями, с Олегом Аронсоном и его женой, с Серёжей Гурко. Ходили по Москве, молодые и счастливые. Когда-то в другой стране мы учились в МИИТе на программистов, а теперь я училась писать сценарии, Олег и Серёжа поступали в аспирантуру Института философии (или только что поступили).

Недавно в музей пришел архив Говорухина. Среди документов — листовка с Указом президента РСФСР Бориса Ельцина о незаконности Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) от 19 августа 1991 года. На листовке автограф Мстислава Ростроповича жене Станислава Говорухина синей шариковой ручкой: «Гале от / мужа Гали / от имени Гали / и от своего / С любовью / Слава / 22/VIII 91».

Через четыре года, в 1995-м, Говорухин возглавит Комиссию Государственной Думы по истории развития чеченского кризиса.

Я листаю его записи в ярко-красном «Служебном дневнике». О событиях в Чечне, о людях. Дудаев. Басаев. Руцкой. Говорухин рисовал их портреты черной гелевой ручкой, эти ручки тогда вошли в обиход.

А я в девяносто пятом пришла в Музей. Сценарии мои никто снимать не рвался, ничего у меня не складывалось. Олег посоветовал Музей.

Две тысячи двадцать первый. Я приезжаю рано утром, пью кофе, проверяю почту и берусь за старые бумаги. Дышу пылью.

Хочется сказать: всё прах. Так и говорю.

Денис Драгунский, прозаик, журналист (г. Москва)

Не бойтесь ваших мечтаний — они все равно не исполнятся

О господи, как же надоело вспоминать о 1990-х! Шаблон воспоминаний известен: для кого-то это исполнение желаний, реализация давней мечты — самиздатовско-диссидентской (для москвичей) или национальной (для коренных народов республик и автономий), — а для кого-то — крах советского социального уюта, разбитый сервант и порванный коврик стабильности — житейской и политической.

И о разочарованиях в сотый раз рассказывать надоело. О том, как надеялись на свободу и благополучие, а получили бесстыжие политические интриги и безумные прыжки цен. О новых хозяевах жизни, о «красных пиджаках», братках в «голде» и на «меринах», о разорении заводов и вымирании городов, которые этими заводами кормились. Особенно противно вспоминать о надутых рожах демократов-индюков,

которые мастера были произносить речи перед восторженными единомышленниками — но отдали власть партноменклатуре. Почему? Полагаю, просто от лени. Один такой демократический лидер, которого прочили чуть ли не в президенты, сказал мне прямо: «Я могу дать общее видение, концепцию развития общества... а идти в министры? Ну нет. Не с моим режимом дня!»

Да, лично мне в 1990-е было трудно. Особенно обидно, что я в самом конце 1980-х поступил работать именно сюда, в «Дружбу народов», на хорошую должность завотделом — и дали мне зарплату 500 рублей — и я был рад и горд — но радость моя продлилась буквально год, до «павловской реформы» и планового (еще до-гайдаровского) повышения цен. Кстати, старушек обокрал не Гайдар, а именно Павлов, то есть еще советское правительство... Но грабителем почему-то считают реформаторов, а не большевиков. Девяностые дали мне важнейший урок политической психологии. Я понял, сколь важен внешний облик человека у власти. Я узнал, что «политический тяжеловес» — это всего лишь физиологическая характеристика: то есть это человек пожилой и желательно пузатый — ему и доверия больше. Но это к слову. Хотя тоже важно.

Итак, мне было тяжело, но я все равно радовался. Россия! Свобода! Любые книги и вольные разговоры. Мне казалось, что я похож на какого-нибудь квалифицированного рабочего с Путиловского завода в 1917 году. Да, у меня была хорошая зарплата и большая квартира, я ходил в шляпе и галстуке. Теперь вместо денег «совзнаки», мою квартиру «уплотнили», новый пиджак могут дать по ордеру — но зато царя скинули! И министров-капиталистов скинули тоже! Ура, свобода!

Могу ли я сказать, что меня одурачили, как того солидного питерского рабочего? Нет, что вы! Он пострадал куда сильнее. А я — разве что морально. Потому что подтянутый пояс первой половины 1990-х я, худо-бедно, пережил, а дальше все пошло в общем и целом неплохо. Хотя знаю, что в других городах и регионах было очень тяжело.

«Россия!» — несколькими строками раньше я не зря написал это имя с восклицательным знаком. Странным образом с детства я был тайным — ну не прямо монархистом, но кем-то в этом роде. Старо-россофилом, если можно так выразиться. В детских тетрадках я рисовал гусар и улан (ну и драгун, разумеется!), всю эту русскую военщину — сапоги со шпорами, сабли, кивера и ментики... Рисовал двуглавых орлов, и раскрашивал трехцветные флаги, и писал по-старому «Россія».

Вот поэтому, когда 21 августа я увидел в синем небе над Домом Правительства бело-сине-красный русский флаг — честное слово, я чуть не заплакал. Вот оно, счастье. Глупое счастье в мои-то сорок лет. Но забыть невозможно.

Девяностые для меня были годами первого публичного успеха. Спасибо Анатолию Малкину и Кире Прошутинской, их «Авторскому Телевидению» и особенно — программе «Пресс-Клуб». Это была отличная затея — регулярно (чуть ли не раз в неделю) собирать в прямом эфире политиков, журналистов, экспертов и устраивать долгие горячие дебаты. Я часто там выступал. Меня узнавали на улице, в такси и даже один раз в парикмахерской подстригли без очереди. Тогда казалось, что центр Москвы превратился в огромный Гайд-парк — люди около газетных витрин отчаянно спорили о прошлом и будущем России. «Демократы» клубились на Пушкинской, «патриоты» и «коммунисты» — около музея Ленина.

Девяностые годы стали для меня еще и открытием внешнего мира. Ровно в 1990-м, в последний советский год, я впервые побывал в США и ФРГ. Культурный шок? Нет, скорее равнодушное ощущение другой планеты: не было никакого резона сопоставлять супермаркеты Лос-Анджелеса и мощеные переулочки Фрайбурга с нашими пустыми магазинами и разбитым асфальтом... Летом 1991-го — три недели провел в Швейцарии; вернулся домой буквально за неделю до августовского путча.

18 августа нас — то есть редколлегию популярного политического журнала

«Век XX и мир» — пригласили в какую-то радиопередачу в Останкино. Нас было четверо: Глеб Павловский, Симон Кордонский, Андрей Фадин и я. Время позднее, ближе к полуночи. Идет обычный политический треп. Вдруг звонок в эфир. Какой-то дядя спрашивает: «Вы тут все масоны собрались?» Ну не скажешь же, что нет. «Да, — отвечаю, — мы тут все сплошь одни масоны». Он говорит: «Вот! Наверное, вы не просто так собрались? Наверное, вы хотите подать знак?» «А как же! — смеюсь в ответ. — Так и есть, угадали! Мы подаем тайный знак». «А какой?» Я разозлился и говорю: «Завтра узнаете!»

Конечно, это случайно получилось. Конечно, мне и в голову прийти не могло, что, когда мы у микрофона рассуждали о будущем России, оно в этот самый миг решалось на вилле Горбачёва в Форосе. Или было решено пару часов назад.

Наутро меня разбудил звонок приятеля: «Горбачёва свергли, у власти хунта, в городе танки!» — и короткие гудки. Кстати, я совсем забыл о своем вчерашнем пророчестве. Танки не помешали мне побывать в обеих редакциях — в «Веке XX» на Пушкинской и в «Дружбе народов» на Поварской: там как раз собралась редколлегия, и Юра Калещук, зам. главного, назвал путчистов преступниками и заявил, что мы все будем с ними бороться. Как бороться — мы не успели придумать, поскольку через двое суток все закончилось к вящей славе демократии.

Хотя на самом деле все только начиналось. И продолжается до сих пор.

Илья Кочергин, прозаик (деревня Кривель Сапожковского района Рязанской области)

Куда уходит детство?

Когда я учился во втором классе, учительница попросила нас всех разузнать какие-нибудь интересные истории у бабушек или дедушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне или даже в революции, и рассказать потом всему классу. Я сразу поднял руку.

Мне не нужно было специально расспрашивать свою прабабушку 1896 года рождения, я знал от нее множество историй на самые разные темы. Это были даже не истории, это было нечто большее — то ли сказки, то ли предания. Ей когда-то, в незапамятные времена прилетело поленом по голове на пилораме, случился инсульт, и все время моего детства она провела, сидя на кровати и беззвучно беседуя с невидимыми собеседниками. Мне нравился душноватый запах ее комнаты, где мы с ней вдвоем садились играть в «дурака» или «пьяницу», а иногда вместе рвать на осьмушки старые газеты, которые она потом использовала в уборной, не признавая туалетную бумагу. Тогда-то она и рассказывала мне о серебряном распятии и шестипалом Кирее, о домовом и вызванном им пожаре, о матросе, который требовал у неё мандат, о таинственном телефоне в зарослях черемухи, о том, как спасла Сталина от шпионов, вызвав машины «с собакими и пулеметыми», и о том, как случилась революция. Истории перетекали друг в друга, жили привольно, менялись раз от раза, были украшены словами, значения которых я не знал.

— Вздуй свет, — просила меня в наступающих сумерках баба Нюша из своего дремучего прошлого, я щелкал выключателем, и мы оказывались в настоящем.

Я пытался учить ее грамоте, она знала большинство букв, послушно говорила «ры», «пы», «мы», «фы», когда я поднимал карточки, оставшиеся от первого класса,

но со сложением их в слоги не управлялась, в ведомости, когда почтальон приносил ей пенсию, ставила крестик.

— Моя прабабушка Нюша участвовала в революции, — сказал я Галине Сергеевне и всему классу. И, пока меня не прервали, поспешил поделиться историей. История была короткая: после того, как в их деревню дошло известие, что «случился переворот», они с бабами пошли и Катьку-б...дь кольями убили. Катька представлялась мне опасным врагом трудового народа, белогвардейцем и эксплуататором. Возможно, у нее наготове имелись казачий эскадрон, пушка или броневик. И такое начало нового мира казалось мне очень даже героическим. Женский революционный отряд, в который входила моя прабабушка, пошел на нее с одними кольями и одержал победу!

Галина Сергеевна попросила меня сначала записывать бабушкины рассказы в тетрадку, давать ей для редактирования, а потом уж рассказывать. Но когда я с тетрадкой и ручкой приступил к бабе Нюше, та спросила: «на кой» это нужно и кто велел мне писать в тетрадку? Учительница. И бабушка надолго лишила меня своих преданий — «я убойная, я все запамятовала».

Я вырос в Советском Союзе, который в период «застоя» был идеальным местом для детства при условии, что ты живёшь в столице, в отдельной квартире, с добрыми, красивыми и внимательными родителями. Я именно так и рос, все условия для счастливого и безопасного детства были соблюдены. Никто меня не обижал, не пытался отнять или порушить счастливое детство, мир вокруг был незыблем и надежен, когда случались беды и горести, то происходили они, видимо, из-за каких-то моих внутренних причин. А когда подули холодные ветры перемен, у меня уже была прекрасная замена советской теплице — маленькие заповедницкие кордоны в залитых ярким солнцем горных долинах Алтая. Я открыл эти места и полюбил их. Огромный заповедник сохранял в неприкосновенности не только дикую флору и фауну, но даже замедлял само время. «Лихие» девяностые казались здесь застойными, тихими и уютными.

Референдум о сохранении СССР 1991 года застал меня на таком кордоне. Так что я опускал бюллетень в передвижную урну, которую почтальон из ближайшей деревни, Коля Кермалтанов, возил в санях по пастушьим стоянкам. Выпускать урну из рук ему не велели, и он пил у меня в кухне чай, держа ее на коленях.

— У нас все «ЗА» написали в деревне. Ты тоже пиши «ЗА», — посоветовал Коля и, перегнувшись через стол, убедился, что я написал именно так, как все добрые люди проголосовали.

Мне был 21 год, я недавно вырвался из родной Москвы на неимоверные просторы страны, работал лесником в самом красивом месте на Земле, и величие исторических моментов меня мало задевало. Развал великой державы был куда менее волнителен, чем те необыкновенные чудеса, которые открывались взгляду с каждого перевала и даже с самого маленького перевальчика. Чуть позже, в августе того же года из ближайшей деревни доползли слухи, что в столице стоят танки, но поломка чешской косилки у пастуха-соседа обсуждалась с гораздо большим интересом, ведь вовсю шел покос — очень важное событие каждого лета. Да и меня косилка Кости Чалчикова волновала больше, чем отдаленные танки, — я вживался в новый для меня мир, хотел присвоить его и стать своим.

И начало, и конец советской страны, в которой я родился, сейчас представляются мне несколько сказочными, мерцающими в тумане далекого прошлого. Так уж получилось — из-за рассказов моей «убойной» прабабушки и из-за того, что в 90—91-м на маленьком кордоне я вел довольно нереальную жизнь: возил сено и дрова на санях, искал в тайге гриб-колдушку, танцевал на сельском празднике под гармошку и балалайку, со всей силы топоча кирзачами об убитую землю двора, толок себе обжаренный ячмень на каменной зернотерке и занимался другими столь же несовременными вещами. Окрестную тайгу во множестве населяли кормосы,

треножившие коней, алмысы, заплетавшие по ночам гривы и хвосты лошадей в косички, белые козочки, оборачивающиеся страшными старухами. Я с радостью впитывал эту алтайскую народную мифологию, социальная мифология казалась менее интересной.

Общаясь со своим сыном-старшеклассником, а теперь уже и студентом, я особенно остро ощущаю, что Советский Союз окончательно превратился в большую легенду, в которой я когда-то, тысячу лет назад, почему-то физически обитал. Мне нравится рассказывать байки из своей былинной, малопредставимой жизни, гуляя с сыном вокруг нашего деревенского дома, проходя мимо руин колхозных ферм, а ему нравится слушать. Да и не один я, видимо, его так воспринимаю — ушедших в прошлое толкиенистов в странных одеждах, машущих в парках игрушечными мечами, сменили появляющиеся в начале мая девушки и юноши, а чаще — дети, в красноармейских гимнастерках и пилотках. В супермаркетах лежат продукты в упаковке, которая знакома мне по раннему детству, в телевизоре перепевают песни о главном.

И это не ностальгия по СССР, я думаю. Это попытка свить себе гнездо в уютном и теперь довольно безопасном, почти утратившем силу мифе. Мифы успокаивают, дают силы для того, чтобы как-то продолжать жить в этом зыбком, неустойчивом цифровом мире. Без них тяжело, без них мы все становимся немного героями прозы Романа Сенчина, обреченными на существование в пустой гнетущей реальности, из которой вместе с эпохой модерна отчасти ушла и животная витальность.

Как говорил Леви-Стросс, «мифы мыслят в людях без их ведома». Очень часто эти же самые мифы подсаживают на вечную неизбывную обиду, на ощущение, что у тебя что-то отняли и тебе что-то должны, на поиск обидчиков и врагов. Нас обижают все — государство и враги государства, наши родители и дети, понаехавшие и решившие свалить, расчетливый запад и хитрый восток. У нас отняли сначала Россию, потом отняли Советский Союз, теперь пытаются отнять то ли остатки гражданских свобод, то ли остатки суверенной стабильности. И, видимо, те же самые обидчики теперь нам должны — должны льготы, пенсии, бесплатные блага, прикольную национальную идею и обеспечение безопасности.

Моя прабабушка Нюша имела более осторожный подход — она никогда не говорила «цены повысили», она всегда рассказывала, что «цены поднялися». Война у ней сама собой начиналась, переворот случался, голод наставал. Трудно обижаться на цены и на войну с голодом. Это все равно, что обижаться на дожди, полую воду или заморозки.

Когда я чуть больше десяти лет назад с трудом оттолкнулся от своего личного дна и бросил пить, жизнь стала просто невыносимой. Трезвость оказалась тухлым удовольствием, свобода по вкусу напоминала незрелое яблоко, и гордиться такой свободой казалось смешным. Это вовсе и не свобода, это ощущение своей полной инвалидности и неполноценности на всю оставшуюся безрадостную жизнь. Продолжать эту жизнь стоило лишь для того, чтобы показать всем близким и любящим людям, до чего они меня довели.

Да, самыми трудными были первые годы моей трезвой жизни. Семейная жизнь трещала, работа не ладилась. Пришлось бороться со своими обидами, и это было гораздо труднее, чем перестать пить. Это самое трудное дело моей жизни, которое продолжается до сих пор.

Но каждый раз, когда я слышу слова «Развалили страну», я почему-то вспоминаю свои алкогольные обиды, дававшие мне право яростно размахивать своими оскорбленными чувствами и продолжать пить.

Мне кажется, что огромный организм Союза не смог протиснуться в маленький мир будущего, а на скудных почвах старого мира, по которому прошел огненный пал постмодернизма, ему нечем было питаться. Для советской системы необходимо

осязать впереди вольное, бескрайнее будущее, в этом будущем коммунизм должен вечно маячить на горизонте недостижимой звездой. А у нас тут, в нашем маленьком, перенаселенном, замусоренном мире такого будущего нет. «Очевидно, что прошли времена Нового человека, устремленных в грядущее манифестов, призывов к новому дивному миру...» — пишет Николя Буррио в книге «Реляционная эстетика».

И ностальгия — она у нас, пожалуй, не по самому СССР, а по сытости и спокойствию 60—80-х, по европейскому послевоенному миру, по тихому и уютному закату модерна, когда ужас Второй мировой отпустил, а новые страхи еще не проступили. Это, наверное, последняя эпоха, когда человек по-детски привольно и бездумно резвился на просторах большого, антропоцентричного, неисчерпаемого мира. Тут можно с одинаковым успехом пускать слезу от «Песняров» или Визбора, «Пинк Флойд» или Сержа Генсбура с Джейн Биркин. И как подарок нам всем от этой сладкой эпохи был достаточно мирный уход СССР.

Детство закончилось. Не обязательно даже высыпать на пол из коробки своих солдатиков и начинать мировые войны, достаточно просто еще пару десятков лет выбрасывать столько же мусора, требовать новых конфет и игрушек, и количество пластика в мировом океане по массе превзойдет количество рыбы, а маски и респираторы навсегда прирастут к нашим лицам.

Елена Крюкова, прозаик, поэт (г. Нижний Новгород)

Не уходи

Девяностые... Что такое «девяностые»? Измерение времени — не для меня. Мензурки, градусники, логарифмические линейки, насечки на шприцах... Тяжелющие бухгалтерские счеты валялись на чердаке в бабушкином доме в Самаре... Четырехзначное число — нумерация года — ввергала ребенка, сидящего под наряженной елкой, в кромешный ужас. Взрослела душа и окуналась в новые временны*е* вихри. Не покидало чувство рока, Ананке, библейской суровости. Детство — алмазный снег, юность — чувство огня. Я — печь, костер. Знаковая картина девяностых — ночь и костры на площади. Огонь во тьме. Я стояла в толпе, когда рушили памятник Дзержинскому на Лубянке. Это было страшно и мощно, так оглушительно и ослепительно звучала многоголосая симфония времен, шатался, ходил ходуном многоглавый людской ковер: мотался под инфернальными фонарями, как страшный вязаный занавес в любимовском «Гамлете» на Таганке. И это напоминало рисунок из учебника: Великая французская революция — площадные толпы — жестокости, резня и казни, и призрак гильотины — и во мне зазвучали слова деда моего, Михаила Павловича Еремина, критика, литературоведа, пушкиниста: «Несчастен тот, кто будет рождать и питать сосцами в те дни...» Опять Библия. Мы от нее никуда.

Внезапно и разом исчезло чувство защищенности. Когда ты — школьник, малыш, детский сад-старшая группа, а у тебя есть родитель; есть власть; она стоит за тобой и над тобой; она утирает тебе нос, кормит кашей и назидательно говорит: ходи сюда, а сюда не ходи, вот так работай, вот так отдыхай. Шаг влево, стреляю, шаг вправо, стреляю. Без дисциплины, мы полагали, мы тоже никуда. Но дисциплина внезапно и дико закончилась. Та, к которой мы привыкли. И началось другое. «И суждено совсем иное...»

Нострадамус признавался, что видит Время варящимся в одном котле, единым: прошлое, настоящее и будущее, вот они, вот адское — или Божье! — варево, кипит,

булькает, мы наклоняемся, силимся что-то разглядеть. Что? Будущее? Будущее всех волнует. А надо бы хорошенько разглядеть прошлое. Ибо оно и есть будущее.

Однако упали наземь вожжи. И оглобли треснули и рассыпались. И побежали вольные лошади табунами. Снова в Дикую Степь, волошинскую, половецкую, азийскую, вечную-русскую. Ломалось не только время — пространство трещало по швам. Люди не знали, куда идти, где спрятаться, чтобы спастись. Наши друзья продавали жилье, чтобы выжить, просто поесть, приткнувшись у чужих людей, наши знакомые умирали с голоду; нашей родне платили зарплату яйцами и пишущими машинками «Москва». Как мы с Володей жили? Молодые были. Выживали?.. Да нет, жили, притом на полную катушку; оба слишком страстные, пассионарные — жажда высказаться, жажда успеть, масштабные, на полмира, видения нового — вон они, вдали, твои новые земли, твои океаны, эти произведения можешь сделать только ты, и значит, вперед! Снят вопрос денег, заработка. А какой поставлен? А такой: как в мире мимикрии остаться самим собой? И собой — нынешними — становились! Как жили? Чудом. Чудеса происходили на каждом шагу. Видно, Бог нас спасал.

Сегодня? Да сегодня как вчера. А вчера случится через сто веков. Нет времени, сказал поэт Игорь Чурдалев; он ушел в небеса, стихи остались. Нас всех забудут. А потом вспомнят. А потом забудут опять. Не суть важно. Нынешний огонь горит, пылает в полную силу, чисто, сильно, не чадит. Да ведь и тогда, в девяностые, он горел; и страстно, счастливо и горестно мы любили мир; и нам хотелось, чтобы и он нас любил; а сейчас важно, что ты любишь, ты, и не надо ответа.

Владимир — художник, я — писатель. Из музыки в литературу пришла. И именно в девяностые годы. Первые фрески мои, симфонии словесные: «Литургия оглашенных», «Коммуналка», «Меч Гэсэра», «Русское Евангелие», «Реквием для отца среди ненаписанных картин», «Юродивая» — девяностые и нулевые. Разве реку возможно остановить? Чем выше плотина, тем мощнее напор. Нам было все равно, как бьют, лупят нас времена. Радость работы. Радость любви. Радость путешествий. Все это было у нас. Было и горе. Человек без скорби не живет. «Кто никогда не ел хлеба своего со слезами...»

Трудно прошептать — или крикнуть — так, чтобы тебя услышали. Сколько людей ушло, укатилось в безвестие, в гробовое молчание! Одно есть утешение в скорбях: твое пламя. Если ты заряжен на постоянный огонь — ты и горишь всегда. Синтез водорода в гелий, и пламя негасимое. Таков художник. Это закон его жизни. Пусть даже ему от этого иной раз тяжело.

Мы зачеркнули навсегда в записной книжке жизни вопрос невероятного заработка. Вопрос успеха во что бы то ни стало. Володя все время повторял мне: успех — это мифология, ты работай, а время разберется. А я сейчас добавлю: а пусть даже и не разберется! Это уже неважно. У тебя есть крылья. Ты летишь. Ты делаешь, что любишь, хочешь и должен. То, что можешь. И даже то, что не можешь. «Делай, что должно, и будь что будет», — сказал легендарный сэр Ланселот.

Так мы освободились от... От чего? От технологий приспособления. От соблазна наживы. Да много от чего; мы живем так, будто в запасе вечность. Радостно живем.

И надо, наверное, считать очередным чудом, впрочем, для художника обыкновенным, что мы не стали торговать колбасой и бытовой химией, не рухнули в пошлятину коммерческой литературы и продажной живописи, пышно называемой «жанром»; что — остались самими собой.

И да, это уроки девяностых.

И нулевых. И десятых. И...

«Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..»

О чем мы мечтали тогда, тридцать лет назад? О чем мечтала я? Да все о том же. Писать книги. Играть на органе. Петь свои песни. ПЕТЬ СВОЮ ПЕСНЮ — так, как

могу я одна. Сбылось это? Более чем. Володя шутит: в твоей мастерской всегда три- четыре работы ты за собою ведешь, так быков ведут на веревочке, и холсты твои то и дело лессируются, а за ними — новые наброски. Да, я работаю много. Потому что мир большой. И потому, что я крупно, широко его, широкий, люблю. Я его ни в чем не обвиняю. Ни в какой трагедии никаких девяностых. Они были тяжелейшие, да! Но и прекраснейшие. Спрашивают: а вы бы хотели их повторить? Если бы они пришли вновь — хочешь не хочешь, живи.

Все основные вещи мои написаны в десятые годы и сейчас. «Беллона», «Солдат и Царь», «Евразия», «Старые фотографии», «Побег», «Земля», «Иерусалим», «Музыка» — в прозе; «Титаник», «Иркутский рынок», «Площадь», «Терминал», «Волчьи песни», «Одинокий голос» — в стихах. Но выросли все они из девяностых. Они туда уходят корнями. Я стала другая. Человек не застылая льдина, он живой и горячий, он течет как река, повторяя течением ход времени своего. Он звучит, ибо он музыка. Я пишу мою музыку словами. Так суждено. Бога за все благодарю. Цифр, отмечающих время, не вижу. Все, что было с нами там и тогда, драгоценно, больно, любимо. Все, что будет завтра и всегда, примем, обнимем, благословим.

...не уходи ведь не уйдёшь скажи останешься ведь правда
мой Міръ ты на меня похож моя близнячия отрада
полночный мой седой улов косм полоумных серебрянка
не уходи гремит без слов твоя соседская гулянка
ты — на меня я — на тебя мы друг на друга так похожи
я путалась: твоя судьба — озноб моей дитячьей дрожи
я бредила: твоя война — а я солдат я царь-девица
в виду горячего рожна — на острие меча — синица
копаю я расстрельный ров в овраге жгу любви обрывки
и крест двунадесяти ветров тащу медведем — на загривке
а зарядят одни дожди — стеною слёз нависнет старость —
кричу хриплю: не уходи я у тебя одна осталась
хоть Міръ в тебе полно людей они клубятся и дымятся
на сковородках площадей
себя записывают в Святцы
с себя рисуют Страшный Суд
себя иконами малюют
и то друг дружку вусмерть бьют то перламутрово милуют
а я мой Міръ тебе шепчу одни любовные обеты
а я понять тебя хочу — превыше тьмы и выше света
тобою я одним дышу ненастно хрипло жадно грубо
и ночью к Звёздному Ковшу тяну рыдая руки губы
давай меня ты обмани секир-башка руби наотмашь
в который раз меня распни ладьею вытащи на отмель
давай меня возненавидь во грязь и погань мордой тыкай
я — лишь твоя златая нить в холстине волглой и великой
я воля Волга хмель-волна крупнозернистая льняная
твоя извечная жена земля угрюмая немая
седое зеркало твоё лёд отражающий постыло
и явь и бред и бытиё что завтра будет прежде было
твой зимний траур чёрный ход мой Міръ и звёзды над сугробом
никто на свете не умрёт навек а лишь воскреснуть чтобы
и я воскресну слово дай одно что всей любви превыше
ты только Міръ не умирай
не умирай мальчонка слышишь

Олеся Николаева, поэт, прозаик (г. Москва)

Сумбурно и противоречиво

На референдуме на вопрос: «быть ли Союзу?» — отвечала твердое «быть». Ведь СССР по своим геополитическим границам почти совпадал с Российской Империей, а значит — и с русской литературой. В скором времени он развалился, да еще как-то буднично, словно по щелчку чьих-то пальцев. И реакция на это эпохальное событие была какая-то вялая, словно народ устал, расплескав свою энергию во время августовского путча.

Три денежные реформы совсем обескровили население и ввергли в полнейшую апатию и уныние. Помню, как после объявления об одной из реформ, мы с папой поехали на рынок в надежде купить там на последние деньги хоть какие-то припасы, но не нашли там ничего, кроме бульонных кубиков и геркулеса, хотя и этому были рады: именно геркулесовой кашей, правда, сдобренной фаршем, мы кормили тогда собак: у папы была московская сторожевая, а у меня ньюфаундленд. И если мы о себе думали, что как-нибудь перебьемся, то собакам, верным членам семьи, этого было не объяснить.

Во время другой реформы, деноминации, мы с детьми оказались в Печорах и, проснувшись, обнаружили, что наш кошелек пуст. Слава богу — были хотя бы билеты на обратную дорогу. Но я сказала детям:

— Ничего, так даже интереснее! Будем как-нибудь выживать.

А поскольку в те годы мы в Печоры ездили исключительно со своими запасами из многодетного и писательского заказов да еще и из коробки «гуманитарной помощи», то у нас оказалась палка заморского сервелата и кое-какие консервы. И вот мы решили пойти на рынок и там обменять наш сервелат (тем паче что был Рождественский пост) на хлеб и овощи, на которых мы могли бы продержаться до отъезда.

Но к нашему изумлению на рынке торговали мерзлой картошкой, луком и квашеной капустой три-четыре местные тетушки, да еще дедок предлагал купить у него веник. Когда я предложила им натуральный обмен, они заохали: «Да всех наших рыночных товаров не хватит, чтобы расплатиться за твою колбасу! Отнеси-ка ты ее в кооперативный киоск — они там надают тебе за нее всего!»

Мы так и сделали. Дети мои, явно стесняясь мамаши с высоко поднятой колбасой в руке, встали поодаль, опасливо наблюдая за происходящим, пока я предлагала продавщице киоска обменять сервелат на то, чем она сама была богата: супы доширак, каши в пакетиках, чай, джем...

Она обрадовалась, оглядев колбасу, и спросила, предвкушая гешефт: «А сколько у вас ящиков?»

— Да она у меня одна! — произнесла я торопливо, поскольку ужасно замерзла без перчаток. И тут из моих заледенелых (задубелых) рук эта колбаса предательски выскользнула и покатилась по январскому ледку.

В общем, вернулись мы в свой печорский дом ни с чем. Зато встретили по дороге соседку-эстонку, и она предложила растопить у себя баньку для нас. Вот мы и отдали ей наш злополучный сервелат, а она взамен напекла нам оладушек, отвалила картошки, соленых огурцов да еще и связала мне варежки. Так что мы и без денег выжили.

Помню эти унизительные базарчики, устроенные населением прямо вдоль улиц, где торговали домашним скарбом и ношеными вещами, помню растянувшиеся вдоль шоссе ряды кастрюль, тазов и сковородок, которые пытались продать бедолаги,

получавшие их вместо зарплаты. Или несчастных женщин, поджидавших на перроне поезда дальнего следования и врывавшихся в вагоны с синтетическими игрушками: огромными мишками, маленькими зайчиками и куклами с глупыми глазами, умоляя купить хоть что, хоть за сколько...

Помню бандитские разборки и просто уличные драки. Как-то раз, припарковавшись у продуктового магазина в Солнцево, я увидела: сцепились две стайки крепких парней — одного уже повалили на землю и били ногами. Моя мама, сидевшая в машине, пришла в ужас настолько, что готова была ринуться их разнимать. Чтобы она этого не сделала, я сама взяла монтировку и, грозно размахивая ею, закричала им: «А ну разошлись!» К моему удивлению, они и правда рассыпались в разные стороны.

Помню, как через Печоры, около которых проходит граница с Эстонией, а в те времена она была вполне проницаема, гнали грузовики с цветными металлами, и это не обошлось без перестрелок, когда кто-то из местных объявил охоту за ними. Во всяком случае, из озера вытаскивали простреленный труп водителя. Или как в Переделкине чеченцы устроили разборку со строителями-таджиками, которые отказались платить им дань: у сельского магазинчика нашли два обгоревших трупа.

Или — не забыть, как мой муж Владимир Вигилянский согласился стать главным редактором нового журнала «Русская виза», который финансировал русский миллионер Марк Горячев, стремительно набиравший известность (хотя бы тем, что его принимал у себя папа Римский). И как он вдруг исчез, совсем, бесследно. Через несколько лет мы узнали, что его не застрелили, не зарезали, не взорвали, а попросту «закатали в бетон»!

Но была и обратная сторона 90-х. Все социальные потрясения и бытовые трудности тонули в приливе счастливой душевной энергии. Я в те годы чувствовала необыкновенную творческую силу: еще в 88-м году написала первый роман, и он имел успех — его напечатали трехмиллионным тиражом в «Юности», издали отдельной книгой, он был переведен на французский замечательной переводчицей Лили Дени, стараниями которой французы познакомились с русской классикой XIX и XX веков. У меня было ощущение, что открылись новые пути, новое дыханье, новая жизнь, ликованье, вдохновенье, восторг! Я очень много — запойно — писала в те годы. В 90-м году у меня вышло сразу три книги: «Здесь» — в «Советском писателе», «Ключи от мира» (проза) — в «Московском рабочем» и «Смоковница» (книга стихов и переводов) — в тбилисском издательстве «Мерани», а следом — еще одна — AMOR FATI — в питерском издательстве моего друга поэта Николая Кононова.

Ну, и главная причина душевного подъема, о чем стоило написать в первую очередь: освобождение Церкви! Архиерейский Собор 90-го года, выборы Патриарха Алексия, встречи с митрополитом Антонием (Блюмом), возрождение церковной жизни, восстановление и открытие храмов, толпы новокрещенных людей! В это время я как раз купила дом вблизи Псково-Печерского монастыря — на деньги, полученные за лекции в США и за французскую книгу.

И вот это тоже — Европа! Поездки за границу! То, о чем я и мечтать не смела. Эти роскошные фестивали, конгрессы, просто читательские конференции, вечера поэзии в Париже и Гренобле (в 1988 году), в Нью-Йорке (1991), в Женеве (1992), в Румынии (1993), в Неаполе, Амальфи и Равелло (1994), в Белграде (1995) и т.д. и т.п.

И люди, баснословные люди, которых я там встречала! Эмигранты первой волны: княгиня Мещерская, основательница Русского Дома в Париже, Николай и Вероника Лосские, Никита Струве... Главные редактора и авторы читаемых нами из-под полы журналов: Андрей Синявский, Мария Розанова, Владимир Максимов, Ефим Эткинд, Саша Соколов.

Вернувшиеся в Россию Эдуард Лимонов, Александр Солженицын, Юрий Кублановский, Василий Аксёнов.

Казалось, восстановлено единство русской литературы. Сшит ее разорванный в 1917 году хитон.

Расцвет толстых литературных журналов, взлет художественного уровня того, что они печатали. Мы попали в какой-то невероятный контекст. Юрий Левитанский говорил: «Я еще могу представить, как выглядят мои стихи в одном номере с Бродским или даже с Гумилёвым, но как это возможно рядом с Платоновым!»

...И потом вдруг после этого — пшик, пустота. Читатель рассеялся, тиражи упали, издательства лопнули, журналы выдохлись в борьбе за выживание, экспертное сообщество растворилось, а на его место пришли лукавые кураторы с «проектами», по сути — могильщики литературы; социальные сети затопили пространство любительскими и графоманскими текстами; писательство перестало быть профессией и сделалось просто «хобби»; государство плюнуло и еще раз плюнуло в эту сторону; литературный быт исчез как таковой. Во всяком случае, не стало в нем ничего, из чего бы мог сформироваться литературный факт, о котором писал Юрий Тынянов. Рассыпались эпистемологические основания, на которых держится культура.

Литература как живой процесс самосознания нации умерла. Это не значит, что и сейчас нет прекрасных поэтов, замечательных прозаиков и проницательных критиков. Но они не складываются в то, что можно было бы назвать национальной литературой, не рождают ее идею, не формируют контекст. Каждый сам по себе и за себя. Перефразируя поэта, никто ни с кем не аукается «через степь».

И здесь все мои надежды и чаянья начала 90-х потерпели полнейший крах.

Алексей Торк, прозаик (г. Бишкек, Киргизия)

Время крупных событий

Конечно, из сегодняшних двадцатых события конца прошлого века видятся уже по-другому.

Я тяжело воспринял распад СССР. В Таджикистане он был обставлен гражданской войной. Мне был двадцать один год. Взрослую, настоящую жизнь я начал с лицезрения трупов и хаоса. Я сформирован отчасти войной. Это мешает моим оценкам. Мои 90-е были ужасны, но сейчас я понимаю, что это было время крупных людей, крупных событий. Мы попали в чудовищной силы историческую грозу, когда молнии били диаметром с колонну, грохотал вселенский гром, ветер срывал нам шапки.

Это было страшно, но завораживающе. Во всяком случае, это обещало будущие очистительные смыслы — другой, великий день.

Гроза ушла, и, вымокшие, в нулевых мы влезли во что-то серое и гадкое — в кашу из всех смыслов, порубленных меленько. И это не пауза перед чем-то, это новое предложенное миропонимание. Ходасевич его описывал как «тихий ад». Тут нет грозы, но нет и солнца, нет демонов и нет ангелов. В России, да и везде в бывшем СССР, установлены режимы под названием «потребительский кредит от 5,5% плюс репрессии».

Девяностые во всем своем буйстве были открыты и честны. Буйство сменил темный штиль — время безмыслия по ставке в 5,5%.

Такого позора, кажется, Россия не испытывала никогда. Я не мучаюсь выбором, оценивая времена. Я за жестокую честность. Будь возможность, я бы обязательно вернулся в свои «жестокие» девяностые и попробовал бы еще раз. Чтобы что-то изменить, хотя бы для себя самого.

Дмитрий Шеваров, прозаик, журналист (г. Москва)

Заметки на календарных листках 91-го года

Грядущее на всё изменит взгляд,
И странностям, на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем.

Когда кривляться станет ни к чему
И даже правда будет позабыта,
Я подойду к могильному холму
И голос подниму в ее защиту...

Борис Пастернак

Листок первый

В ночь на 19 августа 1991 года мне приснилось, что я еду в поезде, а поезд остановился на маленькой станции. Я смотрю за вагонное окно и вижу дом под старым тополем, завалившееся набок крыльцо и девочку в дождевике. Мне очень хочется выйти из поезда, чтобы познакомиться с ней, но поезд трогается, ускоряется и влетает в тоннель, совершенно черный, и мне так страшно, что я не могу даже закричать.

Листок второй

Ждал ли я чего-то от случившихся в 1991 году перемен?

Да ничего я не ждал. Что вообще можно ждать от распада, развала и разложения?

Надежды и какое-то юношеское воодушевление были в 1986—88 годах. Это был миг — что такое для истории эти два-три года! — когда люди открылись друг другу, доверились. Старики стали рассказывать о пережитом детям и внукам. Люди будто очнулись, вспомнили себя, свои корни, свою веру. Какая-то гора с плеч рухнула.

Но бежали дни, и сердце все чаще сжималось от происходящего. Аварии, взрывы, крушения, землетрясения...

Страна стала уходить из-под ног.

В фильме «Аты-баты шли солдаты» Леонида Быкова один из героев, молодой солдат-грузин, говорит: «Мужчины не плачут, мужчины огорчаются».

Мое огорчение было тем сильнее, что в армии я командовал взводом, и под моим началом были солдаты шестнадцати национальностей. За два года я сроднился с ребятами. А через них сроднился и с СССР — уже не по-школьному, не по детской привычке, а через горести, страдания и печали.

На прощание я подарил своим солдатикам по маленькому блокноту, который легко входил в карман гимнастерки. В каждом блокноте я написал какие-то пожелания и оставил свой адрес.

Я демобилизовался в 1986 году, надеясь в будущем воспользоваться приглашениями ребят и поехать к ним в Армению, Молдавию, Туркмению, Азербайджан, Грузию...

Рухнуло все так быстро, что лишь один парень успел мне написать. Взвод мой пропал без вести.

У меня до сих пор чувство вины перед ребятами, что все так получилось. Ведь командир взвода не бывает бывшим.

Поэтому тяжесть ответственности за гибель СССР я не могу списать на одних лишь беловежских властолюбцев.

Листок третий

У меня не было никакого расположения к популярным в ту пору политическим деятелям. Впрочем, один человек пользовался в нашей семье симпатией — это Анатолий Собчак. Двухлетняя дочка бегала по дому с веселым кличем: «Саб-чак! Саб-чак!..» Это было чуть ли не первое слово в ее словаре.

Симпатия к Собчаку была не столько политической, сколько эстетической. Впервые мы увидели на трибуне обаятельного человека с грамотной русской речью, кроме того — державшегося с большим достоинством.

Все остальные претендовавшие на власть господа демократы выглядели очень серо и неубедительно.

Чуть позднее, нечаянно попав в центральную прессу летом 1989 года, я увидел эту публику довольно близко. Мне были совершенно непонятны мотивы их поступков, их жадное лицедейство вызывало отвращение, их закулисные маневры меня быстро перестали интересовать.

Вообще вся обстановка 1989—1991 годов навсегда оттолкнула меня от политики, которой я увлекался с раннего детства. Мне почему-то виделось в ней что-то от рыцарских турниров. Острые шпаги доводов, яркие речи, стремительные решения, бескорыстие и отвага в борьбе за торжество справедливости...

С десяти лет во мне находили живейший отклик и кубинские барбудос, и чилийские подпольщики, и никарагуанские партизаны. Че Гевара, Сальвадор Альенде, Луис Корвалан были моими героями. Они придавали осмысленность моему пребыванию в пионерах и комсомольцах.

Конечно, у меня были и отечественные герои: Толя Мерзлов, Надя Курченко, космонавты Пацаев, Волков и Добровольский, пограничники острова Даманский, — их портреты, вырезанные из газеты, я свято хранил с 1969 года.

Листок четвертый

Бурные события всегда электризуют человека. Его захлестывают эмоции. Помните, во многих воспоминаниях о 1941 годе есть такой момент: «...услышав о начале войны, я обрадовался...» Тем, кто радовался, было от двенадцати до восемнадцати. Те, кто был старше, уже не радовались.

В 1991 году мое тягостное и скептическое восприятие происходящего разошлось с тем, как смотрели на те же вещи мои ровесники, в которых еще не погас энтузиазм.

Я воспринимал все глазами даже не родителей, а своих дедов. Им было за восемьдесят, но они всё переживали горячо и глубоко. Пытались понять и не понимали. «Не могу постичь!..» — так и говорил часто мой дедушка Леонид Иванович.

Их заставляла страдать не столько идеологическая сторона перемен, сколько нравственная, моральная, этическая.

В 1991 году крушили ведь уже не тоталитарный коммунистический режим (его фактически уже не было с 1956 года), а социализм с человеческим лицом, провозглашенный, но не воплощенный в жизнь Горбачёвым. Сокрушалась человечность как таковая.

Хрупкий и драгоценный запас этики социальных, межкультурных и межнациональных отношений был первым выброшен за борт. Нищета, произвол и криминал — первые плоды «демократических» перемен, которые мы вкусили. Хаос выплеснулся в будничную жизнь, во дворы и на улицы.

К бедности нашим старикам было не привыкать. Но жизнь стала бесконечным унижением и оскорблением человеческого достоинства. Вот с этим они смириться никак не могли.

Именно мои старики помогли мне понять, что в происходящем есть страшная червоточина.

Деды мои ушли почти одновременно в середине 1990-х, оставив мне в наследство свои боли, тревоги и печали.

Листок пятый

Никогда я так много не размышлял о жизни, как тогда, хотя вроде и думать было некогда.

Ответы на свои мучительные чувства и мысли я находил у русских философов, труды которых тогда стали печатать. Особенно близок мне стал Семён Людвигович Франк. Казалось: он сидит рядом в кресле — старенький, в очках, с голосом твердым и бодрым. И вот я записываю за ним (на самом деле выписывая в тетрадку из книжки): «Я не могу жить ни для какого политического, социального, общественного порядка. Я не верю больше, что в нем можно найти абсолютное добро и абсолютную правду. Я вижу и знаю, наоборот, что все, кто искал этой правды на путях внешнего, государственного, политического, общественного устроения жизни, — все, кто верили в монархию или республику, в социализм или частную собственность... — все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду...»

Полюбил я, конечно, и Павла Александровича Флоренского. Он тоже казался мне жгуче актуальным.

Когда официальной политикой стало предание забвению недавнего, еще не остывшего советского прошлого, я встретил у Флоренского поразившее меня определение забвения — это «не состояние простого отсутствия памяти, а специальный акт уничтожения части сознания, угашение в сознании части реальности...»

Благодаря Флоренскому и Франку я понял, что ничего нового по сути не происходит. Со всем, что я видел, — пусть в других формах и с другими персонажами — русские люди уже сталкивались.

Листок шестой

Что принес 91-й год журналистике и литературе?

Обе к концу 1980-х были на пике своих тиражей и своего морального авторитета. И самым, быть может, печальным следствием крушения СССР для гуманитарной сферы стал вольный или невольный переход большинства журналистов и литераторов в стан богатых и сильных. Для отечественной словесности это было равнозначно самоубийству. Читатели с отвращением отвернулись от СМИ и современной литературы. Где сегодня издания, за которыми в 1991 году стояли очереди у газетных киосков? Где «Огонёк», «Известия» и «Московские новости»?.. Где толстые журналы?.. Что осталось от некогда храбрых комсомольских газет?..

Жалкие руины остались от могучего советского писательского сообщества с его миллионными тиражами книг, всесоюзными днями литературы и домами творчества.

Сотни русских, украинских, грузинских, литовских, молдавских, узбекских, киргизских молодых литературных талантов просто погибли в 1990—2000 годы, не сумев реализоваться, не получив образования и поддержки. Множество даровитых литераторов (особенно в отделившихся республиках) так и остались в безвестности, не справившись с жизнью, с нищетой. Их произведения некому было перевести на русский язык.

Те немногие писатели, которым удалось выкарабкаться к успеху и благополучию, вынуждены работать на своих издателей, на публику, на пиар. Сегодня писатель, который хочет, чтобы его читали больше, чем сто человек, должен мелькать на экране, вертеться в социальных сетях, иметь свои колонки и блоги, писать сценарии сериалов, выражать свое передовое мнение по всем поводам, крутиться около политиков, бегать по книжным ярмаркам, раздавая автографы и обязательно выдавать по роману в год, а то и в полгода. Жалкая участь.

Но тот, кто не обрек себя на такую участь, кто остается верен бумаге и перу (или клавиатуре), тот чувствует себя беспомощным и нищим, а главное — отрезанным от читателя, которому он посвятил все лучшие силы души. Я начинал в «Вологодском комсомольце», где в 1960-е работал Николай Рубцов, и в свердловской молодежке «На смену», где в 1920-е разъездным корреспондентом служил Аркадий Гайдар. Ни той, ни другой газеты давно нет.

В Екатеринбурге не сохранили даже легендарный «Уральский рабочий». Газете как раз исполнилось сто лет, а ее взяли и втихомолку закрыли. Отряд не заметил потери бойца.

Говорят, во всем виновата бумага — устарел этот носитель, нет спроса, все ушли в Интернет. Это, конечно, лукавство.

Дело даже не в газетах как таковых. В конце концов, инженеры могут вспомнить исчезновение КБ, рабочие — закрытие заводов, военные — расформирование гвардейских частей, крестьяне — распад колхозов-миллионеров...

Нет, не утрата привычной материальной среды так ранила людей.

Мы все на генетическом уровне помним, что катаклизмы могут происходить в нашей стране самые разные и они происходят в каждом поколении с незапамятных времен. Можно многое вытерпеть, когда знаешь три вещи: знаешь, что именно произошло и в чем причина случившегося; знаешь, что страдаешь ради высокой и понятной цели, достичь которой обязательно нужно — иначе не жить; знаешь, что лишения терпит не только твоя семья, твои друзья — терпят абсолютно все от мала до велика без исключения.

Так было во время Отечественной войны.

В декабре 1991 года мы не имели ясности ни по одному пункту. Войны не было. Инопланетного вторжения не наблюдалось. Никакого массового мора, такого как нынче, не было. Так что причин для катастрофы тогда было намного меньше, чем их имеется сейчас.

Был очевиден паралич воли к жизни в правящей элите, но это же не повод к ликвидации государства.

Было и остается ощущение, что страна поскользнулась на арбузной корке, на ровном месте.

Именно поэтому до большинства людей далеко не сразу дошло, что произошло. Миновали дни, месяцы, а для некоторых людей и годы, прежде чем мы стали понимать трагизм происшедшего.

Листок седьмой

Еще весной 1990 года в мой корпункт в Волгограде приехала корреспондентка «Файнэншл таймс» — столь же бойкая, сколь и бесцветная девица. Стрингеров тогда еще не было, корреспондентка была исконной англичанкой. Приехала она с заданием рассказать своим читателям о демократических переменах в городе-герое на Волге.

Прежде всего я поинтересовался, где хотела бы побывать представительница передовой демократии: встретиться с рабочими на металлургическом заводе «Красный Октябрь» или на Тракторном, поговорить со студентами политеха или повидаться с ветеранами Сталинградской битвы?..

К моему изумлению, девушка на все мои предложения ответила no. «Я завтра улетаю в Москву, — объяснила она, — у меня нет времени. У вас большая страна, и в ней все время происходят важные события. Я должна своевременно сообщать обо всем в Лондон!..»

— Чем же я тогда могу вам помочь? — удивился я.

— Вы просто расскажите мне, что у вас происходит, посоветуйте, с кем мне важно поговорить, и я поговорю с ними по телефону, а вечером я должна передать статью в Лондон.

— Простите, но когда же вы успеете ее написать? Ведь нужно время, чтобы обдумать, разобраться, проанализировать...

Тут уже англичанка не поняла меня:

— Аналитик — ноу. Моя работа — информация! Я должна информировать, а то, что я сообщу, проанализируют эксперты в Лондоне.

Юная леди взялась за меня железными руками. Я отвечал на ее вопросы, она что-то скрупулезно помечала в блокноте. Все мои попытки выразить свое личное суждение энергично пресекались: леди требовала факты и только факты.

Когда я устал от допроса, англичанка открыла мою телефонную книжку и стала звонить тем, кого я считал в той ситуации сведущими людьми. Выяснить ей ничего толком не удалось — заслышав иностранный акцент, люди растерянно замыкались. В русской провинции общение с иностранцами было еще в диковинку.

В конце концов представительница западной прессы махнула рукой на меня и вообще на испуганных русских и улетела в Москву.

Листок восьмой

В конце 1980-х героями стали диссиденты. Они купались в славе. На некоторых впечатлительных и амбициозных людей это произвело гипнотическое действие. Им, еще недавно законопослушным гражданам, вдруг захотелось бросить вызов дрогнувшей системе и поучаствовать в ее развенчании.

Они бросились догонять уходящий поезд. Почти каждый день у меня в корпункте раздавался звонок от очередного «диссидента». Он требовал срочной встречи, заявляя, что безотлагательно должен сообщить нечто важное, а если я с ним не встречусь, то горько об этом пожалею, поскольку лишу свою свободолюбивую газету сенсационного материала.

Первое время я клевал на эту наживку. Так передо мной прошла целая череда хлестаковых. Милиционер, накопавший толстую папку компромата на своего начальника УВД. Сотрудник прокуратуры, уволенный за то, что потерял уголовное дело, и посчитавший это местью за свои антикоммунистические взгляды.

Особенно мне досаждал сотрудник КГБ, готовивший громкое разоблачение своего местного руководства. Молодой, обаятельный, мягкий и элегантно одетый, он как на работу приходил в корпункт и монотонно повествовал о своей любви к свободе и демократии, которую его руководство почему-то не хотело разделить. Его главным, как я понял, требованием, было избавление КГБ от КПСС, декоммунизация органов.

Чтобы отделаться от правдолюбца, я в отчаянии написал о нем заметку, и она была даже опубликована. Что поразительно: публикация никак не повредила служебной карьере моего героя. Славы он тоже никакой, кажется, не обрел. Слишком много было вокруг разоблачителей и ниспровергателей. На фоне какого-нибудь генерала Калугина провинциальный возмутитель спокойствия никого не впечатлил. Я был скорее рад этому.

Мне вовсе не хотелось прославлять этого скользкого типа, я желал лишь одного: чтобы он оставил меня в покое. Но, к моему ужасу, он продолжал являться ко мне

все с тем же приятным выражением лица, теперь повествуя уже о своих семейных неурядицах.

Только 19 августа положило конец этим визитам. Мой герой исчез навсегда, чему я, честно говоря, был несказанно рад.

Листок девятый, последний

Осенью 91-го я был в нескольких райцентрах Волгоградской области. Райкомы партии стояли опечатанными. А так как в тех же зданиях размещались чаще всего и райкомы комсомола, и райсобесы, и какая-нибудь райпотребкооперация да и другие районные конторы, то жизнь провинции была парализована.

По ночам лихие люди, часто не местные, подкатывали на грузовиках; потом через черный ход или через окно залезали в райком и вытаскивали все мало-мальски ценное: от телефонных аппаратов и факсов до портретов и бюстов Ильича. Потом эти портреты и настольные бюстики я видел в Москве у торговцев на Арбате.

На другой день в разбитые окна забирались местные мародеры и, навьюченные, тащили уцелевшее имущество — потертую ковровую дорожку, облезшую тумбочку или недобитый графин.

Кое-где загулявшие допоздна граждане, подвыпившие и потому настроенные особенно демократично, подойдя к дому секретаря райкома, отпускали язвительные шутки или ругательства. Но днем все делали вид, что ничего не происходит. Осень, уборка, дети пошли в школу...

Все, кого я встречал, были похожи на растерянных чеховских героев. Все понимали, что вот они по привычке еще тянут свою лямку, пьют чай, рубят капусту, но струна-то их жизни лопнула. То ли от перенапряжения, то ли она вовсе не лопалась, а, напротив, была слабо натянута, и пришел кто-то, кто взял и снял эту струну с инструмента. Произошло ли это далеко, в Москве, или еще дальше, где-то в небесных сферах, — уже было не так и важно.

Меня и моих ровесников еще спасала молодость, у нас были силы, были маленькие дети, ради которых мы обязаны были жить.

Старшие же поколения оказались в роли дяди Вани, который вдруг понял, что его жизнь пропала. Никто из новых властителей страны не подумал тогда о них, не сказал им что-то человеческое, простое: вы спасли и отстроили заново нашу большую советскую родину, вы не щадили себя и пожертвовали всем ради нее, вы передали нам в руки прекрасную страну, и мы обещаем не сломать ее... Никто этих слов не сказал, да и если бы и сказал, в устах циников это было бы дежурным лицемерием, которое и так затопило все вокруг.

Ксения Голубович

Труд поэта. Словарь

Ольга Седакова. Трудные места из богослужения

Мы познакомились в 90-е, я вошла в семинар по поэтике, который Ольга Седакова вела в МГУ на кафедре теории мировой культуры. С ее «Словарём трудных мест из богослужения»[1] познакомилась позже. Хотя сам он идет еще из 80-х и составлялся, по признанию автора, для верующих, наше поколение столкнулось с ним на другом историческом фоне — 90-х. Он пришел на волне словарного усилия времени — поменять язык, сдвинуть смыслы слов. Это усилие было повсеместным. Оно сказывалось в переводе множества терминов, в появлении целых ареалов нового опыта, где все предметы и понятия не были поименованы по-русски, его можно найти и в художественных переводах, которые как будто лишались гладкого, отработанного советской школой варианта языка. «Советская» агальма больше не работала. Казалось, и ощущение было стойким, русский язык упустил что-то за двадцатый век, на нем не записалось то, что записало себя в недрах и идиомах других — немецкого и французского прежде всего. И если уж переводить, то делать это надо, разрывая штампы, выявляя корневую глубину, ибо только так можно высечь иную, более чистую смысловую искру. 90-е — это взрыхленная почва, это неудобный проход по территории, это поиск, и желание, и страшная необходимость изменения во всем. «Словарь» Седаковой не уточнял что-то, чего мы раньше не знали, его эффект был другим: он работал с нашими привычными идеями, это были поиск и разведка «капитала», спрятанного внутри нас самих, попытка поднять новую картину мира, которая бы встала за русским языком, за нашим новым стилем общения и говорения.

«Словарь» Седаковой — это выращенные многослойным давлением филологии, библеистики, литературы, поэзии твердые кристаллы, сама структура которых подразумевает большую длительность существования. Он наращивался в течение 80-х, 90-х, нулевых и сейчас — еще одна откорректированная версия. Но кроме того, что это словарь, — это еще и «поэма», некий тип выхода за рамки жанра: для того, чтобы стать поэмой, этому словарю ничего не нужно делать.

Кризис будущего — это обычно кризис связи с истоком. Обретенное будущее — возобновление связи, переживаемое как культурная константа. И за эту связь с пра-истоком обычно отвечают... шаманы, поэты, пророки. В разных культурах по-разному. Вот и сейчас в «Словаре» Седаковой нам предлагается обновить те понятия, те «термины» нашего сознания, которым вновь грозит истощение и лишение сил. Однако, как и любую модерную поэму, этот словарь надо уметь читать. А читать — это значит отправлять себя в плавание, отдавать себя игре сил, не зная, что в итоге выйдет. Я предлагаю некоторые правила чтения — из тех, что испытала на себе.

---

[1] В этом году вышло третье издание, исправленное и дополненное:
Ольга Седакова. Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы. — М.: Практика, 2021.

> В том возрасте, когда мы прозреваем в Именах образ непознаваемого, который сами же в них вложили, они по-прежнему означают для нас и реальное место, тем самым заставляя нас приравнять одно к другому, — и вот в каком-нибудь городе мы ищем душу, а ее там нет и быть не может, но мы уже бессильны изгнать ее из имени этого места...
>
> *Марсель Пруст. Сторона Германтов*

Скромная, простая задача: взять слова из серии «ложных друзей переводчика», те, что при чтении церковнославянского текста богослужения кажутся нам понятными. Современный читатель образован и самостоятелен, и с тем, что ему откровенно неясно, легко справится сам. Но вот вопрос — *что* ты можешь сам? *Сам* ты полезешь в словарь — за *точно* незнакомым словом. Точно незнакомое — это «знак» того, что может стать знакомым. Но гораздо труднее работать с заведомо «понятным»: нужна наука само-недоверия, экспертиза сомнения, прозревающая невозможность ухватить истину в первом слое. Читаешь поэтическую строку или назидательное изречение и понимаешь, что ты не знаешь и не чувствуешь слов, не понимаешь, куда смотреть, а тот странный эффект, то впечатление, которое эти строки уже оказывают на тебя, раскапывать придется, как Шлиману Трою, — на одной вере, что она там есть. В церковнославянском языке — как в хорошем детективе — сомнение прежде всего ценно там, где все выглядит гладко. И любая ясность — только повод для поиска сокрытого.

Ольга Седакова не затягивает с примером во вступительной же статье. Она обращается к слову «непостоянный», по поводу которого у читателя точно не будет сомнений. В русском языке «непостоянный» значит «ветреный», «переменчивый», «неверный». Но как тогда расшифровать «непостоянно великолепие славы Твоея» (ПсСл Повеч вел млв Манассии) из церковнославянского? Можно объяснить себе так: слава непостоянная, потому что я ее то вижу, то не вижу; дело раскрыто, пора идти дальше. А если не делать так? И сказать: за чистотой и прозрачностью вижу что-то, что не работает, и в чистой воде вижу что-то еще — подвижную белую складку, спину какой-то неизвестной рыбы. Смотрим в «Словарь»: церковнославянское «непостоянный» — перевод с греческого «астатос» — и в русском будет означать «тот, *против кого* нельзя устоять». Ольга Седакова как переводчик предлагает три русских эквивалента, трех претендентов на перевод: «невыносимый», «нестерпимый» и «неодолимый». Невыносимое величие, нестерпимое и... неодолимое. В ответ в голове вспыхивают картины. Если величие «нестерпимо», то перед глазами — падающие при фаворском свете ученики. Лучи света на иконах — как копья, что поражают наших драконов посильнее Георгия Победоносца. Если «невыносимо» — то вот уже святой Христофор несет младенца через реку, и ноша его с каждым шагом все тяжелее. А если «неодолимо» — Иаков, что вслепую борется с ангелом. Какое слово ни возьмешь, все подходит, каждое выйдет вперед и будет «полноправным представителем» греков и славян в стане русских. Так «кто» же, чей корень, чья семья войдет в «богослужение»? Все хороши, все равны как на подбор... И в то же время не равны. *Каждое слово — любимое и единственное.*

Проблема в том, что выбрать нельзя — у всех этих слов один источник, одна Книга. Прямой удар луча разбивается на многие грани, но исходит из одной точки. Более того, из самих же сюжетов, вспыхивающих в ответ на слово, приведенное Ольгой Седаковой в качестве примера, становится ясно, что перед нами вызов: если нестерпимо — перетерпи. Если невыносимо — неси. А если борешься, то не смей не бороться. Не смей не прильнуть в борьбе к тому, кто невидимо рядом, кто давит

на тебя. Это не просто «не» отрицания, а целая драма между приставкой и корнем: русское слово становится активным, а не выглаженным вдоль и поперек. Его так «ведет» от магнитов греческого и церковнославянского, что оно начинает ходить ходуном — и требует человеческого внимания. Как-то Ольга Седакова сказала, что то, что для драматурга происходит в размере пьесы, для поэта происходит внутри одного слова, и не просто в механике его, как показывал русский формализм, а в его умении под воздействием сил поэзии превратиться и пережить невероятную судьбу — пусть даже в четверостишии.

В самой процитированной как «трудное место» строке столько любви к этой Славе, столько какого-то странного родства человека с ней, что хочется скорее метнуться к ней от «непостоянного» и посмотреть, что же она такое. Ольга Седакова не оставляет нас в этом желании — «слава» есть в «Словаре», она тоже «трудное место». «Слава Господня — Бог в Его епифании; то, что Бог открывает, являет... *вид же* Славы Господней как пламя наверху горы перед сынами Израиля» (Исх.24,17). Именно этого просит Моисей на горе Сиона: посмотреть, как выглядит Слава. Бог в ответ прячет его от нее: «когда же будет проходить слава Моя, Я помещу тебя в расселине скалы и накрою тебя рукою Моею». То есть Он еще и сам позаботится о наших отношениях со славой. Укроет, как ребенка, от своей собственной Непреодолимости, а значит, сделает ее чуть более преодолимой. Укроет, но не закроет до конца, даст увидеть, но не все, Сам введет какое-то «непостоянство» в «постоянство», потому что милует возлюбленного Им человека. Если человеку хочется увидеть силу и восхититься, то Богу в первую очередь важно, чтобы человек не пострадал — как все время чувствуется в свете «невечернем», то есть негаснущем, земной вечерний свет, столь любимый русской живописью. На наших глазах учреждаются какие-то невероятные *отношения* между значениями русского слова и церковнославянского, которые невозможно так запросто отбросить, но легко можно пропустить, перестав видеть игру «постоянства и непостоянства» между нами и Им; между мной и Тобой. Потому что Ты на нашей стороне и даже можешь отказаться от Своей Славы, прийти почти без сияния в такое трудное место нашего бытия, что мы испугаемся встать рядом с Тобой. Испугаемся не Твоей Славы, а глубины Твоего позора. И каким тогда еще страшным смыслом ударит в нас «непостоянство Твоей славы»?.. Какие картины тогда я увижу? Слово «позор» тоже есть в «Словаре» и значит, как всегда, *другое.*

Но и про «непостоянную», земную славу любопытный человеческий дух тоже хочет узнать. Может ли в богослужении быть кто-то земной и «прославленный»? Может: «прославленный царь». Но это значит «явленный в святости». А как быть с просто «славой» в русском значении «известности» — есть ли у нее шанс достичь этой точки, есть ли эта точка в ней, точка такой внутренней интенсивности? На ум приходят строки Ахматовой:

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

В этом написанном на русском стихотворении уже как будто видна вся «распорка» знака «троих», все его растяжение, все претенденты, все переигрывание темы между греческим, церковнославянским и русским. «Цена» славы велика. Ее непостоянство — страшно и «непостоянно». А одно из мест в слове, где эта цена будет заплачена в очередной раз, — суффикс. Переход полновесной «ноги» в легкомысленную «ножку» в русском языке, это право сделать смысловую уменьшительную складку, совершается за немыслимую цену — и подразумевает *его, Пушкинскую,* тяжесть выбора. Как и

право шутить и молчать — мудро и лукаво — ведь взято из его же «Пророка» с его «жалом мудрыя змеи», которое вкладывается в уста после изымания языка. Все эти странные друг рядом с другом перечисления того, что поэт купил и что получил в итоге, тоже подразумевают определенную складчатость поверхности, они с трудом ложатся в один ряд: право, возможность, благодать, а значит, уже не являются собой привычными, что-то в них двигается, а на месте «сдвига» образуется лакуна, пауза, интервал. Из них и создается «молчаливое», «скупое» слово Ахматовой, которое работает, воспевая пушкинское слово, его славу и его плату за возможность быть жаляще точным. Ахматова ставит «цену» на сильное ритмическое место. А что такое цена? Она тоже «трудное место».

«Словарь» говорит так: «цена» — это и плата, и ценность одновременно. Место, приведенное из Евангелия для подтверждения, — это «цена крови», «цена Оцененнаго», то есть Того, Кого во что-то оценили и за это продали, и Он Сам знает, за что — за что люди нарушают все договоры, всю правду — и приговаривают невинного. Оцененный — это Христос (И взяли тридцать серебрянников, цену Оцененного, Кого так оценили сыны Израиля (Мф. 27,9). Что должен был в жизни узнать Пушкин, какой ценой быть оценен, цену чему должен был узнать сам сразу, чтобы получить право *так* посмотреть на вещи, видеть их *настолько* точно? Так смотрит Моцарт, а Сальери никак не может понять этого: когда и при каких условиях наше *право* на что-то переходит в *возможность* делать это, а далее — *в благодать*.

...Так как же переводить? «Нестерпимость» славы? «Невыносимость» славы? И надо ли переводить? Что плохого в «непостоянстве»? Это непостоянство — как непостоянство женщины, прелестницы, ветреницы, чаровницы. У нее ступают не ноги, а ножки. Ахматова «Словарь трудных слов» точно не читала, но сама, как и Пушкин, прекрасно чувствовала различия церковнославянских и русских слов, и, вероятно — тоже в каком-то сложном их единстве, потому что вот эту разбивку «непостоянного» с «постоянным» она разыграла как по нотам, по всему размаху *отношений* между церковным и светским, древним и новым. И от этого теперь мне каждая статья в «Словаре» кажется еще и партитурой для исполнения. И уж если брать весь возможный ее размах, то что касается «ветрености», того самого «ветра», что прочитывается в русском слове, тут можно вспомнить и «Сказку о мёртвой царевне...». Ведь именно ветер у Пушкина, а не прочные солнце и луна, находит спящую царевну. Именно ветер у Пушкина становится первым ответом тому, кто хочет привлечь поэта к «серьезному» и «возвышенному», твердому предмету, а поэт выбирает свободу ветра[1].

...Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет.

— Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несёт,
Когда корабль в бездушной влаге
Его дыханья жадно ждёт?

И что-то в этом пушкинском ветре, даже в его ветреных красавицах, тоже таится: некое неуловимое *отношение* человека к Божественному и Божественного к человеку, а не система команд и приказов, как понимать, каким быть. Уж слишком похож его ветер, у которого нет закона, на что-то более старое, на «Дух Божий дышит, где хочет» — где Он хочет, а не там, где мы Ему предписываем. Вот где хочет, там и дышит. Может,

[1] Из отрывка из «Египетских ночей»: «Поэт идёт — открыты вежды,/ Но он не видит никого...»

Он тоже — «ветреный». По крайней мере, так считают все герои Библии, которые обижаются на Него: почему Он избрал не их, а каких-то там Давидов да Иосифов? У Пушкина такая глубина обиды известна разве что Сальери.

Ольга Седакова удивительным образом собрала кристаллы основных сюжетов, драгоценных камней русского склада обитания, тех самых трудных, а значит, — драгоценных мест, которые никак не могут стать простыми транзакциями слева направо и хлопком в «одну единицу» значения. Статья «Словаря» — смысловой кристалл, а не справочник. «Словарь» — шкатулка с драгоценностями или папка с партитурами для разыгрывания музыки, пения в полную силу. И самой главной драгоценностью, может быть, в нем является тот, кто вообще-то является тут фальшивым камнем: третий участник, гость, сам русский язык. Язык приглашенный. Именно «из-за него» мы упускаем смысл «церковнославянского», он — ложный друг, «ветреный любовник», эдакий вечный «шер ами», «шарамыжник», французик из Бордо. Тот, кто соблазняет и портит девственную чистоту, как писал о своем Онегине Пушкин. На Западе в Средние века всё, что не классическая латынь, было сразу же прозвано «вульгатой», то есть вульгарным, «народным». А молодой русский язык нахватался европейских нравов, напридумывал «панталон и жилетов». Законен ли он вообще, не стоит ли допросить его и осудить, посадить исправляться? Неслучайно же тема «самозванства» чрезвычайно важна в русской литературе. Может, он вообще «пародия», фальшивка?

Еще Глеб Успенский, рассуждая в «Царе и Патриархе» о противостоянии староверов и «новых» православных, писал о том, что именно благодаря царю Петру происходит непозволительный сдвиг внутри языка. Те эпитеты, которые в книжном и церковном языке были закреплены только за Божеством, вдруг стали в качестве метафор применяться к человеку. Он приводит приветствие Петру «Солнце правды», эпитет, который прямо указывает на Христа, а тут его «в метафорическом виде» преподносят царю-реформатору. Успенский фиксирует множество сдвигов, которые потом вообще создадут «русскую литературу». Например, «прелестница» — важнейший пушкинский термин, но в церковнославянском это резко отрицательная характеристика. «Лесть», «льстит», «прельщает», обманывает. Грозный царский ход, позволяющий из абсолютно точного эпитета, имеющего твердое значение, создавать значение «сдвинутое», «переносное», открыть в слове какой-то неучтенный смысловой интервал для игры, устроить милую переменчивость мыслей, капризность нрава, легкость, и умение забавляться серьезным, и создать положительное поле восприятия для вдруг возникающей легкой женской фигуры — то, что не приняли «строгие» ревнители языка, но то, что создало новый тип этики отношения к женщине и русское искусство, никогда не любившее однозначно тяжелую красоту. Русские современные слова в некотором смысле все будут сдвинуты, и «прельщения», «лести» в «прелестнице» мы читать не будем, облегчим их от груза... но какой ценой? Ценой петровских реформ, например, ценой раскола, ценой всей русской истории, куда войдет еще и декабристское восстание — потому что «ножки эти», про которые пишет Пушкин, — ножки Маши Раевской, жены Сергея Волконского, которая этими ножками и отправится в Сибирь. И теперь то место у Пушкина, где он говорит о редкости в России «стройных женских ног» и о «ножках» у моря перед грозою (строфы 32—34 главы 1), читается как-то совсем по-другому.

Так что вполне обоснованно «старообрядцы» до сих пор спорят — читать им русскую литературу или нет.

Русский гость — самозванец на пиру греческого и славянского. Его бы выправить, вернуть обратно. Он уже «после Пушкина», уже во фраке, уже «лишний человек». Традиционная тема не только школьных сочинений, но, может быть, и самой судьбы? Но просвечивает ли что-то такое через нее?

Ольга Седакова как-то писала о русской литературе в связи с богослужением

и о различии между западным (католическим) и восточным (православным) пониманием Фаворского света[1]. Разница в том, что для Запада этот свет, пусть и невероятный, но тварный, он — часть природного мира. И, соответственно, то, что видели ученики на Фаворе, — это яркие, но естественные явления в ряду других *явлений*. А для Востока — важны не явления, а Свет, в которых они даны, это именно нетварный свет Царствия Небесного, а не слишком яркий оптический эффект здешнего мира, нездешний мир в яркой подсветке. То, что видели там ученики — то, как все здешнее выглядит в нетварном свете, *каково оно на самом деле*. Для Востока нет сомнений в том, что своими глазами тварное существо может видеть то, что нетварно, ведь по сути наша задача — не достичь экстаза, не выйти из себя и увидеть что-то небывалое, а вернуться в себя и увидеть небывалое как то, что всегда и было вокруг. Увидеть *все то же самое*, а не какое-то другое. И поэтому-то и не нужно никаких отдельных видений, никаких отдельных религиозных сцен в «слишком ярком» свете (православие очень этот жанр не любит, отсюда и старое «если кажется, креститься надо»). Самое главное, что ты можешь увидеть, — это «здешнее» уже-в-раю. Один из тестов «истинного» видения или истинного света в том, что, возвращаясь обратно, ты любишь земное, а *если ненавидишь — то не там, ох, не там* ты *побывал*. И именно эта мистика нетварного света, показывает Ольга Седакова, встречается и в бунинском белом гимназическом платье, и у Мандельштама, и у Толстого, и у Заболоцкого...

«Святая» русская литература, как о ней беседует с нами в своих статьях Ольга Седакова, не иллюстративна, чем дальше от религиозных инсценировок, тем лучше. Она не грезит «возвышенным предметом». Поверхность литературы всегда «непостоянна», образ может быть любым, хоть простым деревом, хоть прилетевшим на «чахлый пень» орлом, хоть пробегом Наташи Ростовой по дому и ее первым поцелуем с Борисом Друбецким. Да хоть рытьем котлована у Платонова. Недаром у Пушкина в «Египетских ночах» герой называет поэзию, от которой не может отделаться, какой-то «дрянью», Ахматова — «сором». Ольга Седакова приравняла ее к автокатастрофе — когда все летит какими-то кусками, неожиданными деталями, совпадениями[2]. В этом — статус «родного языка». Языка «беглого», словно бы сорванного с корня, куда-то устремленного, всегда бегущего по молчаливому основанию, языка неожиданных дорожных происшествий. Но если смысловой кристалл пробега по лучу выстраивается от глубины древнего до дрожания современного, то ты сразу узнаешь эту мистику света, эту точку, где «слава» как известность превратится в «славу» как свет, и зайдет вопрос о цене. В строчке недавно погибшего поэта с детской подписью «Вася Бородин» русская поэзия тоже узнается: «Свет болит и поёт собой» — степень «понятности» строки равна ее непонятности. И в ее беглости есть некая точка устойчивости, которая узнается сразу, и никогда прямо не называется, потому что иллюстрация — не то же самое, что прямое касание, а тысяча слов — не то же самое, что точность попадания. Без этого основания, как писал Малларме в эссе «Кризис поэзии», великий новатор и одновременно невероятный традиционалист мировой поэзии, чью школу «чистой поэзии» прошли и Ахматова, и Мандельштам, и Седакова, поэзия — всего лишь «репортаж», душевная журналистика или просто языковые эксперименты. Один из вообще лучших переводов на русский, как мне кажется, это

---

[1] Эссе было изначально написано на английском. Его можно посмотреть на сайте Ольги Седаковой: *The Light of Life "Some Remarks On the Russian Orthodox Perception"*. Мне не кажется, что я должна переводить его, по крайней мере, сейчас. Поэтому ограничиваюсь просто небольшим пересказом одной из главок.

[3] Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть: допустим на шоссе
винтообразный вихрь и чёрный щит
И всё распалось, как метеорит.
(«*Стансы в манере Александра Попа*»)

перевод «Цветов» Стефана Малларме, сделанный Седаковой. Это достижение не только перевода, но и русского языка. Так восславить цветы. Невероятный, богатый и какой-то почти византийской силы стих, почти псалом Премудрости Божьей, которая трудилась над миром до человека:

Из лавины лазури и золота, в час
Начинанья, из первого снега созвездья
Ты ваяла огромные чаши, трудясь
Для земли, ещё чистой от зла и возмездья.

Гладиолус... И дальше упоительные цветы. По списку. Каждый — какой-то невероятный мир, который и правда в цветке надо увидеть. Так иногда видят в детстве. Когда цветы внушают трепет, словно это врата в миры. Я помню это, потому что мне всегда казалось, что есть цветы-воины, которые охраняют мир. Особенно каллы, и королевские ирисы, и репей. И я хотела быть воином.

Как-то раз, оказавшись в мастерской Вадима Гиппенрейтера — одного из лучших фотографов XX века, работавшего в тех пространствах природы, где человеку быть практически невозможно (интервью мое называлось «Точка кипения»), я получила приглашение сесть за специальный фотографический стол. Он представлял собой прямоугольник, на котором лежало матовое стекло. Гиппенрейтер положил передо мной фотографию. Паводок, где деревья тонули в воде и вырастали из нее подобно собственным отражениям, только шедшим вверх в молоко неба. Молоко неба и воды — и нет земли. «Смотри глазом» — смотрю. «Теперь возьми мою лупу — это многократное увеличение, если перевернешь — многократное уменьшение». Я взяла лупу. Посмотрела — остался тот же образ. Те же деревья. «У плохого фотографа — все рассыпается. Не останется образа. Пойдет "зерно", расфокусируется. А у хорошего все останется — как на глаз, так и под лупой — на месте. Навсегда. Хоть на рисовом зернышке я эту фотографию сделаю». И у Гиппенрейтера беглая, мгновенная, сделанная в один щелчок фотокамеры поверхность — навсегда неизменна. Это и есть качество непостоянного непостоянства.

Почему-то «Словарь» Ольги Седаковой напоминает мне те оптические линзы, что как-то дал мне Гиппенрейтер. Систему волшебных линз. Внутри собранных ею статей виден неожиданный разряд смысловой грани, отблеск, который освещает привычное, обыденное. И именно русское слово обретает новую ценность: мы начинаем приглядываться к нему, как к Татьяне в «Онегине», постепенно обретающей все большее значение именно своей простотой. Если Онегин — это самое начало светского языка, почти буквально «русская пародия» на французскую литературу, блеск и живость, то Татьяна в ходе романа — простая Татьяна — становится его высшей точкой и перетягивает на себя его смысловой центр. Ведь это уже вокруг Татьяны будут писаться знаменитые лирические отступления, размышления о природе, о сути литературы и общества, она подменяет собой Онегина и становится как бы тем русским языком, тем качеством «высокого стиля», который характеризует и позднюю пушкинскую прозу и поэзию, которую он не издавал при жизни, понимая, что глубоко застрявший в романтизме читатель не поймет его. Пушкин не наивный автор, его мысль о поэзии чрезвычайно тонка и глубока (достаточно, например, продумать, насколько для него она связана с флотом и армией, например, важными достижениями Петра по выстраиванию рядов и порядков), и пара Татьяна — Онегин — это очень глубокая медитация о самом языке и о творящих его силах.

Именно в этом отношении этот приглашенный герой, этот третий участник разговора — «русский язык» — не случаен. Он — в том же качестве, что и Пушкин, ровный, ежедневный язык, средний, простой язык, «мещанин», как называл сам себя поэт. Это городской, светский язык, по мнению староверов, «разрешенный царем».

Такой же, как у всех, язык, который позднее был кодифицирован как сама поверхность мира, без глубин и без «богослужения». Язык с правом на метафору и переносные смыслы, с правом не совсем до конца отвечать за слова. Легкий язык. Язык болтовни и к*а*лек, заимствований, французишек, которые научили «принимать душ», а не «брать душ», как англичане. И вот в этом-то языке поэзия делает нечто видимым. Ведь поэзия и есть «развиденная» поверхность мира. В этом ее труд. А Ольга Седакова берет на себя задачу показать этот труд, потому что этот труд должен продолжаться и в модерную, постпушкинскую эпоху, когда свобода языка стала еще шире. Как ни странно, весь призыв очередного Большого поэта русской литературы — к труду. С увеличительными линзами «Словаря» мне хочется задерживаться на множестве сильных мест не богослужения, а именно русской поэзии, останавливая скоростной бег, почувствовать — ага, вот тут, хотя вроде бы все понятно, но почему-то слишком сильно, слишком «о другом», хочется посмотреть.

Слово «труд», «трудный» — «*посмотри на труд мой*» означает не «посмотри на то, что я сделал», а «посмотри, как мне трудно». В слове *труд* уже заложено, что трудно будет прежде всего тому, кто трудится. У нас на поверхности «труд» приравнен к «сочинениям» или же «работе», например. Или к воздвигнутой глыбе усилий. Но не к мольбе и жалобам: мне будет тут трудно, на каждом слове будет тут трудно, а не то, что слово и есть мой труд, и я его создал или как-то там специфически украсил и применил, и потому восславь меня. Нет, это слово заставило меня тут трудиться, разгребать, сдвигать. Оно и есть «то самое место», где пройдет всполох. То самое «слово» — обыденное, потому и нуждающееся в моем и ничьем другом труде, где и разразится волшебство «узнавания», припоминания. И тогда — да, слово вернется обратно к себе, и из трудного «для меня» превратится в мой всем ощутимый, волнующий результат, в «труд», который меня и прославит, потому что взволнует. Первым, кому будет очень трудно, буду «я сам», я встану на то место, на котором будет очень трудно, не уйду с него, а дальше посмотрим: вдруг станет местом радости? «Самое радостное старанье, самое радостное тебе», — как написал тот же Вася Бородин, сам ставший очередным «трудным местом» русского языка[1].

Есть такой фильм с Хоакином Фениксом в главной роли — «Преступить черту». Он играет прославленного кантри-певца Джонни Кэша, того еще наглеца и прохвоста. Джонни пытается петь «госпелы» — благочестивые гимны. И у него не выходит. Вернее, выходит плохо, абстрактно, никак. И тогда продюсер на радио спрашивает его: есть ли у него песня «от себя», то есть написанная с его собственного места. А какое наше место? Плохое. «Представь: тебя сбила машина. И вот ты лежишь и умираешь. И времени у тебя на одну только песню. Песню, которую люди запомнят, прежде чем ты превратишься в прах, песню, которая расскажет Богу, как ты прожил свою жизнь здесь на земле. Так неужели прощальная песня будет та, которую ты спел мне здесь и сейчас?» И вообще весь этот разговор идет в рамках беседы о том, что такое вера, и верит ли Джони Кэш в Бога. И тогда молодой дебютант поет сочиненную им вещь, которую боялся показывать хоть кому-то и которая никак с госпелом на первый взгляд не вязалась, — так родился певец Джонни Кэш: «Я убил человека в Рино, чтобы просто увидеть, как он умирает». Песня о разбойнике и убийце. Там, кстати, и поезд есть, который едет и едет от тюрьмы к тюрьме, как у Толстого в «Воскресении».

А какие, мы думали, у нас вообще трудные места? Кто, мы думали, мы вообще такие? Перечитывая стихи Ольги Седаковой, всякий раз можно видеть, что начинаем мы отнюдь не в очень хорошем месте. Прямо скажем — в плохих местах, и хороших не предвидится. Однажды я уже где-то писала, кто ее контингент — отчаявшиеся,

[1] Если меня упрекнут, что я делаю из словаря «Трудных слов» — по сути «Трудные места из переписки с друзьями»... мне нечего будет возразить. Я, в общем, так и делаю.

неверные, предатели, злые, самоубивающиеся[1], разбойники всякие, больные, сумасшедшие, «они ужасны все, как червь на колесе»[2]. Или еще видение: «бухие, кривые, в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах» — и так далее («В Метро. Москва»).

Как сказал бы Данте, которым Ольга Седакова столь долго и много занимается и которому уже у нее учатся и сами итальянцы, — мы все тут в «сумрачном лесу». В Selva selvaggia (так называется одно из самых известных ее стихотворений-поэм). И к какой уникальной красоте слога и языка Ольга Седакова умеет выводить нас из последних трудных мест — по смысловым лучам, в которых ее слово движется с не совсем необычной скоростью, мгновенно объединяя слишком разное, слишком вдруг прихотливое, даже в обыденной жизни и близко не стоявшее, отчего ее поэзию и считали «трудной» долгое время, пока не привыкли. «Луч» держит. Что-то держит все вместе. И очень твердо. Некий тип смыслообразования, который, на мой взгляд, просто еще и предъявлен в «Словаре». Смыслообразование, которое работает внутри русского языка, которое творит его. «Словарь» Ольги Седаковой — не словарь слов, а словарь полновесных иероглифов языка от поверхности до глубины, с их новой и древней частью. Составить его — труд.

И труд одинокий. Сам выбор слов, подбор цитат, точная сверка с греческим — все это очень трудное задание. Задание, в которое входит и «метод наблюдения» за самим собой: какое знакомое слово взять, как его найти у себя и во всем корпусе богослужения. Что будет отобрано, какая грань из всей этой ценной породы станет примером, найденным для слова. Драгоценный корпус богослужения, единый для всех славянских народов в православии, перебирается знающей и трепетной рукой. Вот здесь полыхнет изумруд, вот здесь сапфир. Безусловно, этот выбор — выбор поэта, который слушает и весь русский язык параллельно. Выбор слов, быть может, глубинно связанный именно со слухом, который рождался и становился внутри современности и слушает то, что важно в ней и для нее, для всех нас, выбирая. Там есть не все слова, не все трудные места, и не все слова, которые могли бы составить интерес для читателей как пользователей. Но что безусловно и важно и в чем сфера ответственности *поэта* — так это то, что выбранные слова — это система понятий, важнейших для существования *литературы* на русском языке. Это важнейшее собрание ее внутренних опор, ее графем, ее смысловых партитур. Ее азбука, которая получена годами внимания, и труда, и чтения самой литературы, ее авторов, и может быть увидена в разборе — в статьях поэта, посвященных очень многим конкретным поэтам, включая ее разборы Данте и Пушкина, но также и просто кардинальным понятиям поэтики и этики[3].

В «Словаре», например, этот кардинальный этический посыл тоже важен. Преображение слова, его смысловая игра должны двигать не только наше понимание, но и наш способ оценки вещей, нашу этику. Опять же во вступительной статье Ольга Седакова приводит пример слова «озлобленный» — показывая, что в отличие от «нас», готовых этого озлобленного сразу осудить, церковнославянский язык мыслит его как того, кому причинили зло, то есть жертву зла. И опять же не стоит замирать в сентиментальности — и в новой политической корректности, стремящейся везде

---

[1] Ксения Голубович. «Поэт и тьма. Политика художественной формы» // Ольга Седакова: Стихи, смыслы, прочтения. — М.: НЛО, 2017. С. 49–112.

[2] Из стихотворения Ольги Седаковой «Нищие идут по дорогам» в сб. «Тристан и Изольда».

[3] Я предлагаю читателю обратиться к четырехтомнику Ольги Седаковой, к тому под названием «Эссе», где собраны как статьи о поэтах (Рильке, Элиот, Целан, Данте, Клодель, Кривулин, Жданов), так и статьи, посвященные большим понятиям этики или религии, чтобы увидеть, что во многом метод тот же. Это словари не по форме, а по задаче — перемена нашего понятия о чем-то, что мы заранее привыкли считать своим.

наплодить жертв и перенести ответственности с чужой озлобленности на того, кто потом сам станет ее жертвой. Путь в слове «озлобленный» куда тоньше.

Тут же вспоминается одно из «трудных мест» в поэзии Седаковой, место карлика-предателя из «Тристана и Изольды», настолько забитого в себя («как гвоздь»), что ему мало что поможет, — и дальше начинается работа поэта и проход по какой-то сложной и быстрой смысловой лестнице, упирающейся во «зло»:

Но злому, злому кто поможет,
когда он жизнь чужую гложет,
как пёс — украденную кость?

Кто принесёт ему лекарства
и у постели посидит?
Кто зависти или коварства
врач небрезгливый?

Ответом на то, кто же поможет «злому», станет опять же смысловой всполох — и это странная связка. Со злом связан... «стыд». Стыд лечит, потому что жжет и потому что как лекарство болезнен и тоже «злой», как «злая крапива». Стыд назван врачом. В знаменитом стихотворении «Дикий шиповник» тема раны-исцеления связывается с фигурой «сурового садовника», или Христа. И если говорить о том, с позиции кого ведется речь в «Диком шиповнике», то явно — с позиции того, кто в стыде, кто смотрит, преодолевая этот жгучий, болезненный стыд, стыд любви. После этого интересно посмотреть слово «стыд» в «Словаре». Но в любом случае стихотворение — написанное задолго до «Словаря» — строится по сложному пробегу смысловых лучей, собранных и возвращенных в единый центр «одного и того же». «Стихотворение — это прожитая метафора», говорил Эзра Паунд, считая стихотворение чем-то сложно-развернутым по лучам в разные стороны из единого центра. Но если метафора прожита до конца, то перед нами возникает и складывается целостный смысл, то есть исцеленный смысл, не фрагментарный и не репортажный. Иногда мне еще кажется, что «Словарь» — коробка с целебными травами. И исцеление — один из важных замыслов поэта. Как и целые смыслы, которые очень трудно собрать, потому что их просто невозможно придумать, как пару «зло — стыд», ее так просто не сочинишь.

Это не значит, что «статья» в «Словаре» Седаковой не может функционировать и просто так. «Словарь» имеет форму... словаря. Те, кому нужно узнать слово плюс смысл, найдут слово плюс смысл. Но сам замысел — составить словарь того, чего никто и не думал искать, где все кажется гладким, где мы привыкли доверять самим себе, удивителен. Это вводит очень человеческую процедуру, процедуру сомнения внутрь устойчивого. И эта интуиция, этот замысел принадлежат не только поэту, но и времени.

«Словарь» начат в 80-е годы, но доделан был уже в 90-х, то есть в те годы, когда состоялась большая беседа между Ольгой Седаковой и Владимиром Бибихиным, учившими нас, своих студентов, *слушать* обычный язык. Вслушивание в язык, причем именно в язык повседневности, срединный язык «простого» мира (обучались этому прежде всего у Хайдеггера) для нас было частью того большого разговора о культуре и мире, который так и не нашел завершения, а сменился совсем иным настроем двухтысячных. Продумывание русского языка в его связи с широкими семействами — с латынью и санскритом, с немецким и греческим — было частью повседневной практики. И место первой публикации «Словаря» не случайно — Греко-латинский кабинет Юрия Шичалина был не только пристанищем для обучения «мертвым языкам», лежащим в основании европейской культуры, но и местом перепродумывания нынешних значений и слов, поиском новых смысловых поворотов

в свете авторов, изучать которых в прежнее советское время удавалось лишь немногим на классических отделениях университетов. Эти авторы говорили совсем другое про «мужество», «человека» и «разум», чем приписывалось им в советской символической системе. Вообще сама возможность учить классику самостоятельно стала как бы продолжением деятельности главного классика страны Сергея Аверинцева, учителя Ольги Седаковой, переводчика и интерпретатора множества классических текстов, чьей целью на самом деле было преображение «теперешнего», «здешнего», дарование ему того нового, в том числе и политического, смысла, который бы его преобразил и изменил.

Это бескровное вторжение «древнего» в современное с необходимой подспудной трансформацией «поверхности» широко распространялось и мыслилось как новое Просвещение, Новый Ренессанс, как об этом думал Владимир Бибихин на открытом для всех ветров поле 90-х годов. Слава Владимира Бибихина, как и слава Ольги Седаковой, тоже взошла в 90-е — в годы, когда, казалось, можно было реализовать любой замысел или пережить любую даже крайнюю степень свободы. Годы, когда многие из нас всерьез готовились к соединению с Европой, к принятию — как называл это Мамардашвили — «европейской ответственности», и когда новый смысл должен был быть пережит, быть найден, пропущен сквозь себя, а не просто остаться высоколобой калькой или неприжившейся пародией.

«Работать в свете молнии», — говорил Мераб Мамардашвили. Ведь в русском ты должен увидеть «церковную» складку, а в «церковном» — переход в светское. И, кстати сказать, читать «Словарь» подряд у меня, например, не выходит, всегда лучше как-то «метаться», смотреть в примеры как собрания не очень складывающихся друг с другом слов. Слова «величие» и «слава» находятся в разных местах азбуки, а продумать их вместе, потому что они вместе в строке псалмопевца, — вот вдруг неожиданный и поразительный опыт.

Если еще раз здесь вспомнить Данте, то его «Комедию» тоже можно было счесть материалом к словарю новых понятий, практически иллюстрацией к нему, теми самыми примерами, в которых понятие становится явленным, не только по сути, но и в форме (даже терцины — часть ответа Данте на схоластику Фомы). Потому что там Данте бесконечно и строго занят разъяснением *всего*: почему на луне пятна — и как это связано с грамматикой, как понимать зависть — или что такое, по сути, убийство. Эти типы смысловых связок и собираемых из них единиц подарила Данте схоластика, и эти смыслы изумляют в исполнении Данте не меньше, чем те самые орудийные метафоры, за которые его так славил Мандельштам, отметая в сторону все остальное, всю «метафизику». Почему в чистилище завистникам зашиты глаза? Потому что они должны смотреть вглубь себя, а не на чужое. Тяжесть наказания равна глубине преступления и является метафорой совершенного греха — метафорой от противоположного. Об этом будет в XX веке писать Жак Лакан в своих работах о симптомах больных как о иногда невероятно изобретательных знаках самонаказания или самоискупления. «Словарь» Ольги Седаковой — тоже система знаков, а еще поэма этих знаков, ученая поэма о тех мыслительных ходах, которые, будучи развернуты и прожиты, впечатляют не меньше смысловых высот у Фомы, потому что и они — традиция. Традиция, у которой не было своего Фомы, но у которой есть весь корпус богослужения, вся его необъявленная «метафизика», для того чтобы этот Фома появился. И самое главное, что эти ходы *производят впечатление* на читающего. Почему производят? Да потому, что имеют отношение к какому-то глубинному базовому опыту человека, который всегда нарабатывается им самим, особенно когда ему трудно. (Это происходит и когда легко — но тогда он особенно склонен сей опыт пропустить.)

Впечатление — важнейшая тема XX века. Уже начиная с импрессионистов, «впечатление», «импрессия» — вдавленная в нас печать (пресс), постигается как нечто большее, чем просто поверхность. Оно может промелькнуть — и мы упустим его, хотя оно могло оказаться чем-то, что важным образом восстановит для тебя некую истину, настоящее значение, стать трудом или трудным местом. Чем ближе к XX веку, тем глубже искусство исследует «впечатление» как таковое, уводя его во все большую глубину психической жизни. Марсель Пруст именно по медленному ходу вглубь непропущенных, не заброшенных впечатлений — и создает свой роман «В поисках утраченного времени». Большое произведение, вход в которое — через узкие врата того, что смогло нас коснуться в одной точке настоящего, например, во вкусе пирожного. Сначала — это нечто мимолетное и вроде бы непостоянное, а потом, если успеваешь схватить, то уже мощный поток встречного движения из глубины времени, и ты внутри себя проходишь в куда более трудные и метафизические вещи. Вот такими створками, воротами представляется мне и «Словарь трудных слов из богослужения» Ольги Седаковой, где важен не только отбор слов, но и указание на те места их употребления, которые не прочитываются правильно, сопротивляются нашему сглаживанию и нежеланию беспокоиться, ложатся как складки, твердые, почти каменные складки смысла. Он будет сдвинут по сравнению с привычным, и этот сдвиг откроет для нас вид на нечто, что мы вдруг можем увидеть, дает право и возможность, за которой мы можем пойти. То, что казалось каменным, вдруг станет живым, «камень станет хлеб». И надо сказать, что абсолютно не важно, где мы распознаем «впечатление», где растворятся каменные складки — в слове или событии жизни, или просто прикосновении ветра к щеке, если только согласимся не пропустить его, согласимся остановиться, согласимся, что это «трудное место», где придется трудиться, и на то, чтобы следовать за чем-то, что само по себе всегда слишком быстро для нас и ускользает потому что как будто слишком легко.

Пруст — тоже читатель Данте, и его «В поисках утраченного времени» — ход и блуждание по лабиринтам к выходу-озарению, обретению утраченного времени жизни, которые для Пруста, быть может, были версией его «Божественной комедии». Но это утраченное время на самом деле совпадает с возвращением «значений». В некотором смысле, 90-е годы — одна их часть — были попыткой «возвращения домой», возвращения растраченного времени XX века, возвращения на «территорию», где мы живем, определенного наследственного смыслового состава, временем, когда подобная работа была возможна, когда ее было время сделать, когда время — из-за драматичности событий, из-за гуляющих на свободе возможностей, из-за неподконтрольности событий — было и слишком интенсивно, и слишком преувеличено для того, чтобы вмещаться в узкие параметры календаря. Конец 1980-х — 1990-е это еще неразгаданное время, большее время, чем десятилетие. И его огромное количество — от нашего времени до времени греков и славянского корня — могло влиться в размер «трехстворчатой» словарной статьи. Так интенсивно проживалось время. Так интенсивно проживались слова и имена — потому что у них не было уже устойчивого и привычного содержания, потому что мы понимали, что в этой школе значений мы после краха коммунистической смысловой системы — дети, ученики.

Мы оставались с оправами слов и с вопросом о том, насколько велика будет даль, которая может в них влиться. Так бывало в детстве — когда широта будущего была широтой сбывшихся слов, то есть по сути прошлым, которое однажды случится с нами, и мы наконец окажемся в том сюжете, в котором всегда хотели проснуться. И происходящее одновременно будет и впервые, и вековечно. И в этом было странное волшебство, некая тайна, одним из проявлений которой, на мой взгляд, и является «Словарь трудных слов из богослужения». Это «знаки», «иероглифы», словарные «граммы», они предполагают будущее — будущую работу. «Словарь» — это дарование мест, на которых нам точно придется поработать. И все эти места связаны друг с

другом, потому что могут создавать единую строку. И работа эта начнется, как только мы уловим впечатление, поймаем его, попытаемся *зафиксировать*. Это наследство, которое дают с собой в путь каждому, уверяя нас навсегда, что каждый из нас — любимый, каждый из нас единственный, и у каждого из нас может быть этот томик родного языка, собранный как драгоценность.

Ольга Седакова позаботилась о том, чтобы никто из нас не ушел без подарка и без хоть маленького, а наследия, и чтобы наследие это было правильно и аккуратно упаковано, ибо набор мест — это еще и сочетаемость их друг с другом[1]. Это ее труд. Быть может, это и есть ее невероятный, уникальный на сегодняшний момент замысел — отправить нас с хорошо собранным чемоданом в будущее, а может, даже не чемоданом, а волшебной сумкой, где места внутри больше, чем снаружи. А какой ценой куплено это право давать другим права наследования и так паковать вещи... отправлять нас в путь и вперед *хорошо собранными*, с легким серым томом, что не составит почти никакого веса, — и я не видела никого, кроме Ольги Седаковой, кто мог бы ответить на этот вопрос, потому что никто и не думал вставать на те трудные места, на которые встает она. Да, ее место в русской поэзии, пожалуй, самое трудное, на какое только и можно встать, она жестко и принципиально совмещает в себе пути, плохо совместимые в рамках современной культуры позиции и ответственности: ученого и поэта, критика-интеллектуала и переводчика, чьи замыслы нуждаются во всех этих опциях для того, чтобы создавать что-то неизменно нужное очень разным людям, очень разным читателям, да и самому языку. И, в частности, не знаю ни одного поэта, чьим делом бы вдруг стало составление некапризного, точного, умного и очень кропотливого в изготовлении каждой отдельной статьи словаря, форма которого открыта любому — знающему и незнающему, пишущему и лишь читающему, вовсю пользующемуся и только заглядывающему, пусть даже чтобы погадать о себе: какое слово — *твое*. Один из даров этого «Словаря» в том, что русский язык в нем — русский язык перевода старославянских строк — тоже кажется проснувшимся, каким-то умытым. Он словно подросток, который поставил свои «проклятые вопросы» и нашел на них «святые ответы» — и теперь понял, что может и сам начинать говорить о главных вещах (это ли не главный сюжет русской литературы?) и эта речь будет завораживающе хороша. Рассыпанное по статьям в переводах Седаковой богослужение сияет на русском в самых непроходимых и любимых местах. И кто бы мог взять еще на себя такой труд? Что мы можем на это ответить?

Спасибо. Огромное спасибо.

[1] Несколько лет назад я видела, как детей одной из наиболее радикальных архитектурных студий учили... паковать чемодан. Между прочим — очень старая европейская наука, которой не владею. Но архитектоника чемодана, просчитываемая логистика виртуально выделенных «мест» меня впечатлила. Так и в «Словаре» Седаковой. Он очень хорошо скомпонован. Все, что нужно, чтобы «система» заработала.

Павел Пепперштейн

Нежные пространства и сундучки Флинта

Разговор ведет Ксения Голубович

Павел Пепперштейн — имя знаковое в кругах российского арт-сообщества и читателей не-массовой литературы.

Сын одного из основоположников московского концептуализма художника Виктора Пивоварова и поэтессы, детской писательницы и книжного иллюстратора Ирины Пивоваровой, он очень рано вошел в арт-сообщество, и в его случае мы можем говорить о начале сознательного экспериментального творчества уже начиная с подростковых лет. В 1987 году двадцатидвухлетний Павел Пепперштейн создает вместе с художниками Сергеем Ануфриевым и Юрием Лейдерманом группу «Инспекция "Медицинская герменевтика"» — своеобразное продолжение и воплощение идей концептуализма.

В это время Пепперштейн становится одним из самых востребованных художников на российской арт-сцене. Однако слово «художник» не исчерпывает всей его деятельности. Пепперштейн — это и автор текстов, «писатель», который пишет на протяжении всей своей творческой жизни. Начинавший как рассказчик, в 1999 году в соавторстве с Сергеем Ануфриевым он публикует свой первый большой роман «Мифогенная любовь каст», практически мгновенно обретший статус культового для нескольких молодых поколений. Второй том романа, написанный уже только Пепперштейном, выходит в 2002 году, а в 2006-м «Мифогенную любовь каст» номинируют на премию «Национальный бестселлер». В 2018 году Пепперштейн становится лауреатом премии им. А.Белого.

Художественная практика Пепперштейна укладывается в рамки придуманного им термина «психоделический реализм», где в узнаваемо реалистическое, почти хрестоматийное повествование вторгается некое галлюцинаторное, магическое измерение, «обламывает» его и переиначивает все его смыслы и все читательские ожидания. Однако этот «облом» происходит настолько мягко, настолько нежно, что его нельзя превратить в какую-то контридеологию, приписать ему прямые этические смыслы. Как говорит сам Пепперштейн, он никому не навязывает обязательности своих идей, никого не учит. И тем не менее уровень его прозы заставляет читателя оставаться при читаемом и делает Павла Пепперштейна одним из самых интересных собеседников в пространстве русского языка.

Ксения Голубович: Когда читаешь твою прозу, то сразу, без предварительной подготовки, попадаешь в сконструированное тобой магическое пространство. Это потому, что для тебя границы сознания легко проходимы?

Павел Пепперштейн: Речь идет о воображаемых пространствах, в которых я, отчасти, обитаю. Как существо гостеприимное — я приглашаю в эти пространства то читателей, то зрителей, то еще каких-нибудь людей.

К.Г.: Что требуется от нас в этих пространствах? Не судить с порога?

П.П.: Посетитель этих пространств, если ему они не нравятся, может легко их покинуть и забыть о них. Многие современные писатели и художники предпочитают любовно травмировать зрителя или читателя, пробуждать его дремлющую совесть или болезненные воспоминания, бросать острый свет на актуальные проблемы в обществе. Я конструирую достаточно нежные и зыбкие пространства, не предназначенные для того, чтобы кого-нибудь шокировать. Некоторые шокирующие моменты не являются тем, ради чего это все затеяно.

К.Г.: Но ты и сам — гость в этих мирах?

П.П.: Совершенно верно, я в этих мирах не хозяин, я там гость, но я там давний гость. Впрочем, несмотря на давность моего в них пребывания, я, наравне с читателем, нередко испытываю в ходе обследования этих миров эффект неожиданности, сталкиваюсь с сюрпризами — чаще всего радостными, но иногда и отвратительными.

К.Г.: В твоих книгах я нахожу не просто сновидения, а скорее сплав реальности и сна, где рядом с прихотливыми образами («женщина с бородой» или «борода с женщинами» — особенно мне запомнились) неизменно присутствуют некие сверхличные константы, которыми живет общество. Это напомнило мне прежде всего Борхеса, но и Маркеса тоже. Вероятно, можно сказать, что для тебя социум — это сон, который видят все

П.П.: Да, при этом видят достаточно по-разному. Хотя наличествует и некий уровень общественного договора, который требует описывать социум в тех или иных принятых категориях, но я эти соглашения не всегда соблюдаю. По поводу Борхеса ты правильно заметила. Мне всегда нравилась его склонность брать какую-нибудь философскую идею, философскую категорию или конструкцию и превращать ее в аттракцион. Меня, конечно, всегда очаровывала еще и гиперинтенсивность его рассказов. Крошечный рассказ, условно говоря, весит больше пухлого романа. Впрочем, превращение философской конструкции в аттракцион можно осуществлять не только средствами письма, что я нередко и проделываю. В восьмидесятые и девяностые годы я работал в составе группы «Медицинская герменевтика», мы как раз занимались созданием таких борхесианских инсталляций.

К.Г.: После СССР поменялась ли череда наших внутренних иррационально-рациональных конструкций, по поводу которых мы заключили общий договор и которые, скажем так, умеряют нашу экзистенциальную тревогу?

П.П.: В постсоветском обществе рождаются новые фантомы, но немногие из них ориентированы на то, чтобы гасить или ослаблять нашу тревогу. Как правило, эти фантомы существуют для того, чтобы усиливать ее.

Позднесоветское общество культивировало в себе умиротворяющий летаргический флюид. Постсоветское общество, напротив, заинтересовано в тревожности каждой отдельной особи, которая интегрирована в это общество. Уровень тревожности поддерживается очень тщательно. И поэтому такое письмо, как мое, которое в какой-то степени экспериментирует в направлении устранения этой тревожности, в направлении некой социальной анестезии, это письмо воспринимается, как ни странно, как диссидентское. Люди с наслаждением взирают на нечто чудовищное. Они боятся потерять свой страх, их мучительно тревожит попытка избавить их от тревоги.

К.Г.: Сейчас много говорят о нынешней якобы реставрации застоя, но, судя по твоим словам, эта реставрация невозможна, потому что застой — это такая летаргическая структура, и герои этого летаргического мира обязаны погружаться в сон, а сейчас базовое устройство, наоборот, требует пробуждать от сна.

П.П.: Да, ты права, современное общество напоминает камеру, где постоянно вспыхивает яркая лампочка, лишающая сна. Эта пульсирующая лампочка и есть пробуждающий персонаж. Что же это за лампочный персонаж? Это — ты сам. Точнее, идеологический двойник, изображающий тебя самого. Одна из очень важных фикций,

которая создается нашим временем, — это уплотненное ощущение собственного «Я», ощущение собственного присутствия. Это разлито в языке, в различных словечках и выражениях, которых не было и не могло быть в советское время. Например, в советское время показалось бы очень странным и абсурдным, даже диким, если бы люди, прощаясь, говорили друг другу: «Береги себя». Намерение «беречь себя», естественно, всегда присутствует, это нормальное проявление инстинкта самосохранения. Но для позднесоветского сознания превращение этой функции в некую звучащую мантру, навязчивое озвучивание, ритуальная вербализация этой функции означала бы ее ослабление. Современная идеология, разлитая в дискурсе, разлитая в языке, использует кальки с английского. Мантра «береги себя» — это, собственно говоря, take care. Мы с Соней[1] постоянно издеваемся над различными клише современного языка, многие из которых приходят из сленга современных психологов. Сознание нынешнего релевантного обывателя отравлено и сформировано не столько властью или официальной пропагандой, сколько въедливым дискурсом всеприсущих психологов. И это, надо сказать, очень опасный тип идеологического отравления, очень опасная и вкрадчивая разновидность лжи. Тебя зомбируют прежде всего посредством предупреждений о том, что некто может тебя зомбировать и ты должен быть готов противостоять этому: обманщики всегда борются с обманом — классическая схема. Если проанализировать дискурс современных психологов и их влияние на сознание клиентов, можно составить четкий образ тоталитаризма наших дней. Каждый исторический период сталкивает людей с теми или иными формами идеологической интоксикации. В конце восьмидесятых годов для всех нас, кто участвовал в жизни неофициального сообщества, было очевидно, что внутренняя практика, которой должен быть занят каждый субъект, — это постоянная критика идеологии, поиск неких антидотов, идеологических детоксов, избавляющих от навязчивой интоксикации. Современный человек уже не верит в возможность такой дезинтоксикации. Единственное, в отношении чего этот современный персонаж может позволить себе некое подобие иммунитета, — это властный дискурс. Но тот дискурс, который обозначен в современном обществе как властный, — далеко не единственный, существуют более агрессивные и более въедливые властные дискурсы, не помеченные этим ярлыком. Люди сейчас читают огромное количество рекомендательной литературы, где им рассказывается, как завоевать свое место в обществе, как завоевать доверие сотрудников по работе, как выстроить отношения с партнерами, как «принять себя», — и здесь мы подходим к центральным, стержневым фикциям современной идеологии, к текстам, где концентрируется современная ложь, где кристаллизуются главные фразы, главные мантры современной лжи.

Суть в том, что в действительности ядро самости рождается в самих процедурах его сбережения. Эти процедуры, сама эта паранойя должны воссоздать ощущение сберегаемой ценности. Мы помним эти невероятные описания паранойи времен Сталина, и вот теперь «Сталин» должен пробудиться в душе каждого человека, каждый человек должен стать сам себе Сталиным и подвергать себя внутренним репрессиям с целью себя сберечь. Когда человек говорит при расставании «Береги себя!», он сообщает другому, что, во-первых, сам беречь его не будет, а во-вторых, что его не будет беречь Бог, потому что в более традиционном обществе человек при расставании говорил другому: «Ну, с Богом!» Он передоверял своего собеседника заботе высших сил. Современный человек должен постоянно повторять сам себе и другим, что он в высшие силы не верит, что он на них не надеется, и что место высших сил занимает некая сконструированная штука под названием «*Я*» или «*Я-Сам*». Сам по себе самоделкин, самосделавшийся персонаж — это уже микро-аттракцион.

[1] *Соня Челышева* — соавтор нынешних работ Павла Пепперштейна.

И если говорить об аттракционах в современной массовой развлекательной культуре — образ разрушающегося аттракциона находится в центре аттракциона. Я уже писал, что при капитализме самым главным товаром становится Апокалипсис, идея конца света. Главный продажный объект капитализма, его главный аттракцион — это и есть Апокалипсис. Образ горящей карусели, или обрушившихся американских горок, или заклинившегося Чертова колеса.

К.Г.: Забавно, что аттракцион *Я-Сам* и аттракцион *Конец Света* так тесно связаны.

П.П.: Да, это — именно то, о чем мы говорим сейчас. К тому же никакой самости нет. И некого беречь. И это предложение «Береги себя» упирается в пустоту, потому что беречь некого.

К.Г.: Тогда функция художника, если он пользуется «мягкой» техникой, — погрузить читателя в сон до такой степени, чтобы он прошел глубже собственных идеологических фикций, увидел бы их как часть поверхностных сновидений и вышел к образам более глубоким и сущностным, в которых больше от правды? И в таком случае «пробудить» и «усыпить» для художника — одно и то же. И вот вопрос: какой детокс соответствует нашему времени? Что нечего беречь? Или что беречь нужно что-то другое?

П.П.: Единственно, кого имеет смысл беречь, это тех, кто прежде всех оберегал. То есть богов. И да, можно сказать, что речь идет о том, что роль художника сейчас мегаконсервативна. Это восстановление авторитета богов, теократической какой-то инстанции, впрочем, на более абстрагированном уровне, чем это было прежде. И, я думаю, сегодня волей-неволей каждый художник настроен, собственно говоря, на теоцентрический утопический горизонт.

К.Г.: Дискурс о том, что функция художника революционна, для тебя устарел?

П.П.: Да, это суперустаревший дискурс. В архаических текстах мы наблюдаем определенную хрупкость, когда речь заходит о сакральном. Сакральное есть нечто, что требуется сберегать. Это *нечто* намеренно являет себя в нашем мире какими-то хрупкими и шаткими конструкциями. Отсюда возникает тема запретных имен, которые нельзя произносить. Тотемических имен, определенных табу. Сложная система, связанная с культом тайны. Мы, художники, очень много скрываем от мира. И парадокс заключается в том, что мы скрываем то, что мир (или боги) скрывает от нас. Мы — соучастники в деле тайны. Одно неосторожное слово, один неосторожный жест — и сакральное исчезает. Эти лакуны, белые пятна, пустые места — они гарантируют в каком-то смысле нашу свободу, свободу нашего тайного существования. И обозначение этих пустот, лакун, каверн имеет огромное значение в искусстве, музыке, философии и литературе.

К.Г.: В своих размышлениях о тайне, о лакунах, о неполной прозрачности текста, насколько ты опирался на постструктуралистскую французскую традицию? На Деррида, например?

П.П.: В какой-то степени опирался, безусловно. Еще в большей степени, чем о Деррида, могу сказать это о Делёзе и Гваттари. Их философское письмо обладает сакрализующей силой. При этом, как всякое сакрализующее письмо, оно имитирует процедуры десакрализации. Фантомной десакрализации. Однако язык, которым написан «Анти-Эдип», очень шаманский. Это ощущается и за это хочется сказать авторам спасибо. Если говорить о современном продолжении магической линии в философии, то можно назвать Резу Негарестани. С удовольствием прочитал его «Циклонопедии», это своеобразное продолжение Делёза и Гваттари, но уже в таком странном сырьевом контексте, связанном с Персией, Ираном, Ближним Востоком. И в то же время связанном с Западом.

К.Г.: Ты говоришь о сбережении богов как о необходимой функции искусства, которая наступает после того, как мы выходим за пределы «Я-сам». Но помнишь ли ты рассказ Борхеса «Рогнарк», где он как раз предупреждает об опасностях такого возврата «богов»? Они возвращаются голодными и злыми. Они хотят жертв.

П.П.: Прекрасный рассказ. Там боги показаны как недостойные вернуться.

«Рогнарёк» — это гениальный очень маленький рассказ, из которого вынырнул затем огромный роман Нила Геймана «Американские боги», а из романа Нила Геймана вынырнул сериал «Американские боги», то есть эта тема имеет огромное продолжение в культуре. Борхес, как я уже говорил, обладал уникальной способностью создавать эссенциальные концентраты, способные потом разворачиваться в длительные саги, эпические повествования. И об этих концентрата — «Алеф» и «Заир». Это, можно сказать, Альфа и Омега, начало и конец. Алеф — это точка, находящаяся в нашем мире, затерянная, тайная, вглядываясь в которую ты можешь увидеть все вещи, существующие на поверхности Земли одновременно, они предстанут доступными твоему созерцанию все сразу, что физически невозможно. Но в Алефе ты видишь все, и это все становится частью твоего сознания. И — Заир... Некий предмет — ничтожный, маленький. В одном из своих перерождений он фигурирует как монетка в 10 сентаво, надрезанная ножом. Монетка со шрамом — она напоминает таблетку, потому что именно таблетка обладает заранее нанесенным шрамом, облегчающим возможность разломиться пополам. Заир обладает чудовищным свойством — его невозможно забыть. Его ничтожество, его осколочность способны становиться тотальными, единственными. Заир — это своеобразное наказание за блаженство Алефа.

К. Г.: Конечно, Алеф и Заир это не «боги» Борхеса с соколиными и львиными головами. Алеф и Заир — это принцип концентрации текста, технология письма, которая является нашим «детоксом». Технология создания сверхлегкого и сверхтяжелого сгустка, некой виртуальной сверхличности, с которой надо сохранять связь и которая существует за гранями «Эго». И вот выходит роман «Эксгибиционист».

П.П.: С романа «Эксгибиционист» я начал заниматься тем, чем раньше не занимался, писанием от первого лица, якобы о себе самом, о своем прошлом. Я стал это делать с единственной целью — разрушить миф о себе, о «Я», о том, что человек должен заниматься самим собой.

К. Г.: Вообще-то он начинается с посвящения «немецкому языку, которого я не знаю». Роман является посвящением всего тела родного языка, на котором он рассказан, чужому языку, на котором он молчит В этом уже — подвох, потому что «рассказанное» сталкивается со средой, которая не может его рассказать, она может только отреагировать. Это не то чтобы автобиография Скорее эксперимент с возможностью рассказать о себе.

П.П.: Это посвящение в романе «Эксгибиционист» немецкому языку, которого я не знаю, — об этом можно много чего сказать. Здесь много слоев. Отчасти, во-первых, имеется в виду язык нескольких поколений моих предков, идиш, на котором говорили евреи в Европе, язык, который я в детстве ненавидел, потому что на нем беседовали мои дедушка с бабушкой в те моменты, когда они хотели посплетничать о моих родителях. Как только я слышал, что у дедушки с бабушкой начинается разговор на этом языке, я тут же подходил к ним и заявлял, что мы живем в Советском Союзе и все люди здесь должны говорить по-русски. Это их очень смешило и совершенно не мешало им беседовать на идиш. Но мне казалось, что этот язык специально придуман для того, чтобы нечто от меня скрыть. И меня это очень раздражало. Но это далеко не единственная коннотация к этому посвящению. Немецкий язык — это язык мира мертвых, язык, на котором говорят немые — «не мы», и нельзя сказать, что я его совсем уж не знаю, все мы пропитаны им очень сильно и из него состоим. Евреи из Германии стали прибывать в славянские страны, и будучи изначально народом восточным, в славянские земли евреи стали проникать в качестве агентов германского мира, они стали ручейками и даже реками германоязычного опыта. Даже все эти фамилии, заканчивающиеся на «ман», «берг», «бург», «штейн», «штерн». Евреи, отвергнутая часть немецкого мира, вошли в глубины славянского космоса. И нам удалось каким-то случайным образом принести славянам то самое холодное сердце, о котором писал Гауф. Не то чтобы мы украли у немцев это холодное

сердце, оно просто случайным образом упало в наш карман. И мы отдали его славянам. А кому еще? Кого еще прикажете полюбить? Я, например, полюбил русских. Я влюблен в мир русских, в Россию. Немцы предали евреев, и мы им этого никогда не простим. И это случилось задолго до Холокоста.

К.Г.: Роман — это поворот обратно, к месту, откуда изгнан. Сама фигура Эксгибициониста такова же. Он нарушает границы — и свои, и чужие, не зная, каков будет ответ. И, конечно, эта фигура противоположна фигуре Параноика. Эксгибиционист не бережет себя, он

П.П.: Дарит себя... И вряд ли Параноик способен на такое же доверчивое распахивание себя перед неведомым зрителем. Существенный элемент практики эксгибициониста — распахнуть себя навстречу тайне, некоему Х, чему-то абсолютно неизвестному. Если говорить о романе «Эксгибиционист», о том фильме под названием «Эксгибиционист», который разворачивается в самом конце, герой усовершенствует этот ритуал, он дополняет его моментом фиксации, он не просто показывает свое обнаженное тело и возбужденный детородный орган неким незнакомым неведомым девушкам, но он еще и фиксирует, документирует их реакции. Он коллекционирует эти реакции, моменты этих откровений, инсайтов, иллюминаций. И вроде бы эта коллекция предназначена для себя, но в какой-то момент он все-таки впускает в свой мир еще одного зрителя — своего неблизкого, случайного знакомого, который является космистом. И в этот момент Схема обретает свое завершение.

Происходит делегирование синдрома: твое место, как место эксгибициониста, — это некая кабинка, в которую может залезть другой человек. И не случайно этим человеком является Космист, человек, приученный наблюдать далекие миры, черные дыры, квазары, другие галактики, другие вселенные, специалист, наделенный телескопическим зрением. В конце романа, когда происходит открытие гигантского нового телескопа, Амальдаун — ученый, астрофизик — говорит, что самым важным фактом, существующим в космосе, является тот факт, что у этого космоса есть наблюдатель. Амальдаун хочет присвоить телескопу имя «Вуайор», но в результате называет его «Эксгибиционист». Художник по глубинной своей сути, конечно же, вуайерист. Но современный художник обречен на то, чтобы стать эксгибиционистом. Эта сложная мутация навязана нам фатумом, и проходит она непросто, мы склонны скрываться, прятаться и наблюдать из укрытия. Но нам приходится, к сожалению, — we have to expose, we must to expose ourselves.

К.Г.: Вся эта коллекция реакций, это место, с которого они видны все разом, напоминает точку Алефа. И та пугающая космическая неизвестность — Заира. И, наверное, риск современности в том, что получить доступ к тому опыту можно, лишь приманив «пространство» на живца. Распахнуть можно только себя. Но почему тогда просто не назвать себя Художником?

П.П.: Невозможно представить себе ничего более тоталитарного, чем фигура Художника. Особенно для самих художников. Ужасно жить в тени фигуры, которую создали не мы, а общество и мечтательность не-художников. Стоит только на секунду смириться с этим мифом, как тебе — конец. Это пространство перманентной борьбы. Потому что Художник — это гораздо более тоталитарная фигура, чем фигура Путина или Президента США. Однако, если ты всерьез хочешь от чего-то избавиться, ты не должен испытывать к этому омерзения. Я, конечно, с восхищением отношусь к этому мифу, ко всем аспектам этого мифа. Калитка роскошная, инкрустированная. Но главное — проскользнуть под калиткой. Для этого надо уменьшиться.

К.Г.: И сказать о себе «я — эксгибиционист» И написать автобиографический роман В советское время речь о таком не шла — аттракционы были другими.

П.П.: В те времена никто не был собой — ни во время Второй мировой войны, ни во время Революции, ни в поствоенный период. Это было тоже в общем-то «прелестью», как сказали бы православные аскеты. И сейчас нашей задачей является

растворить себя, но не впасть обратно в состояние тех прелестей, которые царствовали в те времена, не солидаризироваться с массовидными телами. Наша задача: проскользнуть между Сциллой под названием «Я» и Харибдой под названием «Мы». Грубо говоря, уйти в «Оно».

К.Г.: А девяностые? Вот там все было иначе? Почему в рассказе «Бог» у тебя появляется не некое сконцентрированное абстрактное пространство, а вполне себе веселый «бог», укорененный прямо в личности другого человека?

П.П.: Девяностые — это miracle, заключающийся в том, что девяностые длились не десять, а двадцать пять лет. Девяностые — это период где-то с 1989-го по 2013-й примерно. Не декада. И в этом определенная таинственная загадка. Теперь — к упомянутому тобой рассказу «Бог». Это рассказ об обломе, это рассказ-облом. Он делегирован русскому интеллигенту. Русский интеллигент нуждается в комплексе вины. Он наследник позднехристианского дискурса, он ищет в своем зародыше некоего преступления, за которое ему стало бы стыдно. Он ищет стыда. И именно такая первосцена описывается в рассказе «Бог». Белогвардейскому офицеру Ветеркову приказывают расстрелять человека своего круга, а «свой круг» для интеллигенции и дворян — важнейшее понятие. Поручик не готов его просто расстрелять. Он предлагает вместо той модели, которую принес XX век, вместо расстрела отпрыгнуть назад к более знакомой интеллигенту модели дуэли. В стиле ретро. Дуэль находится в эпицентре русского дворянского дискурса благодаря Пушкину, Лермонтову. Но ситуация в основе своей остается прежней, это убийство. Как прекрасно поет Лагутенко в одной из своих песен: «А кровь кап-кап-кап: это всё убийство». И мы застаем этого персонажа, Ветеркова, в момент, когда вот-вот должен родиться классический русский интеллигент, с его надрывом, с его щербинкой, с его ощущением вины, которое он будет затем мусолить, наверное, всю оставшуюся жизнь. И тут появляется Бог. Он не дает поручику совершить преступление. Происходит некий сбой программы, и это относится к тому утопическому горизонту, который мы все ощущали в девяностые годы. Тогда нам всем казалось, что нечто изменилось на существенном уровне, очень глубинно, что внезапно отброшены те омерзительные явления, омерзительные заблуждения, та омерзительная доверчивость, которой были пропитаны предшествующие века. Но затем выяснилось, что Бог, конечно, в любой момент может заменить Собой поручика Назарова, но сделает Он это, когда Ему Самому этого захочется. И, в целом, рассчитывать на это не приходится.

К.Г.: Да, постдевяностые — это, видимо, открытие, что структуру «Бога» нам не приобрести в личное пользование по собственному желанию Однако тогда, в девяностые, намечалось то самое другое «Я», которое было бы чем-то сродни «Божественному». И как писатель в девяностых ты славишь «воинов», героев. Тебя волнуют белогвардейцы, красные, фашисты и прочие существа, как бы освобожденные от своих массовидных тел, но при этом еще не заключенные в камеры своих «Эго». Они — герои. Пусть это микроскопические герои, проскальзывающие под калиткой, но Все же они герои? Я хочу остановиться на них, даже если эта «утопия» конца XX — начала XXI века потерпела крах.

П.П.: В детстве меня всегда поражал один контраст. Я не любил насилия. Любые насильственные действия меня отвращали. Военные действия казались мне отталкивающим кошмаром и адом. Но при этом почему-то невероятной магичностью, аттрактивностью всегда лучились какие-то военные ордена, униформа. Казалось бы, я должен был либо отвергнуть этот военный мир целиком, либо принять его целиком. Но не получалось ни то, ни другое. Я чувствовал себя влюбленным в какие-то аспекты военного мира. И сейчас, когда я гляжу на униформу белогвардейцев, например, я думаю: она выглядит очень по-детски. Это такие инфантилизирующие формы одежды. Если силуэт человека в подпоясанной гимнастерке, в сапогах, в погонах сравнить с силуэтом человека в партикулярном платье, этот человек в партикулярном платье выглядит как более мужской, серьезный, мрачный и приближенный к Танатосу

силуэт, чем силуэт военного. Если посмотреть на современные пузырчатые скафандры, они, может быть, воспроизводят или умножают потенциально воображаемую мачо-структуру, но униформа тех реально жестоких войн, которые прокатились по лицу земного шара, — совсем не мускулинна. Белогвардейская, красногвардейская, британская, фашистская, советская униформа — это все костюмчики детей. Эта детскость потребовалась, видимо, для того, чтобы люди убивали друг друга или жертвовали собой. Чтобы они почувствовали себя в детской игре, в полностью вымышленном игровом пространстве, иначе они этого делать не будут: убивать, жертвовать собой, погибать, терзать и страдать от ран. Их надо загипнотизировать, ввергнуть в детство. Нужны действительно сильные, мощные инфантилизирующие, нейро-инфанто-генные факторы.

И тем не менее меня очаровывала инфантилизирующая сторона военных наград, военных орденов, та эстетика, которая во всем этом содержалась. Меня очаровывала эстетика поражения. Я впадал в наркотическую зависимость от образов терпящих поражение белогвардейцев или фашистов, отступающих под натиском Красной Армии. И в детстве стихийно я готов был встать на сторону неправедных, осуждаемых, но, главное, пораженных сил, которые под ногами наступающей правды превращаются в некое крошево. Но эти созерцания не связаны с мазохизмом. Я не испытывал возбуждения от страдания. Я не стремился ни к наказанию, ни к триумфу. Меня гипнотизировал момент исчезновения. То, что выговорено в стихотворении Тютчева: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай». Обращение к сумраку, к теням, к пространству неопознаваемого, которое может принести абсолютный отдых и избавить от ответственности и от любых намеков на нее. Мир, где все могло бы существовать в другом регистре, таком необязательном, игривом, игровом, без нажимов. Понятно, что это невозможно, это утопия, но достаточно тайная утопия, не вполне социализуемая. Но во всяком случае, в литературе ее можно запечатлеть, а для чего еще нужна литература, как не для того, чтобы запечатлеть то, что нельзя запечатлеть в социальной реальности?

К.Г.: И эта зачарованность ожила в девяностые, пришлась ко двору?

П.П.: В тот период два процесса происходили параллельно, в двух разных измерениях. Один процесс описывается так: некая мощная социальная модель или разрушилась, или исчерпала себя, и происходит довольно мучительная перестройка, перенастройка гигантского сообщества людей на нечто новое. На некую современность, актуальность, западность, восточность, на прагматизм, на выживание, на единение с окружающим миром. Второй процесс описывается в иных категориях. В течение советского периода нечто вырабатывалось. Нечто, что не могло быть воспринято, пока этот советский период длился. Пока длилось «советское», мы не могли по каким-то причинам воспринять то, ради чего это советское существовало. Это было то самое «варенье на завтра», о котором говорится в «Алисе». Казалось, завтра никогда не наступит, и вот оно наступило. Самые нектарические эссенции советского мира стали доступны для осмысления и восприятия уже после конца советского мира. Это два абсолютно параллельных и непересекающихся процесса: перенастройка на новое, подключение ко всеобщему миру, дальнейшее выживание, с одной стороны, и восприятие того ценнейшего, гигантского материала, который был выработан в советский период, — это с другой стороны. Подчеркиваю еще раз: очень много крайне ценного, что было выработано в советский период, из духовного опыта прежде всего, возможно стало воспринять, абсорбировать, принять в себя только после того, как этот советский период завершился. Вот два противовекторных потока, в которых мы плескались эти двадцать пять лет. Оба потока важны. Первый — важное и неизбежное. Второй — избежное, но еще более важное. Потому что на самом деле в этом опыте, в этих сундучках, которые случайно нам достались по наследству от советского мира, содержится рецепт спасения и дальнейшего пути сквозь новый мир, сквозь мир

неокапиталистический, неотехнологический. Там следует разыскать путеводные нити — они там скрываются среди прочего магического хлама.

К.Г.: Ты говорил, что Капитализм — это культура концов. А Социализм — культура начал.

П.П.: Социализм постоянно изобретал собственные Начала. В какой-то момент, когда рухнул Социализм, мы почувствовали, что Начала кончились и начались Концы. И теперь мы живем в мире бесконечных Концов. Я, конечно, не знаю, я могу только как обычный рядовой галлюцинирующий субъект об этом что-то вещать. Достаточно какого-то краешка, который уцелеет, — этого будет достаточно, чтобы смести с лица Земли цивилизацию Интернета и технологий. И, соответственно, наступит нечто абсолютно одичалое, из которого будут раскручиваться новые сюжеты. Но тот путь, который предлагает нам современный капитализм, его технологии, его идеология... В том, что этот путь стопроцентно тупиковый, в этом у меня нет никаких сомнений.

К.Г.: Однако один раз в истории это уже было. СССР — экстатическое пространство на конце Капитализма. Капитализм кончен. Найдена экстатическая структура личности, которая пресекает интеллигентскую рефлексию. Но мы знаем, к чему это привело.

П.П.: Те ужасы, те омерзительные преступления и жестокости, которые были совершены в советский период, — не должны нас испугать. Точнее, должны, но испуг этот сам по себе сакрален. Это нечто беспрецедентное. И я думаю, что самый крутейший писатель за всю историю писателей — Варлам Шаламов, который написал «Колымские рассказы» и это показал. На мой взгляд, «Колымские рассказы» — это главный текст XX века. Какой единственный референтный текст мы можем обнаружить? Это «Книга Иова». Вопль Иова, обращенный ко Господу. Почему основа жизни содержит в себе несправедливость? Но ответ на этот вопрос о структуре жизни, структуре бытия — в том, что сама структура жизни и есть несправедливость. Кто-то живет, и это бесконечно несправедливо по отношению к тем, кто не живет.

К.Г.: Что живые сменяют мертвых?

П.П.: Это еще самое малое. А ты подумай о тех, кто и не рождался. Кто никогда и не родится. Жизнь и есть вопль тотальной несправедливости. Жизнь — это преступление по сути. Если мы вдумываемся в такую тему, как этика, то мы приходим к выводу, что жизнь — это самое аморальное, что может произойти. Эти вопросы поднимали Николай Фёдоров, Владимир Ильич Ленин, Карл Генрихович Маркс и Зигмунд Якобович Фрейд.

К.Г.: Но тогда Шаламов обнажает саму суть сталинизма. Именно Сталин открыл эту бесконечную ацтекскую пирамиду.

П.П.: И Сталин является поэтому величайшим из всех негодяев, потому что ему никто не доверял доводить дело до столь сакральных пределов и никто не разрешал ему так сильно вскрывать подоплеку всего происходящего. По какому праву вообще? С того, что он был какой-то там вшивый поэт или семинарист? Это абсолютно его никак не оправдывает. И потому самый осуждаемый персонаж *ever forever* это, конечно, Сталин. В моей голове — это так. И Гитлер с евреями, и Сталин с крестьянами выявляли какие-то скрытые основания жизни как таковой. И вообще XX век грешил этим — желанием прямо и упрямо выявить сакральное. И я рад, что вся эта выявленность закончилась. Я эту выявленность осуждаю. Осуждаю модернизм, иначе говоря, который стремился заставить социальную жизнь соответствовать ее скрытым основаниям, которые навсегда должны остаться скрытыми. В них — тайна. И в этой несправеливости тоже.

К.Г.: В этом смысле литература — это странная сумеречная зона возможной справедливости, где могут появиться сонмы нерожденных Отсюда — из Шаламова тоже — источник твоих «психоделических» текстов. Хотя сам Шаламов считал, что после такого опыта ничего не выживает.

П.П.: Я полюбил «Колымские рассказы» еще в детстве, в одиннадцать-двенадцать лет, хотя непонятно, как такие тексты могли прельстить сознание подростка. Но меня эти тексты успокаивали. Очень успокаивали. Это странно.

К.Г.: Они не имели негативного эффекта наоборот терапевтичекий

П.П.: Это значит, что вопреки Шаламову нечто все равно очень ценное просачивалось, подспудно возникало и вырабатывалось по ту сторону этого опыта. Нечто таинственное и в Шаламове тоже.

К.Г.: Ты пытался медитировать на те дары, которые остались в этих сундучках? Какие там дары?

П.П.: Я постоянно медитирую. У Кастанеды есть книга «Дар Орла», а мы, то есть «Медгерменевтика», в свое время написали книгу «Дар Совы». Сова — символ советского тайного знания. Этих даров совы на самом деле немало. Например, слабость веры — это тоже дар. Момент ослабления веры до идеологии, когда идеология еще есть, но веры в нее уже нет, это ценнейший момент. Я не могу поверить, что Богу нравится, когда в Него верят. Возможно, Ему больше нравится, когда в него не верят, это дает Ему большую свободу. И время тотального скепсиса, когда все рассказывают анекдоты о Брежневе, когда все стебаются над советским мороком, это и есть самый сакральный момент. Почему нацизм ничего ценного не оставил после себя? Потому что он не дожил до этого момента, когда все немцы бы над ним смеялись, и рассказывали анекдоты о Гитлере. Вот такой культурный феномен, как творчество группы «Рамштайн», они пытаются восполнить то, до чего немцы не смогли дожить, они пытаются это компенсировать. Но «мы» дожили до этого момента, когда мы смогли разлюбить себя, смогли глубинно в себе усомниться. Сейчас это представляется как изъян с точки зрения новой неототалитарной идеологии, но это не изъян, а величайшая ценность. То, что мы жили в период, когда мы могли во всем сомневаться, над всем смеяться, — это редчайшее сокровище, которому могут завидовать поколения. Ничего более блаженного земной мир предоставить не сможет, это я вам точно говорю, дорогие друзья.

К.Г.: Можно ли сказать, что девяностые годы, получившие доступ к советскому без «советского», в этом смысле были терапевтически щадящим периодом?

П.П.: Девяностые репрезентировали мир криминализированный и одновременно мир психоделический. Это — расцвет культуры рейва. Вместо мрачности массовидных тел, вместо капиталистической эго-омраченности временно процветал в начале девяностых некий утопический эйфорический вариант соборности. Слияние в любви. На фоне тотального поражения некоторое время как бы не было идеологического противника. Все эти фигурки в военных формах на недолгое время стали амбивалентны, они стали, по сути, солдатами любви. Как на рейве, где все танцуют и благодаря психоделическому состоянию, навеваемому музыкой, превращаются в единое счастливое существо. Утопия девяностых для меня это и была утопия рейва. На рейве выстроенные прежней героикой человеческие тела переживают трансформацию. Почему в России рейв так «зашел»? Потому что это очень напоминает всенощную литургию. Там есть и воскурения, и музыка, и блаженный сладковатый запах дискотечного дыма, аналог ладана. Работа с освещением. Светомузыка, скрининг, виджеинг, переплавка пространства в галлюцинаторный храм, где тела распадаются на световые эффекты. Ведь когда человек танцует, он не может взглядом ухватить тела целиком — только фрагменты других тел, и он видит лишь сияющие кусочки, то улыбку, то руки танцующих. Он вплетен в общую мозаику, в сверкание переливающихся фрагментов. В церкви имеет место слияние более платоническое, на рейве более сексуализированное, но все равно возвышенное.

У нашей компании была такая практика: после рейва мы шли в церковь на заутреню. Психоделическая молодежь тех времен не была атеистической. В отличие от современной, которая полностью охвачена атеизмом и для которой церковь

ассоциируется с властью и политикой, для них сейчас религия — это пугающее репрессивное начало, от чего требуется освобождаться, им навязан западный образ Бога как наказующего персонажа. Это суровый и брезгливый протестантский Бог, ожидающий, что против него будут протестовать. В девяностые молодежь была настроена мистически. И отнюдь не усматривала противоречия между оргиастическим образом жизни и экстазом религиозного типа. Рейв, конечно, отчасти наследовал хиппизму, Вудстоку. Но в рейве исчезла свойственная хиппи меланхолия. У хиппи было слишком много жалоб и нытья, и музыка хипповская слишком много содержала в себе трагедии и экзистенциала. Рейв отказался от печальной начинки, оставив только эйфорию. Это культура контр-эго, в чем и состояла психоделическая революция девяностых годов. Речь шла об отказе от эго-централизма, переходе к эго-инструментализму. Инструментальное Эго не исчезает, но ты пользуешься им как инструментом, а не оно тобой...

К.Г.: Было такое выражение «гнать телегу», то есть отпускать речь в стихийное плавание. Что сейчас и произошло. Мы как-то докатились до странных выводов. Мы отпустили речь. Это был явно уже «гон». Но этот гон в трансе прикасается к источникам масскультуры. Следующий после «Бога» рассказ у тебя в «Военных рассказах» — про Мадонну, Бритни Спирс, как они скачут по степи. Сильный западный отряд героев масскульта под предводительством Мадонны встречает на своем пути «слабый», монстрический отряд русской попсы, возглавляемый Аллой Пугачвой, которая у тебя фигурирует как символическая дочь Емельяна Пугачва, дочь русского бунта, русского самозванства. Девяностые годы — это еще и годы «телег» и масскульта, принятого в игру, в сумеречном смешении верха и низа, серьезного и нет.

П.П.: Ну конечно... В нашей русской культуре православной огромную роль играет смирение. Для того, чтобы мы могли к этому смирению приобщиться, наша речь должна отчасти утратить авторитетность. Иначе мы не сможем сказать ничего истинного. А связь с массовой культурой и готовность гнать телегу — это все важнейшие знаки тех внутренних трансформаций, когда ты перестаешь контролировать свой дискурс. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла», — сказал Иисус Христос. Поэтому необходимо нисхождение на уровень неконтролируемого дискурса, словоблудия. И мат, и бред, и порнография, и плывущий наркотекст, и криминальный жаргон, и молодежные говорочки, и старческое сюсюканье — все дискриминированные дискурсы пригодятся, все они священны. Потребуются все силы, которыми наградил нас Господь.

К.Г.: Тогда вернемся к сегодняшнему дню. Чем же должна заниматься современная литература?

П.П.: Это даже не ответ, а скорее некоторое наблюдение. Мы ведем беседу на русском языке, но сам он расположен между двух лингвистических мифов. Это немецкий язык, который мы как бы не знаем, и английский язык, который мы как бы знаем. И это два мощных мифа, которые держат наш дискурс в плену. Мы не знаем немецкий, мы не знаем язык, на котором говорят мертвые. Но мы все же наслышаны об этом языке, мы как будто отчасти его понимаем и смутно догадываемся о его свойствах. И обратный эффект английского языка. В отношении английского, наоборот, русский язык, на котором мы беседуем, становится языком мертвых. И таким образом мы испытываем все те эффекты, которые мы приписываем немецкому языку, как только рядом с нами возникает английский. Мы гибко владеем нашим родным языком и все же прибегаем к английскому языку. Почему? Потому что для нас это язык самоотречения, язык субмиссии. Это язык нынешнего дня, язык планеты, английский, которому мы уступили дорогу. И таким образом самая главная задача, которую, как мне кажется, должна ставить перед собой русская литература и русский язык, — это глубокая медитация на английский язык, его постижение, глубокая любовь к нему, но ощущаемая с намерением глубинной перевербовки этого морского языка в наших

собственных целях. Для этого надо нырнуть в английский язык очень глубоко. И там на дне — Сундучок Флинта, Ктухлу, Кракена и другие. Различные интересные мертвецы, клады, наутилусы, моби дики, всплывающие на поверхность белоснежными призраками. Убитые альбатросы, как у Кольриджа. Марракотовы бездны. Морские подводные коридоры в мир мертвых. Гигантская фея Каллипсо, распадающаяся на маленьких крабов. Тайник Дейви Джонса. Ужас Южных морей.

И, видимо, русская литература — если она еще остается русской литературой, — обязана осуществить этот заныр, чтобы добраться до самого дна и там что-то очень важное обнаружить: рычаг управления врагом. Вот для чего все это делается, товарищи.

В контексте нашего разговора я вспоминаю о Колобке. Сейчас я работаю над комиксом, который будет называться «Коболок». Это, собственно, обратная судьба колобка. Уже не первый раз я прогоняю Колобка по обратному пути. Коболок рождается из Лисы и приходит в избушку ортодоксальную, где живут Бадед и Дебаба, где живут старые квиры — архе мира. Но на них все дело не заканчивается. Они только охранники врат. Главное — это «сусеки». Коболок должен раствориться, распылиться по этим сусекам. И я стал медитировать на это слово «сусеки» и понял, что сусеки — это Сассекс, Суссеккс, те самые холмы, где окончил свои дни Шерлок Холмс, где он состарился и стал разводить пчел. И только сейчас я понял, почему Холмс так поступил: это и есть распыление по сусекам. Возможность вернуться в медовую фазу человечеству, регрессировать глубже стадии охоты и магии, вернуться в фазу бортничества и собирательства. А где собирательство, там и разбирательство. Так вот Сусеки, где начинается и по моей версии и заканчивается колобок, — это графство Сассекс. А этот топоним включает в себя слово «секс».

К.Г.: В свете романа «Эксгибиционист», который кончается видением красивой спящей девушки, наш основной месседж — в том, что «колобкам» советского времени и замкнутым на самих себя «бубликам» нашего, просто нужен «секс с другим». И, кстати, девяностые — это первая эпоха открытой сексуальности. Эпоха открытого постмодерна, любящего детские игры и тайны, отказывающегося говорить прямо и помнящего, что такое настоящий ужас.

П.П.: Сейчас принято гнать на постмодернизм. И это глупость полная. Я сам грешил этим. «Медгерменевтика» осуждала постмодернизм еще в конце восьмидесятых. А те, кто делает это сейчас, почему-то полагают, что постмодернизм — это ирония. Устали иронизировать? При чем тут ирония? Речь идет о самой выверенной этической позиции за всю историю человечества. Технократы хотят обвинить постмодернистов в том, что те хотят обратить все в побасенки и смехуечки. Видимо, технократы не понимают терапевтическую ценность смехуечков? Значит, они тупые и не ценят тех, кто единственно может избавить самих этих технократов от мучительнейших страданий, которые не принесут им никакой пользы. Постмодернизм — это может быть кривая, косая, но самая этически выверенная попытка обезвредить токсичность идеологии, избавиться от веры и уверенности, убить самомнение человечества, убить мягко, нежно, без жестокости и дать человечеству возможность почувствовать себя слабым и свободным.

Александр Чанцев

Внутренняя алхимия

В этом обзоре объединены три персонажа истории идей прошлых десятилетий — к сожалению, они все умерли, — к которым применимо расхожее выражение «раздвигать границы реальности». Они делали это как в сфере мысли и даже духа, так и зачастую в повседневной жизни. И хотя проходили они по ведомству рафинированной, даже маргинальной интеллектуальности, изучение их влияния — выходящее уже за рамки нашего обзора, — потянуло бы на добрую диссертацию.

Мера неизвестного

Евгений ГОЛОВИН. Там. — М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2021. 304 с.

Дополненное издание выходившей десяток лет назад и ставшей без преувеличения библиографической редкостью книги[1] — не только потому, что у нас сложно купить что-то, вышедшее не вчера в статусе бестселлера, но и потому, что книги одного из лидеров Южинского кружка, переводчика, литературоведа, мистика, поэта, барда всегда были вещью малодоступной[2]. Может, так оно и надо.

Ведь и Головин, по словам Гейдара Джемаля, о котором мы поговорим чуть позже, называл его необычном учителем — «он являлся гуру и притом машиной для провокаций по ту сторону добра и зла, по ту сторону человеческих слабостей»[3].

Интеллектуал еще до изобретения этого термина, в «Там» он просто захватывает — более или менее подготовленного — читателя фасцинацией своей эрудиции, мысли, необычностью ее траектории. «Там» — очень емкое и краткое название для круга идей, которые хотелось бы обозначить хотя бы по верхам. Как Николая Фёдорова называли Московским Сократом, так Головина — Адмиралом, Калиостро, последним метафизиком и много еще как. Заслуженно.

Тем более что Головин, скажем так, из устных философов. Не потому, что разворачивал свое учение на кухне — других возможностей тогда особо и не было, только под конец жизни его, сильно больного, стали записывать на видео, — а потому,

[1] Я писал о первом издании книги: Ракетой к Чёрной Луне // Частный корреспондент. 2011. 17 июля (http://www.chaskor.ru/p.php?id=24083). И это единственный случай в моей истории критика, когда я нарушаю свое правило и пишу об одной книге дважды.

[2] Отошлю и к заметке о более представительном и пока не переизданном сборнике его эссе: Западные суфии и средневековый Адмирал // Перемены. 2014. 15 июня (https://www.peremeny.ru/blog/16791).

[3] *Джемаль Г.* Сады и пустоши. — М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021.

что работал скорее на чужом материале. Как все средневековое — и не только — богословие выросло из экзегезы одного-единственного текста, так и Головин переводил, рассказывал, знакомил с теми авторами и концептами, о которых тогда и слыхом не слыхивали. Традиция эта почетная и вполне дошедшая до наших дней — надо ли говорить, насколько выше и ценнее материалы Бибихина о Хайдеггере, нежели «учение» какого-нибудь современного выпускника психфака, решившего срубить хайп на изобретении нового извода психоанализа для нужд подкастов в YouTube'е?

В вошедших в эту книгу эссе Головин может писать о разном. «Трактовка старости у Рембо и Бодлера» или — с лукавой улыбкой — «Женская магия: проблемы красоты». В основном же его «подопечные», та глина, из которой, как на дрожжах, вырастает Голем, вернее, гомункул, — это высокий модернизм, от символизма до экспрессионизма и редких, до сих пор не в широком ходу, поэтов середины и второй половины прошлого века. В основном — Жерар де Нерваль, Теофиль Готье, Артюр Рембо, Георг Гейм — и много Шарля Бодлера, Георга Тракля и Готфрида Бенна.

Почему даже не эта эпоха, а эти персоналии — понятно. Головин, что удивительно, как раз не за отдельные персоналии, но за живое существование поэзии, ее обмены, ее, как в реторте, бурление. «После смерти Рембо, Верлена, Маларме и многих других выдающихся поэтов началась агония поэзии. <...> Когда атмосфера насыщена кислородом, появление живых существ не вызывает удивления и никто не собирается считать их поштучно[1]. Когда общественная атмосфера пронизана поэзией, никто не собирается учитывать поэтов экземплярно». Об этом состоянии общественного и индивидуального сознания (тогда это — равно) он и пишет. Пишет тоже не напрямую — он не Эвола и не Генон, манифесты не выдает. А через отрицание. Зачастую — почти устами тех же «проклятых поэтов». Так, Бодлер «безусловно, ненавидел современную эпоху прогресса, вульгарного материализма, новых уродливых зданий — предвестников зари ликующего оптимизма[2]. Ему претил фетишизм денег, равного которому он не находил в истории». Или же он цитирует Клагеса, инвективы того против «объективного миросозерцания, механически отрегулированную функциональность, управляемую холодно и безразлично». Человек становится механизмом вроде заведенных раз и навсегда часов: «Главное — встать вовремя, провести необходимые гигиенические процедуры вовремя, поесть вовремя, успеть на работу и т.д.»

Подобное ворчание, даже стилистически блестящее и поражающее эрудицией (про цитируемых алхимиков, ересиархов и апокрифических авторов думаешь каждый раз, не выдумал ли их Головин, — знания и их верификация у современного человека ограничены чаще всего интернетом), вряд ли бы составило ось даже небольшого выступления Головина. На примере того, как Бодлер расширяет сферу эстетического, вводя в нее дотоле шокировавшие элементы уродливого, смерти, неприличного, Головин показывает ту «меру неизвестного», о которой писал Рембо[3], — и делает по сути то же самое. Из рассматриваемых им крайне сложных, герметически закрытых

[1] Мысль Головина — возможно даже, и с его слов, — разделяет и Гейдар Джемаль: «Меня давно занимала идея, что люди уходят не просто когда угодно. Люди умирают не потому, что они заболели, состарились или просто устали жить, а потому, что кончается их эпоха, — они уходят целыми блоками, пластами носителей определенной матрицы».

[2] Как не оценить пророческие возможности Головина в нашу эпоху тотального «позитива» и борьбы со всем «токсичным», то есть хотя бы минимально «напрягающим», требующим усилий сверх поставленного лайка и отравленного смайлика. Вот еще очень актуальное: «Социальный хаос, обескровленная жизнь духа при отсутствии трансцендентной перспективы, единственность сугубо материального бытия и связанный с этим культ молодости и физических сил...» Головин любит приводить высказывание Хайдеггера (в связи с тем же Гёльдерлином) о том, что из современной жизни исчез не только Бог, «но и божественная роскошь погасла в истории мира».

[3] «Поэт определяет меру неизвестности, характерную для его эпохи» («Письмо провидца»). В отношении самого Головина можно до сих пор, увы, говорить о мере его неизвестности...

произведений он вычленяет эту неизвестную суть: «Что касается энигматической, визионерской лирики “Озарений”, она электризует неожиданными, поразительными образами, головокружительными пейзажами, чуждыми эмоциями, странными философскими параболами, но что-либо понять в ней, мягко говоря, трудно», — о том же Рембо. Так Головин поступает и с эпохой. «Если в айсберге лежит мамонт, он безусловно есть его истина, но даже если метель белой луны выдувает в айсберге пещеру, то стоит призадуматься: истина — ледяная поверхность айсберга или его пещера?» — говорит уже сам Головин. Как в этих текстах («лучше не вдумываться даже в простую поэзию»), он находит и предъявляет читателю это распыленное, сокрытое знание о вещах более кардинальных, чем они явлены поверхностью и поверхностным же взглядом. И опять чужими словами, без пафоса прямого высказывания, он выводит обобщающее суждение: «Далее Нерваль рассуждает: уважай в каждом звере деятельный дух; учти, в каждом цветке таится душа природы: в каждом металле скрыта мистерия любви: все чувствует и влияет на тебя. Даже из щели слепой стены на тебя косится недоверчивый взгляд». Как же это функционирует, на каких тонких пластах духа, с которыми пристало работать скорее и вернее вдумчивому алхимику?

Знание это болезненно, оно предполагает не меньшую (скорее — все же меньшую, ибо нынешняя цивилизация обманывает прежде всего своей комфортностью, «позитивом») болезненность, чем наше время смерти гуманистических понятий. Это, по сути, знание столь же отрицательное, разрушительное, только с другим знаком, а также с обещанием воскресения после смерти. «Страсти Мальдорора непонятны, оригинальны, грандиозны. Он — человек-стихия, океан наделил его своей масштабностью, бешенством, красотой, загадочностью. Поэтому его отношение к людям отличается демонизмом и жестокостью, смешанной с надменностью, иронией, снисходительностью. Если это дегуманизация, то дегуманизация высшего существа». Каковыми могут стать и прошедшие это горнило, что сродни расплавлению, смерти свинца ради возрождения золотом. Про алхимию, конечно, сравнение условное и не хромающее, но припадающее на одну ногу. Ведь здесь все другое, непонятное повседневному сознанию: «Все эти люди далеки от героев в обычном смысле. Да и о людях мало что можно сказать. Это человеческие схемы, линии, поступки, которые, нелогичные и запутанные, пересекаясь в сложном пространстве поэмы, образуют сети узоров. <...> Поражает четкость композиции, главное непонимание поэмы в обычном логическом смысле... <...> Таким образом создается некий второй язык, употребление которого до крайности усложняет поэзию отсутствием привычных референций».

Это сложно, но не беда, и точно не должно смущать. Ведь «человека обезличивают специальностью, слово — однозначностью. Ясность выражения и точность формулировок, столь ценимые в интерсубъективном общении или в донесениях, отнюдь не являются добродетелью языковой сферы. Живому организму языка вовсе не свойственна симметрия и логическая завершенность теории, уравнения, геометрической фигуры». Зато этот сложный, новый язык позволит выяснить, выявить суть вещей: «В полутьме, в сумраке вещи пребывают застывшими под патиной привычности. Только восходящее солнце начинает видеть имена, то есть натуральную суть вещей», «стихотворение побуждает размышлять о какой-то другой стороне жизни, о том, что никогда не приходило в голову». Это четвертое измерение искусства, жизни, вещей. Та геометрия Лобачевского и Римана — да, Головин пишет и о математике, и о физике, — что «положила начало идеи четвертого измерения[1], той самой идеи, которая спровоцировала революцию в сегодняшней литературе и искусстве».

Работа с «другой стороной жизни» предполагает многое. Вплоть до — мы приходим к началу, когда Бодлер расширял сферы эстетики — внесения неживого в

[1] Джемаль в свою очередь вспоминает о своем детстве: «Этот вкус с того момента всегда оставался со мной — постоянная близость четвертого измерения, выход куда-то, где наступает тишина и только пролетают птицы».

сферу, орбиту живого: «Однако в природоведческих книгах семнадцатого века <...> утверждается, что между тремя царствами природы (минеральным, растительным и животным) нет принципиальной разницы. <...> Даже сегодня не каждый минеролог согласится признать камни мертвыми». Что ж, утверждает Головин, рациональное, конвенциональное знание видит, понимает и учитывает совсем не все. Оставляя за скобками то, что Генон называл la possibilite infini — безграничная возможность. То же развитие современных математики и физики, понятное паре сотен людей в мире, остальными принимается исключительно на веру. А те же открытия Эйнштейна возвращают знание в мифические времена всеобщего единства, обратимости, синкретизма. Посему даже такая радикальная константа, как смерть, может быть, абсолютно наоборот, не концом, а началом. Ведь «никогда и нигде до триумфа рационального интеллекта смерть не считалась концом человеческого бытия»[1]. Да и «то, что обычно разумеют под словом смерть, у Тракля ассоциируется с финалом разложения и началом интенсивной метаморфозы». Пусть это видели только горстка алхимиков, Тракль и его великий, без дураков, интерпретатор Евгений Головин — многие ли, уже растягивая сравнение, дошли бы своим умом до того, чем занимается физика после Эйнштейна?

Не стоит, впрочем, думать, что Головин на протяжении всего текста погружен в подобные метафизические абстракции. Его мысли — скорее, по Юнгеру (которого он тоже уважительно цитирует), озарения. Изысканные и свободные. Вот, например, о той же математике. «В сущности, когда ученый забывает об “убожестве прозы жизни” и занимается чистой математикой, он гораздо лучше понимает художника: в его творческой работе важнейшую роль начинают играть эстетические категории, и подобно поэту, чья муза утратила слишком конкретные очертания, его интересует метафора как таковая, скопление метафор и мир воображения, расцветающий на такой почве».

Почва эта, конечно же, дает массу тончайших частных наблюдений. Впрочем, частных ли? Ведь это тоже о том мире, в котором мы живем, и о том, как мы с ним себя соотносим. «Центр механической структуры всегда находится вне ее», «современная поэзия создает режим неопределенности», «молчание, темнота, пропасть, бессилие, глубина и высота — это негативные категории, и их существование фиксируется отсутствием звука, света и тому подобного. В поэзии подобные категории являются позитивными»[2]. Или о том, как неожиданные, казалось бы, восклицания у Бенна «интенсифицируют надменную непричастность стихотворения».

Шанс шизоидного подполья

Гейдар ДЖЕМАЛЬ. Сады и пустоши. — М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021. 608 с.

После смерти в 2016 году силами его учеников и близких[3] продолжают выходить книги[4] еще одного участника и столпа Южинского кружка — писателя, философа, исламского мистика, политического деятеля Гейдара Джемаля.

---

[1] Максиме Ника Кейва «Just remember that death is not the end» вторит и Джемаль, предлагая почувствовать «абсолютную разницу между гибелью и смертью»: «Гибель — это разрушение феномена извне, а смерть — это то, что происходит изнутри, обнаруживает себя изнутри, потому что смерть — это сознание, в отложенном виде являющееся смертью».

[2] Вот он — позитивизм по Головину, более приличествующий нашей эпохе гнилого грома после «стальных гроз»!

[3] Сын Джемаля Орхан, военный журналист, был убит в ЦАР при до сих пор не выясненных обстоятельствах в 2018 году.

[4] В прошлом, 2020 году, вышла книга «Новая теология. Избранные лекции».

Эта книга не столько «вероучительная», сколько захватывающая своей дискретностью. Формально «Сады и пустоши» — мемуары, надиктованные на видео перед самой смертью Джемаля от рака. На самом же деле — это не только воспоминания о детстве и юности, но и история интеллектуального становления, повествование о создании самых прорывных его работ, рассказы о так или иначе учителях и единомышленниках (о Евгении Головине — с неизменным уважением[1], о Юрии Мамлееве — часто стебно и действительно смешно, о пришедшем к нему с вопросом, что ему читать и как быть, пухлом подростке Дугине — объективно), а также, конечно, не столько лекции, сколько важные пунктиры, описания костяка его мысли. В книге можно даже прочесть о том, как бросить курить по Джемалю.

В ней вообще так много всего, что каждый, не исключено, найдет какие-то точки пересечения. Например, у Мамлеева, жившего на бульваре генерала Карбышева, они собирались рядом с улицей, где прошло мое детство, а в Институте стран Азии и Африки я еще застал арабиста Г.М.Габучана, о котором пишет изгнанный из ИСАА за идеологическое свободолюбие Джемаль.

Описание необычного детства уже уводит в необычные области. Дед, безжалостный функционер, знавший Сталина, отсутствовавшие мать, фанатка лошадей и ипподромов, и отец, внедрявшая жесткое классическое образование бабушка, отчим — репрессированный грузинский князь, дядя — «человек неуправляемый, полный безумия и темной злой энергии», друг Высоцкого и любовник всех актрис... Воспоминания о даче с бабушкой и о «родовой» квартире в Мансуровском переулке звучат той лиричной нотой, что заставляют вспомнить Бунина, Набокова с «Другими берегами», всю эту линию. Довольно необычная для непримиримого нонконформиста, жесткого политика и теолога, правда? «Снега, заснеженные ели, чистый морозный воздух, скромный электрический свет, приглушенный желтыми обоями спальни. Время мы проводили читая, я на своей кровати, она на своей, каждый под своей лампой. <...> Дача оставалась для меня на протяжении многих лет местом притяжения, точкой, куда я возвращался. <...> Она мне снилась и снится до сих пор, и это мучительный ностальгический сон. Ностальгический сон о навечно утерянном». Но наша история была против лирики, ей были ближе другие жанры. И жанр Джемаля напоминает иногда сюрреализм, тот крутой замес, что бросал, срывал, сталкивал людей в те годы. «Дед со стороны отца из конформистского старого дворянства, которое при царе занимало посты выборных голов или участвовало в чертовом земстве. При Мусавате мой азербайджанский дед возглавлял Совет Карабаха. Кончился Мусават, пошла советская власть, и он стал возглавлять отдел по борьбе с бандитизмом, оставаясь беспартийным». Остальных кидало не меньше. Тех же князей — «Играла она во МХАТе. Смешно, что ее фамилия Друцкая-Соколинская. Ее папа князь Друцкой-Соколинский в ссылке, будучи алкоголиком и слабым человеком, сошелся с буфетчицей — не то с карелкой, не то с мордвинкой. И от этого мезальянса родилась, на минуточку, княжна Друцкая-Соколинская».

Отсюда, возможно, презрение маленького Джемаля к «пролам» и, хоть и скрываемый, пиетет перед настоящей аристократией. Князей из «бывших», но

[1] «Я поддерживал близкие отношения с Головиным, который выступал как мэтр. Я находил огромный энергетический приток от нашего общения. Это было общение ученика и... и неучителя. Потому что Женя тоже плевал на учительский статус». (*Джемаль Г.* Сады и пустоши. — М.; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2021. С. 442.) См. также «сторонее» суждение близко знавшего Джемаля в течение четырех десятков лет Владимира Видеманна: «Вообще, Головин в судьбе Гейдара сыграл какую-то — не побоюсь этого сказать — зловещую роль. Они всю жизнь словно соревновались за первенство, и не только среди женщин, но вообще... При этом странным образом Головин — единственный из всех гейдаровских знакомых, в отношении которого тот всегда — по меньшей мере, в моем присутствии — отзывался крайне корректно и даже с большим пиететом: “Женя, Женечка, Головин — уникальный человек!” При том, что про всех других мог отпускать весьма саркастические реплики». (*Видеманн В.* Гейдар Джемаль в оптике балтийского друга // Сборник памяти Г. Джемаля (в рукописи).)

сохранивших свой лоск и апломб, он описывает, скрывая затаенное дыхание. Отсюда, экстраполируя, и традиционализм Генона и особенно Эволы с его кастовостью, вера в то, что по-настоящему в мире, над миром работают только кшатрии и брахманы? «Я верю в касту воинов. И я верю, что всегда было только две касты — попы и воины. Либерализм, не либерализм, секуляризм, не секуляризм, буржуазия, не буржуазия — есть только две касты. Да, они разгромили касту воинов. <...> Она распалась на разрозненных одиноких героев. Одинокие герои рождаются в народной толще — Бакунин, Нечаев, Че Гевара, Карлос».

Бунтарство посетило Джемаля тоже очень рано, еще в школе. «Ницше я полюбил за одно имя и за слух, что он является крайне реакционным. Обязательно полюбил Шопенгауэра. Выискивал о них скудные крохи информации в советских словарях. Ну и разрабатывал идеи антигуманизма, ненависти к добру, любви к жестокости, к насилию, идеи превосходства». Он стал яростным антисоветчиком и сторонником войны, как в целом, так и в частности, — новая война должна была уничтожить СССР, такова была надежда школьника Джемаля. Ставшего метафизическим фашистом. «Я же был крайне правый. С одной стороны, профашистский, а с другой — глубоко антисоветский. Что-то мне показалось в Лёше близким. В 14 лет я стал к нему захаживать в гости и как-то говорю ему: Лёша, я вот ненавижу советскую власть. А ты?»

И, кстати, в подкорке, мотивах тут — много общего с другим яростным пассионарием тех лет, Эдуардом Лимоновым. Советскую власть Джемаль свирепо невзлюбил, в том числе из-за ее матриархальной природы[1], тех теток в меховых облезлых шапках в помещениях, что не только подавляли мужчин, алкоголиков и вырожденцев, но и все витальное. «Совок, матриархат, лицемерие...» Почти теми же словами крыл этих несчастных теток и пассивность позднесоветского режима Лимонов, мечтая, в частности, в «Другой России» о новой мужественности, возрождении героя, даже о том, что молодое поколение его мечты уйдет в будущем из стылых городов, станет новыми кочевниками[2]. Оба не любили классику («вся эта хрень»), заигрывали, играли и жили с опасными именами и идеями и отказывались хоть как-то вписываться в социум[3].

Проработал Джемаль официально пару месяцев корректором — у Лимонова, с его юностью в рабоче-крестьянской Салтовке и желанием стать настоящей крутой шпаной, стаж будет поболе — несколько лет на заводе. Из Института восточных языков Джемаля выкинули, не вписался. В армии же вел себя как настоящий панк до

---

[1] Евгений Головин — и это выступление даже можно найти на YouTube'е — обобщал, обозначая торжество современной матриархальной, постмодернистской культуры следствием упадка традиционной патриархальной монотеистической культуры.

[2] См.: *Чанцев А.* Эстетический фашизм. Смерть, революция и теория будущего у Ю.Мисимы и Эдуарда Лимонова. Впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы» (2005, № 6), в настоящее время доступно по ссылке с «говорящим» адресом: http://thule.primordial.org.ua/chancev.htm.

[3] Неожиданнее выглядят пересечения с более популярным автором — Виктором Пелевиным. Так, рассказывающий об их одно время знакомстве сын Джемаля утверждает, что, например, «Empire V» «является определенным беллетристическим парафразом цикла лекций Гейдара». Не от Джемаля ли Пелевин узнал об увлечении Котовского мистикой и обыграл это в «Чапаеве и Пустоте»? Во всяком случае, прочтя следующую инвективу мирозданию, атрибутируешь ее стилистику сначала Пелевину, а потом удивишься, узнав, что это Джемаль: «Потому что я понимал, что это темница для духа. Дальше идут более сложные вопросы. Когда ты покидаешь камеру, ты выбегаешь в коридор, и там тебя встречают вертухаи с резиновыми палками, дальше идут какие-то переходы, внешняя охрана, вышка с пулеметами». Впрочем, не столь это и необычно, если сам ПВО с еще советской юности интересовался оккультизмом и «другим знанием», а в своих последних книгах (например, в «Тайных видах на гору Фудзи» или «Непобедимом солнце») демонстрирует плавную, но уверенную миграцию от трансцендентальности буддизма к критике современного общества чуть ли не с протохристианских позиций Эволы и других деятелей «консервативной революции».

появления еще этого благородно-юродивого явления — например, пытался косить под инвалида, был отправлен из части на медицинское освидетельствование, признан симулянтом, но вернулся в часть и сказал, что скоро комиссуют. Результат: «отправили меня в военную тюрьму — готовить мое дело для трибунала» и серьезного срока за «злостное уклонение от воинской обязанности — до семи лет». Как-то разрулилось на очередной психиатрической экспертизе в Институте Сербского. Вообще, советская власть была уже не такой клыкастой, от нее удавалось ускользать. Но не совсем, от той же карательной психиатрии доставалось — забирали, держали «на растяжках», привязанным к кровати, с вколотым в четыре точки мучительным сульфозином. В отличие от иных диссидентов, Джемаль, кстати, свое мученичество не выпячивает. А, в своем стиле, описывает историю пыточного лекарства (взвесь серы в персиковом масле изобрели нацисты) и то, как психологически отключался от боли. С грустной улыбкой констатируя, что в последние его годы рак вернул боль — и от нее уже не уйти.

Дальше тех, кто мог привыкнуть по иным работам и выступлениям Гейдара Джемаля к суровой экзегезе эзотерического ислама, будет весьма удивлен и может даже перепроверить обложку — не довлатовские ли байки он взял ненароком. Ибо маргиналы, мистики, просто тусовщики той эпохи — редкостные фрики, не чета даже людям 90-х, и рассказы о них — один бесконечный, как тупик Галковского, прикол. И тут, кстати, надо держать в памяти — или на экране смартфона, ибо QR-коды в книге дают доступ к видеофрагментам диктовки книги автором, — что Джемаль был блестящим лектором и рассказчиком, этих людей видишь и слышишь в его воспоминаниях. Персонажей таких, в каких и не поверишь — «...представьте гофмановского карлика Носа в меховой шапке с торчащими ушами — и он садится рядом. Бокштейна хватало на то, чтобы выбежать среди зимы в Гагаринском переулке в темный зимний вечер среди сугробов в этой шапке и больших сатиновых трусах, чтобы немного погулять. И вот он начинает говорить, что вот-де Платон, Гамлет». Таких, честно, целая галерея, сотня страниц. «Когда она заглянула на кухню (у нас ванна стояла на кухне), то как раз в ванне лежала одетая жена Казанца и рыдала. Мама даже бровью не повела. Заглянула, посмотрела на все это, сказала мне: “А у тебя весело”».

Безумны, кстати, все, так сказать, по обе стороны баррикад — и власть, и фронда. Так, один участник тех событий оставался в уверенности, что Джемаль был крупным агентом КГБ — он же лежал в дурке, получил группу, то есть право убивать: «всем агентам 007, имеющим лицензию на убийство, давали как минимум вторую группу».

И все это вертелось, играло так ярко и густо, что абсолютно мимоходом — да, понятно, тот был младше, еще не снял своего абсолютно гениального фильма «Ладони» — Джемаль сообщает, что дело было на квартире у Артура Аристакисяна. Игорю Холину, Генриху Сапгиру и Глебу Якунину посвящено больше страниц, ок.

Советскую власть, кстати, тоже не сразу узнаешь — по Москве, если знать, если приведут и введут, разбросаны салоны, сходки, даже бордели. У фарцовщиков можно достать что угодно, а у номенклатурной жены друга — доступ в спецхран, где Генон, Эвола и прочие традиционалисты в единственном экземпляре на французском языке. Джемаль приводит удивление Головина, когда он сказал тому, что некий эстонец[1] каким-то образом освоил традиционалистов: не может быть, Генона в Союзе читали только мы с тобой! Отдавая вполне дань всем развлечениям своего круга (но свою вовлеченность, будучи уже правоверным мусульманином, заштриховывая), Джемаль

[1] Самобытные мистики тех лет — отдельная тема, при разговоре о которой многие персонажи (вроде йога Рамы Михаэля Тамма) у Джемаля пересекаются с фигурантами очень любопытной книги В.Видеманна «Запрещённый союз: Хиппи, мистики, диссиденты». См. мою рецензию на книгу: Самадхи в ватнике: Две книги о мистиках и неформалах // Перемены. 2019. 19 июля (https://www.peremeny.ru/blog/23847).

интересуется иным — «шизоидное подполье жило в психологии глубин, психологии пограничного существования, в динамическом подвергании сомнению человеческого вообще». И проводником туда был именно Головин — «встреча с Женей Головиным открыла мне дорогу в проблематику высшей масонерии, герметизма, традиционализма, что, как ни странно, вызывало у меня сначала полное принятие Гегеля, которого я с восторгом сливаю».

Тут, кстати, интересно, что Джемаль не так высоко оценивает роль Южинского кружка, как принято. И тот уже сдувался, когда он пришел туда, и главными были — Головин, он и еще один-два человека, не столько потерявшиеся в пене дней, сколько не реализовавшие свой потенциал. Это Джи — у всех у них были клички, самая известная эта Головин-Адмирал — московский суфий Владимир Степанов, (перво)открыватель Гурджиева, на даче которого с лопатой возился Роберт Грейвс. И Игорь Дудинский[1], роль которого, по Джемалю, в том, что он был секретарем, заставил его наговорить и записал первую его и до сих пор громкую работу — «Ориентация — Север». Не исключено, что они написали бы совсем иное видение тех событий.

Впрочем, Джемалю верится — он, уж тем более в его предсмертном состоянии, точно поверх барьеров честолюбия и прочего. О книгах Лимонова об умерших он замечает, что тот говорит о мертвых только плохо, сам же не склонен к этому. Поэтому суетящемуся, пиарящемуся на великих знакомцах, не любящему сводить их вместе и впавшему в эмиграции в посконную простоту русскости «Юрочке» Мамлееву веришь. Как и 100-килограммовому подростку Дугину, бритому и в сапогах[2]. Ему Джемаль посоветовал читать Генона — он ушел, выучил французский, еще пяток языков, и первым перевел Генона. А вот Головина вообще видишь — как тот, в своей трикстерно-юродиво-инфанттерриблешной манере скидывает с парохода современности того самого Генона, которого сам же открыл Москве и Союзу. «Ну что же. Видимо, у Генона такая планида: его звезда всегда будет для кого-то сиять. Когда она тухнет для одного, она зажигается для другого».

Веришь Джемалю и тогда, когда он говорит, какой тусклой стала жизнь после 70-х, в 80-е — диссиденты еще рыпались, но в довольно тухлой воде, где основные, как сказали бы сейчас, инфлюенсеры «шизоидного подполья» уехали, болели, спились-сторчались (или — как прервал свое последнее выступление Джим Моррисон — «из меня ушла жизненная сила»). «Я застал живого Юрия Витальевича Мамлеева до его отъезда в Америку, был с ним дружен шесть лет как с самым близким для меня человеком. Не я один. Но люди, разделявшие со мной радость знать Юрия Витальевича, уже ушли. Мы не можем привязать “шизоидное подполье” к 60-м, хотя номинально оно располагается в тот период — 70-е были уже эпохой постмамлеевской, постюжинской. Это была эпоха Головина. Прекрасная, великая эпоха. Но и Головин ушел не потому, что что-то изменилось. Головин ушел потому, что он устал. Я видел его на похоронах Лены, когда его вели под руки, и он уже был как вьющийся седой стеклянный есенинский дымок над осенней землей. Он устал».

Не устал, но разочаровался и сам Джемаль. Поэтому о русскоязычном круге Душанбе и о своих озарениях в горах Таджикистана он пишет больше, чем о своей

---

[1] Эти люди ярки во всем, на их детях даже не «отдыхает природа»: дочь Дудинского — режиссер Валерия Гай Германика.

[2] «Он, безусловно, центр определенного кружка, он, конечно, вбросил и расширил определенные евразийские концепты, популяризировал традиционализм, хотя и не сам его вбросил. Русскоязычным людям традиционализм презентовал Головин, но достоянием широкого круга сделал все-таки Александр Гельевич». Интересен, в скобках, и мотив сопротивления среде, поколению отцов: как Джемаль — из семьи функционеров, так и Дугин — сын генерал-лейтенанта ГРУ. И уж совсем к слову — бабушка Евгения Головина Берта, анархистка в юности, в восемнадцать лет стреляла в генерал-губернатора.

исламской и политической деятельности после развала Советского Союза. Да, он входил в руководство партий, почти поставил своих нужных людей во главу Таджикистана, выступал на центральном ТВ уже России. Было и свое фрикство той эпохи — его вдруг отправляли в Баку, рулить нефтью, 20 миллионов долларов в сейфе. Но за приколами 90-х — это к другим, Гейдару Джемалю они интересны менее, чем синонимичная той эпохе судьба его бабушки или канувшие в советскую Лету суфии московских 70-х.

Даже несмотря на то, что «Сады и пустоши» — отнюдь не линейные и не традиционные мемуары, очень символично, что заканчивает их Джемаль не доведением повествования до вчерашней даты или какого-то очередного собственного возвышения, но — ибо знал, сколько ему осталось, боялся не успеть? — очерком реперных точек своей философии.

О смерти («надо мыслить саму смерть, рисовать смерть»), исламе, ловушке реальности, Гегеле, Достоевском, Хайдеггере, Абсолюте и других джемалевских темах напишут — или пишут — диссертации и отдельные статьи. Видимо. Главное то, что Джемаль, принявший завет Головина, всеми своими книгами, выступлениями и поступками — философствует об ином. «И главным моментом было то, что есть Абсолют, но он ложный. Абсолюту противостоит Иное, выражающееся в том, что оно не является сущим, оно не причастно сущему, оно таково, что, с точки зрения сущего, его абсолютно нет. И именно это является модусом его утвердительности, его безусловности, его сверхценности». В этом и заключается «шанс героя, у которого нет шансов».

Тантра каббалистов

Евгений ТОРЧИНОВ. Опыт запредельного: религии мира. — СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2021. 576 с.

В массовом сознании должно, видимо, пройти какое-то определенное время, что-то сработать и щелкнуть, чтобы, как и в случае с Головиным (у Джемаля все же другой случай, верные и активные ученики), после смерти начали издавать, переиздавать книги. Сначала издали беллетристику[1] ведущего петербургского синолога, буддолога, специалиста по мировым религиям, доктора наук Евгения Торчинова. Сейчас переиздали его во многом манифестарные, если не сказать эпохальные, «Религии мира» (1997 г.).

Историй религий, даже написанных на столь же зашкаливающем эрудиционном и понимательном уровне, много. Инновационный, как сейчас любят говорить, в книге, прежде всего, подход. Торчинов будто выбивает из-под читателя стул, заставляя искать иные определения, другую мысль. В своем фундированном — больше ста страниц — введении к книге Торчинов дезавуирует состоятельность почти всех существующих определений религии. Помните, как иронизировал Воланд про Канта? «Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!» Так и Торчинов. Культ, антитеза профанного и сакрального, «вера в Бога или богов также отнюдь не являются сущностными признаками религии», ибо много вопросов про теизм буддизма и тем более буддизма, а уж в даосизме (как и чань-дзэн, они являются не религиями, но скорее практиками, что известно, конечно, было и до Торчинова) бога/богов в привычном нам восприятии точно нет.

[1] За неимением других откликов отошлю к своей рецензии. Даосская алхимия и буддийская спиночесалка // Год литературы. 2019. 9 апреля (https://godliteratury.ru/articles/2019/04/09/daosskaya-alkhimiya-i-buddiyskaya-spinoch).

Понятно, что углубляется во все это Торчинов, конечно, для определения понятий, для более научного и корректного разговора, выстраивания несколько иной типологии религий и своей главной мысли. Так, например, в распределении религий по методам он говорит о религиях тантрического типа, к которым «относятся психотехнические приемы традиций, использующих активное воздействие соматического, телесного фактора на психическую жизнь и участие тела в психотеническом процессе через специальные позы, дыхательные упражнения, сосредоточение на центрах тела, ритуальный танец и т.д.». И тут проскальзывает ключевой для Торчинова термин — психотехника. Конечно, даже без легкой отсылки к телепатам, магам и прочей парапсихологии перестроечных лет. Психотехника — это то, что меняет человека, преображает его, производит работу внутренней алхимии, возносит даже[1].

Понятно, интересно, глубоко. Но, кажется, работа самого Торчинова с изучающими его книги гораздо глубже. Дзэнские — да и не только — учителя в свое время начинали общение с учениками, подготовку их к озарению с того, что как бы зачищали их мозг. С помощью физических упражнений, коанов (задач, не имеющих ответов в привычной логике мира), платоновских диалогов они подводили их к осознанию того, что привычное мышление (уж не говоря об обыкновениях, науке и даже морали этого мира) работает не всегда, может довести до определенного предела, но дальше само не заступит, точно не поведет. Так и Торчинов по ходу своей книги показывает, что если и не «Все, что ты знаешь, — ложь!»[2], то многое устроено совершенно иначе.

Это касается как большого, так и малого. Так, он несколько раз подводит нас к мысли, что «вера в Бога кажется естественной основой религиозных представлений, поскольку она является таковой для иудео-христианской традиции, но профессиональный религиовед, разумеется, не может проявлять такую узость подхода» — дело в том, что само наше представление о религии, божественном сложилось из свойственных только западному мышлению установок. Исходя из христианства и, шире, связанных между собой религий откровения — иудаизма, христианства и ислама — мы беремся судить о крайне широком спектре явлений, выламывающихся из узких рамок.

Можно взять совершенно разные вещи — и увидеть их под другим углом, новым взглядом. Первобытная магия? «Совершенно очевидно, что когда первобытный художник наносил удар по изображению быка или когда колдун наводил порчу на врага, воздействуя на символизирующую его фигурку, то они отнюдь не прибегали к помощи каких-то естественных сил. По существу, они просто неправильно (строго говоря, не соответствующим современным научным представлениям образом) истолковывали принцип причинности, причинно-следственной связи»[3]. Самая современная наука? Квантовая физика, теория относительности и прочее никак не вписались бы в картину мира ученого даже пару веков назад, а еще чуть раньше могли показаться самой оголтелой магией и чертовщиной[4].

---

[1] Любитель восточных религий и тем более нестандартных их трактовок в своей последней книге формулирует то же самое, но примитивнее и циничнее: «Религия, — ответил чемодан, — это обещание, что душе станет хорошо, если она будет совершать одни действия и избегать других». *Пелевин В.* Transhumanism Inc. — М.: Эксмо, 2021. С. 157.

[2] Лозунг издательства «Ультра.Культура» Ильи Кормильцева, еще одной сверхновой звезды тех ярких лет.

[3] У Луи Повеля и Жака Бержье в «Утре магов» версия еще более изящная — так древние художники создавали макет предстоящего. В современной лексике — план атаки или бизнес-стратегию.

[4] Подобные доводы выдвигали, конечно, многие. Так, еще Тейяр де Шарден был уверен, что «на космическом уровне вся современная физика учит нас тому, что только фантастическое имеет шансы быть истинным».

У Торчинова много таких примеров. И в данном случае очень ценно, что он привлекает во многом именно ориентальный опыт — в последнее время мне попадалось много прекрасных книг, по истории музыки, например, где привлечение Востока не только расширило бы картину, но и подчас позволило бы избежать неправильных выводов. «В буддизме и джайнизме, как уже говорилось, так называемые божества (дэва) просто вид живых существ, подверженных заблуждениям, страстям, рождениям и смертям» — и все это было гораздо, гораздо раньше, чем богочеловек в христианстве. Или то, что в нашей же западной цивилизации клеймится как мистика, совсем не воспринимается как таковая на Востоке: «В иных же культурах, вполне гомогенных и вообще имеющих иные фундаментальные характеристики, такой оппозиции вообще не существовало, и в Индии, например, практически все мыслители (по европейским понятиям вполне рационально и часто рационалистически мыслившие) были одновременно, по тем же самым западным понятиям, “мистиками”» (сразу отвергая расхожий упрек в отсталости Индии — в сфере IT и фармы, по сути, самых важных индустрий последнего и особенно пандемийного времени, индийские специалисты лидируют). А вот взгляд с другой стороны — цитата не из Торчинова, но А.Грофа, которого он не только многажды цитирует, но и на которого во многом опирается: «Опыт и поведение шаманов, индийских йогов и саддху (святых отшельников) или духовных искателей других культур по западным психиатрическим стандартам следовало бы диагностировать как явный психоз. И, наоборот, ненасытное честолюбие, иррациональные побуждения к компенсации, технократия, современная гонка вооружений, междоусобные войны, революции и перевороты, считающиеся нормой на Западе, рассматривались бы восточным мудрецом как симптомы крайнего безумия».

Но Торчинов отнюдь не только, под понятным углом, противопоставляет Восток и Запад. Его знание обеих цивилизационных парадигм позволяет сополагать то, что, казалось бы, ничего общего иметь не может, находить в этом единый корень, связь поверх догматических барьеров, ведь: «Сказанное выше справедливо прежде всего относительно христианства, причем по преимуществу западного с его чрезвычайно развитой традицией рационального богословствования. В иудаизме мистики-каббалисты претендуют на знание внутреннего эзотерического смысла Торы, приспосабливая, таким образом, не свой опыт к языку богооткровенного текста, а этот текст к своему опыту. Суфии же вообще разработали свой собственный весьма специфический язык религиозных образов, символов и метафор (иногда с суггестивной функцией, наподобие дзэнских коанов) для выражения, описания и трансляции своего психотехнического опыта»[1]. И, чуть более лингвистически спорное: «Слово “йога” означает “связь”, “соединение”, “сопряжение” и родственно русскому слову “иго”», что отсылает к даже более фундаментальному: «Обычно слово “йога” (кстати, по одной из версий, слово “религия” так же означает связь) интерпретируют как связь человеческого духа с Абсолютом, единение души и Бога».

Заслуживает отдельного упоминания и то, каких порой диаметральных мыслителей привлекает ученый-китаист: Элиаде и Маркс, Фрейд и Владимир Соловьёв, Вебер и Бердяев. И, отдельная радость, Василий Налимов, который — как физик, исихаст, переводчик Джойса Сергей Хоружий — в самом себе совмещал разные взгляды на мир: ученый-математик и философ. Торчинову, надо заметить, важны практики, опыт и вектор исихазма так же, как суфиев и каббалистов, — суммируя, можно сказать, что он привлекает, выводит из тени не основные религии, а считающиеся мистическими их порождения. То маргинальное, что расширяет опыт.

Не боится Торчинов и жестких тем, традиционно не принятых в этой самой науке, — тут, в глубоких скобках, надо сказать, что некоторые считали его работы

[1] Вообще, вся глава про мистические течения иудаизма — по сути, одно большое сравнение с практиками йогинов.

спорными, вообще предлагали сместить из дискурса академической науки. Он расскажет, из каких алхимических нужд даосы мочатся на корточках[1], о том, что видения после LSD во многом схожи с религиозными и наукой корректно объяснены быть не могут (зато успешно помогали душевнобольным, пока этот вид терапии не попал под запрет), процитирует буддийские проповеди определенных школ с призывом к убийству, инцесту и даже каннибализму.

И, еще один пример, если Головин писал о расширении сферы прекрасного у Бодлера, внесении в нее дотоле прекрасным никак уж не рассматривавшихся деталей, то Торчинов тут бы вступил с репликой, расширил контекст. «Интересно также, что именно недихотомичное видение реальности, снятие оппозиции “сакральное — профанное”, элиминация дихотомичности мышления вообще рассматривается (в рамках брахманско-индуистской традиции адвайта-веданта. — *А.Ч.*) в качестве религиозного идеала. Более того, в буддийской традиции Ваджраяны (уровень тантр наивысшей йоги — аннутара-йога-тантра) даже подношения Будде часто совершаются не цветами или иными благообразными предметами, а отбросами и нечистотами — для более наглядного и демонстративного выражения идеи недихотомичности реальности и иллюзорности оппозиций типа “прекрасное — безобразное”, “священное — профаническое” и т.д.» Адептам этих культов разрешалось посещать женщин, вести безобразный образ жизни (аналогии с образом enfant terrible и современного юродивого-трикстера, практиковавшимся Головиным, напрашиваются сами собой), даже есть мясо. Так они не грешили, но, наоборот, утверждали истину — нет высокого и низкого, все едино и все свято[2].

Оказываются в целом сходны и глобальные обобщения, глобальные выходы Головина и Торчинова. Который в завершении книги резюмирует: «В настоящее время серьезным ученым все яснее становится тупиковость так называемого “магистрального пути развития мировой цивилизации”, то есть американской и западноевропейской модели постиндустриального общества и всего “духа капитализма”, стимулирующего все новое и новое потребление и формирующего новые и бо́льшие потребности и привязанности во имя расширения производства, приносящего новые прибыли, вновь и вновь повышая уровень спирали потребления. Этот путь не может быть императивным для всего человечества».

---

[1] Про алхимию даосов активно пишет и издает(ся) китаевед Алексей Маслов. См. мой обзор: Важнейшее в нефритовых покоях — введение в китайскую эротологию // Перемены. 2020. 28 июля (https://www.peremeny.ru/blog/25232).

[2] В отношении аскетов-пашупатов, которым почти «законодательно» в их трактатах приписывалось вести себя столь вызывающе, что «пусть о нем говорят: “Он — изгой, он — сумасшедший, он — дурак”», существует и другое объяснение подобных поведенческих модусов: «Считалось, что пренебрежение нормами морали и нравственности способствовало высвобождению огромного количества энергии, которую адепт всецело направлял на духовную реализацию». (*Семенец С.* Традиции и легенды «Города храмов» // Наука и религия. 2021. № 9. С. 53.)

Евгений Абдуллаев

Дело привычное

В аэропорту Шереметьево у меня первым делом забрали паспорт. «Вернитесь в зал, посидите, вас вызовут». — «Сколько ждать?» За стеклом неопределенно улыбнулись.

Перед паспортным контролем клубилась толпа, человек двести. Тоже в основном из Средней Азии. И тоже без паспортов, ожидавшие вызова. «Уже больше двух часов ждем...» Стало грустно.

Время от времени появлялся некто со стопочкой паспортов и начинал выкликать, пофамильно. Пять, шесть... После чего исчезал. Снова ожидание.

Подойдя к человеку в форме, попытался прояснить обстановку. Сколько будут проверять, когда вернут паспорт? «До трех часов...» Глядя в упор (лицо у меня, видно, стало совсем перевернутым), добавил: «Я у вас паспорт не забирал. Идите туда, где забрали». Но там уже было закрыто.

Я присел на свободный край скамьи. Что-то это все напоминало.

Иван Африканович сидел на скамье с виду спокойно. Только никто не знал, что творилось у него внутри. Он сам дивился, откуда взялось у него такое упрямство, чувствовал, что эту справку он зубами сейчас выгрызет, а пустым из конторы не выйдет. Митька ждал его на крыльце.

Председатель зачитал заявление и пришлепнул его волосатым кулаком:

— Товарищ Дрынов?

— Дрынов. Он самый, вся фамилия верная, — сказал Иван Африканович.

— Объясните по существу, — сказал председатель.

— Там написано. Все и по существу.

Председатель крикнул:

— Ничего тут не по существу! Тут все не по существу! Ты просишь дать справку, чтобы тебе дали справку по десятой форме. Правильно?

— Точно.

— А десятая форма нужна для получения паспорта, верно? А паспорт тебе нужен для чего?

— Ясное дело, для чего, уехать хочу.

— Вы же, товарищ Дрынов, депутат! Что это такое? Куда вы собрались уезжать?

— Вам-то что за дело, куда я вздумал уезжать? Я не привязанный вам.

— Никуда вы не поедете. Все! Возьмите заявление.

Иван Африканович из «Привычного дела» Василия Белова возник не случайно. Я ехал на Беловские чтения, которые должны были пройти в Вологде с 18 по 23 октября. И доклад мой был как раз о нем. «Вторая жизнь Ивана Африкановича: “Привычное дело” в контексте современной русской прозы».

Нет, конечно, мои паспортные проблемы не шли ни в какое сравнение с теми, какие выпали более полувека назад вологодскому крестьянину: у колхозников паспорта просто не было. Но сама логика отношений человека и власти изменилась не сильно. Хочу пущаю, хочу нет. Без объяснений. Ждите.

Набрав воздуха, я двинулся к кабинкам.

Иван Африканович встал. ...Он, дивясь самому себе, ступил на середину конторы и закричал:

— Справку давай! На моих глазах пиши справку!!

Мне повезло. Едва я подошел к кабинкам, появился человек со стопкой паспортов и назвал мою фамилию. Так что ждать пришлось всего полчаса. Мелочь, если так посмотреть. Дело привычное.

«Дело привычное...» Это была его любимая присказка, Ивана Африкановича Дрынова. Отсюда и название повести, вышедшей в 1966 году в журнале «Север».

В отличие от многих героев прозы шестидесятых — либо активных деятелей, немного идеалистов (у Гранина, Рыбакова, Стругацких), либо несколько скептичных «реалистов» (у Аксёнова, Битова) — герой «Привычного дела» — не идеалист и не скептик. Он — *стоик*. Не сопротивление и не покорность, но спокойное и твердое принятие своей доли, своего «привычного дела». Лишь единственный раз Иван Африканович бунтует: в этом приведенном выше отрывке, когда почти силой вырывает у председателя требуемую справку.

Стоицизм — как течение мысли — возникает в античности после окончательного крушения полисной демократии и установления империи. Он становится ответом на это отчуждение личности от общества, а общества — от власти.

В СССР это начинает происходить с середины 60-х и продолжается, по нарастающей, вплоть до середины 80-х. Это время маленьких, «незаметных» героев, и не важно, живут ли они в деревне или в городе, в настоящем или в прошлом.

Что, казалось бы, общего между Иваном Дрыновым и Андреем Бузыкиным — героем снятого через тринадцать лет после выхода «Привычного дела» фильма «Осенний марафон»? Между вологодским крестьянином, едва сводящим концы с концами, и вполне благополучным ленинградским переводчиком, бегающим по утрам трусцой? Не столько общий психологический тип, сколько общая экзистенциальная позиция. Отрешенность от какой-либо социальной и политической жизни (в силу ее фиктивности, все большего обессмысливания), принятие своего ограниченного повседневными заботами бытия. И после попытки вырваться из него — снова возвращение и стоическое примирение с ним.

Затем, на волне перестроечного популизма, отчуждение от политики на какое-то время снимается (хотя и приводит к известным печальным последствиям). Но где-то с конца 90-х начинается новый виток отчуждения, снижения социальной и политической активности, уход в «свое», в свою частную жизнь. Таковы «стоические» герои прозы начала века: Вера из «Рыбы» Петра Алешковского, Зулейха из «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, Глеб Яновский из «Брисбена» Евгения Водолазкина... Называю навскидку, список можно продолжать и продолжать. На этом фоне Иван Африканович не выглядит чужаком. Разве что чуть покрупнее, поглубже, похара*к*тернее многих. Впрочем, и герои современной прозы лет через пятьдесят будут смотреться иначе.

Об этом (и не только) я говорил на Чтениях — в просторном конференц-зале Вологодской областной библиотеки, хорошо, с умом отремонтированной пару лет

назад. Библиотека и выступила организатором и устроителем этих чтений, уже восьмых по счету, и выросших из областных во всероссийские.

Участники — разные. Литературоведы Игорь Шайтанов, Иван Есаулов, Андрей Петров, Сергей Баранов, критик Андрей Тимофеев, критик и прозаик Наталья Мелёхина...

Неизбежный разговор о деревенской прозе.

Да, «деревня» в прозе последних лет десяти — товар редкий. Более-менее известных писателей, пишущих сегодня о деревне, можно пересчитать по пальцам. Конечно, Борис Екимов. Василий Аксёнов-младший, Михаил Тарковский, Ирина Мамаева... У них это постоянная тема. Чаще — однократные «забеги» в деревенскую тематику. Наталья Ключарёва в «Деревне дураков» (2010), Фарид Нагим в «Земных одеждах» (2010), Андрей Дмитриев в «Крестьянине и тинейджере» (2012), Роман Сенчин в «Елтышевых» (2009) и «Зоне затопления» (2016)... Зачастую написанные не изнутри, а извне: вот, попадает городской человек в деревню. Писателей, выросших в деревне, знающих ее, — все меньше; среди нынешних двадцати-тридцатилетних авторов их почти нет.

Как заметил в обсуждениях один из участников: «Деревня уходит... Авторов-то вырастим, а деревню уже не вернем».

23 октября, выезд в родное село писателя, Тимониху. Микроавтобус с участниками Чтений; вдова писателя, Ольга Сергеевна; дочь писателя, Анна Васильевна. Недолгое солнце сменилось затяжным холодным дождем.

По дороге остановка — в селе Шапше, в местной библиотеке. Пока согреваемся чаем, оглядываю книжные полки и расспрашиваю о поступлениях. Что-то закупают (единицы); что-то доходит благодаря волонтерскому движению «Помощь сельским библиотекам Русского Севера». А литературная периодика, толстые журналы? Печальная улыбка.

Что говорить, если и в областную библиотеку ни «Дружба народов», ни многие другие известные толстые журналы не поступают — не хватает финансирования. Дело привычное...

Шапша (и Тимониха, куда мы едем) — в Харовском районе. Как и большинство сельских районов, демографически «мелеющий». Еще двадцать лет назад, в 2002 году, было более двадцати тысяч жителей; сегодня — чуть больше тринадцати. В шапшинской школе — тринадцать учеников, по два-три в классе; свозят из нескольких сел. Недавно хотели закрыть роддом. Роддом отстояли.

То и дело проносятся почерневшие развалившиеся избы. Почему-то вспомнились темные остовы кораблей на высохшем Арале.

Есть вроде и живые строения. Да, в короновирус многие скупили себе под дачи, лето здесь проводят. Леса, озера, рыбалка. Не было, как говорится, счастья...

Постояли над могилой Белова. Рядом церковь, которую писатель спас от сноса, а потом, когда сам, когда вместе с друзьями-знакомыми, восстанавливал.

Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зыбкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась, и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего, верхнего неба.

На кладбище, в старых вербах, тенькали синички.

Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали.

Только в этот раз небо было не синим, а серым, мокрым; и под холмом с белевшей церковью поблескивало озеро...

А еще было выступление мужского хора Вологодской филармонии; неторопливое посещение избы писателя в Тимонихе, сытное застолье в поселковой библиотеке в Поповке. Обо всем не напишешь, да и нужно ли?

Завершается формирование канона литературы позднесоветского периода. Черно-белая оптика сменяется более сложной, с бо́льшим количеством оттенков. Еще не так давно в, условно говоря, либеральном лагере классиками оказывались большей частью диссиденты и полудиссиденты, а главным литературным событием считалось издание «Метрополя». В противоположном, «консервативном», лагере деление на своих и чужих так же было преимущественно идеологическим. С 2010-х это начинает меняться.

Не то чтобы все помирились и обнялись (и на Чтениях, особенно на пленарной сессии, эта разность вполне ощущалась)... И все же прежние, родом из позднесоветской литературной борьбы, разногласия отступают: сказывается растущая временна́я дистанция. Кроме того, художественная литература — к счастью или к сожалению — перестала быть инструментом политического влияния. Накал страстей упал, приходит более взвешенный, интегральный подход.

И с прозой Василия Белова — и с «Обычным делом» как одним из лучших ее образцов — происходит нечто подобное. Когда-то Фёдор Абрамов писал, что «“Привычное дело” приняли все: и “либералы”, и “консерваторы”»[1]. Сегодня оно снова объединяет людей самых разных взглядов. Как это и положено литературной классике. Как это и должно быть. Дело привычное.

[1] *Абрамов Ф.* Деревеньку зовут Тимониха // «Север». 1982, № 10. С. 92.

Борис Минаев

Театр в эпоху революции

Театральные программки я никогда не выбрасывал, какими бы толстыми или, наоборот, худыми они ни были, — складывал сначала в коробку из-под обуви, потом купил в Икее специальный ящик, картонный, довольно большой, туда запихивал все: и билеты, и буклеты, и программки. Недавно перевернул его в поисках одной вещи, и...

На меня рухнул целый забытый мир.

Совершенно забытые спектакли, фестивали, выставки, концерты, проспекты событий, визитные карточки, купленный в Нью-Йорке в супермаркете зачем-то журнал о современной американской литературе на английском, пытался разобраться в этом хаосе сначала, это был какой-то странный срез моего личного мира за целых двадцать лет, потом махнул рукой. Стал запихивать все обратно — коробка оказалась уже мала. Нужно сортировать, аккуратно и бережно...

В свое время на меня огромное впечатление произвела история, связанная с Владимиром Александровичем Крючковым, последним председателем КГБ СССР, членом ГКЧП (в этом году исполнилось 30 лет августовскому путчу). Так вот, когда его арестовали и отправили в Лефортово, пишет в своей книге «Кремлёвский заговор» тогдашний генеральный прокурор России Валентин Степанков, главный чекист очень волновался, чтобы при обыске не затерялась и не пострадала его коллекция театральных программок, которые он собирал десятки лет.

Честно говоря, меня это поразило. Днем бывший помощник Андропова, потом начальник Первого главного управления, а потом и просто шеф КГБ трудился на ниве безопасности, отдавал приказы, проводил совещания, кого-то арестовывали, за кем-то следили, он все это знал, конечно, — а вечером, с женой и премьерным букетом, Владимир Александрович спешил насладиться новой постановкой — во МХАТе у Олега Ефремова и в театре Маяковского у Андрея Гончарова, в «Ленкоме» и «Современнике», на Таганке и в Большом, всюду были свои любимцы, свои фавориты — предположим, Алла Демидова и Ольга Яковлева, Евгений Евстигнеев и Александр Калягин, да мало ли кто.

Да-да, он тоже все это очень любил, представьте себе... И уж наверняка содержал свою коллекцию в полном порядке, у меня тут даже сомнений нет — каждая программка надписана, обозначены год и дата, все разложено по десятилетиям (а может, по театрам?) — не то что у меня.

Кстати, никакой злой иронии здесь нет — ей богу. Тут мы с Владимиром Александровичем в каком-то смысле и братья по разуму, и товарищи по несчастью: зачем мы оба держали дома это бесполезное барахло, одному богу известно. Ну и кроме того, может быть, именно эта его утрированная «интеллигентность», тяга к искусству спасли в том роковом августе 1991 года тысячи москвичей, стоявших у стен Белого дома и защищавших свою революцию, свою свободу, свою демократию.

Слишком слабым голосом, слишком нерешительно отдал Крючков свой решающий последний приказ (а он-таки его отдал) — и путч сорвался.

Но мне, пожалуй, и не нужно искать программки (на театральных программках даты к тому же почти никогда не ставят), чтобы освежить в памяти театральную атмосферу 90-х — я ее и так хорошо помню.

«Московский хор» Петрушевской — премьера в МХТ (тогда еще им руководил Олег Ефремов), очередь в театральном буфете за сосисками. Не за вареными, нет, за сырыми, как в магазине! Вдруг кто-то из зрителей заметил, что дают вразвес, и сосиски очень хорошие, «мясные», не синеватого привычного советского цвета (своих артистов, что ли, решили подкормить, и вдруг осталось? до сих пор не знаю) — и вот один, другой, третий зритель встал в привычную очередь, застенчиво поглядывая в разные стороны, стоим ждем, чтобы погрузить в сумки и пакеты прекрасную эту снедь (а что, дома дети кушать просят!) — первый звонок прозвенел в антракте, второй, третий, а мы все стоим...

И смех, и грех.

Зимние каникулы, конец 1998-го, мы с сыном идем смотреть «Барышню-крестьянку» (в главной роли Кристина Орбакайте, это, кстати, ее диплом в театральном вузе у режиссера Натэллы Британевой в театре Ермоловой). Спектакль хороший, милый, Орбакайте (как ни странно) тоже совершенно прекрасна, но на улице лютый мороз, мама просит нас обоих надеть по два свитера, и все равно в зрительном зале зуб на зуб не попадает! Спектакль дневной, натопить помещение не успели, да и то сказать — недавно прошел дефолт! Слава богу, что батареи хоть как-то греют, а свет в театре РАО ЕЭС не отключило за долги!

Греемся внутренним теплом...

Театр «Эрмитаж» — он еще там, на прежнем месте, в саду «Эрмитаж». Худрук Левитин ставит одну премьеру за другой, но помещение у него уже пытаются отобрать, бандиты угрожают и интригуют, да и само здание в аварийном состоянии. Спектакль «Капнист, или Туда и обратно» (правда, он был выпущен уже в нулевые) — зрителей на балкон уже не пускают, он может рухнуть, зато по ходу действия туда в одиночестве выходит артист, играющий Павла Первого в ослепительно-белом костюме. Мы смотрим на него снизу и думаем: да, лишь бы балкон не обвалился!

Но помнится атмосфера театра тех лет, конечно, не подобного рода анекдотами, а, напротив, каким-то теплом, искренней, отчаянной зрительской благодарностью — вообще говоря, за все. За декорации и за игру, за пьесу и постановку, за яркий свет рампы, неважно, — театр в этот момент служит коллективным психотерапевтом, он спасает от страха и чувства одиночества, он возвращает привычные социальные рефлексы и создает, может быть, обманчивое, чувство защищенности. И пусть зрители не могут себе позволить порой даже рюмку коньяка в буфете, и пусть разодеты они тоже не то чтобы в пух и прах, и пусть современная 90-м драматургия пугает депрессией и ужасами реальности (как в «Чёрном молоке» и «Пластилине» Сигарева) — ощущение нерядового праздника, отвоеванного у жизни, — это сейчас главное.

90-е — это годы, когда рождается новое. Везде рождается — в сфере экономики, несмотря на жуткую инфляцию и нестабильность, каждый день появляются на свет новые виды экономической деятельности и новые экономические субъекты: фирмы и предприятия, торговые марки и биржи, да чего только не рождается. В масс-медиа — рождаются новые газеты и журналы, новые телеканалы. В культуре — растут как грибы издательства и галереи. Люди пробуют заниматься (впервые лет за сто) независимой от государства культурной политикой, неужели выйдет? И у многих выходит.

Ну и наконец, театры.

...Оказывается, теперь можно организовать свой независимый театр. Эта идея увлекает многих. Большинство из них появляется, правда, уже в конце 80-х, но статус

и аудиторию окончательно формирует в 90-е. Самые яркие (для Москвы) примеры — это театр-студия Петра Фоменко, театр Анатолия Васильева «Школа драматического искусства», «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза.

Чуть задержусь, пожалуй, на последнем примере.

Впервые я пришел в театр «Школа современной пьесы» по заданию редакции (тогда я работал в «Огоньке»). А дело было в том, что актер Владимир Стеклов, игравший в театре, решил записаться в отряд космонавтов. Никуда он тогда не полетел, но идея была. Меня это страшно заинтересовало, и вот я пошел знакомиться с художественным руководителем, чтобы взять у него интервью.

«А давайте я вам кое-что покажу», — загадочно сказал Райхельгауз. Мы спустились в подвал с кирпичными сводами, и Иосиф Леонидович кивнул куда-то вниз, в темноту.

Оказывается, там текла река. Неглинка! Темный поток, шум воды. Прямо под театром... Это меня настолько убило, что я как-то сразу изменил план статьи. Актер Стеклов, уносящийся в космос времени, теперь у меня стал уноситься туда прямо из глубины веков. (Так что идея совсем не новая, кстати.)

Приказ об открытии театра был датирован мартом 1989 года. Еще не собрался Первый съезд народных депутатов, еще Ельцин не прочел декларацию о государственном суверенитете России, еще не пошли танки 19 августа 1991-го, еще не загорелся Белый дом в октябре 1993-го, а Райхельгауз уже получил ключи (фигурально говоря) от нового театра, на сцене которого уже *все* было по-другому. Это был такой бешено экспериментирующий театр, причем я бы сказал, не для, а вместе со зрителем, который благодарно дышал в такт, когда Татьяна Васильева пела, танцевала, жонглировала и чуть ли не показывала фокусы в «балете, цирке и опере» по мотивам «Дон Кихота»[1] (три вечера подряд!), когда покоряла своим потрясающим клоунским даром, причудливо смешанным с блистательной женской красотой, Любовь Полищук в спектакле «А чой-то ты во фраке?», когда Акунин писал издевательский парафраз «Чайки», где персонажи с ужасом открывали для себя девять или десять версий убийства Треплева.

Константин Аркадьич застрелился. «Чайка»[2], которую тоже поставили в трех вариантах: детективный вариант Акунина, оперетку Журбина и Жука, наконец, серьезного Чехова, вполне себе драматического, в котором стрелялся не кто-нибудь, а телеведущий Александр Гордон, вообще стала ключевой темой для театра; и я был поражен, когда впервые увидел эту серьезную, не шуточную «Чайку». Происходило все в малом зале, где когда-то располагался зимний сад. Это была, пожалуй, лучшая «Чайка» в моей жизни.

Вот это самое *сотворчество* («давайте негромко, давайте вполголоса») — оно стало ключевой темой для театра 90-х вообще. Отсюда — из сотворчества — рождался и героизм первопроходцев.

Ведь подумайте сами, что тогда значило открыть новый театр?

Это городские власти, это пожарники, санэпидемстанция, это черт знает какие законы, по которым нужно нанимать на работу людей и увольнять их, это касса, которую нужно заполнять, это буфет, в котором нужно чем-то кормить в голодные годы.

Слегка цитируя здесь свои собственные заметки на полях ужасного пожара, который случился в театре «Школа современной пьесы» в 2013 году, — не могу не поставить и значок нотабене: да, в 90-е худрукам пришлось всерьез задуматься о таких вещах, как наполняемость зала, самоокупаемость, поддержка спонсоров и городских властей, отношения с милицией и пожарной охраной, с трудовым кодексом и законодательством, ну и много еще о чем. В этом смысле для театров (и старых и новых) наступила совершенно новая эпоха — эпоха выживания. Есть в этом смысле

[1] «...С приветом, Дон Кихот!» — спектакль, 1997 г.

[2] «Антон Чехов. Чайка» — спектакль, 1998 г.

у театра 90-х страницы, которые вспоминать не очень хочется: если, например, для «Современника» нашлись спонсоры, которые довольно устойчиво додержались вплоть до наших времен, все-таки сохранив солидное реноме, не буду сейчас поминать их всуе, то для «Ленкома» такого спонсора не нашлось, и где сейчас тот, чье имя стояло на каждой афише и программке театра в 90-е, один бог ведает.

И тем не менее люди эти — героические на самом деле создатели новых театральных пространств в прямом и фигуральном смысле — рисковали и шли навстречу эпохе и всем ее вызовам.

Причем шли совсем разными путями. Райхельгауз с самого начала создавал театр-клуб, театр как тесную компанию (актеров и зрителей), поэтому на сцене постоянно происходили и не-театральные события: вечера поэзии и театральных баек (довольно знаменитые в 90-е и 2000-е годы), на Трубной площади 9 мая театр устраивал фестиваль Окуджавы, и милиция в этот день перегораживала Трубную площадь. И в этом смысле — для создания именно клубного театра — худруку был необходим классический театральный уют: с буфетом и гардеробом. А вот Михаил Угаров и Елена Гремина, основатели Театра.doc (и его предшественника, Центра драматургии и режиссуры), — забравшись в подвал в Большом Козихинском переулке, в это тесноватое и страшноватое пространство, в самом прямом смысле пространство андеграунда, — решились на полную театральную схиму и простоту: тут не было ни буфета, ни гардероба, ни ремонта, ни даже билетиков и программок. Пальто и то не всегда было куда повесить. У них в театре всегда было темно, как-то холодновато, не хватало для всех стульев, пахло пылью и ремонтом — и было все-таки потрясающе и прекрасно.

И тут мы, наверное, переходим к главному. Театр 90-х — это прежде всего разлетевшаяся на куски, на астероиды, на спутники и звезды, планета (или вселенная?) советского театра. Планета была большая, многонаселенная, но какая-то уже слегка остывшая. И слишком ровная, одинаковая (несмотря на все видимые различия).

90-е годы открыли дорогу экспериментам. Их было настолько много, что для того, чтобы их даже просто коротко описать, зафиксировать, — понадобится целая книга. И дело тут не в том, что появилось много новых театров (хотя да, их появилось очень много). Главное — что все они стали совершенно непохожи друг на друга.

Я уже упомянул о том, что Театр.doc в 2002 году родился как прямой наследник Центра драматургии и режиссуры под руководством М.Рощина и А.Казанцева, который, в свою очередь, появился в 1998-м и базировался сначала в Музее Высоцкого, рядом с театром на Таганке, в переулке. Там тоже, кстати, было плоховато и с программками, и с буфетом, но хоть вешалка была...

Но ведь это не просто два родственных коллектива, — а целое направление в искусстве, родившееся тоже в 90-х. Потом его назвали «новая драма», потом образовался семинар молодых драматургов в Любимовке, целая драматургическая школа — но сначала было лишь намерение: быть не как все.

И надо сказать, это намерение, этот символ веры быстро нашел своих адептов — появились братья Пресняковы, Сигарев, Вырыпаев, появились режиссеры, радостно бросившиеся на этот новый материал: Субботина, Серебренников и другие; появилась, наконец, технология вербатим-пьесы — и студенты с диктофонами «вышли в народ», чтобы говорить с «простыми людьми», работать с «историями» из гущи жизни, потом были сброшены и забыты целые слои театральных табу: на сцену хлынули леденящие кровь маргинальные сюжеты, тяжелое социальное дно разверзлось перед пришедшими зрителями, во весь голос зазвучала нецензурная лексика, обозначавшая собой «эпоху правды».

Да, правда... «Правда» — ключевое слово для театра тех лет. В чем правда? Где она? Для меня, например?

Помню свое впечатление от спектакля «Ощущение бороды» — пьесы трагически

рано ушедшей из жизни Ксении Драгунской. Поставлена она была в Центре драматургии и режиссуры, правда, уже в 2002 году, в год основания Театра.doc, — но задумывалась, вырастала и писалась, конечно же, раньше. Пьеса совсем не городская, скорее деревенская, наполненная деревенскими запахами и голосами, странными, потерянными в обрушившейся социальной жизни персонажами, их страхами, предрассудками и мифами, — но главным в ней было вот это чувство открытости, беззащитности, хрупкости и оттого невероятной ценности человека.

Это были очень тонкие, нежные смыслы, — и язык для них Драгунская создала особый, свой. И этот язык, чуть обрывистый, запутанный, но упрямый, как следы на снегу, — и стал для меня фирменным знаком 90-х.

С другой стороны, в то же самое время сформировалось внутри этой расколовшейся на части вселенной советского театра (да, все-таки вселенной, а не планеты) — иное, просто прямо противоположное течение. Фоменко, Женовач, их последователи. Они работали как неоклассики, глубоко погружаясь в театральную традицию, в медитацию жеста и голоса, в прочитанные заново хрестоматийные тексты.

Я помню, как заворожил меня буквально «Идиот» на Малой Бронной, который поставил Женовач, — три вечера, три спектакля. Удивительный Сергей Тарамаев в роли Мышкина (после 90-х он вообще уйдет из театра, не станет сниматься ни в сериалах, ни в кино), тонко сплетенная ткань спектакля, в самой долготе, неспешности, протяженности (тогда невозможной) которого таилась загадка.

Эта работа (равно как и все работы Фоменко и его учеников: Крымова, Женовача, Каменьковича) — словно очищала театр от ложной эстрадности, слепящей яркости, от нарочито зрелищных ходов, это была как бы театральная йога — тут хотелось глубоко дышать и медитировать. Освобождаясь от лишнего.

Я мог бы назвать еще целый ряд театральных стилей, например, капризный, ярко-зрелищный, декадентский театр Бориса Юхананова (который теперь реализует свои идеи в Электротеатре «Станиславский»), карнавальный и площадной «народный» театр Николая Коляды, второй состав «Табакерки» — все они родом из 90-х.

Для меня самый сильный образ театра 90-х (просто зрительный образ) — это спектакль «N», поставленный силами независимых продюсеров, где Александр Феклистов и Олег Меньшиков играли историю Дягилева и Нижинского, знаменитый русский сюжет начала XX века. Так вот, в конце спектакля Олег Меньшиков вылетал в открытое окно, прямо во двор с третьего, кажется, этажа. Да, мы знали, что там, где-то внизу — во дворе старого здания Поливановской гимназии на Остоженке для него расстелен матрас или батут, но мурашки бежали по коже: это был сильнейший образ всей нашей эпохи, только начинавшейся тогда, — скорей сломать все рамки, скорей выпрыгнуть за пределы реальности, расквитаться с наличным бытием и его скучными долгами, воспарить и взлететь!

Были, конечно, в 90-е и свой гламур, и свой мейнстрим, и своя попса (пышным цветом расцвели антрепризы, например, с популярными некогда киноактерами, вышли на сцену телеведущие, давили на слезные железы авторы скрипучих мелодрам) — и неслучайно с ними со всеми воевали, как с ветряными мельницами, с одной стороны Угаров, с другой — Женовач, с третьей — Юхананов, но... Но писать об этом как-то скучновато. Забылся этот мейнстрим, и забылся этот гламур 90-х.

А вот достижения, прорывы — остались. Осталось великое наследие тех свободных лет.

Как и вообще о 90-х, так и конкретно о театре того времени — будут еще написаны целые тома. А мы пока просто вспомним и подумаем: зря или не зря шли эти сражения?

Думаю, что все же не зря. За революцией всегда приходит реставрация, наступает скучное и медленное время.

Но революция не может быть забыта — с ее героями, экспериментами и прорывами. С ее духом свободы.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2021 ГОД

Авторы «ДН» (№№ 1—12)

АБАДЖЯНЦ МИКАЕЛ (VI)
АБДУЛЛАЕВ Евгений (I, II, III, IV, VI, VIII, X, XII)
АБДУЛЛИНА Нелли (III)
АЗАЕВА Эвелина (VI)
АЙРАПЕТЯН Валерий (XII)
АЛБУЛ Елена (XII)
АЛЕКСАНДРОВ Николай (II, V, VII, XI)
АЛЕКСЕЕВА Надя (XI)
АЛЁХИН Алексей (IX)
АЛИ Турсун (I)
АМИРХАНЯН Кари (VI)
АНОЦКИЙ Валентин (IX)
АНУФРИЕВА Мария (XI)
АРИШИНА Наталья (IX)
АРТИС Дмитрий (II, VI, VIII, X)
АФЛАТУНИ Сухбат (I)
АХХ Янина (X)
БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий (I, VI)
БАЛЛА Ольга (I, III, V, VII, IX, XI)
БАРАНОВА Евгения Джен (II, III)
БАТАЛИОН ДЖУДИ (V)
БЕРШИН Ефим (IX)
БЛАГОВА Даша (VIII)
БОГДАНОВА Вера (XI)
БОРИСОВА Ксения (III)
БОЯШОВ Илья (I)
БРЕЙНИНГЕР Ольга (II)
БРУШТЕЙН Ян (V)
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга (IV, VIII)
БУКША Ксения (XI)
БУНИМОВИЧ Евгений (XI)
БУРОВ Алексей (II, VI, IX)
БУХАРАЕВ Равиль (X)
БУШКОВСКИЙ Александр (I)
ВАЛЕВСКИЙ Анатолий (III)
ВАСИЛЬКОВА Ирина (IV)
ВАСЮНОВ Максим (I)
ВЕРГЕЛИС Александр (VII)
ВЕРЕЩАГИН Андрей (VIII)
ВИТУХНОВСКАЯ Алина (VII)
ВОЛОС Андрей (IV, V)
ВОЛОСЮК Иван (V)
ВОЛЧКОВ Константин (III)
ВОЛЬТСКАЯ Татьяна (IX)
ВОРОБЬЁВ Вячеслав (IX)
ВОРОПАЕВА Анна (IX)
ВЯХЯКУОПУС Елена (III)
ГАБРИЭЛЯН Нина (V)
ГАЛГУТ КАТЕРИНА (I)
ГАЛЬПЕР Александр (II)
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир (VII, XII)
ГАТИНА Алина (II)
ГЕДЫМИН Анна (VIII)
ГЕРТМАН Ольга (V, XI)
ГОЛУБОВИЧ Ксения (XII)
ГОНЧУКОВ Арсений (III)
ГОРОШКО Ирина (XI)
ГРАТТ Георгий (VII)
ГРИГОРЕНКО Александр (XII)
ГРИГОРЬЕВА Лидия (II)
ГУРЕЕВ Максим ((XI)
ГУЦКО Денис (IV)
ДАБЕЙ Ырысбек (IV)
ДАЙРАБАЕВА Маншук (IX)
ДЕКИНА Женя (II, VIII)
ДЕМИН Владимир (IV)
ДЕРЮГИНА Александра (IV)
ДИМИДОВ Александр (XII)
ДМИТРИЕВ Андрей (III)
ДОЛГОПЯТ Елена (XII)
ДОЛЯ Артур (X)
ДОРОНИНА Ирина (V)
ДРАГУНСКИЙ Денис (XII)
ДЬЯКОНОВ Евгений (IX)
ЕВСЮКОВ Александр ((VIII)
ЕЛАГИНА Елена (VI)
ЕРМОЛАЕВ Владимир ((VII)
ЕРМОЛОВИЧ Елена (X)
ЕФРЕМЕНКОВА Юлия (X)
ЖУКОВА Алёна (II)
ЗАВТУР Андрей (VI)
ЗАКРУЧЕНКО Мария (I)

ЗВЕРЕВА Дарья (IV)
ЗЛОТНИКОВА Ольга (XI)
ЗОЛОТАРЁВ Сергей (II, VII)
ЗУБАРЕВА Вера (IX)
ИВАНИЦКАЯ Елена (IV)
ИВАНОВ Алексей (XII)
ИСХАКОВ Джасур (VI)
КАБАНОВ Александр (X)
КАГАНОВИЧ Михаил (XII)
КАГРАМАНОВ Юрий (VIII)
КАЗИТЫ Мелитон (X)
КАЛАШНИКОВ Сергей (II)
КАМИНСКИЙ Евгений (III)
КАН Александр (VIII)
КАНАБЕЕВ Герман (XII)
КАПОВИЧ Катя (IV)
КАРЦЕВ Пётр (VIII)
КАТАЕВ Ярослав (VIII)
КАЦОВ Геннадий (VIII)
КЕНЖЕЕВ Бахыт (VII)
КЛИМОВСКИ Керен (XI)
КЛИМОВ-ЮЖИН Александр (IX)
КОБРИН Кирилл (II)
КОЛЕСНИК Любовь (VIII)
КОЛЕСНИКОВ Алексей (IX)
КОЛЕСНИКОВ Андрей (IV)
КОЛЕСНИКОВА Ирина (VI)
КОМАРОВ Константин ((II, IV)
КОНТУКОВ Никита (XI)
КОРИОНОВ Олег (IV)
КОРНИЕНКО Игорь (V)
КОРОЛЁВ Андрей (IX)
КОЧЕРГИН Илья (XII)
КРУСАНОВ Павел (IV)
КРЮКОВА Елена (XII)
КУБАТЬЯН Георгий (X)
КУДАСОВА Наста (II)
КУДИМОВА Марина (VI)
КУДРЯВЦЕВА Екатерина (V)
КУЗНЕЦОВ Игорь (IV, VI)
КУЗНЕЦОВА Инга (II)
КУЛЕШОВА Сюзанна (XI)
КУЛЕШОВА Юлия (II)
КУПРЕЯНОВ Иван (II)
КУРБАНОВ Курбангельды (IX)
КУРМАНГАЛИНА Яна-Мария (II, IV)
ЛЕБЕДЕНКО Сергей (I)
ЛЕПИШЕВА Елена (II, IV, VII)
ЛИДСКИЙ Владимир (V, XI)
ЛЮСЫЙ Александр (II, VII)
МАКОША Олег (V)
МАЛАШЕНКО Алексей (I, XII)
МАЛЫШЕВ Игорь (V)
МАМАЕВ-НАЙЛЗ Илья (I)
МАМЕДОВА Айгюн ((VIII)
МАРК Григорий (X)
МАРКЕЛОВ Сергей (VIII)
МАРКИНА Анна (II, V)
МАРКИШ Давид (I)
МАРЧЕНКО Марк ((VI)
МАСЛОВ Сергей (V)
МЕЛИХОВ Александр (I, V)
МИНАЕВ Борис (I — XII)
МИХАЙЛОВА Ольга (XI)
МЛЫНЧИК Татьяна (XI)
МОСКВИНА Марина (XII)
МУРАВЬЁВА Ирина (XI)
НАЧКЕБИА Даур (VIII)
НИКОЛАЕВА Олеся (II, VII, VIII, XII)
НОВИКОВА Алена (IX)
О.КАМОВ (VIII)
ОБОРИН Лев (XI)
ОБУХ Арина (VI)
ОРЛОВ Александр (V)
ПАНКРАТОВ Георгий (III, XII)
ПЕППЕРШТЕЙН Павел (XII)
ПЕРЕСЛЕГИН Сергей (IV)
ПЕРМЯКОВ Андрей (V, VIII)
ПЕСТЕРЕВА Анна (V)
ПИСКУНОВ Валерий (VII)
ПОГОДИНА-КУЗМИНА Ольга (V)
ПОПОВ Сергей (VI)
ПОЛЯРИНОВ Алексей (XI)
ПРАШКЕВИЧ Геннадий (II, VI, IX)
ПУСТОВАЯ Валерия (I, III)
РОТМАН Пётр (III)
РУБАНОВ Андрей (XI)
РУБАНОВ Роман (XI)
РУМЯНЦЕВ Дмитрий (VII)
РУСС Анна (I)
РЫБИН Александр (V)
РЫСКУЛОВ Рамис (V)
РЯБОВ Олег (IV)
РЯШЕНЦЕВ Юрий (VI)
САЛИМОН Владимир (I)
САЛОМАТИН Алексей (II)

САФРОНОВА Елена (I, IV, VI, X)
СГИНЬ Лёнька (VIII)
СЕКИСОВ Антон (XI)
СЕЛИН Александр (X)
СЁМИНА Лада (VIII)
СЕРЕБРЯНСКИЙ Юрий (IV)
СИМОНОВ Сергей (XII)
СИНИЦЫНА Людмила (III)
СИРОТИН Дмитрий (XI)
СМИРНОВ Роман (VI)
СОЛОГУБ Евгений (IV)
СТАХОВ Дмитрий (IV, V, VIII)
СТЕПАНОВ Евгений (XII)
СУЛЬЧИНСКАЯ Ольга (II)
ТАДТАЕВ Тамерлан (X)
ТАЖИ Айгерим (VIII)
ТАРН Алекс (I)
ТЕР-АБРАМЯНЦ Амаяк (VI)
ТИРКИШОВА Язгуль (VIII, IX)
ТОРК Алексей (IX, XII)
ТРЕНИН Владимир (VII)
ТРИФОНОВА Анастасия (VI)
УЛЬЯНОВА Юлиана (III)
УМАРОВА Ася (X)
УСТИМЕНКО Алексей (VI)
ФАЛИКОВ Илья (III)
ФАМИЦКИЙ Андрей (I)
ФЕТ Эгвина (XI)
ХАНОВ Булат (XI)
ХАРЛАМПЬЕВА Наталья (X)
ХОДИКЯН Каринэ (X)
ХУММЕДОВ Чары (VIII)
ЦИРУЛЬНИКОВ Анатолий (II, X, XI)
ЧАНЦЕВ Александр (III, VI, IX, XII)
ЧЖОУ Лу (II)
ЧИЖОВ Евгений (XI)
ШАБАЛИН Сергей (V)
ШАПОВАЛОВ Вячеслав (V, VIII)
ШАПОШНИКОВА Татьяна (I)
ШАРИФУЛЛИНА Эля (XII)
ШАХВЕРДЯН Лиана (IX)
ШЕВАРОВ Дмитрий (XI, XII)
ШЕВЧЕНКО Ганна (XI)
ШИПИЛОВА Анна (II)
ШРАЕР Максим Д. (IV)
ШУЛЬГИН Николай (IX)
ЭШ Татиана Тейт (IV)
ЯКУТСКИЙ Александр (X)

№ Стр.

ПРОЗА
(романы, повести, рассказы, новеллы, сказки, притчи)

АБАДЖЯНЦ Микаел. Гвоздь. *Рассказ* ..... VI, 168
АБДУЛЛИНА Нелли. Сын обетования. *Отрывок из романа* ..... III, 7
АЗАЕВА Эвелина. Полукровка. *Рассказ* ..... VI, 204
АЛБУЛ Елена. Запах кофе. *Рассказ* ..... XII, 125
АЛЕКСЕЕВА Надя. Два рассказа ..... XI, 125
АЛЁХИН Алексей. Просто проза. *Рассказы* ..... IX, 141
АНОЦКИЙ Валентин. Эпоха № 6. *Рассказ* ..... IX, 154
АХХ Янина. Из цикла «Недоаморы» ..... X, 176
БЛАГОВА Даша. Расскажите мне о змеях. *Рассказ* ..... VIII 174
БОЯШОВ Илья. Морос, или Путешествие к озеру. *Авантюрный роман* ..... I, 8
БУШКОВСКИЙ Александр. Чудо. *Рассказ* ..... I, 146
ВАЛЕВСКИЙ Анатолий. Эльза. *Рассказ* ..... III, 183
ВАСЮНОВ Максим. В кайф. Два «дымных» рассказа ..... I, 22
ВЕРГЕЛИС Александр. В поисках бедного Йорика. *Рассказ* ..... VII, 30
ВЕРЕЩАГИН Андрей. Два рассказа VIII1 67
ВОЛОС Андрей. Мешалда. *Книга семейных рецептов* ..... IV, 6
..... V, 101
ВОЛЧКОВ Константин. «Февр...». *Рассказ* ..... III, 190
ГАЛЬПЕР Александр. Побег из зимы. *Рассказ* ..... II, 129
ГАТИНА Алина. Саван. Второе дыхание. *Роман* ..... II, 8
ГОНЧУКОВ Арсений. Принц. *Рассказ* ..... III, 178
ГОРОШКО Ирина. Рассказы ..... XI, 173
ГРАТТ Георгий. Русский Стикс. *Роман* ..... VII, 8
ГРИГОРЬЕВА Лидия. Термитник new. *Роман в штрихах* ..... II, 96
ГУРЕЕВ Максим. Сова. *Рассказ* ..... XI, 151
ГУЦКО Денис, ЗВЕРЕВА Дарья. Сорокопуты. *Рассказ* ..... IV, 131
ДАЙРАБАЕВА Маншук. Между Европой и Азией. *Рассказ* ..... IX, 172
ДЕКИНА Женя. Баг. *Рассказ* ..... II, 147
ДЕКИНА Женя. Кропаль. *Роман* ..... VIII, 7
ДЕМИН Владимир. Разговор. *Рассказ* ..... IV, 165
ДИМИДОВ Александр. Стервы. *Рассказ* ..... XII, 134
ДОЛЯ Артур. Первый. Второй. *Роман* ..... X, 10
ЕРМОЛАЕВ Владимир. Движение на закат. *Фрагмент романа* ..... VII, 78
ЕРМОЛОВИЧ Елена. Два рассказа ..... X, 165
ЕФРЕМЕНКОВА Юлия. Всё не то. *Рассказы* ..... X, 184
ЖУКОВА Алёна. Смертные грехи вещей. *Притчи эпохи пандемии* ..... II, 155
ЗАВТУР Андрей. Записки таёжного лекаря. *Отрывок из повести* ..... VI, 180
ЗВЕРЕВА Дарья, ГУЦКО Денис. Сорокопуты. *Рассказ* ..... IV, 131
ЗОЛОТАРЁВ Сергей. Витька и Сухомлин. *Междуречье* ..... VII, 173
ИВАНОВ Алексей. Рассказы из сванской тетради ..... XII, 143
ИСХАКОВ Джасур. Ночь жёлтой луны. *Рассказ* ..... VI, 194
КАМИНСКИЙ Евгений. Отпалка. *Повесть* ..... III, 161
КАН Александр. Костюмер. *Рассказ* ..... VIII, 90
КАНАБЕЕВ Герман. Неделя. *Рассказ* ..... XII, 154
КАРЦЕВ Пётр. Грешенка. *Рассказ* ..... VIII 124
КАТАЕВ Ярослав. Рассказы ..... VIII, 61
КОЛЕСНИКОВ Алексей. Жертвоприношение. *Рассказы* ..... IX, 113
КОНТУКОВ Никита. «Кровь моя, за вас изливаемая». *Рассказ* ..... XI, 161
КОРИОНОВ Олег. Круговерть. *Рассказы* ..... IV, 141

	№	Стр.
КОРНИЕНКО Игорь. Месопотамия. *Р*ассказ	V,	79
КОРОЛЁВ Андрей. Два рассказа	IX,	166
КРУСАНОВ Павел. Глухарь. *Рассказ*	IV,	120
КУДИМОВА Марина. Поля фильтрации. *Главы из романа*	VI,	7
КУДРЯВЦЕВА Екатерина. Мелкая моторика рук. *Рассказ*	V,	177
КУЗНЕЦОВ Игорь. Отставший. *Повесть про себя*	VI,	61
КУЛЕШОВА Сюзанна. Игры индиго. *Роман*	XI,	34
КУЛЕШОВА Юлия. Два разных рассказа	II,	110
ЛИДСКИЙ Владимир. Умри-воскресни. *Повесть*	V,	58
МАМАЕВ-НАЙЛЗ Илья. Words Unsaid. *Рассказ*	I,	152
МАМЕДОВА Айгюн. Старик решил умереть. *Рассказ*	VIII,	115
МАРКЕЛОВ Сергей. Воронка. *Рассказ*	VIII,	152
МАРКИШ Давид. Тиль-митиль. *Рассказ*	I,	140
МАРЧЕНКО Марк. ...И пусть остальное добавят потомки. *Рассказ*	VI,	215
МАСЛОВ Сергей. Два рассказа	V,	168
МЛЫНЧИК Татьяна. Ксения Петербургская позвонит. *Рассказ*	XI,	143
МОСКВИНА Марина. Три стороны камня. *Роман*	XII,	6
НАЧКЕБИА Даур. Рассказы. *С абхазского. Перевод автора*	VIII,	159
НОВИКОВА Алена. Выбор. *Рассказ*	IX,	147
О.КАМОВ. Песнь о Соколе. *Рассказ*	VIII,	109
ОБУХ Арина. Свободный переулок. *Рассказы*	VI,	208
ПАНКРАТОВ Георгий. Пятеро. *Рассказы*	III,	129
ПЕСТЕРЕВА Анна. «Ящик, ящер, я щит». *Рассказ*	V,	90
ПИСКУНОВ Валерий. Опыт Евангелия. *Метанойя*	VII,	183
ПОГОДИНА-КУЗМИНА. Ольга. Птицы войны. *Повесть*	V,	6
РОТМАН Пётр. Истинное сияние чистого ума. *Повесть*	III,	93
РЯБОВ Олег. Укус лесной осы. *Рассказ*	IV,	182
СГИНЬ Лёнька. Сдвиг. *Рассказ*	VIII,	190
СЕЛИН Александр. Зелёный клин. *Рассказы*	X,	192
СЕРЕБРЯНСКИЙ Юрий. Часовой мастер. *Рассказ*	IV,	156
СЁМИНА Лада. 29.4. *Рассказ*	VIII,	180
СИМОНОВ Сергей. Унтерменш. *Повесть*	XII,	83
СИРОТИН Дмитрий. Красный свет детства. *Рассказы*	XI,	185
СОЛОГУБ Евгений. Там, где мрак сгустел. *Судьба из романа*	IV,	89
ТАДТАЕВ Тамерлан. Как я провёл лето. *Рассказы и повесть*	X,	93
ТАРН Алекс. Томик в мягкой обложке. *Рассказ*	I,	104
ТОРК Алексей. Феликс и Древоед. *Повесть*	IX,	76
ТРЕНИН Владимир. Рюмка Достоевского. *Рассказ*	VII,	162
УМАРОВА Ася. Рассказы	X,	129
УСТИМЕНКО Алексей. Барса-Кельмес. *Повесть*	VI,	129
ХОДИКЯН Каринэ. Запах хлеба и смерти. *Рассказ. С армянского. Перевод Татьяны Мартиросян*	X,	151
ШАПОШНИКОВА Татьяна. Созданы друг для друга. *Повесть*	I,	166
ШАХВЕРДЯН Лиана. Руки-реки. *Роман*	IX,	6
ШИПИЛОВА Анна. Пересортица. *Рассказ*	I,	142
ШУЛЬГИН Николай. «Чепяльная» сказка. *Рассказ*	IX,	100
ЯКУТСКИЙ Александр. Панты. *Рассказ*	X,	158

№ Стр.

ПРОЗА.DOC

БАТАЛИОН Джуди. Свет грядущих дней.
Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. С английского. Перевод Ирины Дорониной ..... V, 182
ДОРОНИНА Ирина. Джуди БАТАЛИОН. Свет грядущих дней.
Неизвестные истории женщин — участниц Сопротивления в гитлеровских гетто. С английского ..... V, 182
РЫБИН Александр. Подавляя инстинкт войны. *Рассказы* ..... V, 202

ПОЭЗИЯ
(стихи и переводы)

АЛИ Турсун. Стихи. *С узбекского. Перевод Сухбата Афлатуни* ..... I, 162
АРТИС Дмитрий. В раю винтажном. *Стихи* ..... X, 89
АРТИС Дмитрий. Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть» ..... II, 182
АФЛАТУНИ Сухбат. Сколько имён у счастья. *Стихи* ..... I, 159
АФЛАТУНИ Сухбат. Турсун АЛИ. Стихи. *С узбекского.* ..... I, 162
БАРАНОВА Евгения Джен. Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть» ..... II, 182
БАРАНОВА Евгения Джен. Из несбывшихся сердец. *Стихи* ..... III, 126
БЕРШИН Ефим. Пой, балалайка! *Стихи* ..... IX, 3
БОРИСОВА Ксения. Круговода. *Стихи* ..... III, 188
БРУШТЕЙН Ян. Группа риска. *Стихи* ..... V, 77
БУХАРАЕВ Равиль. Стезя. *Стихи* ..... X, 206
ВИТУХНОВСКАЯ Алина. Гамлет — попытка полёта. *Стихи* ..... VII, 159
ВОЛОСЮК Иван. Масштабы тропы муравейной. *Стихи* ..... V, 3
ВОЛЬТСКАЯ Татьяна. Карусель времён. *Стихи* ..... IX, 175
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. Стихи из «Велимировой книги» ..... VII, 73
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. В спокойном и беспрекословном свете. *Стихи* ... XII, 3
ГЕДЫМИН Анна. О драгоценных и не очень. *Стихи* ..... VIII, 121
ДАБЕЙ Ырысбек. Обнимаю дороги. *Стихи. С казахского. Перевод Константина Комарова* ..... IV, 180
ДМИТРИЕВ Андрей. Речь ныряет в омут лепета. *Стихи* ..... III, 88
ДЬЯКОНОВ Евгений. Концерт для тишины. *Стихи* ..... IX, 111
ЗЛОТНИКОВА Ольга. Как детский шарик золотой. *Стихи* ..... XI, 121
ЗОЛОТАРЁВ Сергей. Стрекоза и глиссада. *Стихи* ..... II, 92
ЗУБАРЕВА Вера. Между омегой, альфой и Одессой. *Стихи* ..... IX, 74
КАБАНОВ Александр. Память — это стог, а в стогу — игла. *Стихи* ..... X, 3
КАГАНОВИЧ Михаил. Так люблю. *Стихи* ..... XII, 140
КАЛАШНИКОВ Сергей. Эхолов. *Стихи* ..... II, 153
КАПОВИЧ Катя. Простой магнит. *Стихи* ..... IV, 86
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Новые нравоучительные стихотворения Ремонта Приборова ..... VII, 4
КЛИМОВ-ЮЖИН Александр. Не быстротечность минувшего года. *Стихи* ..... IX, 151
КОЛЕСНИК Любовь. Человек человеку труд. *Стихи* ..... VIII, 57
КОЛЕСНИКОВА Ирина. Так начинаются слова. *Стихи* ..... VI, 59
КОМАРОВ Константин. Чистого воздуха нерв. *Стихи* ..... IV, 177

	№	Стр.
КОМАРОВ Константин. Ырысбек ДАБЕЙ. Обнимаю дороги. *Стихи. С казахского.*	IV,	182
КУБАТЬЯН Георгий. Обойди Армянское нагорье. *Стихи*	X,	147
КУДАСОВА Наста. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». Стихи. Перевели *Дмитрий АРТИС, Евгения Джен БАРАНОВА, Инга КУЗНЕЦОВА, Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Анна МАРКИНА, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ* Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»	II,	182
КУЗНЕЦОВА Инга. Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». *Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»*	II,	182
КУПРЕЯНОВ Иван. Хороший год, хороший год, хороший. *Стихи*	II,	138
КУРМАНГАЛИНА Яна-Мария. Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». *Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»*	II,	182
КУРМАНГАЛИНА Яна-Мария. Когда тебе чуть за двадцать. *Стихи*	IV,	3
МАЛЫШЕВ Игорь. Память моя, мошек рой. *Стихи*	V,	98
МАРК Григорий. Глагол и ему наречённая вещь. *Стихи*	X,	190
МАРКИНА Анна. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». *Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»*	II,	182
МАРКИНА Анна. Жёрдочка-человечек. *Стихи*	V,	*164*
МИХАЙЛОВА Ольга. Для Бога времени нет! *Стихи*	XI,	190
НИКОЛАЕВА Олеся. «На корабле зимы». *Стихи*	II,	3
ОРЛОВ Александр. Говоря о войне. *Стихи*	V,	55
ПОПОВ Сергей. Божий карандаш. *Стихи*	VI,	126
РУБАНОВ Роман. Богатыри. *Стихи*	XI,	169
РУМЯНЦЕВ Дмитрий. Лампа Аладдина. *Стихи*	VII,	126
РУСС Анна. Из твоей головы.	I,	101
РЫСКУЛОВ Рамис. *Вступительное слово и переводы с киргизского Вячеслава Шаповалова*	V,	220
РЯШЕНЦЕВ Юрий. В просодии родной. *Стихи*	VI,	3
САЛИМОН Владимир. Живи, поэт!	I,	3
СМИРНОВ Роман. Может быть, мэй би, мабуть. *Стихи*	VI,	178
СТЕПАНОВ Евгений. Как младший брат травы. *Стихи*	XII,	166
СУЛЬЧИНСКАЯ Ольга. Наста КУДАСОВА. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». *Стихи. С белорусского // Студия сравнительного поэтического перевода «Шкереберть»*	II,	182
ТАЖИ Айгерим. Синий виноград. *Стихи*	VIII,	187
ТРИФОНОВА Анастасия. Контур человека. *Стихи*	VI,	222
УЛЬЯНОВА Юлиана. Правда о ближнем. *Стихи*	III,	158
ФАЛИКОВ Илья. Сто нет — один ответ. *Стихи*	III,	3
ФАМИЦКИЙ Андрей. Одно из ремёсел. *Стихи*	I,	137
ФЕТ Эгвина. Сом в летнюю ночь. *Стихи*	XI,	30
ШАПОВАЛОВ Вячеслав. Покровитель стад. *Стихи*	VIII,	3
ШАПОВАЛОВ Вячеслав. Рамис РЫСКУЛОВ. *Стихи. С киргизского*	V,	220
ШАРИФУЛЛИНА Эля. Небо лежит ничком. *Стихи*	XII,	123
ШЕВЧЕНКО Ганна. В кругу такого водевиля. *Стихи*	XI,	148
ШРАЕР Максим Д.. Стихи из айпэда	IV,	128
ЭШ Татиана Тейт. Ичме сув. *Стихи*	IV,	154

№ Стр.

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

КУДАСОВА Наста. «Крык бінтую маўчаннем лістоў». Стихи.
Перевели *Дмитрий АРТИС, Евгения Джен БАРАНОВА, Инга КУЗНЕЦОВА, Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА, Анна МАРКИНА, Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ — Студия сравнительн ого поэтического перевода «Шкереберть»* ..... II, 182

ПОЭТ О ПОЭТЕ

ВАСИЛЬКОВА Ирина. Паррезия, или Крипты речи *(Наталья Лясковская)*..... IV, 188

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АРИШИНА Наталья. Воспоминанья зарифмую. *Записи на ходу* ..... IX, 201
НИКОЛАЕВА Олеся. Брат мой Битов ..... VII, 192
НИКОЛАЕВА Олеся. «Россия, Лета, Лорелея».
Два портрета из будущей книги ..... VIII, 210
ХАРЛАМПЬЕВА Наталья. Тюркский брат мой. *Вспоминая Равиля Бухараева* . X, 209
ЦИРУЛЬНИКОВ Анатолий. Из тайных архивов русской школы.
История образования в портретах и документах ..... X, 239
..... XI, 201

«ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ...»

БОГДАНОВА Вера. «Вот она — взрослая жизнь, полная приключений...» ..... XI, 3
БУКША Ксения. «Как будто всё время нечто оставалось за углом...» ..... XI, 5
БУНИМОВИЧ Евгений. Три мушки тёра ..... XI, 6
КЛИМОВСКИ Керен. Муми-вселенная ..... XI, 8
ЛИДСКИЙ Владимир. Выстоять и победить ..... XI, 11
МУРАВЬЁВА Ирина. Хвала тебе, детство ..... XI, 13
ОБОРИН Лев. «Ближайший аналог Шкиды в литературе — Хогвартс» ..... XI, 16
ПОЛЯРИНОВ Алексей. «Это было моё первое культурологическое открытие» XI, 17
РУБАНОВ Андрей. Книги просто так не приходят ..... XI, 18
СЕКИСОВ Антон. Исследование чудовищ ..... XI, 20
ХАНОВ Булат. «И только сейчас мне открылась страшная истина...» ..... XI, 23
ЧИЖОВ Евгений. Легенда об «Уленшпигеле» ..... XI, 25
ШЕВАРОВ Дмитрий. «У каждого дня была своя любимая книга» ..... XI, 27

ПУБЛИЦИСТИКА

БУРОВ Алексей, ПРАШКЕВИЧ Геннадий. О массовом искусстве.
Два письма на одну тему ..... II, 190
БУРОВ Алексей, ПРАШКЕВИЧ Геннадий. О революции и вязальщицах.
Два письма на одну тему ..... VI, 225
БУРОВ Алексей, ПРАШКЕВИЧ Геннадий. О пророках и предсказаниях.
Два письма на одну тему ..... IX, 179
ВЯХЯКУОПУС Елена. Мрак твой будет как полдень ..... III, 211
ДЕРЮГИНА Александра. Приморский дневник ..... IV, 207
КАГРАМАНОВ Юрий. Время (и бремя) чёрных?
О новом витке расового вопроса ..... VIII, 201
МАКОША Олег, МЕЛИХОВ Александр. Здесь и там.
Письма из провинции в провинцию ..... V, 225

№ Стр.
МЕЛИХОВ Александр. Советский патриотизм и голос крови ..... I, 219
МЕЛИХОВ Александр, МАКОША Олег. Здесь и там.
Письма из провинции в провинцию ..... V, 225
ПЕРЕСЛЕГИН Сергей. Космос как необходимость ..... IV, 194
ПРАШКЕВИЧ Геннадий, БУРОВ Алексей. О массовом искусстве.
Два письма на одну тему ..... II, 190
ПРАШКЕВИЧ Геннадий, БУРОВ Алексей. О революции и вязальщицах.
Два письма на одну тему ..... VI, 225
ПРАШКЕВИЧ Геннадий, БУРОВ Алексей. О пророках и предсказаниях.
Два письма на одну тему ..... IX, 179
СИНИЦЫНА Людмила. Победы и поражения Генриха Фогелера.
От поэтической утопии к зримому духу ..... III, 217

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

ПАНКРАТОВ Георгий. Я хочу проснуться. *Два эссе* ..... XII, 174

ДИАЛОГИ С ПРОШЛЫМ

90-е и сегодня: прошлое в настоящем. *Заочный «круглый стол»*
АЙРАПЕТЯН Валерий. «Куда мы шли эти тридцать лет?..» ..... XII, 182
ГРИГОРЕНКО Александр. СССР как автобиография ..... XII, 190
ДОЛГОПЯТ Елена. Дата и место ..... XII, 193
ДРАГУНСКИЙ Денис. Не бойтесь ваших мечтаний — они все равно не исполнятся XII, 195
КОЧЕРГИН Илья. Куда уходит детство? ..... XII, 197
КРЮКОВА Елена. Не уходи ..... XII, 200
НИКОЛАЕВА Олеся. Сумбурно и противоречиво ..... XII, 203
ТОРК Алексей. Время крупных событий ..... XII, 205
ШЕВАРОВ Дмитрий. Заметки на календарных листках 91-го года ..... XII, 206

УРОКИ ОБЖ

БУНИМОВИЧ Евгений. Один день из жизни детского омбудсмена .... XI, 192

НАЦИЯ И МИР

ВОРОПАЕВА Анна. Заметки лаовая о жизни в китайской деревне
под Уханем до пандемии ..... IX, 187
КОБРИН Кирилл. Второй китайский дневник.
Из будущей книги «На пути к изоляции. Дневник предвирусных лет,
2018 — февраль 2020 года» ..... II, 222
МАЛАШЕНКО Алексей. Тяжело в ученье, нелегко в бою ..... I, 197
МАЛАШЕНКО Алексей. Нелёгкое бремя идентичности. *Ненаучные заметки* .... XII, 168
ЦИРУЛЬНИКОВ Анатолий. Белые журавли на серой земле.
Взгляд из России на китайскую деревню ..... II, 200

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА / ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обыденная виртуальность. *Размышления белгородских школьников* ..... II, 168
Возможна ли «кровь по совести»?.. *Белгородские школьники*
читают Достоевского ..... XI, 234

№ Стр.

АРХИВ

КАЗИТЫ Мелитон. Письма боли. *История публикации романа, ставшего классикой осетинской литературы* ..... X, 214

КРИТИКА
(статьи, обзоры, обсуждения, дилоги)

АБДУЛЛАЕВ Евгений. Год перечитывания. // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 238
АБДУЛЛАЕВ Евгений. «Приют пиров, ничем невозмутимых...» *О новых поэтических сериях и сборниках 2020 года* ..... III, 234
АЛЕКСАНДРОВ Николай. Уединенное чтение в эпоху соцсетей // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... II, 252
БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий, Безвозвратное деление. // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 240
БРЕЙНИНГЕР Ольга. Эрос и Танатос русской литературы в 2020 году // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года*. ..... II, 254
ГАЛГУТ Катерина. В попытках удержаться за реальность. // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 243
ГОЛУБОВИЧ Ксения. Труд поэта. Словарь. Ольга Седакова. Трудные места из богослужения ..... XII, 212
ЗАКРУЧЕНКО Мария. «Все побежали писать про 2020 год». // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 245
КОМАРОВ Константин. «Вещать о литературе, сидя у экрана в домашних тапочках...» // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... II, 255
ЛЕБЕДЕНКО Сергей. «Главный способ продвигать книги — экранизация». //Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 245
ЛЕПИШЕВА Елена. Повестка «здесь-и-сейчас» // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... II, 258
ЛЕПИШЕВА Елена. Голоса живых. *Пунктирный обзор современной белорусской литературы* ..... IV, 220
ЛЮСЫЙ Александр, ЧЖОУ Лу. Сам себе китаист: исследовательское шоу. *Путь к «китайскому тексту» русской культуры с точки зрения внутреннего и внешнего диалога* ..... II, 239
ПЕППЕРШТЕЙН Павел. Нежные пространства и сундучки Флинта. *Разговор ведет Ксения Голубович* ..... XII, 225
ПУСТОВАЯ Валерия. «От обреченности к творению смысла». // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 247
САЛОМАТИН Алексей. Корона без царя // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... II, 261
САФРОНОВА Елена. «Люди, меж тем, отреагировали на пандемию творчески...» // Жизнь в он-лайн вакууме: пир кончился, а чума осталась. *Литературные итоги 2020 года* ..... I, 254

№ Стр.

читаем вместе

ГАБРИЭЛЯН Нина. Конец геометрий // «Господи, вспомни, ведь это же я...».
О сборнике стихов Ефима Бершина «Мёртвое море» ..... V, 244
ИВАНИЦКАЯ Елена. Жизнь с трещиной в сердце // Погоня за призраком.
О романе Леонида Юзефовича «Филэллин» ..... IV, 248
КУЗНЕЦОВ Игорь / Вольный пленник Акрополя // Погоня за призраком.
О романе Леонида Юзефовича «Филэллин» ..... IV, 245
ЛЕПИШЕВА Елена. Лопнувшие струны vs топоры // Вечный Сад:
символ, почва и судьба. *О романе Марины Степновой «Сад»* ..... VII, 251
ЛЮСЫЙ Александр. Когда деревья были большими // Вечный Сад:
символ, почва и судьба. *О романе Марины Степновой «Сад»* ..... VII, 256
ПЕРМЯКОВ Андрей. Своя война // «Господи, вспомни, ведь это же я...».
О сборнике стихов Ефима Бершина «Мёртвое море» ..... V, 238
САФРОНОВА Елена. Новый Чехов явился?.. // Вечный Сад:
символ, почва и судьба. *О романе Марины Степновой «Сад»* ..... VII, 248
СТАХОВ Дмитрий. За нашу и вашу свободу // Погоня за призраком.
О романе Леонида Юзефовича «Филэллин» ..... IV, 240

связка рецензий

ЧАНЦЕВ Александр. Манифестация сложности ..... III, 246
ЧАНЦЕВ Александр. Пьеро ди Козимо - собрат де Кирико: дадаизм,
импрессионизм и традиционализм ..... VI, 238
ЧАНЦЕВ Александр. Ecomium musicae, или Молекулы музыки ..... IX, 249
ЧАНЦЕВ Александр. Внутренняя алхимия ..... XII, 237

подробное чтение

АЛЕКСАНДРОВ Николай. Реторта литературы (*В.Сорокин. «Доктор Гарин»; А.Соболев. «Грифоны охраняют лиру»*) ..... VII, 264
ПЕРМЯКОВ Андрей. Постапокалипсис без апокалипсиса
(*Ю.Гуголев. «Волынщик над Арлингтоном», 2019—2020*) ..... VIII, 244
ПУСТОВАЯ Валерия. Шаманский аперитив (*Шамиль Идиатуллин. «Последнее время»*) ..... I, 254
ПУСТОВАЯ Валерия. Внятный, как мануал
(*А.Поляринов. «Центр тяжести»; А.Поляринов. «Риф»*) ..... III, 255
САФРОНОВА Елена. Каждый читает свой литпроцесс
(*А.Чанцев. «Ижицы на сюртуке из снов: книжная пятилетка»;
О.Балла. «Пойманный свет: смысловые практики в книгах и текстах
начала столетия»*) ..... X, 258

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

АЛЕКСАНДРОВ Николай. Интересная Фаина и нарративные практики
(*Алла Хемлин. «Интересная Фаина»*) ..... V, 252
АЛЕКСАНДРОВ Николай. «Жизни спутанные нити»
(*С.Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве»*) ..... XI, 251
АНУФРИЕВА Мария. Недетская история игрушек
(*«Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства
с 1700 года до наших дней»*) ..... XI, 257
АРТИС Дмитрий. Жизнь на обратную сторону
(И.Купреянов. «Стихотворения 2010-х») ..... VIII, 254
АРТИС Дмитрий. Осадные орудия (*С.Золотарёв. «Линзы Шостаковича»*) ..... VI, 251

	№	Стр.
БАВИЛЬСКИЙ Дмитрий. Таня и Саша в трипе (*С.Сачкова «Люди и птицы»*)	VI,	253
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга. «У бездны мрачной на краю» (*А.Дмитриев. «Этот берег»*)	IV,	260
БУГОСЛАВСКАЯ Ольга. Без анестезии *(В.Ремизов. «Вечная мерзлота»)*	VIII,	251
ГЕРТМАН Ольга. Не путайте мурмурацию с мурмурингом (*Словарь культуры XXI века. Первое приближение / Сост. Игорь Сид*)	V,	258
ГЕРТМАН Ольга. Иномосковье, которое всегда с нами (*Н.Беленькая. «Девочки-колдуньи»*)	XI,	254
ЕВСЮКОВ Александр. Билингва любви и отчаяния *(С.Овакимян. «Созвездие эмигранта»)*	VIII,	262
ЕЛАГИНА Елена. А напоследок я скажу... (*В.Шпаков. «Пленники амальгамы»*)	VI,	257
КАЦОВ Геннадий. «Менестреляный воробей...» *(А.Габриэль. «Чёт и вычет»)*	VIII,	259
КОЛЕСНИКОВ Андрей. Время и место Михаила Румера (*М.Румер-Зараев. «Хождение по руинам: портреты трёх сельских районов на фоне новейшей истории»*)	IV,	252
САФРОНОВА Елена. Кино про смерть (*Т.Милова. «И краткое: Стихотворения»*)	IV,	256
САФРОНОВА Елена. Семейный вальс (*М.Москвина. «Вальсирующая»*)	VI,	247
СТАХОВ Дмитрий. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...» (*Павел Полян. «Если только буду жив...»*)	V,	248
СТАХОВ Дмитрий. Мемуары романиста *(П.Алешковский. «Секретики»)*	VIII,	256
ТЕР-АБРАМЯНЦ Амаяк. В поисках корней и истоков (*Ингрия — наша родина.../ Составление и предисловие Э.Панкратовой*)	VI,	260
ШАБАЛИН Сергей. Время тревоги нашей (*Геннадий Кацов. «На Западном фронте: Стихи о войне 2020 года»*)	V,	255

БИБЛИОНАВТИКА

Рубрику ведет Ольга БАЛЛА

Диалог с пространством	I,	262
Фильмы для внутреннего зрения (*Ш.Абдуллаев. «Другой юг»*)	III,	263
Свои претензии адресуйте дьяволу (*А.Иванов. «Тени тевтонов»*)	V,	262
Вчитывая, вычитывая, (пере)прочитывая/ *Писатели о писателях в серии «Жизнь замечательных людей»*	VII,	238
Режущий воздух свободы (*«Новое литературное обозрение», № 166; Д.Окрест, Е.Сенников. «Они отвалились: Как и почему закончился социализм в Восточной Европе»*)	IX,	257
Огромная, как большой мир (*«Дочки-матери, или Во что играют большие девочки»; Ева Левит. «Мама, ты лучше всех!»*)	XI,	262

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Рубрику ведет Евгений АБДУЛЛАЕВ

Просто такой постмодернизм	II,	263
И снова слово на букву «И»	IV,	262
«Резко сняли министра...»	VI,	263
Не премиальте	VIII,	241
Четвёртый сон Агафьи Тихоновны	X,	265
Дело привычное	XII,	249

№ Стр.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Рубрику ведет Борис МИНАЕВ

«Кеды» — 2020 ..... I, 268
Большой маленький Успенский ..... II, 267
Как-то иначе ..... III, 267
Чацкий навсегда ..... IV, 267
СКТВР и другие города ..... V, 268
Способность вычитывать ..... VI, 267
И вновь читая жизнь свою ..... VII, 269
Куклы Резо, или Проблема снятия ..... VIII, 265
Не надо слов? ..... IX, 263
Поверх всего ..... X, 268
Эй, взрослые! ..... XI, 268
Театр в эпоху революции ..... XII, 258

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

ТИРКИШОВА Язгуль. Мир, в который хочется войти... ..... VIII, 269
ТИРКИШОВА Язгуль. Музыка любви и красоты. *Мир художника К.Курбанова* IX, 270

СПЕЦНОМЕРА

«ПИСАТЕЛЬ КАК ЧИТАТЕЛЬ» (№ 7)

Скриншот: книги читателей. *От редакции — Наталья Игрунова* 3

проза и поэзия

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Новые нравоучительные стихотворения Ремонта Приборова ... 4
Георгий ГРАТТ. Русский Стикс. *Роман* 8
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Стихи из «Велимировой книги» 73
Владимир ЕРМОЛАЕВ. Движение на закат. *Фрагмент романа* 78
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Лампа Аладдина. *Стихи* 126
Александр ВЕРГЕЛИС. В поисках бедного Йорика. *Рассказ* 130
Алина ВИТУХНОВСКАЯ. Гамлет — попытка полёта. *Стихи* 159
Владимир ТРЕНИН. Рюмка Достоевского. *Рассказ* 162
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Витька и Сухомлин. *Междуречье* 173
Наталья ИЗОТОВА. Ахматова в профиль. *Стихи* 180

диалоги с памятью

Валерий ПИСКУНОВ. Опыт Евангелия. *Метанойя* 183

культурный слой

Олеся НИКОЛАЕВА. Брат мой Битов 192

библионавтика

Ольга БАЛЛА. Вчитывая, вычитывая, (пере)прочитывая 238

читаем вместе

Вечный Сад: символ, почва и судьба. *О романе Марины Степновой «Сад» размышляют Елена ЛЕПИШЕВА, Александр ЛЮСЫЙ и Елена САФРОНОВА* 248

№ Стр.

подробное чение

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Реторта литературы (*В.Сорокин. «Доктор Гарин»; А.Соболев. «Грифоны охраняют лиру»*) 264

правила игры

Борис МИНАЕВ. И вновь читая жизнь свою 269

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ» (№ 11)

«Только детские книги читать...» *Заочный «круглый стол»* 3

проза и поэзия

Эгвина ФЕТ. Сом в летнюю ночь. *Стихи* 30
Сюзанна КУЛЕШОВА. Игры индиго. *Роман* 34
Ольга ЗЛОТНИКОВА. Как детский шарик золотой. *Стихи* 121
Надя АЛЕКСЕЕВА. Два рассказа 125
Татьяна МЛЫНЧИК. Ксения Петербургская позвонит. *Рассказ* 143
Ганна ШЕВЧЕНКО. В кругу такого водевиля. *Стихи* 148
Максим ГУРЕЕВ. Сова. *Рассказ* 151
Никита КОНТУКОВ. «Кровь моя, за вас изливаемая». *Рассказ* 161
Роман РУБАНОВ. Богатыри. *Стихи* 169
Ирина ГОРОШКО. Рассказы 173
Дмитрий СИРОТИН. Красный свет детства. *Рассказы* 185
Ольга МИХАЙЛОВА. Для Бога времени нет! *Стихи* 190

уроки ОБЖ

Евгений БУНИМОВИЧ. Один день из жизни детского омбудсмена 192

культурный слой

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Из тайных архивов русской школы. *История образования в портретах и документах* 201

школьная программа

Возможна ли «кровь по совести»?.. *Белгородские школьники читают Достоевского* 234

книжный развал

Николай АЛЕКСАНДРОВ. «Жизни спутанные нити» (*С.Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве»*) 251
Ольга ГЕРТМАН. Иномосковье, которое всегда с нами (*Н.Беленькая. «Девочки-колдуньи»*) 254
Мария АНУФРИЕВА. Недетская история игрушек (*«Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней»*) 257

библионавтика

Ольга БАЛЛА. Огромная, как большой мир 262

правила игры

Борис МИНАЕВ. Эй, взрослые! 268

Summary

Marina MOSKVINA. Three Sides of the Stone

The author of the novels published by our magazine – "Krio", "The Genius of the Unrequited Love", "The Love Affair with the Moon" – goes on writing her joyful, aching and ironical, safely grounded but always ready to soar into the heavens story of love to this blessed and absurd world. This novel is a tragicomical recital about the painter who had been looking for the light in his pictures and finally became dissolved in the light of day. An experience of opposing to oblivion.

Sergej SIMONOV. Untermensch

This long short story is a kind of The Catcher in the Rye" 70 years later. It's the first publication of the author in our magazine, a new name along with Andrej Ivanov and Olga Breininger.

Alexej MALASHENKO. The Identity's Burden

Who are you, what's your identity? Is it good or bad to have it? What kind can — or can not – it be? Will it become universal some time or other? About all this is reflecting in his essay the scholar, publicist, writer A. Malashenko unintentionally "commenting" Simonov's long-short story.

December 1991 – the end of the USSR. Historic milestone

30 years later we invited our authors to a dialogue with the past.

Basing on the fundamental "Dictionary of the Difficult Words from the Worship Service" by the poet, translator and philologist Olga SEDAKOVA and talking with Pavel PEPPERSHTEIN, one of the iconic actors of the art and literary community of the 90-s, Ksenija GOLUBOVICH is reflecting about how the language of the time (including the artistic language) was and is been changing.

The participants of the round table discussion Valerij AJRAPETYAN, Alexander GRIGORENKO, Elena DOLGOPYAT, Denis DRAGUNSKIJ, Ilya KOCHERGIN, Elena KRUKOVA, Olesya NICKOLAEVA, Alexej TORK, Dmitrij SHEVAROV are meditating on how they were dreaming of the 90-s then and how the 90-s are echoing to them now. Where were we going all these thirty years and where have we come to.

Poetry

Christmas and New Year dispose to the dreams and recollections, summarizing the gains and losses and thoughts about the eternity. Within these moods keep the lyrics by Vladimir GANDELSMAN, Mikhail KAGANOVICH, Evgenij STEPANOV and poems of our debutant Elya SHARIFULLINA.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Тверская улица, 17)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

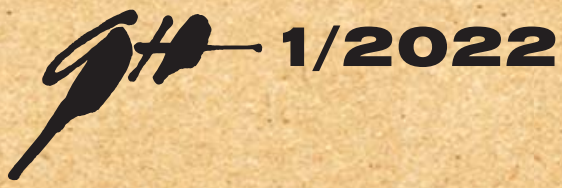
Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250



1/2022

Читайте:

Владимир Лим. Роман «Цунами»:

«Кореец заметил сначала женщину, то и дело исчезающую под водой, а потом и плывущую рядом с ней дверь от своего дома, которую он узнал по траченной молью пятнистой нерпичьей шкуре. Пока лодка по инерции шла к женщине, она снова исчезла, и хотя он знал, что это не жена, продолжал видеть в ней Марико; обмирая от этого противоречивого, захватившего его чувства, стянул с себя телогрейку, чтобы броситься за ней, но она появилась уже в полуметре от борта. Кореец быстро захватил в пучок её плывущие чёрным зонтом длинные волосы и подтянул к лодке. Женщина прижимала к себе мальчика. Бородатый подхватил её подмышки и втащил в лодку. Кореец освободил бездыханного ребёнка от мокрого одеяла и встряхнул за ноги с криком: «Витя!» Мальчик фыркнул и тотчас же тихо жалобно заплакал. Бородатый продолжал тормошить женщину, наконец она задёргалась, изо рта выплеснулась вода. Кореец прижал к себе завёрнутого в телогрейку ребёнка. “Где Марико?!” — закричал он женщине. Это была Сатико, по-русски Тамара, старшая сестра жены, она всегда ночевала у них, когда он уезжал. Кореец почувствовал холод и пустоту в груди — там, где всегда была Марико, Маша, теперь ничего не было. “Где она?!” — кричал он, но Сатико только молча мотала головой.
К ним плыли, барахтаясь, толкая перед собой доски, один за другим, несколько человек, кричали слабеющими голосами, поднимали руки.
Марико среди них не было, да и не могло быть — она не умела плавать...»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2021 • №12 • 1—272